

НЕМЕЦКАЯ  
РОМАНТИ-  
ЧЕСКАЯ  
ПОВЕСТЬ

I



ACADEMIA







**Н Е М Е Ц Ъ Я Л И Т Е Р А Т У Р А**

**РОМАНТИЧЕСКАЯ  
ПОВЕСТЬ**

*ДВА ТОМА*

**А С А Д Е М И А**  
Москва — Ленинград

# **НЕМЕЦКАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ**

Статья и комментарии  
Н. Берковского

**ТОМ I**

**ШЛЕГЕЛЬ, НОВАЛИС  
ВАКЕНРОДЕР,  
ТИК**

**А С А Д Е М И А  
1 9 3 5**

*Супер-обложка, переплет и рисунки*

*А. В. Фонвизина*

## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Немецкий романтизм не был явлением чисто немецким. Он был лишь отдельным отрядом сложного и разностороннего литературного течения, охватившего и другие страны. В начальной стадии своего развития немецкий романтизм своеобразно воспринял лозунги „свободы“ буржуазной Французской революции, а затем стал выразителем политической реакции, которая началась с Термидора и достигла наивысшей силы в Европе после разгрома наполеоновских армий, реставрации Бурбонов и водарившейся диктатуры „Священного союза“ на континенте.

В Германии романтизм проявился в более отчетливых формах, чем в других странах, и сложился в законченную школу, что было естественно для страны, которая „разделяла с другими народами реставрацию, не участвуя в их революциях“ (Маркс). Германия конца XVIII и начала XIX столетия была весьма отсталой страной в сравнении с Англией, Францией и Голландией. Ее промышленность, если не считать отдельных участков крупного производства, например в горном деле, еще находилась на стадии ремесла и кустарной промышленности.

В государственно-политическом отношении Германия была крайне отсталой и раздробленной. В то время как Англия и Франция сложились в крупные и сильные буржуазные государства с объединенным внутренним рынком и сильной централизованной властью, десятки мелких германских кня-



жесть, с их таможенными барьерами, дробили ее экономический организм, задерживали развитие торговли и промышленности и на этом слабом хозяйственном базисе плодили огромные наросты паразитической бюрократии. Германия медленно и с величайшим трудом оправлялась от тяжелых последствий изнурительной Тридцатилетней войны, надломившей ее силы. В сравнении с Францией и Англией на всей ее городской жизни лежала печать или застоя, или крайне медленного движения, печать провинциализма, захолустности и филистерства. Быстрее всего развивалась торговля, особенно в приморских городах и по водной артерии Рейна. Буржуазия как класс была представлена прежде всего купечеством, промышленная буржуазия находилась в детском возрасте, политически господствующим классом оставалась крупная земельная аристократия, хотя уже значительно обессиленная развитием товарнорыночных отношений и укреплением торгового капитала.

Но несмотря на столь большую отсталость и крайнюю медленность своего буржуазного развития Германия и по своему географическому положению, и по степени развития мирового торгового обмена, и по степени ее культурных и хозяйственных связей с Англией, Францией и Голландией не могла оставаться в стороне от жизни своих более развитых в буржуазном отношении соседей. На свой манер и в специфически немецких формах она отозвалась на тот процесс формирования буржуазной идеологии, который происходил в Англии и Франции. По словам Маркса, немцы проделывали в идеологии революцию, которую французы проделывали на практике. Германия имела „эпоху бури и натиска“ в литературе. Такой величайший поэт всемирного значения, как Гете, не мог взойти только на дрожжах уездно-провинциальной ограниченности своего Веймара, он идейно отражал развитие всего буржуазного мира Европы. Исторические драмы Шиллера, призывавшие к борьбе за политическое и национальное освобождение, не могли создаться в стране без перспектив на преодоление феодальных препятствий для поступательного движения вперед на буржуазных путях. Гениальный критик Лессинг расчищал путь для формирования буржуазной идеологии и был продуктом

не только немецкого развития. Наконец, философия Канта, при всей ее робости и половинчатости, все же представляла большой шаг вперед в деле борьбы с авторитетом церкви и средневековьем в общественной жизни тогдашней Германии и имела связь с движением буржуазной философской мысли в Англии и Франции. При таких условиях потребности буржуазного развития страны могли крайне смутно осознавать и формулировать лишь наиболее передовые представители интеллигенции.

Для понимания немецкого романтизма и той роли, которую он сыграл в истории литературы, в частности для понимания тех избранных произведений романтиков, которые даются в наших двух сборниках, необходимо иметь в виду следующее: романтизм прошел через различные стадии в своем развитии, социальный состав участников этого литературного течения отнюдь не был однороден.

Первый период романтизма можно рассматривать не только как бунт против установившихся и окостеневших правил художественной формы, характерных для ложноклассицизма, не только как провозглашение права художника на свободу творчества, на свободу фантазии и на вольное обращение с действительностью, не только как резкий поворот в сторону субъективизма в искусстве, но и как литературное течение, многие участники которого сочувствовали идеям французской революции, защищали свободу личности, свободу любви и увлекались поэзией прошлого в знак протеста против жалких и убогих условий тогдашней Германии. В этом отношении характерно, например, то обстоятельство, что идейный руководитель и теоретик иенской группы романтиков Фридрих Шлегель был сначала сторонником французской революции. В помещаемом в нашем сборнике романе „Людина“ он выступает защитником эмансипации женщин, свободы чувства не только для мужчины, но и для женщины, хотя все это дано при крайней гипертрофии субъективизма в форме мистического извращения и кривляния. В свое время этот роман произвел целый скандал в филистерско-мещанском болоте тогдашней Германии, и не только потому, что имел автобиографическое значение.

Основатель другой, гейдельбергской группы романтиков Геррес был сначала энтузиастом французской революции, боролся за отделение Рейнской провинции от остальной Германии и за провозглашение независимой Прирейнской республики. И Шеллинг первого периода не похож на Шеллинга второго периода, когда он впал в мистику, хотя произошло это отнюдь не случайно. Между прочим, в провозглашении принципов буржуазной свободы, в частности в борьбе за свободу чувства, за религиозное свободомыслие, в первый период развития этого течения не было ничего специально романтического. Здесь романтики копировали своих собратьев по ту сторону Рейна, причем копировали весьма грубо и неуклюже.

Но романтизм сложился в определенную литературную школу и приобрел наиболее характерные черты в своих политических тенденциях не в этот ранний период, а во втором периоде своего развития, когда в нем возобладали феодально-реакционные тенденции. Именно в этот второй период ряд романтиков-протестантов переходит в католичество, и эта католическая реакция, наряду с усилением роли дворянско-консервативных элементов, идеализирующих не только средневековое прошлое, но и подогревающих симпатии к остаткам этого прошлого в настоящем, задает тон всему течению.

Третий период романтизма — это период его разложения, эволюции ряда романтиков в сторону либерализма, буржуазного реализма и вытеснения романтизма новой волной освободительного движения в Германии, которое особенно усилилось после Июльской революции во Франции и привело к созданию „Молодой Германии“.

В классовом отношении романтики неоднородны. Среди них были выходцы из мелкобуржуазных бюргерских элементов, которые давали тон в первый период романтизма и были пропагандистами освободительных идей французской революции в политической области. Среди романтиков были дворянские и клерикальные элементы, которые задавали тон во второй период романтизма, самый характерный для всего этого течения. Уже в первый период романтизма обе эти социальные группы отворачивались от тогдашней немецкой действительности и обращались к ее прошлому по разным

мотивам: одни отворачивались от всего того буржуазного, что уже успело войти в немецкую жизнь и искали в прошлом нетронутого средневековья. Другие отворачивались от настоящего, потому что в нем было слишком еще мало настоящей буржуазной культуры, мало элементов буржуазного правопорядка и слишком много феодального хлама и филистерской дряни. Но когда начались наполеоновские войны и когда началось пробуждение немецкого патриотизма, во главе романтизма стала наиболее организованная социальная сила, которая была на авансцене политической жизни Германии, то есть дворянско-феодальные и клерикальные элементы. Буржуазные элементы как более слабые пошли на поводу у первых. И вот тогда-то характерный для всех романтиков поворот к прошлому и увлечение этим прошлым получил специфически консервативный и реакционный характер. И, наоборот, в третий период романтизма в нем начинают усиливаться буржуазные элементы и тенденции; романтизм начинает вытесняться новыми течениями в литературе.

В этом отношении очень характерна эволюция, которую проделал Гейне от своих юношеских увлечений романтизмом, интересно творчество Шамиссо, Клейста и др.

Романтики выступали не только против ложноклассицизма, установившихся правил литературной формы, которая уже устарела, но и против буржуазного реализма, считая его мертвой фотографией мертвых объектов и мелочным протоколированием действительности. Романтики-индивидуалисты типа Шлегеля, Новалиса и др., которые стояли на позициях глубочайшего субъективизма, считали, что основной задачей литературно-художественной деятельности является отображение тончайших и интимнейших душевных переживаний человека, с подчинением этой задаче и художественной формы.

Несколько иной была позиция так называемого гейдельбергского кружка романтиков с Герресом, Арнимом, Brentано во главе. Эта группа, всецело погружившаяся в средневековое прошлое Германии, в ее поэзию и историю, усердно занимавшаяся собиранием памятников народной поэзии, былин и легенд, ограничивала романтический субъективизм тем, что тре-

бовала от искусства возврата к национальному прошлому, в том числе к его религиозному прошлому. Несмотря на известные отличия между этими течениями внутри романтизма, они одинаково выступали против просветительства, против рационализма, против классицизма и против буржуазного реализма, как он проявился к тому времени в мировой литературе.

Второй характерной чертой романтизма была тесная связь этого течения с католической реакцией. Фридрих Шлегель, Иоганн-Иосиф Геррес, Арним и другие романтики являются очень яркими примерами этого процесса. Фридрих Шлегель, либеральный и свободолюбивый поклонник французской революции в первый период своей литературной деятельности, переходит в католичество, проникается симпатиями к средневековому христианству в его самых изуверско-мистических формах, увлекается идеализацией Индии и т. д. Новалис, Шюц, Адам Мюллер официально перешли из протестантства в католичество. Не надо забывать, что все это происходило всего два десятилетия спустя после того, как энциклопедисты нанесли католицизму во Франции ряд сокрушительных ударов еще до французской революции, а во время революции католическая церковь потерпела жестокий разгром: ее имущество было конфисковано, ее защитники сотнями посылались на эшафот, руководимые ею и аристократией восстания, например Вандейское, были жестоко подавлены, и атеистическое движение в массах приняло самые широкие размеры. Наконец, не надо забывать, что этот возврат к католицизму в литературе имел место после того, как в экономически передовой Англии уже несколько десятилетий развертывалась промышленная революция и естественные науки делали огромные завоевания.

Гете заметил как-то, что крест ему противен так же, как табак, клопы и чеснок. Католический крест начал снова осенять немецкую литературу еще при жизни этого великого язычника, который так много сделал в своих произведениях для его дискредитации.

Впрочем, засилье католической реакции в немецкой литературе не было особенно продолжительным, и с периода Июль-

ской революции во Франции в лице „Молодой Германии“ началось вытеснение этого направления.

Третьей характерной чертой романтизма был культ узко немецкого национализма,— национализма узко провинциального, заскорузлого, культ патриотизма, направленного на борьбу с французской культурой, с культурой буржуазной революции, буржуазного правопорядка, с защитой немецкой отсталости, пережитков средневековья в быте и политических учреждениях, то есть защита всего того, что являлось главным препятствием для буржуазного развития Германии, причиной ее феодальной раздробленности и политического бессилия. Вообще буржуазный национализм как идеология капиталистических классов, которые создают единое национальное государство, с единым рынком и сложившимся в определенных границах экономическим организмом, есть исторически явление прогрессивное по сравнению с крепостнически-феодальным строем с его сепаратизмом и раздробленностью, но в тогдашней Германии это прогрессивное явление облачилось в реакционные формы, с восхвалением и прославлением прошлого „могущества“.

Буржуазные классы, заинтересованные в создании свободного внутреннего рынка и единого государства с централизованной властью, являются носителями буржуазного национализма и борцами против феодально-аристократических привилегий раздробленных феодальных княжеств. В Германии же, в условиях наполеоновских войн, создалось такое своеобразное положение, что буржуазные элементы были слишком еще слабы, чтобы борьбу с иноземным вторжением соединить с борьбой за буржуазный режим внутри страны. Национальным подъемом овладели князья и представители феодальной аристократии, которые воспользовались патриотическими настроениями, чтобы, развивая военное сопротивление против Франции, укрепить свои подгнившие троны, укрепить разлагавшиеся феодальные отношения, укрепить крупную земельную собственность и остатки крепостнических отношений в деревне. В своей литературно-политической характеристике творчества Клейста, который наиболее ярко отразил в своих произведениях волну антифранцузского немецкого патриотизма, Франц Меринг дал

следующий тонкий социологический анализ корней немецкого романтизма, поскольку они были связаны с этим противоречивым положением немецкой буржуазии в период наполеоновских войн:

„Когда меч иностранного завоевателя выполнил то дело, которое не могли собственными силами выполнить буржуазные классы в Германии, когда чужеземное господство Наполеона снесло весь мусор с немецкой земли, чтобы в свою очередь лечь невыносимым бременем на все классы нации, тогда романтическая школа отобразила это причудливо-двойственное положение вещей. Национальные и социальные интересы бюргерства вступили в непримиримое противоречие друг с другом: этот класс не мог свергнуть с себя чужеземное иго, не усиливая вместе с тем гнет ига внутреннего. Тщетно старались Шлегели и Тьки, литературные вожди романтики, заполнить эту зияющую пропасть при помощи вымученной гениальности и пресловутой „иронии“, тщетно искали они в литературе всех времен и народов почву, на которую они могли бы прочно опереться. Романтическая школа могла найти эту почву только в „залитой лунным сиянием волшебной ночи“ средневековья; только здесь они могли найти свои национальные идеалы. Но средневековье было временем безраздельного классового господства юнкеров и попов. Из этого разлада между национальными и социальными интересами не было никакого выхода. Вот почему гениальный, вот почему единственный гениальный поэт романтики, именно Генрих фон-Клейст, стал жертвой безумия и самоубийства“ (Франц Меринг, „Литературно-критические статьи“, изд. „Academia“, стр. 726).

В период национального подъема бюргерским элементам были сделаны, правда, широкие обещания насчет введения конституции и буржуазных свобод, но все эти обещания были затем взяты обратно, и буржуазные элементы Германии не только оказались бессильны сами возглавить национальный подъем и перевести его в русло буржуазной революции, но оказались слишком слабы хотя бы для того, чтобы заставить платить своих князей по их же собственным векселям, выданным в трудные для них дни. Немецкий романтизм сыграл важную роль в деле активизации патриотических настроений в Гер-

мании и перевода их на поддержку феодально-монархической реакции. О различии между французским патриотизмом, который вырос из действительного национального объединения, закрепленного революцией и ее блестящими победами на фронте, и между заскорузлым, реакционным и диким немецким „патриотизмом“ романтиков Гейне писал в своей работе „Романтическая школа“: „Патриотизм француза заключается в том, что сердце его согревается, расширяется от этой теплоты, раскрывается, так что своей любовью оно охватывает уже не только ближайших родичей, но всю Францию, всю страну цивилизации; патриотизм немца заключается, наоборот, в том, что сердце его суживается, что оно коробится, как кожа на морозе, что он ненавидит чужеземное, что он хочет уже быть не космополитом, не европейцем, а только узеньким немцем. Тут и узрели мы идеальную грубость, приведенную в систему г. Яном; началась жалкая, неуклюжая хамская оппозиция против мировоззрения, представляющего собой высочайшее и святейшее из всего порожденного Германией, а именно против той гуманности, против того всеобщего братства людей, против того космополитизма, поборниками которого всегда были наши великие умы — Лессинг, Гердер, Шиллер, Гете, Жан-Поль, все образованные люди Германии.

Что воспоследовало затем в Германии, известно вам слишком хорошо,— продолжает Гейне.— Когда бог, снег и казаки уничтожили лучшие войска Наполеона, и мы, немцы, получили высочайший приказ освободиться от чужеземного ига,— мы воспылали мужественным гневом к нашему долготерпению и рабству и воодушевились под влиянием прекрасных мелодий и плохих стихов керперовских песен, и мы отвоевали свободу: ибо мы делаем все, что приказано нам государями.

В эпоху, когда подготавливалась эта борьба, школу, враждебно настроенную против всего французского и прославлявшую все национальное в искусстве и жизни, ждал самый пышный расцвет. Романтическая школа шла в ту пору рука об руку с стремлением правительств и тайных обществ, и г. А. В. Шлегель конспирировал против Расина с теми же целями, с какими министр Штейн конспирировал против Наполеона. Школа плыла по течению момента, а именно по течению, которое возвраща-



лось назад, к своему истоку. Когда наконец немецкий патриотизм и немецкая национальность одержали полную победу, восторжествовала окончательно и „пародно-германско-христианско-романтическая школа“, новонемецкое религиозно-патриотическое искусство... Пал Наполеон, великий классик, столь же классический, как Александр и Цезарь, и гг. Август-Вильгельм и Фридрих Шлегель, маленькие романтики, столь же романтические, как и мальчик с пальчик и кот в сапогах, победоносно подняли голову“.

Конечно, и насчет французского патриотизма, столь идиллически очерченного Гейне, и насчет Наполеона и о некоторых других вещах мы судим по-иному в сравнении с Гейне, но в данном случае правильно его противопоставление буржуазного национализма и патриотизма, который вышел из победоносной буржуазной революции,— патриотизму, пресмыкающемуся перед феодально-аристократической реакцией, католической поповщиной, остатками крепостничества, дворянским кнутом и всеми прелестями средневековья в Германии XIX столетия. Если буржуазный французский патриотизм времени революционных войн французской революции способен был подниматься в призывах и произведениях Анахарсиса Клотса до лозунга международной буржуазной республики под главенством Франции, ниспровергающей в плебейских восстаниях крепостных крестьян и городских санкюлотов феодально-аристократический режим, то патриотизм романтиков вертелся вокруг старья и хлама „родного“ средневековья и, восхваляя это давно ушедшее прошлое, призывал фактически защищать самобытное национальное болото жалкого настоящего.

В „Святом Максе“ Маркс писал об этом периоде следующее:

„Под господством Наполеона немецкая буржуазия продолжала развивать свои мелкие дела и большие иллюзии... Немецкая буржуазия, ругавшая Наполеона за то, что он ставил ее пить цкорий и нарушал мир ее страны рекрутскими наборами и воинскими постояями, изливала всю свою моральную ненависть на нем и все свое восхищение на Англии; однако Наполеон оказал ей величайшие услуги очисткой пе-

медких авгиевых конюшен и установлением цивилизованных путей сообщения, а англичане только ждали удобного случая, чтоб ее эксплуатировать вдоль и поперек. Столь же мелкобуржуазным образом немецкие князья воображали, что борются за принцип законности против революции, в то время как они были не более, как оплачиваемые слуги английской буржуазии.

При таком всеобщем господстве иллюзий было вполне в порядке вещей, что сословия, привилегия которых заключалась в том, чтобы предаваться иллюзиям,—идеологи, школьные учителя, студенты и моралисты — давали тон в интеллектуальной области и соответствующее преувеличенное выражение всеобщему фантазированию и отсутствию интересов“ (К. Маркс и Ф. Энгельс. „Немецкая идеология“. Курсив наш).

Эти слова Маркса прекрасно характеризуют как весь жалкий характер, убогость и близорукость немецкого патриотизма того времени, так и „всеобщее фантазирование“ романтиков, которое базировалось на непонимании своих буржуазных интересов у немецкого третьего сословия и на сознании узко династических и феодальных интересов у немецких князей и феодальной аристократии.

Феодальные симпатии романтиков и их монархические тенденции можно проследить на ряде примеров, где романтикам приходилось высказываться по политическим вопросам. Такой законченный тип романтика, как Новалис, был не только сторонником неокатолицизма и расширения папской власти, но и убежденным монархистом. Король для него был тем солнцем, вокруг которого вращаются все планеты общественной жизни. Еще более отчетливым монархистом и защитником существующего самодержавно-дворянского строя был Адам Мюллер. Мелкобуржуазные идеологи, как братья Шлегели, разочаровавшиеся в результатах французской революции после Термидора, также поплыли по этому течению, подыскивая оправдания для существующего строя. Романтики защищали Германию такой, какой она была, защищали тот полуфеодальный режим, который устоял против натиска французской революции и вынесенных за границы Франции на-

полеоновских армий, тот режим, который обеспечил Германии на несколько десятилетий хозяйственный застой и отсутствие на многие годы элементарных предпосылок буржуазного правопорядка.

Если романтики погружались в далекое средневековье, если они уносились фантазией в мир грез и волшебных снов, то для существующего строя Германии это была вполне естественная и объективно обусловленная форма идейно-политической самозащиты. Яростные нападки романтиков не только на классицизм, но и на реализм имели вполне определенный классовый смысл. Сопоставление романтизма с реализмом имеет наиболее важное принципиальное значение. Достаточно лишь поставить вопрос: что дал бы буржуазный реализм на почве тогдашней Германии? Он должен был бы поставить в образах вопрос о том, почему политически раздробленная Германия была бита французами и играла столь жалкую роль в руках международной политики Англии? Кто, какие социальные типы были героями всех этих поражений? Ответ был бы убийственным для существующего строя Германии, с обилием князей и недостатком промышленности, с многочисленностью армий и отсутствием граждан в солдатских мундирах, тех граждан-солдат, которых создала французская революция и которыми она побеждала на всех фронтах — даже при изменах своего дворянского командного состава. Достаточно было буржуазному реализму прикоснуться к немецкой деревне, дать типы ее помещиков и крестьян, дать деревню со всеми ее социальными противоречиями, чтоб этим был поставлен вопрос о ликвидации остатков крепостничества и помещичьего режима в деревне. Достаточно было реализму дать в образах и типах все убожество городской жизни Германии, захолустность, бедность, филистерство, чтоб предать ее идейно гильотине и искать выхода на путях революции.

Вот почему в борьбе за свое самосохранение режим, уже не имевший будущего и в то же время неспособный никого обмануть насчет прелестей своего настоящего, повертывал общественную мысль к своему прошлому.

С этим была тесно связана и художественная форма романтизма. Основное возражение романтиков против реализ-

ма, философски углубленное Шеллингом и популяризированное Шлегелями, заключалось в том, что реализм не в состоянии отобразить в искусстве самую сущность мира и человека, их динамику, а способен давать лишь фотографии, лишь простые копии их внешних проявлений и признаков. Как же сам романтизм сумел реализовать в искусстве это более совершенное „проникновение“ в сущность бытия?

Фридрих Шлегель выражал сожаление, что его трагедия „Аларкос“ была слишком понятна, что для проникновения в сущность мира ему следовало бы принять побольше опиума. Для Новалиса истинная поэзия заключается в произведениях, которые не имеют никакой логической связи и похожи на сон. „Неужели всегда будет возвращаться утро, неужели никогда не исчезнет власть земного?“— вопрошал автор романа „Генрих фон-Офтендинген“, романа, который начинался сном о „глубоком цветке“, недаром ставшим символом всего бредового творчества романтиков. Тик видел задачу романтической комедии в том, чтобы вызывать у зрителей мистически-мечтательное состояние, подобное сну наяву, и тем легче увлекать их в мир волшебной сказки и волшебных снов.

За романтиками правильно признается та заслуга, что они расширили литературный горизонт своего века, что они познакомили немецкое общество и весь цивилизованный мир вообще с сокровищами средневекового искусства, с полузабытой народной поэзией, что они были усердными коллекционерами народных сказок, преданий и т. д. Но собирая народные сказки, они сочиняли сказки об этих сказках и по поводу этих сказок. А в этом занятии не было ни грана действительно народной поэзии. Во всем том, что они давали от себя, они были фальшивомонетчиками народного искусства. В произведениях наших великих учителей мы имеем несколько замечаний, характеризующих их отношение к романтизму. По поводу, например, Шатобриана в письме от 26 октября 1854 г. Маркс писал Энгельсу:

„При изучении испанской клоаки я натолкнулся на почтенного Шатобриана, этого златоуста, соединяющего самым противным образом аристократический скептицизм и вольтерьянство XVIII века с аристократическим сентиментализмом и

романтизмом XIX. Разумеется, во Франции это соединение *как стиль* должно было создать эпоху...“ В другом месте Маркс замечает о Шатобриане — „он всегда был мне противен“, и пишет следующее строки: „Если этот человек во Франции сделался так знаменит, то потому, что он во всех отношениях представляет собой самое классическое воплощение французского тщеславия, притом тщеславия не в легком, фривольном одеянии XVIII века, а романтически замаскированного и важничающего новопеченными выражениями; фальшивая глубина, византийское преувеличение, кокетничанье чувствами, пестрое хамелеонство, словесная живопись, театральность, напыщенность, одним словом, лживая мешанина, какой никогда еще не бывало ни по форме, ни по содержанию“ (Соч., т. XXIV, стр. 425). Убийственная прония этих строк бьет и по немецкому романтизму, ибо, по утверждению Энгельса (см. его письмо к Мерингу), такие выражения Маркса, как „фальшивая глубина“, „кокетничанье чувствами“, „словесная живопись“, „театральность“, целиком применимы и к большинству немецких романтиков.

Как люди типа Шатобриана во Франции, так и немецкая романтическая школа превратилась в идейную опору дворянско-аристократической реакции против исторически более прогрессивного буржуазно-освободительного движения. Это не исключало, разумеется, того, что в отдельных пунктах романтики могли удачно нападать на слабые стороны просветительства, на рационализм, на окаменелости классицизма. Ведь и французские историки эпохи Реставрации лучше своих предшественников понимали роль классовой борьбы в прошедшие эпохи. Ведь и английские тори порой удачно атаковывали оттеснившую их буржуазию, играя на социальных противоречиях капиталистического общества.

Немаловажным фактом является та оценка и переоценка немецкого романтизма, которую давали и дают критики и историки литературы германского империализма наших дней и представители фашистского литературоведения. Как романтики реставрировали в свое время средневековье, так средневековых дел мастера — фашистские литературоведы — реставрируют романтиков начала XIX века как заслуженных борцов

против материализма, манчестерства, парламентаризма, реализма и идей французской революции.

Немецкий фашизм извлек из нафталина прошлого романтизм, установил свое идейное родство с ним, включил его, после некоторой чистки по расовому признаку, в систему своей идеологии и тем самым придал этому течению, которое и в свое время не было аполитичным, сугубо политическое и злободневное значение. Шеллинг, Адам Мюллер и др. благодаря фашистам вновь стали нашими современниками, правда в том специфическом смысле, в каком делается „современником“ всякий труп, извлеченный на какую-либо потребу из своего столетнего гроба. В своей книге „Задачи национал-социалистического литературоведения“ В. Линден, пересмотревший историю немецкой литературы с фашистской точки зрения, считает наиболее ценным для фашизма тот этап в развитии немецкого романтизма, когда он освободился от влияния французской революции и в лице Адама Мюллера, Герреса, Арнима и Шеллинга начал создавать на базе немецкого средневекового искусства, религии и патриотизма истинно немецкую национальную литературу. Геббельс в своей речи от 9 мая 1933 года формулировал задачи фашистской литературы в следующих словах: „Немецкое искусство ближайших десятилетий будет героическим, будет стальным, романтическим, будет не сентиментально объективным, будет национальным, наполненным великим пафосом, оно будет общим, обязующим и связующим, или его не будет“\*. В этих словах одного из вождей фашизма, с одной стороны, дан социальный заказ или, вернее, приказ немецкой литературе стать фашистской, а с другой стороны, устанавливается связь этой литературы с романтизмом. Совсем нетрудно предвидеть результат, который может получиться из „великого пафоса“, заказанного гитлеровским начальством, из второго издания романтизма, который бредит о завоевании мира и в диких фантазиях хочет спастись от железного хода истории, осудившего на смерть фашистских калифов на час.

---

\* Цитир. по статье Ф. П. Шиллера „Современное литературоведение фашизма“, „Литературный критик“, № 1, 1934.

Мы не боимся теней прошлого. Ленин и Сталин учат нас тому, чтобы умело овладевать, критически перерабатывать и использовать в борьбе с классовым врагом и в деле создания социалистической культуры идейный багаж прошлых эпох и свергнутых классов. И мы можем удовлетворить интерес советского читателя и к экспонатам идейного прошлого свергнутых классов.

Фашизм начал свой „культуркамиф“ с сожжения книг. Он усердно продолжает это занятие, с трусостью и боязнью обреченного. Если сам фашизм, по гениальному замечанию товарища Сталина, есть признак слабости капитализма, то идейная трусость есть вернейший признак слабости фашизма.

*Academia*

## НЕМЕЦКИЙ РОМАНТИЗМ

Романтическая школа слагалась медленно. Вначале школы не было. В литературе объявились отдельные писатели, небольшие группки, которые со временем, в период встреч в городе Иене, где находились кафедры Шиллера и Фихте, нашли общий язык и создали широкий союз поэтов, теоретиков, философов. Романтизм с самого начала был шире задач литературного или даже художественного течения. Он возник как партия культуры, как партия, ставившая вопросы искусства только на широком фоне общекультурных требований. Литература каждой эпохи имеет аналогии в смежных искусствах, в общей идеологической жизни, так как порождена теми же условиями общественного порядка, возникла из тех же интересов и тенденций классовой борьбы. Для романтизма характерно, что связь различных форм идеологии осуществляется в нем не стихийно, без отчета для самих идеологов, но вполне сознательно и преднамеренно. Ведь в этом и состоял пафос иенского объединения,—они боролись, по их словам, за „всекультуру“, за тесный союз мысли и эстетики, поэзии, философии, науки и повседневного бытового сознания. Поэтому в литературное иенское объединение вошли не только поэты, как Новалис или Тик, но и филологи, как братья Шлегели, Август и Фридрих, философы, как Шлейермахер и Шеллинг, ученые-естествоведы, как Риттер или Стефенс. Впоследствии к романтикам примыкают живописцы — Рунге, К.-Д. Фридрих, появляются романтические актеры и музыканты (среди актеров знаменитый Девриент, друг Гофмана, аналогия Мочалову



на немецкой сцене); романтизм проникает в конкретные научные дисциплины, в естествознание, историю, этнологию и филологию, появляется даже тип романтического медика, врачающего своеобразною методою (д-р Корефф). Мало того, что школа собрала людей, представлявших различные специальности мысли и культуры, каждый из романтиков, будь он поэтом, философом или ученым, стремился к „политехнизму“ и в своем личном воспитании и в содержании своей деятельности. Физик Риттер писал Савиньи в 1801 году: „Мне угрожает опасность сделаться поэтом“. Фридрих Шлегель отзывался о лучших писаниях Риттера, что это „чистые ямбы“. Своеобразие философии Шеллинга в ее „поэтическом“ стиле, в ее колебаниях между искусством и наукой. Новалис, кроме стихов и прозы, сохранил за собой свободу высказываний по всем вопросам натурфилософии, медицины и математики. Только один Людвиг Тик держался узкой профессии поэта, но и здесь он был лириком и драматургом и повествователем. Кроме того, он не раз выдвигался как критик, судья искусств и как ученый филолог.

По мере того как школа складывалась, происходило выравнивание всех ее участников и тенденций, принесенных ими. В школе столкнулись писатели различных классовых направлений. Перемещающийся в школе центр господства был обусловлен общим соотношением классовых сил в Германии в конце девяностых годов и в начале восьмисотых. В школу вошли идеологи бюргерства больших городов — братья Шлегели; представитель цеховой, средневековой мелкой буржуазии Вакенродер тоже был одним из инициаторов ненского романтизма; с другой стороны, тут же был Людвиг Тик, представитель богемы, городской мелкой буржуазии новейшего типа, со всеми чертами новейшей „интеллигенции“, Шлейермахер, представитель клерикальных кругов, Шеллинг, державшийся на стороне Шлегелей, и, наконец, Новалис, подлинное имя которого было Фридрих фон-Гарденберг, человек, посланный в литературу старым немецким дворянством. „Центр“ постепенно сложился в романтизме так, что все разноречивые тенденции объединились вокруг Новалиса, лидера дворянских интересов. Это означало, что отступление бюргерства, начавшееся в по-

следнюю декаду XVIII века, одинаково распространилось как на область политики, так и на область совокупной идеологической жизни. Со времен гегемонии Новалиса романтическое движение идет к упадку, облекается в мрачные тона развернутой защиты старофеодалного порядка. Разумеется, для нас романтизм интересен не в той его готовой, окончательной форме, когда он стал опорой князей и церкви, но в его еще не организованном и не собранном состоянии, когда в нем все бродило и положительная энергия не была скована политической службой у феодализма.

Бюргерская прогрессивная партия в ранний период своей самостоятельности возглавлялась в романтизме Фридрихом Шлегелем. Брат Август шел по следам теоретических домыслов Фридриха Шлегеля, подтверждая их конкретной эрудицией филолога, искусствоведа и историка. Известным примером художественной практики для теорий Шлегеля-младшего явились ранние произведения Людвиг Тика, впрочем сложившиеся независимо. Шеллинг тоже начинает свою деятельность в круту идей, обычных для обоих Шлегелей, и, как Фридрих, он тоже в ранний свой период решительный приверженец Фихте, философа немецких демократов и радикалов. Лишь позднее управление в романтизме передается в руки Новалиса и Шлейермахера, и вся бюргерская партия, если не навсегда, то на время, попадает в подчинение дворянству и богословию.

Молодой Фридрих Шлегель — явление блестящее и в тогдашней Германии почти беспрецедентное. Будущий католик и идейный агент Меттерниха, он в эту раннюю пору мог бы назваться „свободнейшим из немцев“: ни тени сервиллизма, поповщины и благочестия нет в его молодых писаниях, отзывающихся на лучшие страницы Канта, Шиллера, Гете, Фихте и Винкельмана. С великим воодушевлением Фридрих Шлегель изучает античность, пишет работы на темы античности, одинаково внимательный и к общественным формам древней республики и к древнему искусству лириков, комедиографов, трагических и эпических поэтов. Как у Винкельмана, у Шиллера античная демократия трактуется в писаниях Фридриха Шлегеля в смысле общечеловеческой нормы. Мечтания об универсальном человечестве, синтетической культуре и сознании как

образец, как ссылку подразумевают гражданское и идеологическое состояние старых Афин времен великих трагиков и Перикла. В античности — говорит Шлегель — „народ“ был видимой реальностью, в то время как у новейших наций он есть понятие и постулат. Идеал общественных отношений и на них воздвигнутой культуры в античности осуществлялся как живая подлинность. „Народ“ античности провел свою историческую жизнь как реальная целостность, не ведая раздробленных интересов, вражды и непонимания разьединившихся индивидуумов, чем отмечена и чем страдает Европа новых столетий. Античные философы и художники жили в „разуме“, в „объективности“, их создания возникали по внушениям массовой народной жизни, как природная необходимость, поэтому они чужды современному „маньеризму“, неоправданному и случайному направлению художника-индивидуалиста; в них есть „стиль“, в них сказывается закономерность массового субъекта, „гениального“ народного организма, чья деятельность не управляется ни прихотью, ни произволом. Современное искусство с его субъективизмом, мелочностью и с его натуралистическими заблуждениями — это „характерное“ искусство, оно очерчивает главным образом единичную авторскую индивидуальность, „характер“ ее и тот особый, выделенный мир, в который погружена индивидуальность с ее исключительными интересами. Искусство же древних, всенародное, с его мировым кругозором и большими чистыми линиями, — это искусство „прекрасное“, одаренное способностью видеть мир в перспективе красоты, свободного воссоединения частей в обозримое и стройное целое.

Дальнейшая эволюция Фридриха Шлегеля состоит в том, что античные нормы он с некоторыми надеждами переносит на современность. Работа Шиллера о наивной и сентиментальной поэзии в этом отношении служила прототипом для новых тезисов Фридриха Шлегеля.

Фридрих Шлегель прокламирует романтическую поэзию. „Романтическая поэзия есть прогрессивная, универсальная поэзия“.

Одновременно Фридрих Шлегель выступает как поборник философской диалектики. Как для Канта и Шиллера, так

и для него существует связь между построением искусства и идеалом „разума“.

Он высказывается с полной решимостью против формальной логики с ее внутренним стилем распада и изоляции. „Большинство мыслей — это мысли в профиль. Нужно их вывернуть наизнанку, для того чтобы сединить их с антиподами“.

Исходя из современного состояния мира с его господством буржуазного индивидуума, Фридрих Шлегель проектирует грандиозную надстроечную систему, в которой бы этот индивидуум сбрасывал с себя все формы своей исторической и классовой ограниченности.

Фридрих Шлегель отчетливо отнес свои мечтания к капиталистически подвинутому Западу, понял, что именно новая буржуазная действительность подсказывает философский идеал „универсальности“ и „разума“. О „больших приморских городах“ он говорит как об арене романтической универсальности; еще иначе он называет свой идеал вычурным именем „урбанности“, от латинского „urbs“, что значит город.

Капитализм сблизил страны и нации, уничтожил окостенелость профессий и сословий, создал всемирные „формы общения“ для промышленности и торговли, — в этих условиях и содержался реальный субстрат „универсалистских“ прокламаций XVIII века. Но великие просветители и романтики-утописты пытаются пренебречь той новой ограниченностью, которую одновременно нес с собой капитализм. Фридрих Шлегель вместе с ними призывает к тому, чтобы достижения современности, принадлежащие всему обществу в целом, присвоить каждому в отдельности и в особенности; „универсализм“ подразумевает общность благ, отмену наемного труда, свободный выход в любую сферу человеческой деятельности. Индивидуум буржуазного общества, поставленный в лимиты имущественных отношений, угнетенный классовым неравенством, урезанный в своем развитии всей системой капиталистического труда, позван на гениальное пиршество всесторонних духовных сил, задуманное у Фридриха Шлегеля по античному уставу, по образцу „фестивальности“ и „либеральности“ древне-эллинских сообществ. По урокам Шиллера и Канта Шлегель миссию преобразования существующих культурных отношений

передает искусству и художникам. Новый человеческий тип представлен писателем „объективным“ и „общественным“, способным уравнять личную культуру с мировой, как это сделал Георг Форстер, „полигистор“, „охватывающий все совокупное человечество“, „обязанный... трактовать обо всех вещах на свете и еще о некоторых“.

Однако же это свое учение о возвысившейся личности, о „разуме“ ее и всемирности Шлегель озаглавил именем „романтической иронии“. Об „иронии“ он пишет в том же смысле, в каком Кант писал о „разуме“ и диалектике, утверждая, что они являются „трансцендентальной иллюзией“ — не больше того. Или же „ирония“ у Шлегеля имеет смысл термина „игра“, примененного в эстетике и Шиллером и Кантом.

„Иронический“ акт в описании Шлегеля сводится к постоянному совмещению противоречий, к подчеркнутой относительности каждого отдельного способа осваивать мир и вещи; мастер всегда проводит неисчерпаемость предмета и свое превосходство над достижениями своей же собственной работы. Акт „иронии“ направлен к тому, чтобы воссоздать разумный „образ“ предмета, подняться до синтетической точки зрения. К чему же тогда отнесена „ирония“? Именно к этому синтетическому образу, который задан. Он никогда не будет описан, совершен полностью этот „образ“. Вся работа над ним „приблизительна“ в буквальном смысле слова. Мало того, в этой работе все звенья являются мнимыми, кажущимися, „ироническими“, так как уже с самого начала первое сделанное отвлечение, первое одностороннее определение предмета остается самодовлеющим и не вступает в действительную живую связь с дальнейшим познанием. Если художник интерпретирует действительность со стороны „быта и нравов“, то всякий его дальнейший опыт поднять свою работу на более высокую ступень, например внести в нее перспективу и историзм, оставит первоначальный ход работы незатронутым, рядом с одной точкой зрения возникнет другая, „быт“ и „историзм“ разместятся в его произведении как разнородные стихии. Или же, если взять более общие отношения: элементы „чувственности“ в художественном „образе“ не питают элементы внутреннего смысла, не проникают в них, но тоже отделены и

самостоятельны. Сам художник обогащается в работе новыми содержаниями личности тоже неорганически, он сохраняет свое относительное „я“, как бы открывая поблизости от него еще один „сектор“ в собственном сознании. Поэтому у Шлегеля гений изображен как собрание разрозненных талантов, поэзия названа „дешью фрагментов“, а мир получает качества огромной толкучей. „Трансцендентальная буффонада“—говорит Шлегель о своем универсальном человечестве, у которого диалектика превратилась в релятивизм и софизм, искусство — в скептическую игру, многообразие личности — в переодевания и лицедейство.

Так случилось потому, что ранний Шлегель вместе со старшими просветителями единственную реальность усматривал в мире буржуазии, в ее „гражданском обществе“, в индивидуалистической форме этого общества и в свойственных буржуазии типах культуры и сознания.

„Универсальность“, „гений“ у Шлегеля представлены как иронический ореол, зажигающийся над головой обыкновенного буржуазного индивидуума, со всеми свойственными ему особенностями бытия, сознания и художественной производительности. Только ему одному, этому индивидууму, принадлежит реальность. Поэтому все диалектическое движение, которое прокламирует теория романтической „универсальности“, не в силах положительно снять, отменить первоначальное положение — господство индивидуума со всею узостью личного интереса, со всею абстрактностью и „маньеризмом“, присущих ему. Буржуазный индивидуум, эта исходная точка возвышения в универсальность, существует взаправду и поэтому непроницаем для всех сублимирующих операций, совершаемых над ним,— ведь они, эти операции, не что иное, как мечта и тень, „игра“, „ирония“ или, как еще иначе говорили романтики,— „остроумие“.

Иллюзионизм Фридриха Шлегеля, доведенный до крайности, обозначал в то же время избавление от иллюзий. В писаниях Фридриха Шлегеля гораздо упрямее, систематичнее, сознательнее, чем это делали Кант или Шиллер, иллюзии всюду обличаются как таковые. Осознанные иллюзии теряют власть. Иронический романтизм, обоснованный Шлегелем, был призна-

ком падения третьесословной идеологии. Через молодого Шлегеля эта идеология была взбита до пены, до плеска. Его эллизнирующий энтузиазм предъявлял буржуазной современности неисполнимые требования, переброшенные через голову всей буржуазной формации. „Ирония“ отделила буржуазную „прозу“ от утопической „поэзии“.

Она сама намеренно свидетельствовала, что все эти синтезы и плановые построения, вносимые в мир частных интересов и стихийной практики, полны формализма, механистичны и произвольны. В ней содержался скрытый вывод, что всякие попытки преодолеть исторически существующий тип человека и его культуру только в мыслях, только идейно, от начала до конца химеричны и безнадежны. Для того, чтобы поднять этого человека, нужно было практически изменить в корне его общественные отношения, изменить его реальную природу. Ирония оставалась только голой неудовлетворенностью наличным положением вещей, демонстрацией того, что автор знает лучшее, но не в силах проложить дорогу к этому лучшему.

В чисто познавательном смысле ирония означала, что тот частный способ освоения мира, который практикуется в данном произведении, самим автором признается неокончательным, но выходы за его пределы тоже всего лишь субъективны и гипотетичны. Поэтому Тик в разговорах с Кепке указывал на двойную природу иронии: „Она не является насмешкой, издевательством, как это обыкновенно понимают, но скорее всего в ней присутствует глубокая серьезность, связанная с шуткой и подлинным весельем“. Ирония знаменует и печаль бессилия и веселое попрание положенных границ.

В лагере романтиков, сохранивших бюргерское знамя, ироническая концепция действительности удержала влияние и после того, как сам изобретатель, младший Шлегель, отрекся от нее.

У того же Людвиг Тика, у Гофмана, у Гейне романтическая ирония имела смысл чисто негативной сатиры, направленной в одинаковой степени и против наличной действительности и против самого автора, не способного подняться над чистым отрицанием. В ней сказались все исторические особенности мелкобуржуазной оппозиции в Германии за первую треть

века — оппозиции, не нашедшей для себя массовой опоры и поэтому не видевшей средств к реальному изменению вещей.

Правый лагерь утешался тем, что им именно и открыты положительные исторические силы; положительный тип универсального сознания и универсального художества связывался для правого лагеря романтиков с этим открытием.

В самом конце столетия, между 1797 и 1799 годами, среди пенских романтиков параллельно теориям Фридриха Шлегеля складывается новое учение, отличное от них. В представлении его сторонников здесь возникает „реальный романтизм“, на деле реально осуществивший задачи, с которыми Фридрих Шлегель справился только иронически.

Маркс писал о немцах: „Мы разделяли с новыми народами реставрации, не разделяя их революций“. Перелом в истории романтизма связан с Термидором во Франции, с убылью революционного движения, с установлением во Франции господства буржуазного общества. В начале Великой революции Клошток, немецкий поэт, знаменательно назвал свою оду в честь французских событий: „Они, а не мы!“ („Sie, und nicht wir!“). Здесь восклицательный знак выражал сожаление.

Со времен якобинской диктатуры немецкие бюргеры все больше радовались, что они отстранены от реальной борьбы революции. Когда же выяснился подлинный результат буржуазной революции, когда сама история указала на ограниченный ее характер, разочарование мелкой буржуазии в немецких странах не знало пределов. В Германии все способствовало тому, чтобы падение иллюзий „третьего сословия“ было особенно мизерабельным. Мелкобуржуазная интеллигенция не имела опоры ни в массах, инертных в то время, ни в промышленной буржуазии, экономически разбитой. Дворянство оживилось и начало широкую кампанию против германского вольнодумства. „Имперская“ роль Новалиса в истории пенского романтизма („император романтизма“, говорил о Новалисе Гете) объясняется именно всеми этими условиями Термидора, отразившегося в немецкой социальной жизни. Гейне и Метерлинк создали легенду о Новалисе как о тишайшем лирике, поэте туберкулеза и вечной любви. Для истории литературы Новалис важен не своей мистической преданностью памяти



Софии Кюн, но своей политической преданностью памяти феодализма и католической церкви.

С Новалиса начинается подлинная дворянская мобилизация в литературе Германии. Это похоже на анналы старой прусской армии. Еще Фридрих-Вильгельм I с помощью унтер-офицеров и полицейских тянул своих дворян на военную службу. Но затем дворяне стали ревностнее, и Фридрих II на смотрах в Восточной Пруссии с удовольствием и удивлением сказал: „Господи помилуй, сколько юнкеров!“ Эта тирада была бы вполне уместной и на смотре немецкой словесности в году, примерно, 1815-м. Дворянство по урокам революции оценило и этот род оружия — литературу. На целых двадцать лет бюргеры оттесняются в немецкой литературной жизни юнкерской плеядой Арнима, Клейста, Эйхендорфа, Фуке, фон-Лебеа, послуживших в меру сил интересам своего класса.

Однако же дело не исчерпывалось одною деятельностью дворянской литературы. Старые социальные силы Германии успели подчинить себе и часть бюргерской интеллигенции в ее различных группировках. Этот процесс происходил медленно и неравномерно, и все же тенденция его была дана заранее. Повернув свою работу против идей просветителей, углубляя критику буржуазных отношений, бюргерские романтики по всей тогдашней исторической ситуации оказались пособниками интересов дворянства, которое добивалось реванша за весь моральный урон, нанесенный ему освободительным движением века. Их антибуржуазность работала на дворянство и церковь, жаждавших полной реставрации. Эта логика истории нашла себе выражение даже в *биографиях* романтиков — в позднейшем католичестве Фридриха Шлегеля и Шеллинга.

В начале восьмисотых годов людям из иенского содружества еще не было ясно, в чью пользу они трудятся, они полагали, будто они на смену просветителям готовят „новый век“, более чудесный, чем утопия Канта, Фихте, Шиллера, Винкельмана. Романтическая критика идеологии XVIII века была сильна в той мере, в какой романтик давал к ней повод. До известной степени романтики распознали противоречия между фактическим состоянием буржуазного общества и бур-

жуазными представлениями о нем, указали, где иллюзии и где действительность. Уже „ирония“ Шлегеля многое осветила в этом отношении. Шеллинг, отколовшийся от философии Фихте, пишет о формализме этой философии, об антиреальной картине мира, представленной в ней. „Вещи“ в этой философии суть только „мыслимые вещи“, „абстрактный человек“, субъект „вообще“ — центральный герой системы Канта и Фихте — является совершенной фикцией; под „серой сетью“ (термин Новалиса) морали равенства скрывается мир разрозненных эмпирических людей; все усилия изменить этот мир моральными предписаниями неспособны сдвинуть в нем и камня.

Буржуазный индивидуализм эпохи Просвещения со всеми его близкими и дальними последствиями был взят романтиками как основной объект нападения. „Грубый эгоизм“, „французская манера“ — говорил Новалис.

В философии, в конкретных науках романтики широко применяют метод диалектики. В естествознании Шеллинг дает первый набросок позднейшей эволюционной теории, он же на исторической основе возводит свое эстетическое учение. Работы Шлегелей, посвященные вопросам искусства и литературы, тоже проникнуты сознательным историзмом.

В конкретном применении идей диалектики и в историзме заключаются важнейшие заслуги романтической философии.

Разумеется, диалектика романтиков могла давать только некоторые результаты и то лишь в частностях. На состояние культуры XVIII века, его реальных знаний, на та общественная позиция, на которую смещались Шеллинг и Шлегели в эпоху феодализации романтизма, не могли дать полного и правильного развития методу диалектики. В одном отношении романтики разрушили неподвижность просветительского миропонимания — они решительно начали сближать области, до того разведиившиеся, сопоставлять неоднородные явления. Если старое знание XVIII века именно по принципу однородности подбирало „предмет“ данной дисциплины, замыкалось в изучении искусственно выделенных общих признаков, то романтики в сфере науки о культуре, в сфере эстетики например, сталкивали противоположные явления идеологии, науку с искусством, искусство с философией, фактами языка, фольклора и ми-

фотворчества. Самое понятие специальных областей исследования и цеховых научных специальностей они отвергали и указывали, что предмет науки составляет единый, целостный мир, в котором все связано и неделимо. В отдельных случаях романтики правильно уловили общую основу вещей, состоявших в противоречии друг другу. Шеллинг и Шлегели много сделали в вопросах общетеологического истолкования искусства, его стилей и форм, известных из истории; они подобрали „семантический ключ“ к искусству античности, средневековья, Ренессанса, классицизма и к реализму, пояснив философское содержание этих стилей, переведя их формальный язык на язык мировоззрения и тем самым подготовив многие существенные главы эстетики Гегеля. Им же принадлежит идея „общего искусствознания“. „Границы между живописью и поэзией“ из Лессингова „Лаокоона“ были разомкнуты. Были открыты переходы, родство там, где раньше предполагались „закрытые формы“, чуждые всякой общности. Таким же образом была уничтожена изоляция между отдельными эпохами художественного развития, отдельными стилями и жанрами.

Шлегели и Шеллинг довольно явственно ориентировали стили романтики как синтетический стиль, возникающий в борьбе и с классицизмом и с реализмом, новеллу сближали с романом, роман с эпосом, эпическую поэзию с драматической, где трагедия и комедия тоже находили друг друга как разошедшиеся, но родные сестры.

В борьбе с индивидуализмом просветителей романтики в своей теоретической и художественной работе трактовали человеческую личность как явление опосредствованное, носящее в себе миры традиций, духовных трудов предшествующих столетий: начало больших явлений заложено не в личном произволе; личность определена и к воле и к действию всем совокупным миром, который и старше ее и располагает большей властью. Новалис перевернул принципы буржуазного „романа воспитания“, каким он дан был в „Вильгельме Мейстере“ Гете. Для Гете важнейшая тема — это освобождение личности из-под власти „объективных институтов“; Мейстер готовится к выходу из сословия, которое ему дано, приобретает свой особенный, личный стиль и мыслит от собственного

разума. Офтердинген Новалиса воспитывается в обратном направлении. Символика „голубого цветка“ означает возвращение личности в объективный мир, из которого она исторгнута актом самосознания. Исторический и социальный мир, по Новалису, предшествует личности и, более того, — живет в ней неосознанною жизнью. Задача личного героя в том, чтобы раскрыться самому себе, довести до ясности неясные, но живые содержания собственного сознания, войти в осязаемую связь с прошедшим и с прошедшими поколениями, подружиться с искусствами и ремеслами своих сограждан, узнать Восток и Запад, обязанности сословий и науку мира и войны.

Также и романтическая наука непрестанно занята вопросом о происхождении явлений, об их традициях и об их „обязанностях“ к целому, в чьих недрах они возникли и за чей счет они развиваются.

Роман Новалиса интерпретирует жизнь средневековья. „Универсальная“ биография Офтердингена представлена как такой тип человеческого развития, который возможен в феодальных условиях и невозможен в условиях современности. Таким образом, романтизм находит свой социальный „климат“, благоприятствующий нормам и идеалам. После неудач Фридриха Шлегеля водворить романтику в современный „урбс“ предлагается пораженческий план Новалиса — нормы и идеалы отступают в глубь истории; в цехах, в сословиях якобы существовал и существует этот искомый тип полноценного человечества, целостного и универсально развитого. „Идиотизм“ примитивных общественных укладов, где в малых, убогих масштабах действительно осуществлялась видимая конкретная связь личности с коллективом и с традициями, эта „зависимая жизнь“, о которой восторженно писал Вакенродер, в настоящем состоянии романтизма выдается за высшее достижение человеческой истории и культуры.

Романтики отказываются от проникновения в сущность буржуазных отношений, от анализа реального положения вещей. Современному „индивидуализму“ („эгоизму“), не вскрыв стихийной энергии обобществления, свойственной буржуазному строю, они противопоставляют „золотые века“ коллективной

жизни, касается ли это некоего мифического „пра-народа“ (Новалис, „Ученики в Саисе“) или феодального города и деревни (тоже Новалис и Вакенродер).

Диалектика романтиков работала односторонне. Она разрушила деление вещей, установленное эмпирической наукой или же художниками-эмпириками и рационалистами. Но открыв переходы, взаимосцепления, всеобщую зависимость, романтики нигде и никогда не умели с этой высокой точки зрения „всеобщей жизни“ вернуться к опознанию отдельных предметов, как они даны в своих специальных условиях, в специальный момент развития. Если в эстетике они обнаружили, насколько зыблемы все границы рационального анализа, отделяющие живопись от поэзии, эпос от драмы, трагедию от комедии, то зато они не были в силах показать, что каждое из этих явлений существует в особом конкретном виде по мотивам исторической необходимости. В эстетике Шеллинга, например, неясно, почему же Софокл писал трагедии, Аристофан писал комедии, почему же существуют и живопись, и музыка, и поэзия, если по своей основе все искусство и жанры едины и равны друг другу. По выводам „философии тождества“ следовало, что мир индивидуальных явлений, меняющихся в истории свой облик, иначе очерченных в определенных исторических условиях, погибающих и возникающих, есть не более как наивный мираж. В философском смысле существует лишь неподвижное „всеобщее“, и весь этот мир развития и индивидуальностей следует трактовать как мир равнодушия, „индифференции“, несколько не присматриваясь к его особым различиям и приметам.

То же самое относилось к искусству. Буржуазный реализм, начавшись от Шекспира и Сервантеса, до Дефо, Фильдинга, Дидро, Лессинга трудился над тем, чтобы дать „неравнодушную“ картину мира, с выделенными характерами, обстоятельствами времени и места, с характерными подробностями. Поэзия „тождества“ считала все это искусство мелочным и упадочным и либо отказывалась от индивидуализации, как смутный и лирический Новалис, либо же за миром „фламандских“ подробностей открывала более высокое зрелище постоянных и всеобщих вещей — практика Ариима и Клейста.

Вражда к эмпиризму определялась и неспособностью и нежеланием феодализованного романтика справиться с наличной исторической действительностью, с конкретной наукой и с реалистическим искусством.

Новалис утверждал, что весь буржуазный этап в истории человечества есть сплошное заблуждение, отбрасывал успехи материальной цивилизации, технику и науку. Характерны экономические декларации Новалиса. В „Офтердингене“ он хвалит немецкую „милую бедность“ („liebliche Armut“). В статье „Вера и любовь“ он писал о том же: „Лучший из бывших монархов Франции хотел своих подданных сделать столь благополучными, чтобы каждое воскресенье они имели у себя на столе курицу с рисом. Но не следует ли предпочесть такую власть, при которой крестьянин охотнее ест заплесневелый хлеб, нежели при другой власти жаркое, и сердечно благодарен богу, что родился в этой стране?“ Так Новалис возражает буржуазной идее о „богатстве народов“, защищает Пруссию, хоть нищенскую, зато монархическую. В жалких полуфеодалных условиях Германии Новалис обещает клейнбургерам и их интеллигенции плановый строй общественных отношений, которого не дала буржуазная революция, обещает „гармонию“ интересов и благодать высшей культуры. Именно отсталость Германии и Новалис и Шлейермахер считают ее великим преимуществом, — ни английские, ни французские „крайности“ ей неизвестны. Август Шлегель в период своего пленения у идей Новалиса тоже брал под защиту немецкий упадок:

„Легко смеяться над той неважной ролью, которую мы сейчас играем в мировой истории, над недостатком в энергии, над разорванным, зависимым и запутанным состоянием Германии. Но следует подумать, не смеются ли над вещами, весьма почтенными в своей основе? Немецкое устройство есть последний сохранившийся остаток средневековья: это устройство пережило самого себя, потому что оно основывалось на добродетели, на простоте отношений и на мощной любви к свободе. Без них оно лишается своего значения, но из привязанности к обычаю предпочли подпереть падающее здание и не строить новое от самого его основания.“

Германию можно вообразить старою почтенною матроною, которая неподвижно охраняет могилу прошлого, опечаленная, с развеванными волосами, в небрежных одеждах, лишенная украшений. Все еще не может она поверить, что прошлое не просто дремлет, но скончалось на самом деле“ („Берлинские чтения“).

Выбрасывая техническое, эмпирическое знание, „индивидуализирующий“ и аналитический метод, достижениями которого гордились просветители, романтики уничтожили в конечном счете своих работ и все успехи, принесенные применением диалектики.

Очень скоро диалектика, из которой они изъяли принципы реального развития во времени и относительной индивидуальности явлений, была подменена интуитивизмом, учением о непосредственном знании. Интуитивизму учили Новалис и Вакенродер, теоретическое обоснование дали ему Шлейермахер и Шеллинг. Учение о тождестве, взятое с его гносеологической стороны, предпосылалось теории интуитивизма. Если субъект познания и предмет познания „тождественны“, то все содержание объективного мира сполна доступно познающему человечеству, и доступно без всяких трудов анализа и опосредствования: во внутреннем человеке, равном, тождественном внешнему миру, этот внешний мир уже заранее содержится; следовательно, вся задача в том, чтобы вызвать „воспоминания“, привести в движение этот скрытый в сознании мир. Раскрытие „голубого цветка“ в „Офтердингене“ Новалиса и состоит в таком самопогружении индивидуального человека, который старается „вспомнить“ затонувшие в нем миры истории и природы.

Действительное познание романтики подменяют вчувствованием, вложением в объект случайных эмоций и оценок, вслед затем объясняемых сущностью вещи и ее „душой“.

Так, окончательное решение вопроса о „целостном“ сознании романтики находят в интуитивизме, этом бывшем, деградировавшем „разуме“ Канта и Фихте; совмещение противоположностей „не-я“ и „я“, чувственности и рассудка, отдельных рассудочных определений, обещанное в учении о „разуме“, подменяется субъективизмом и мистическим произволом. От интуи-

ши был близок переход к „чувству и вере“ в конфессиональном смысле, к церкви и церковной догматике.

Об искусстве Шеллинг и Шлегели пишут как о познании интуитивном по преимуществу — интуитивистская эстетика Шопенгауера, Бергсона, Кроче в значительной степени восходит к положениям Шеллинга. Здесь видна вся история проблематики искусства в немецком XVIII веке. Кант и Шиллер учили о стихийном разуме, стихийной диалектике, свойственной образу искусства. Это же заставляло их отдалять искусство от остальных явлений культуры, где господствуют анализ и абстракция. Романтики вступились за искусство, и это было очень важным мотивом для многих из мелкобуржуазных поэтов и художников, принявших феодальную программу Новалиса: им казалось, что, перемещаясь на позиции прошлого, они спасут искусство, его роль и значение в общей идеологической культуре (так, для Августа Шлегеля и Тика отчасти эстетические мотивы были главнейшими, приведшими их к феодализованному романтизму). Но интуитивистское истолкование искусства, соответствующая практика еще решительней отдаляли искусство от философии и науки, превращали его в келейное, камерное занятие, без отклика в круговороте новой цивилизации.

И здесь романтики, стараясь обогнать просветителей, в последних своих выводах глубоко отстали от них.

Интуитивизм относится к „положительному“ содержанию „реальной“ романтики, не удовлетворенной критикою культуры и искусства минувшего века, озабоченной тем, чтобы строить собственное „здание“.

Особый романтический позитивизм с его неизбежными спутниками — дворянской реакцией и поповщиной — до конца развился в гейдельбергской школе, во главе с Арнимом, Brentано, с примыкающими Эйхендорфом, Герресом, братьями Гримм. Клейст, несколько стоящий в стороне, в известных отношениях перекликается с гейдельбержцами, как и друг его Адам Мюллер, важнейший представитель „политической романтики“, откровеннейшей пропаганды в пользу монархии, помещиков и церкви.

Гейдельбергские романтики прокламировали национализм и



национальную эстетику. Их национализм имел смысл охраны знаменитых немецких „своеобразий“, всех признаков Германии как страны крестьянско-феодалной, отличной от машинного и парламентского Запада. Исходя из национального фольклора, гейдельбержцы создали устойчивую систему общеобязательных „интуитивных“ форм и отношений. В понимании Шлегелей или Шеллинга содержание тех „вчувствований“ и оценок, которыми надлежало „оживлять“ реальные вещи и вносить в них смысл, было индивидуально свободным, ненормированным.

Поэт своей личной эмоцией наделял действительность. Гейдельбержцы требовали, чтобы поэзия оценивала и воспринимала мир не с индивидуального угла зрения, но в свете форм и эмоций, заимствованных из национальной традиции, из фольклора или религиозной догматики. В действительность „вкладывались“ устаревшие представления о ней, и они должны были сойти за сущность ее, ощутимую „непосредственно“, до того, как живых вещей коснулись анализ и опосредствующая критика. Консерватор Арним с мистическим дивизмом живописал мир в его отчаянном несоответствии с нормами фольклорной идеологии и старофеодалных поверий и легенд. „Цельность“ образа, поставленная во главу угла романтических эстетик, здесь невозвратно разрушилась. Но гейдельбергская „интуиция“ давно разнакомилась с кантовским „разумом“, своим отдаленным предтечей. Кроме того, для гейдельбергских романтиков уже были недействительны обещания, сделанные в Иене. Французская революция, грозный соперник, которого надеялись превзойти,— эта революция продолжалась по-прежнему: Наполеон вел войны на территориях Германии. Немцы были вовлечены в реальную политику, перед которой отступали философские и культур-философские неразрешенности пенского периода. Хотя писания гейдельбергских романтиков кажутся нетрезвыми и дикими, на деле и темы их и метод работы гораздо „прозаичней“, чем у сотоварищей Шеллинга и Шлегелей.

Дело шло не о пленении кляйн-бюргерских интеллигентов мечтой о серебряной эре художеств и наук,— дело шло об удержании немецкого крестьянства в легальных границах, а для некоторых — как для Клейста — дело шло о самой про-

заческой вещи на свете — о сговоре юнкерства с отечественной буржуазией на основе „правового государства“.

Изучение фольклора, народного языка, поэзии, сказок, народных книг, собирательство, публикации, филологические штудии — вся эта работа гейдельбергских романтиков, несомненно, имела положительное значение. О тех *знаниях*, которые были приобретены в этот период, Маркс писал Энгельсу: „...С человеческой историей происходит то же, что с палеонтологией. Вещи, лежащие под носом, принципиально, благодаря *acertain judicial blindness*, не замечаются даже самыми выдающимися умами. А потом, когда наступает время, удивляются тому, что замечают всюду следы тех самых явлений, которые раньше совсем не привлекали внимания. Первая реакция против французской революции и связанного с нею просветительства была естественна; все получало средневековую окраску, все представлялось в романтическом виде, и даже такие люди, как Гримм, не свободны от этого“ (письмо от 25 марта 1868 г.).

Гейдельбергские романтики открыли „следы“ народного искусства и поэзии, пропагандировали их как основу для современных художников. Но их открытие повернулось против них же. Их фальшивое народничество, народничество юнкеров и феодальных дворян, эксплуатирующих отсталость крестьянской массы, не в силах было использовать те средства, которые ими же были подготовлены. Фольклорные материалы Арнима и Brentano послужили *демократической* поэзии Генриха Гейне и других политических лириков. Эти поэты имели больше данных, чтобы „сговориться“ с народом и спеться с его песнью, нежели демагоги из Гейдельберга.

С другой стороны, в подъеме буржуазной культуры в первую треть XIX века немалую роль сыграла также и романтическая критика. Отвечая на ее требования, Бауэзак, Шендаль, Вальтер Скотт, историки эпохи Реставрации, Сен-Симон, Гегель создали искусство и науку, далеко выходящие за пределы романтического стиля и успешно одолевшие многие трудности, неустранимые для романтиков. Однако для дальнейшего развития падающей буржуазной идеологии романтические масштабы и постулаты оставались вызывающим и критическим напоминанием. Если романтики имели материал для возражений

великим просветителям XVIII века, то немало критической действительности было у них, поставленных лицом к лицу с вульгарными позитивистами, с натурализмом пятидесятих, шестидесятих и более поздних годов.

Но если романтики своей критикой устаревших литературных форм классицизма и ограниченного буржуазного рационализма просветителей дали импульсы для движения вперед в области литературы, то сами они были совершенно бесплодны в реализации выдвинутых ими же доктрин в области конкретного литературного творчества.

Энгельс всегда подчеркивал „мистическую форму“ романтического творчества (см., например, о Бахофене — „гениальный мистик“), его заблуждения и неспособность к решению конкретных задач. К этому следует добавить и реакционное использование дворянством и церковью „антибуржуазного“ содержания романтизма, сузившее его возможности и без того ограниченные объективно-историческими условиями.

Очень важны замечания Энгельса о романтическом историзме, сделанные в письме к Мерингу: „Курьезнее всего, что на правильное понимание истории in abstracto мы наталкиваемся у тех самых людей, которые беспощадно коверкают историю как в теоретическом, так и в практическом отношении, когда они занимаются конкретными явлениями“ (письмо от 8 сентября 1892 г.). Речь шла о романтике Лявернь-Пегильене, в исторической работе которого Меринга заинтересовали некоторые соображения о связи хозяйственных и государственных форм. На запрос Меринга, были ли Энгельс и Маркс знакомы с *политической* романтикой, то есть с той частью ее, где суммировались все „положительные“ приобретения школы и где результаты ее работ закреплялись за реакционно-дворянскими интересами, Энгельс отвечал в том же письме: „Книгу Марвица (один из политических романтиков — Н. В.) я просмотрел всего несколько лет тому назад, но не нашел в ней ничего другого, кроме превосходных сведений по части кавалерии и непреклонной веры в чудодейственное влияние на черный народ кнута, пускаемого в ход дворянством.

...что касается Маркса, то он познакомился с сочинениями Адама Мюллера, „Рестаурацией“ фон-Галлера и т. д. в бонн-

ский и берлинский периоды своей жизни; он говорил с заметным презрением об этой пресной, болтливой и напыщенной копии французских романтиков Жозефа де-Местра и кардинала Бональда“.

Уже в XIX веке немецкий романтизм, исходя из своей доктрины, поддерживал реакционные течения мысли и литературы. Так обстояло дело, например, со славянофильством, этим виднейшим явлением романтизма в России, ориентированного на германские образцы и школу. От политической романтики тянутся черные традиции мистицизма и теократии через Тютчева, Киреевского, Хомякова, Аксакова к Достоевскому и Соловьеву.

На переходе к XX веку наследие романтизма оживилось, в девяностых и девятисотых годах появляются в самой литературе движения, отдаленно родственные старым поэтам Иены и Швабии.

„Неоромантика“ этого периода означала отказ империалистической буржуазии от своего недавнего либерально-позитивистского прошлого, от реализма и наукообразного стиля в искусстве. И здесь тоже преобладал интерес к результативной стороне романтики. Вначале к тем элементам импрессионистического искусства, утонченной субъективности, которыми богаты Новалис, Тик, Brentano, по замыслу и по программе „объективисты“ и приверженцы универсальных норм, по итогам практики предтечи ограниченно личного лиризма новейших упадочников. И буржуазная наука и буржуазная критика относились нейтрально к культур-философским замыслам старого романтизма, неспособные ни ощутить их пафоса, ни объяснить их возникновение, взаимную связь и роль идеологической жизни XVIII века.

В лучшем случае, как у Вальцеля, дело сводилось к случайному пересказу „теорий“ и „взглядов“, неизвестно зачем возникших и неизвестно почему оставшихся без последствий.

Рикарда Гух, вместе с Вальцелем стоявшая во главе довоенных исследований романтизма, занялась импрессионистическим портретированьем романтиков, старших и младших. Сама она принадлежала к плеяде неоромантических писателей

и, соответственно канонам этой эпохи Гофманстала, Рильке, Шнитцлера, была убеждена, что существо дела в лирической личности деятелей Гейдельберга или Иены, освобожденных от условий времени и от исторических обстоятельств.

Ни теоретические мечтания романтиков, ни их всемирные „конструкции“, поднятые над средним уровнем буржуазной культуры, не находили себе сочувствия и истолкованья; зато „лирические итоги“ школы, которые были ниже того, что мог предложить научный и реалистический буржуазный прогресс, оказались нужными империалистической идеологии, в эту пору скептически интерпретировавшей достижения буржуазии XIX века. Именно с этих позиций продолжалось изучение наследства романтиков, несоразмерно разраставшееся от десятилетия к десятилетию. Юлиус Петерсен заявлял, что немецкое литературоведение XX столетия и история романтизма покрывают друг друга. Реакционные группировки послевоенной Германии эксплуатировали авторитет романтики во всех своих предприятиях, политических, культурных, конфессиональных — иезуиты и католические патеры тоже претендовали на роль исследователей, как Алоиз Штокманн например, автор двух толстых книг о романтизме, особо пристрастный к Клеменсу Брентано, или же Иозеф-Август Люкс, сводивший счеты в трактате о романтиках с „протестантским“ литературоведением, фетишизирующим, по его мнению, Лютера, эпоху просвещения и натурализм, вместо того чтобы все внимание отдать немецкому романтизму, чей „сомкнутый фронт тянется от Рейна и до Дуная“.

Фашизм сконцентрировал в себе тенденции империалистической идеологии, и у фашистских теоретиков эксплуатация „позитивной“ романтики ведется с величайшим размахом. Фашистская пропаганда старается мобилизовать в пользу третьей империи и Шиллера, и Гете, и Гегеля, и романтиков — в этом смысле романтики не составляют исключения. Очевидно, закон о введении воинской повинности коснулся и классиков немецкой литературы. Во всяком случае даже Герберт Цизарж, шеголяющий просвещением, хлопочет о казарменном ореоле для Шиллера и уже семь лет тому назад возвестил, что в каждой

сцене трагедий Шиллера находится „могила неизвестного немецкого солдата“ \*. Шиллера национал-социализм с полной уверенностью в своем благородном происхождении зачислил в „отцы“. Вальтер Линден, автор книги о задачах национал-социалистского литературоведения, отобрал из романтиков когорту, годную для службы Гитлеру. По преимуществу это „младший возраст“ — гейдельбергское поколение (Брентано, Адам Мюллер, Геррес). Более раннюю романтику, годы 1798—1802, Линден не берет, считая, что она носила ниспровергательский характер и заразилась идеями Великой революции \*\*.

Документом литературных мнений фашизма является „История немецкой литературы“ Адольфа Бартельса, вышедшая в 1934 году тринадцатым и четырнадцатым изданием. В ней около восьмисот страниц, в ней написано „все и о обо всем“. Адольф Бартельс уже давно добивался признания, но стать центральным человеком литературоведения ему удалось только при третьей империи. Он сам сейчас напоминает о своих заслугах — в темные годы, когда в Германии господствовали евреи и социал-демократы, он уже предчувствовал Гитлера и писал пунктуально то же самое, чему сейчас учит вождь.

Главная задача его книги, рекомендованной фашистским начальством, заключается в том, чтобы отличить в немецкой литературе немца от еврея. Как объясняет сам Бартельс, он работает критерием северогерманской крови и народности. Он разобрал по собственному подсчету три тысячи четыреста писателей и поэтов и о каждом выяснил, семит он или не семит. Может показаться, что неумытый Массман, тевтономанигимнаст, описанный десятки раз у Генриха Гейне, получил отсрочку смерти на столетие, с тем, чтобы писать труды для третьей империи. Впрочем, старый Массман может не беспокоиться — у третьей империи своих таких же профессоров имеются целые батальоны.

Бартельс подробно касается и романтики. Так как индиви-

---

\* *Herbert Cysarz, Von Schiller zu Nietzsche, 1928.*

\*\* О Линдене — см. статью Ф. П. Шиллера, „Современное литературоведение. фашизма“, „Литературный критик“, 1934, № 1.

дуального в Бартельсе ничего не содержится, так как весь он со своими истребительными инстинктами устроен по Брему, то суждения его являются фашистско-типовыми.

„Я не могу этого отрицать, по крайней мере для меня ранняя романтика имеет оттенок „декаданса“\*, и ее вожди моими симпатиями не пользуются“ (стр. 230).

„Не в границах 1796 года, но в границах 1806 года следует искать истинно романтическую немецкую молодежь“ (там же).

Симпатии Бартельса на стороне некоторых гейдельбержцев и в особенности на стороне поэтов так называемых освободительных войн — эпохи, излюбленной фашистами. Ранняя романтика, помимо своих связей с французской революцией, грешна, по Бартельсу, еще своими еврейскими знакомствами. Фридрих Шлегель был женат на Доротее, дочери Мендельсона, и эта Доротея была автором „в корне нездорового“ романа „Флорентин“. Шлейермахер дружил с еврейкой Генриеттой Герц. Рахиль Фарнгаген тоже относилась к романтическому кругу. „Начиная с этих пор и датируется влияние еврейства на нашу поэзию, влияние, затем едва ли прерывавшееся и не раз достигавшее опасных размеров“ (стр. 243). Таким образом, иенские романтики чуть ли не инициаторы величайшего несчастья немецкой литературы.

Фашисты переместили акцент интересов с иенской романтики на позднейшие периоды и главным образом на политическую романтику, с Адамом Мюллером во главе. Вообще художественная практика романтиков не слишком привлекает фашистов. Искусство с его особыми условиями, связанное воспроизведением действительности, либо не в силах реализовать ирреальные замыслы, либо же в самом произведении искусства перевернутые отношения объективного мира сами, независимо от автора, устанавливаются в их правильном и подлинном виде.

Поэтому и самому фашизму не дается никакая собственная художественная литература, поэтому он не может довериться и чужому художественному опыту — для него предпочтитель-

---

\* Одно из самых страшных слов в словаре Бартельса. Декаданс — читай „еврейство“.

нее голые высказывания, манифест и декларация. Завершая тенденции империалистической буржуазии, фашисты реставрируют политическую романтику как последнее слово в „положительной части“ учения школы. Даже фон-дер-Марвиц, этот отмеченный Энгельсом лошадиник и кнутобоец, находит благодарных исследователей.

Известный австрийский теоретик фашизма О. Шпан в своих работах по вопросам права, государства и хозяйства списывает из Адама Мюллера тезис за тезисом. Как и Мюллеру, романтическая идея „целостности“ служит ему для обоснования первенства государства над индивидуумом. Как Адам Мюллер, он мечтает о феодализации современного общества, с той разницей, что Адам Мюллер рассчитывал на подавление буржуазии, а Шпан рассчитывает на подавление пролетариата.

Национализм гейдельбержцев и поэтов „освободительной войны“ вторит повинизму фашистов, которые готовят реваншистскую войну и озлобленно борются с международной идеологией движения пролетариата. В области культурной политики национализм дает бесцеремонный критерий „германского“ и „не-германского“, с чьей помощью фашизм довершает духовное разорение Германии и истребляет оппозиционное творчество.

*Н. Берковский*





# **ФРИДРИХ ШЛЕГЕЛЬ**



## ЛЮЦИНДА

### Пролог

С улыбкой умиления обозревает и открывает Петрарка собрание своих бессмертных романсов. Вежливо и любезно беседует мудрый Бокаччо со всеми дамами в начале и в конце своей богатой книги. И даже великий Сервантес, будучи старцем и уже в агонии, все еще дружелюбный и преисполненный тонкого остроумия, облачает пестрое зрелище своих полных жизнью произведений драгоценным ковром вступления, которое само по себе является прекрасной романтической картиной.

Извлеките великолепное растение из плодотворной материнской почвы, и многое любовно прильнет к нему, что только скряге может показаться излишним.

Но что может дать мое вдохновение своему детищу, которое, подобно ему, так бедно поэзией и так богато любовью?

Только одно слово, один образ на прощание: не один только царственный орел смеет презрительно относиться к карканью воронья; лебедь столь же горд и также его не замечает. Его не беспокоит ничто, кроме того, чтобы блеск его белых крыльев оставался незапятнанным. Он думает лишь о том, чтобы благоговейно прильнуть к коленам Леды и чтобы все, что в нем есть смертного, выдохнуть в песне.

## Исповедь неловкого

Ю л и й — Л ю ц и н д е

Люди, со всем тем, чего они хотят и что они делают, представились мне, когда я о них вспомнил, пепельно-серыми фигурами, лишенными движения; но в окружавшем меня священном уединении все состояло из света и красок, и свежее теплое дыхание жизни и любви оведало меня, и шелестело, и шевелилось в каждой веточке пышной роши. Я взирал и одинаково наслаждался всем: и сочной зеленью, и белыми цветами, и золотыми плодами. И так я видел внутренним оком единственную, вечно и безраздельно любимую во многих образах: то в виде ребячливой девушки, то в виде женщины в полном расцвете и энергии любви и женственности, и потом в виде достойной матери с серьезным мальчиком на руках. Я вдыхал весну, ясно видел я вечную молодость вокруг себя, и, улыбаясь, сказал я: „Если мир является далеко не лучшим или полезнейшим, то все же я знаю, что он является прекраснейшим“. В таких моих чувствах или размышлениях меня ничто не могло бы потревожить, ни всеобщее сомнение, ни собственный страх. Я уверен был в том, что мне удалось проникнуть углубленным взором в сокровенные недра природы; я чувствовал, что все вечно живет и что смерть тоже дружелюбна и является лишь иллюзией. Однако я об этом не слишком размышлял, по крайней мере

к членению и расчленению понятий я был не слишком склонен. Но я охотно и глубоко терялся во всех сочетаниях и сплетениях радости и боли, которые придают вкус жизни, интенсивность впечатлению и являются источником духовного сладострастия и чувственного блаженства. По жилам моим струилось тонкое пламя; то, о чем я мечтал, было не только поделуем, объятием твоих рук, то было не только желанием уничтожить мучительное жало тоски и охладить сладостный пыл в обладании; не только по губам твоим я томился, или по глазам твоим, или по твоему телу: то была романтическая спутанность всех этих моментов, чудесная смесь разнообразнейших воспоминаний и томлений. Все мистерии женского и мужского своеволия, казалось, витали вокруг меня, когда меня, уединенного, внезапно всецело загло твое подлинное присутствие и мерцание цветущей радости на твоем лице. Шутки и восторги стали тут чередоваться и превратились в единый пульс нашей объединенной жизни; мы обнимались столь же свободно, как и благоговейно. Я очень просил, чтобы ты хоть однажды всецело предалась страсти, и я умолял тебя сделаться ненасытной. Тем не менее я прислушивался со спокойной рассудочностью к каждому чуть слышному проявлению радости, чтобы ни одно из них от меня не ускользнуло, чтобы не допустить прорыва в гармонию. Я не просто наслаждался, но я ощущал и наслаждался также и наслаждением.

Ты так необыкновенно умна, любимейшая Люцинда, что ты, вероятно, давно уже пришла к заключению, что все это только чудный сон. К сожалению, это так и есть, и я был бы безутешен, если бы мы в близком будущем не смогли осуществить его, хотя бы частично. В действительности же было только то, что я перед этим стоял у окна; как долго — этого я точно не знаю, так как вместе со всеми правилами рассудка и нравственности я утратил также и способность к учету времени. Итак, я стоял у окна и смотрел на волю; утро во всяком случае заслуживает того, чтобы назвать его чудным:

воздух тихий и достаточно теплый; зелень здесь передо мной совершенно свежа; и сообразно тому, как широкая равнина то поднимается, то опускается, спокойный, широкий серебристо-светлый поток извивается большими взмахами и дугами до тех пор, пока он вместе с фантазией влюбленного, подобной качающемуся на нем лебедю, не углубится в даль и медленно не потеряется в необъятном. А возникновение роши с ее южным колоритом в моем воображении обязано, вероятно, большой купе цветов, находящейся здесь, рядом со мной, среди которой имеется достаточно апельсиновых. Все остальное легко поддается психологическому объяснению. Это была только иллюзия, милая подруга, все это — иллюзия, кроме того, что я перед этим стоял у окна и ничего не делал, и что я сейчас сижу здесь и делаю нечто, что также является немногим более или скорее даже менее, чем ничегонеделанием.

---

То, о чем я говорил сам с собой, было описано тебе вплоть до этого момента, как вдруг посреди моих нежных мыслей и глубокомысленных чувств, содержанием которых являлось столь же изумительное, сколь и запутанное драматическое соответствие наших объятий, я был прерван нелепым и нелюбезным случаем. Он прервал меня именно тогда, когда я намеревался в ясных и подлинных периодах развернуть перед тобой точную и обстоятельную историю нашего легкомыслия и моей меланхолии; я намеревался также построить чем далее, тем более исчерпывающее в силу естественных закономерностей разъяснение наших недоразумений, относящихся к сокровенному средоточию тончайшего бытия, и описать многообразные результаты моей неловкости, а также ученические годы моей возмужалости. Эти годы я не могу обозревать ни в целом, ни в отдельных частностях без многих улыбок, без некоторой тоски и достаточного самоудовлетворения. Однако я хочу попробовать в качестве образованного любителя и писателя изобре-

зять грубую случайность и превратить ее в целесообразность. Но для меня и для этой рукописи, для моей любви к ней и для ее построения как такового нет цели целесообразнее той, чтобы я с самого же начала уничтожил то, что мы называем порядком, отдалился от него, определенно присвоил себе право создавать очаровательное смешение и это право проявил на деле. Это тем более необходимо, что материал, который наша жизнь и наша любовь сообщают моему вдохновению и моему перу, является столь неудержимо нарастающим и столь неуклонно систематичным. Если бы дело сводилось к форме, то это в своем роде единственное письмо приобрело бы в силу этого невыносимое однообразие и монотонность и утратило бы то, чем оно хочет и чем оно должно быть: изображением и дополнением прекраснейшего хаоса возвышенной гармонии и интересных наслаждений. Итак, я пользуюсь моим неоспоримым правом на смешение для того, чтобы вложить сюда на совсем неподлежащее место один из тех многих разбросанных листков, который я под влиянием тоски или нетерпения, не найдя тебя там, где вернее всего должен был бы найти,— в твоей комнате, на нашей кушетке,— заполнил или испортил пером, только что употребленным тобою, первыми подвернувшимися словами,— листок, который ты, добрая, без моего ведома заботливо сохранила.

Выбор не будет для меня трудным. Он падает на дифирамбическую фантазию о прекраснейшей ситуации, ибо из числа мечтаний, уже поведенных бессмертным буквам и тебе, воспоминание о прекраснейшем мире является наиболее содержательным, и прежде всего потому, что оно обладает известного рода сходством с так называемыми мыслями. Ведь если только мысль о том, что мы живем в прекраснейшем из миров, переходит в определенную уверенность, то неоспоримо, что прежде всего у нас является потребность самим или через других основательно ознакомиться с прекраснейшей ситуацией в этом прекраснейшем из миров.



### Дифирамбическая фантазия о прекраснейшей ситуации

Крупная слеза падает на священный листок, который я нашел здесь вместо тебя. Как верно и просто ты ее обрисовала, эту смелую давнюю мысль о самом дорогом и сокровеннейшем моем намерении! В тебе она возросла, и в этом глубоком зеркале я не боюсь самим собою восторгаться и самого себя любить. Только здесь вижу я себя полно и гармонично, или, вернее, во мне и в тебе я вижу целиком все человечество. Ибо и твой духовный облик тоже обрисовывается передо мной очень определенно и законченно; это уже не отдельные черты, которые появляются и расплываются; но в виде одного из тех образов, которые длятся вечно, радостно смотрит он на меня из открытых глаз и раскрывает объятия, чтобы заключить меня в них. Изо всех тех нежных черт и проявлений души, которые для того, кто не знает высшего, уже сами по себе являются блаженством, самые мимолетные и самые святые являются лишь общей атмосферой нашего духовного дыхания и нашей духовной жизни.

Слова бледны и тусклы; кроме того, в этом наплыве образов я должен был бы на всевозможные лады повторять все то же неисчерпаемое переживание нашей первоначальной гармонии. Великая будущность торопливо зовет меня дальше в безграничность, каждая идея раскрывает свое лоно и разворачивается передо мной в бесчисленных новых рождениях. Крайности безудержного веселья и тихого предвкушения одинаково мне присущи. Я вспоминаю обо всем, даже о страданиях, и все мои прежние и будущие мысли поднимаются и восстают против меня. В разбухших жилах волнуется буйная кровь, уста жаждут соединения; и среди многих образов наслаждения фантазия ищет и выбирает и не может найти ни одного, который бы, наконец, удовлетворил и насытил желание. И потом внезапно я снова

с чувством вспоминаю о том мрачном времени, когда я все только ждал, не имея надежды, и пылко любил, не подозревая об этом; когда мое внутреннее состояние всецело изливалось в неопределенную тоску, которая только изредка проявлялась в полуподавленных вздохах.

Да! Тогда бы я счел сказкой, что есть такая радость и такая любовь, какие я теперь ощущаю, и такая женщина, которая была бы мне совершенной подругой. Ведь я особенно в дружбе искал всего того, чего мне не доставало и чего я не надеялся найти ни в одном женском существе. В тебе я нашел все и даже больше того, о чем я мог мечтать: ты ведь не такая, как другие. То, что привычкой или капризом определяется как женское, тебе абсолютно не свойственно. Помимо небольших особенностей, женственность твоей души состоит лишь в том, что для нее жить и любить означает одно и то же; все переживается тобою полноценно и безгранично, тебе неведом внутренний раскол, твое существо едино и нераздельно. Поэтому ты так серьезна и так радостна, поэтому ты принимаешь все так широко и так небрежно, и поэтому ты и любишь меня целиком, не оставляя ни одной частицы моей государству, потомству или друзьям-мужчинам. Все принадлежит тебе, и мы везде наиболее близки друг другу и лучше всего понимаем друг друга. Все ступени человечества проходишь ты рядом со мной, начиная от самой безудержной чувственности, вплоть до просветленнойшей духовности. И только в тебе наблюдал я подлинную гордость и подлинную женскую покорность.

Даже величайшие страдания, если бы только они на нас обрушились, не разлучая, показались бы мне не чем иным, как очаровательным противопоставлением высокому легкомыслию нашего супружества. Почему бы нам не принять жесточайшую причуду случая как прелестную шутку и дерзновенную прихоть, если мы бессмертны, как сама любовь? Я уже больше не могу сказать „моя любовь“ или „твоя любовь“; обе они одинаковы и

слиты воедино, являясь в равной мере любовью и взаимностью.

То, что нас связывает, это — брак, вечное единство и соединение наших душ не только в пределах того; что мы называем тем или иным миром, но и по отношению к подлинному, нераздельному, безмянному и безграничному миру, ко всему нашему бессмертному бытию, ко всей нашей беспредельной жизни. Поэтому я был бы готов, если бы это показалось мне своевременным, так же радостно и так же легко осушить с тобою чашку лавровишневой воды, как и последний стакан шампанского, которое мы пили вместе с тобою, с теми же произнесенными мною словами: „Итак, давай выпьем остаток нашей жизни“.— Так сказал я и поспешно выпил, прежде чем выпенился благороднейший гений вина; и,—говоря снова,— пусть будут такими же наша жизнь и наша любовь. Я знаю, что и ты не захотела бы меня пережить; ты последовала бы за опередившим тебя супругом даже в могилу и сошла бы ради удовольствия и любви в пылающую бездну, куда яростный закон ввергает индийских женщин, грубой преднамеренностью и насилем оскверняя и разрушая нежнейшие святыни своеволия.

Там, может быть, тоска найдет себе более полное успокоение. Я часто удивляюсь вот чему: каждая мысль и все то, что помимо этого в нас возникает, кажется в самой себе завершенной и нераздельной, как личность; но вот одно вытесняет другое, и то, что являлось только что во всей полноте в пределах настоящего, вскоре погружается обратно во мрак. И вслед за этим ведь снова бывают мгновенья внезапной исчерпывающей ясности, когда многие такие элементы внутреннего мира путем чудесного соединения полностью растворяются в единстве, и некий, уже забытый кусок нашего „я“ освещается новым светом и бросает отблески этого яркого света даже в темную ночь нашей будущности. То, что верно по отношению к маленькому, то применимо, по моему, также и к большому. То, что мы называем

жизнью, является для всей бессмертной индивидуальности лишь отдельной мыслью, нераздельным чувством. Но даже и ей дарованы такие мгновенья глубочайшего и полноценного сознания, когда все перевоплощения перед ней раскрываются, по-иному перемешиваются и разделяются. Мы оба когда-нибудь пойдем в качестве единой индивидуальности, что мы являемся цветами одного и того же растения или же лепестками одного и того же цветка, и мы с улыбкой будем тогда сознавать, что то, что теперь мы называем только надеждой, по существу говоря, являлось воспоминанием.

Знаешь ли ты еще, каким образом первое зерно этой мысли взросло в моей душе перед тобою и тут же укоренилось также и в твоей?— Так религия любви сплетает нашу любовь все теснее и крепче воедино, так ребенок, подобно эху, удваивает радость своих нежных родителей.

Ничто не может нас разъединить, и уж конечно, каждое отдаление только сильнее рвануло бы меня к тебе. Я представляю себе, как во время последних объятий под наплывом жестоких противоречий я разражаюсь одновременно слезами и смехом. Я бы тогда затих и в своего рода одепенении не поверил бы, что я с тобою разлучен, покуда новые предметы вокруг меня не убедили бы меня в этом против моей воли. Но тогда моя тоска неудержимо возрастала бы до тех пор, пока я на ее крыльях не погрузился бы в твои объятия. Попробовали бы только слова или люди посеять между нами недоразумение! Глубокая боль была бы непродолжительной и скоро бы разрешилась в еще более полноценную гармонию. Я так же мало обратил бы на него внимания, как любящая возлюбленная в энтузиазме сладострастия не обращает внимания на маленькую боль.

Как могла бы разлука нас разъединить, когда само наше совместное пребывание, сама действительность для нас слишком действительна? Мы должны шутками смягчать и охлаждать ее испепеляющий жар, и таким об-

разом остроумнейший из видов или ситуаций нашего наслаждения является для нас одновременно и прекраснейшим: когда мы обмениваемся ролями и с ребяческой веселостью усердствуем в подражании друг другу, удастся ли тебе тогда лучше бережная пылкость мужчины или мне очаровательная покорность женщины? Но знаешь ли ты, что эта сладостная игра обладает для меня еще совсем особой прелестью, помимо своей собственной? Это не только сладострастие утомления или предвкушение мести. Я вижу в этом чудесную, значительную по смыслу аллегорю на тему о завершении мужского и женского начала до степени полной, целостной человечности. В этой аллегории заложено многое, и то, что в ней лежит, восстанет далеко не так быстро, как я, когда я лежу под тобою.

---

Вот это называется дифирамбической фантазией о прекраснейшей ситуации в прекраснейшем из миров! Мне известно довольно хорошо, как ты тогда нашла и приняла ее. Но мне думается, что я так же хорошо знаю и то, как ты ее здесь найдешь и воспримешь, здесь, в этой книжечке, в которой ты ожидаешь найти скорее правдивую историю, скромную правду, спокойную рассудительность, пожалуй, даже любезную тебе любовную мораль. „Как можно хотеть писать о том, о чем почти не дозволено говорить, о том, что следовало бы только переживать?“ Я ответил: „Если имеет место переживание, то должно явиться желание о нем рассказать, а то, что хочется рассказать, позволительно и написать“.

Я хотел бы прежде всего тебе доказать и обосновать то обстоятельство, что в природе мужчины в качестве изначального и врожденного заложен некий неуклюжий энтузиазм, который охотно вырывается по поводу всего нежного и святого, нередко неловким образом спотыкается благодаря своей собственной наивной поспешности и, одним словом, легко становится божественным до грубости.

Посредством этой аналогии мне, пожалуй, удалось бы спастись, однако это произошло бы, может быть, путем умаления всего мужского: ибо, как бы вы высоко ни судили о нем даже в единичном, вы всегда будете находить многое и многое против рода в целом. Однако я ни в коем случае не хочу иметь с этим родом ничего общего и лучше уж буду защищать или оправдывать свою свободу и свою дерзость только примером невинной маленькой Вильгельмины, так как она ведь тоже дама, которую я при том же нежнейшим образом люблю. Поэтому я хочу ее теперь же немного охарактеризовать.

### Характеристика маленькой Вильгельмины

Если рассматривать этого своеобразного ребенка не в связи с какой-либо однобокой теорией, но — как и следует — в основном и в целом, то про нее можно смело сказать, и, пожалуй, это будет самым лучшим из всего того, что вообще можно о ней сказать: она является одареннейшей личностью своего времени или своего возраста. И этим сказано немало: в самом деле, как редко встречается гармоническое развитие у двухлетнего человека. Наиболее сильным из множества убедительных доказательств ее внутренней законченности является ее радостная самоуверенность. После того как она поест, она старается, вытянув обе ручки на столе, опереть на них с шутливой серьезностью свою маленькую головку, делает большие глаза и лукаво оглядывает всю семью. Затем она выпрямляется с живейшим выражением прони и улыбается по поводу собственной хитрости и своего превосходства над нами. Вообще в ней много комедийности и много данных для этого. Если мне вздумается подражать ее движениям, она сейчас же передразнит мое подражание; таким образом, мы создали для себя мимический язык и понимаем друг друга посредством иероглифов изобразительного искус-

ства. К поэзии, как мне кажется, у нее гораздо больше склонности, чем к философии; так, она больше любит, чтобы ее возили, и только в крайнем случае путешествует пешком. Жесткие звукосочетания нашей родной речи превращаются на ее языке в мягкое и сладостное благозвучие итальянской и индийской манеры произношения. Она особенно любит рифмы, как и вообще все красивое; она часто может без устали, безостановочно твердить себе самой и напевать все свои любимые образы, как бы классический отбор ее маленьких наслаждений. Цветы всевозможного рода явлений сплетает поэзия в легкий венок; таким же образом и Вильгельмина называет и рифмует названия местностей, времен, происшествий, отдельных личностей, игрушек и кушаний, нагромождая одно на другое в некоем романтическом смешении, — столько же слов, сколько и образов; и все это без каких-либо побочных определений и искусственных переходов, которые в конце концов годятся лишь для рассудка, задерживая всякий более или менее смелый полет воображения. Для ее фантазии все в природе является одушевленным и одухотворенным; и я все еще с удовольствием вспоминаю о том, как она, будучи в возрасте не больше года, в первый раз в жизни видела и ощупывала куклу. Небесная улыбка расплелась на ее маленьком личике, и она сейчас же запечатлела сердечный поделуи на раскрашенных деревянных губах. В самом деле! В природе человека глубоко заложен инстинкт, сообщающий ему желание есть то, что он любит, и подводящий всякое новое явление непосредственно ко рту, чтобы там, где это окажется возможным, расчленил это явление на его составные части. Здоровая любознательность стремится вполне охватить обретенный ею предмет, проникнуть в его сокровенные недра и раскусить их. Ощупывание же, напротив, остается лишь на внешней поверхности, и результатом такого рода усвоения является несовершенное, только опосредствованное, познание. Между тем, уже само по себе интересным зрелищем является то,

как одаренное дитя созерцает свое подобие, стремится охватить его руками и, таким образом, ориентироваться в нем посредством первых и последних щупальцев сознания; боязливо ускользает и прячется чужое, но маленький философ проявляет неуклонное рвение в том, чтобы исследовать захваченный предмет изучения.

Но одаренность, остроумие и оригинальность, разумеется, так же редко встречаются у детей, как и у взрослых. Однако все это, а также и многое другое, не имеет сюда прямого отношения и могло бы вывести меня за пределы моей цели. Ведь эта характеристика является не чем иным, как только идеалом, который мне постоянно хочется иметь перед собою для того, чтобы посредством маленького художественного произведения прелестной и грациозной жизненной мудрости никогда не отходить от зыбкой границы благопристойного; мне хочется, чтобы этот идеал был также постоянно и перед тобою для того, чтобы ты наперед простила мне все мои вольности и дерзости, о которых я еще только помышляю, а может быть, и для того, чтобы ты могла об них судить и их оценивать, стоя на более высокой точке зрения.

Разве я не прав, когда, в поисках у детей нравственности, нежности и изысканности в мыслях и словах, обращаюсь преимущественно к женскому роду?

А теперь смотри! Эта милая Вильгельмина часто находит невыразимое удовольствие в том, чтобы, лежа на спинке, задирает ножки кверху, не заботясь о своей юбочке и об общественном мнении. Если это делает Вильгельмина, чего только не позволительно сделать мне, поскольку я,— слава богу!— мужчина, и не должен быть нежнее, чем нежнейшее женское существо?

О достойная зависти свобода от предрассудков! Отбрось и ты их от себя, любимая подруга, отбрось все остатки ложного стыда, подобно тому, как я часто срывал с тебя роковые одежды и в прекрасной анархии разбрасывал их кругом. И если бы этот маленький роман моей жизни показался тебе чересчур диким, то



представь себе, что он является ребенком, перенеси его невинное озорство с материнским долготерпением и позволь ему поласкать тебя.

Если бы ты согласилась не слишком строго отнестись к достоверности и общей значительности аллегории, и при этом была готова на такое количество неловкости в рассказе, какое только можно требовать от признаний неловкого, если одеяние не должно быть нарушено, то я хотел бы тебе здесь рассказать один из моих последних снов наяву, ибо он дает результат, похожий на тот, который дает характеристика маленькой Вильгельмины.

### Аллегория дерзости

Беззаботно стоял я в искусно возделанном саду около круглой клумбы, красовавшейся нагромождением великолепнейших цветов, местных и заграничных. С наслаждением вдыхал я пряный аромат и радовался пестроты красок, как вдруг прямо на меня из цветов выпрыгнуло отвратительное чудовище. Оно казалось разбухшим от яда, его прозрачная кожа переливалась всеми красками, и можно было видеть его внутренности, извивавшиеся подобно червям. Оно было достаточно велико, чтобы внушить к себе страх; при этом оно раскрывало клешни во все стороны вокруг своего тела; то прыгало оно, словно лягушка, то снова с жуткой подвижностью начинало ползти при помощи бесчисленного множества ножек. В ужасе я повернулся было прочь, но, так как чудовище намеревалось меня преследовать, я набрался храбрости, бросил его сильным толчком на спину, и вдруг передо мной оказалось не что иное, как самая обыкновенная лягушка. Я изумился немало; но я изумился еще больше, когда внезапно некто, совсем рядом, за моей спиной, сказал: „Это — Общественное Мнение, а я — Остроумие; твои фальшивые друзья — цветы — уже все завяли“. Я обернулся и увидел фигуру мужчины среднего роста; крупные черты

благородного лица были так подчеркнуты и преувеличены, как мы это часто видим на римских бюстах. Приветливым огнем горели его светлые глаза, и два больших завитка причудливо сплетались на его смелом лбу. „Я хочу возобновить перед тобою некое древнее зрелище,— сказал он,— несколько юношей на перепутье. Я сам считал для себя не потерянным временем зародить их в часы досуга с божественной фантазией. Это — настоящие романы, их четверо, и они бессмертны, как мы“. Я взглянул туда, куда он указывал, и увидел прекрасного юношу, летящего едва одетым над зеленой долиной. Скоро он был уже далеко, и я увидел только, что он вскочил на коны и поспешил вперед, как будто бы желая перегнать легкий вечерний ветер и насмехаясь над его медлительностью. На холме показался рыцарь в полном вооружении, крупного и могучего сложения, почти великан; но строгая правильность его роста и сложения одновременно с простодушным дружелюбием его значительного взгляда и размеренных жестов придавала ему, тем не менее, какую-то старинную манерность. Он склонился перед заходящим солнцем, медленно опустился на одно колено и, казалось, молился с большим усердием, положив правую руку на сердце, левую — на лоб. Юноша, который перед тем отличался такой быстротой, лежал теперь совсем спокойно на откосе, греясь в последних лучах; потом он вскочил, разделся, бросился в поток и начал играть с волнами; он нырял, появлялся снова на поверхности и снова бросался в воду. Далеко внизу во мгле рощи колебалось нечто вроде фигуры в греческом одеянии. Но если это в самом деле так, думал я, то вряд ли она принадлежит земле: так бледны были краски, так закутано все в священном тумане. Чем дольше и пристальней я в нее вглядывался, тем для меня становилось яснее, что это тоже юноша, однако совсем иного характера, чем предыдущие. Головою и руками высокая фигура опиралась на урну; ее строгий взгляд то, казалось, искал какое-то потерянное благо на земле, то как бы

о чем-то вопрошал бледные звезды, уже начинавшие мерцать; вздох приоткрывал уста, по которым скользила кроткая улыбка.

Тому серьезному чувственному юноше, тем временем, наскучили одинокие телесные упражнения, и он легкими шагами спешил прямо нам навстречу. Теперь он был совсем одет, почти как пастух, только весьма пестро и необычайно. В таком виде он мог бы появиться на маскараде, тем более, что пальцы его левой руки перебирали нити, на которых висела маска. Этого фантастического отрока с таким же правом можно было принять за своевольную девочку, которая переодевается по собственной прихоти. До сих пор он шел в прямом направлении, внезапно, однако, начал колебаться; сначала он пошел в одну сторону, потом поспешил в противоположную, смеясь при этом над самим собою. „Молодой человек не знает, следует ли ему держаться направления к Дерзости или к Деликатности“,— сказал мой спутник. В это время я увидел с левой стороны компанию прелестных женщин и девиц; с правой стороны стояла в одиночестве крупная женская фигура, и когда я захотел окинуть взглядом ее могучие формы, моему взору встретился взор такой пронизывающий и смелый, что я невольно опустил глаза. Среди дам находился молодой человек, в котором я сейчас же узнал брата других романов. Он был один из тех, кого можно видеть в действительности, только гораздо более утонченный. Его лицо, так же как и фигура, не отличалось красотой, но было тонким, очень содержательным и чрезвычайно привлекательным. Его так же легко можно было принять за француза, как и за немца; его одежда и весь его внешний облик отличались простотой, будучи, однако, тщательными и вполне модными. Он занимал беседу обществом и казался живо заинтересованным всеми. Девушки двигались вокруг наиболее знатной дамы и оживленно болтали между собой. „У меня даже больше душевности, чем у тебя, милая Нравственность, — говорила одна из них, — но меня зовут также

душою и притом прекрасною“. Нравственность несколько побледнела и, казалось, готова была проследиться. „Я ведь вчера была такой добродетельной,— сказала она,— и я делаю все большие успехи. С меня достаточно собственных упреков, к чему мне еще слушать их от тебя?“ Другая, по имени Скромность, завидую той, которая называла себя Прекрасной Душой, сказала: „Я на тебя сердита: ты пользуешься мною только как средством“. Приличие, увидев бедняжку, которая называлась Общественным Мнением, так беспощадно повергнутой навзничь, пролила притворную слезу и вслед за тем позаботилась пикантным образом осушить глазки, которые, однако, вовсе уже не были влажными. „Не удивляйся этой откровенности,— сказала мне Остроумие,— она ни обычна, ни произвольна. Всемогущая Фантазия коснулась своим жезлом этих бездушных теней, чтобы вскрыть их внутренний облик. Ты сейчас услышишь еще больше. Но что касается Дерзости, то она держит речь за собственный страх и риск“.

„Вон тот молодой мечтатель,— сказала Деликатность,— должен меня хорошенько позабавить; он всегда будет сочинять для меня красивые стихи. Я буду держать его в отдалении, так же как и рыцаря. Рыцарь, разумеется, прекрасен, если б только у него не был такой серьезный и торжественный вид. Самый умный из них всех, пожалуй, тот эlegantный юноша, который сейчас беседует со Скромностью; я полагаю, он над ней издевается. По крайней мере про Нравственность, с ее пресной физиономией, он наговорил ей много хорошего. Однако со мной он разговаривал больше, чем с другими; пожалуй, он смог бы когда-нибудь меня соблазнить, если только я не одумаюсь, или если не появится кто-нибудь другой, еще более соответствующий моде, чем он“. Между тем, рыцарь тоже приблизился к обществу; левой рукой он оперся на рукоять большого меча, правой же сделал присутствующим вежливое приветствие. „Однако все вы обыкновенны,

и мне стало скучно“,— сказал модный человек, зевнул и пошел прочь. Теперь я увидел, что женщины, которые при первом взгляде показались мне красивыми, были только цветущими и благовоспитанными, в сущности же незначительными. Внимательно присмотревшись, можно было заметить даже шаблонные черты и следы испорченности. Дерзость теперь казалась мне менее жесткой; я мог ее безбоязненно рассмотреть и с удивлением должен был признаться, что облик ее был значительным и благородным. Она стремительно приблизилась к Прекрасной Душе и схватила ее прямо за лицо. „Это только маска,— сказала она,— ты совсем не Прекрасная Душа, в лучшем случае, ты — Изящество, а часто просто — Кокетство“. Затем она повернулась к Остроумию со словами: „Если ты сотворило тех, кого теперь называют романами, то ты могло бы свое время использовать гораздо лучше. С трудом то тут, то там нахожу я в лучших из них нечто от легкой поэзии быстротечной жизни. Но куда же улетела та смелая музыка бушующего любовью сердца, та, которая так за собой все увлекает, что свирепейший проливает нежные слезы и даже вечные скалы начинают танцовать? Никто так не пошел и никто так не трезв, как тот, кто болтает о любви; но тот, кто ее еще знает, не имеет мужества и веры, чтобы ее высказать“. Остроумие засмеялось, небесный юноша издали кивнул в знак сочувствия, она же продолжала: „Когда те, которые беспомощны в области вдохновения, хотят с его помощью производить детей, когда те, которые этого совсем не умеют, осмеливаются жить, это в высшей степени непристойно, так как это в высшей степени неестественно и в высшей степени нелепо. Но то, что вино пенится и что молния сверкает, вполне правильно и вполне пристойно“. Теперь легкомысленный роман сделал свой выбор; при этих словах он был уже на стороне Дерзости и казался всецело ей преданным. Она поспешила с ним прочь рука об руку и только сказала рыцарю, проходя мимо него: „Мы еще увидимся“.— „Это были

только внешние явления,— заговорил мой покровитель,— а сейчас ты увидишь происходящее в тебе самом. Впрочем, я — действительно существующая личность и настоящее Остроумие; в этом я клянусь тебе самим собою, не простирая руку в бесконечность“. Тут все исчезло, Остроумие же стало расти и расплываться, покуда не перестало быть видимым. Уже не перед собой и вне себя, но внутри себя, казалось, я обрел его вновь; теперь оно было как бы частью меня самого и вместе с тем отличным от меня, самостоятельным и оживленным собственной жизнью. Казалось, что мне открылось новое чувство; я обнаружил в себе самом чистый сгусток мягкого света. Я возвратился в самого себя и к тому новому ощущению, чудесность которого я созердал. Оно было таким ясным и определенным, каким является духовное, внутрь себя направленное око; при этом, однако его восприятия были внутренними и тихими, подобно слуховым, и непосредственными, подобно осязательным. Вскоре я опять узнал сцену внешнего мира, однако чище и яснее, чем раньше; наверху — голубой плащ небес, внизу — зеленый пышный ковер земли, наполнившийся вскоре веселыми образами. Ибо то, о чем я в глубине мечтал, оживало и теснилось сейчас тут, прежде чем я в мыслях успевал отчетливо сформулировать свое желание. И таким образом, я увидел вскоре знакомые и незнакомые милые образы в причудливых масках, как бы огромный карнавал веселья и любви. Перед моим внутренним взором развернулись сатурналии, которые по их разнообразию и разнузданности были достойны великой древности. Недолго, однако, продолжалась эта вдохновенная вакханалия; внезапно, как бы от электрического удара, я услышал крылатые слова: „Уничтожать и творить — одно и то же; итак, да витает вечный дух вечно над вечным мировым потоком времени и жизни, воспринимая каждую более или менее значительную волну, прежде чем она расплывется“. До жути прекрасно и очень чуждо звучал этот голос Фантазии, однако следующие слова были уже

мягче и более непосредственно обращены ко мне: „Наступило время, когда внутренняя сущность божества может быть раскрыта и изображена, когда мистерии могут быть разоблачены и когда страх должен отпасть. Посвяти этому себя и провозгласи, что только природа достойна поклонения и только здоровье является достойным любви“. При таинственных словах „наступило время“ в душу ко мне упал как бы клочок божественного огня. Он пылал и пожирал мой мозг; ему было тесно, он стремился вырваться наружу. Я бросился за оружием, чтобы кинуться в воинственную сумятицу страстей, сражающихся предубеждениями, как оружием, чтобы бороться за любовь и правду; но подле меня не было никакого оружия. Я отверз уста, чтобы возвестить все это в пении, и я подумал, что все существа должны будут его услышать и что весь мир должен гармонично на него откликнуться; однако я понял, что мои губы не владели искусством слагать напевы духа. „Ты не должен хотеть передавать бессмертный огонь непосредственно и грубо,— прозвучал знакомый голос моего дружественного проводника.— Создавай, открывай, превращай и сохраняй мир и его бессмертные образы путем постоянной смены новых разъединений и сочетаний. Спрячь и заключи вдохновение в букву. Подлинная буква всемогуща и является настоящим волшебным жезлом. Это ею необоримая прихоть высокой волшебницы Фантазии прикасается к возвышенному хаосу всей природы, вызывает на свет безграничное слово, которое является подобием и зеркалом божественного духа и которое смертные называют вселенной“.

---

Подобно тому как женская одежда отличается от мужской, женский гений имеет перед мужским то преимущество, что он дает возможность путем единой смелой комбинации отрешиться от всех предрассудков культуры и буржуазных условностей и оказаться сразу же в состоянии непорочности и в лоне природы.

К кому же риторике любви надлежит обращать свою апологию природы и ненависти как не ко всем женщинам, в нежных сердцах которых глубоко таится огонь божественного сладострастия, никогда не могущий потухнуть, хотя бы даже он оставался запущенным и загрязненным? А вслед за ними,— пожалуй, к юношам, к мужчинам, которые еще остались юношами. Между ними, однако, следует провести существенное различие: можно было бы разделить всех юношей на таких, которые обладают тем, что Дидро называет ощущением плоти, и на таких, которые этим не обладают. Какой это редкий дар! Многие художники, преисполненные таланта и ума, в течение всей своей жизни тщетно к этому стремятся, и многие виртуозы мужественности проходят свой жизненный путь, не имея об этом ни малейшего представления. Но обычной дороге к этому не приходят. Распутник может уметь с известного рода вкусом развязывать пояс. Но тому высшему художественному чутью в области сладострастия, благодаря которому мужская сила впервые превращается в красоту, учит юношу только сама любовь. Это — электричество чувства; при этом внутри спокойная, тихая настороженность, внешне же некая ясная прозрачность, как это бывает в светлых местах живописи, которые так отчетливо ощущаются отзывчивым глазом: это чудесная смесь и гармония всех чувств; в музыке также бывают и безыскусственные чистые глубокие акценты, которые слух не столько воспринимает, сколько как бы впитывает в себя, если душа в это время жаждет любви. Дальше, однако, ощущение плоти не поддается определению. Да это и не к чему. Достаточно того, что оно является для юношей первой ступенью их любовного творчества и прирожденным даром женщин, с соизволения и благодаря милости которых он только и может быть сообщен и развит у первых. С теми несчастными, которым оно неведомо, вообще не следует говорить о любви. Ибо от природы мужчине дана лишь потребность в ней, но отнюдь не ее предвкушение. Вторая



ступень имеет в себе уже нечто мистическое и легко могла бы показаться противорассудочной, как и всякий идеал. Мужчина, который не умеет полностью идти навстречу и удовлетворять внутренним требованиям своей возлюбленной, не способен быть тем, что он есть и чем он должен быть. Он, по существу говоря, является импотентом и не может заключить достойного брака. Правда, даже высшая конечная величина исчезает перед бесконечностью, и посредством простой силы проблема при всем желании не может быть разрешена. Но тот, кто обладает фантазией, может также и поделиться ею; там, где она есть, влюбленные охотно терпят лишения для того, чтобы ее расточать; ее путь ведет внутрь, ее целью является бесконечность, нерасторжимость без меры и без конца; и, в сущности, они никогда не терпят лишений, так как волшебство фантазии в состоянии все возместить. Однако довольно об этих тайнах! Третья и высшая ступень — это постоянное ощущение гармонической теплоты. Тот юноша, который этим обладает, любит уже не только как мужчина, но одновременно и как женщина. Он как бы завершил путь всего человечества, достиг жизненной вершины. Ведь не подлежит сомнению, что мужчины по природе своей либо горячи, либо холодны, к теплоте же они сначала должны быть подготовлены. Женщинам же по природе свойственна чувственная и духовная теплота, и при этом они обладают чутьем к теплоте всякого рода.

Если эту сумасшедшую маленькую книжечку когда-нибудь найдут, может быть, напечатают и, наконец, будут читать, то она на всех счастливых юношей должна произвести одинаковое впечатление. Разница в степенях ее воздействия будет определяться различными ступенями их подготовленности. У тех, кто стоит на первой ступени, она будет возбуждать их ощущение плоти; тех, кто достиг второй, она может удовлетворить вполне; что же касается тех, кто взшел на третью ступень, то эта книжечка даст им лишь ощущение теплоты.

Совсем иначе обстояло бы дело с женщинами. Между ними нет непосвященных; ведь каждая из них имеет в себе целиком всю любовь, неисчерпаемая сущность которой дается нашему мужскому изучению и пониманию лишь постепенно. Уже развернутая или в зародыше, все равно. Даже девочка в своем наивном неведении знает ведь почти все, прежде чем молния любви зажжется в ее нежном лоне, прежде чем свернутый бутон раскроется в полную цветочную чашечку наслаждения. И если бы бутон мог чувствовать, не являлось ли бы в нем предчувствие цветка отчетливее собственного самосознания?

Поэтому-то в женской любви не существует этапов и ступеней развития, вообще, ничего всеобщего; здесь — сколько индивидуумов, столько и своеобразных ее разновидностей. Никто, даже сам Линней, не в состоянии классифицировать и испортить все прекрасные побеги и растения, наполняющие огромный сад жизни; и только посвященный любитель богов разбирается в этой чудесной ботанике; божественное искусство — разгадывать и распознавать ее сокровенные силы и прелести, время цветения и, в каждом отдельном случае, необходимую для них почву. Там, где начало мира или, по крайней мере, начало человечества, там, в сущности, и есть средоточие оригинальности, и никаким мудрецом не истолкована женственность.

Есть, правда, нечто, что позволяет разделить женщин на два больших класса, а именно: ценят ли они и чтят ли они чувства, природу, самих себя и мужественность; или они потеряли эту подлинную внутреннюю непорочность и каждое наслаждение окупают раскаянием вплоть до горького бесчувствия ко внутреннему неодобрению. Ведь это — история такого множества из них. Сначала они робеют перед мужчинами, потом они отданы недостойным, которые вскоре начинают их ненавидеть или обманывать, пока, наконец, они не проникнутся презрением к самим себе и к женской доле вообще. Свой маленький личный опыт они обобщают

и все остальное считают смешным; узкий круг грубости и обыденности, в котором они постоянно вращаются, принимается ими за целый мир, и им совсем не приходит в голову, что могут существовать и другие миры. Для таких женщин мужчины—не люди, но только мужчины,—некая специфическая порода, которая, однако, роковым образом необходима против скуки. Но и они сами являются, таким образом, тоже специфической породой, одна достойна другой, без оригинальности и без любви.

Являются ли они, однако, неизлечимыми потому, что их никто не пытался лечить? Мне так очевидно и ясно, что для женщины не может быть ничего более неестественного, чем ханжество (порок, о котором я никогда не могу подумать без некоторой внутренней ярости), и ничего более тягостного, чем неестественность, что я не хотел бы устанавливать никаких границ и считать кого-либо неизлечимым. Я не думаю, чтобы когда-либо их неестественность была надежной, даже тогда, когда они достигают в ней такой легкости и непринужденности, что создается впечатление наличия последовательности и характера. Однако, это—только видимость; огонь любви во всем неугасим, и даже под густейшей золою тлеют искры.

Раздуть эти священные искры, очистить их от золы предрассудков и там, где огонь разгорелся уже сильнее, поддерживать его путем скромного жертвоприношения— вот в чем заключалась бы высшая цель моего мужского честолюбия. Прими мое признание: я люблю не только тебя одну, я люблю самую женственность. Я не только люблю ее, я ее боготворю, потому что я боготворю все человечество и потому, что цветок является вершиной растения, его естественной красоты и развития.

То, к чему я вернулся, это наиболее древняя, наиболее детская, наиболее простая религия. Я почитаю в качестве достойнейшего символа божества огонь; и где можно найти огонь прекраснее того, который природа вложила глубоко в нежную грудь женщины?—Посвяти

меня в священнослужители не для того, чтобы праздно созерцать этот огонь, но для того, чтобы его освободить, разбудить и очистить; там, где он чист, он сохраняется сам собою, без стражи и без весталок.

Я пишу и мечтаю, как ты видишь, не без соответствующего помазания; но это происходит также и не без призвания, и притом божественного призвания. То, что здесь не должно быть тебе поведано, про то само Остроумие вещало из разверстых небес: „Ты сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение“\*. И почему бы мне по собственному полномочию и по собственной прихоти не сказать про самого себя: „Я — возлюбленный сын Остроумия“, подобно тому, как какой-нибудь рыцарь, странствовавший всю жизнь по пути приключений, говорил про себя: „Я — возлюбленный сын счастья“?

Впрочем, я ведь, в сущности, хотел поговорить о том, какое впечатление произвел бы этот фантастический роман на женщин, если бы случайность или причуда его открыла и сделала достоянием общественности. Было бы в самом деле неловко, если бы я не воспользовался этим, чтобы хоть немного услужить тебе маленькими коротенькими примерами из области предсказания и пророчества, чтобы заслужить право на достоинство жреца.

Понятым я был бы для всех, и никто не понял бы меня так превратно и не злоупотреблял бы так моей откровенностью, как это сделали бы непосвященные юноши. Многие поняли бы меня даже лучше, чем я сам, и только одна — вполне, и это — ты. Всех остальных я надеюсь лишь попеременно притягивать и отталкивать, часто рая и столь же часто умиротворяя. У каждой развитой женщины впечатление будет совершенно особым и совершенно своеобразным, таким своеобразным и таким особым, как ее, лишь ей одной

\* Цитата из евангелия от Матфея, гл. III, ст. 17 (прим. ред.).

присущая, манера жить и любить. Клементину все это заинтересовало бы только в качестве чего-то необычайного, за которым, однако, нечто может скрываться. Кое-что, вместе с тем, она нашла бы правильным. Ее считают жесткой и вспыльчивой, и все же я верю в то, что она достойна любви. Ее вспыльчивость примиряет меня с ее жесткостью, несмотря на то, что обе эти черты в ней, судя по внешним их проявлениям, увеличиваются. Если бы в ней была одна только жесткость, то она должна была бы казаться холодностью и отсутствием сердца; вспыльчивость же ее показывает, что в ней есть священный огонь, который стремится прорваться наружу. Ты легко можешь себе представить, каким партнером она оказалась бы для того, кого она полюбила бы всерьез. Мягкая и легко оскорбляющаяся Розамунда при чтении находила бы в себе отклик так же часто, как и протест, пока „пугливая нежность не сделается смелее и не увидит ничего, кроме непорочности, в проявлениях глубокой внутренней любви“. Юлиана богата поэзией в такой же мере, как и любовью, и энтузиазмом — в такой же мере, как и чувством юмора; однако и то и другое является в ней несколько изолированным; поэтому она иной раз может по-женски испугаться дерзновенного хаоса и пожелать целому немного больше поэзии и несколько меньше любви.

Я мог бы еще долго продолжать в том же духе, так как я всеми силами стремлюсь к познанию человека и часто не нахожу более достойного способа использовать свое одиночество, чем размышляя о том, как та или иная интересная женщина поступила бы и вела бы себя в том или ином интересном случае. Однако пока что довольно; а то как бы дальнейшее не показалось тебе излишним и подобная многосторонность не сделала бы вреда твоему пророку.

Только не подумай так дурно обо мне и верь, что я повествую не только для тебя, но и для современности. Верь мне в том, что мне нет дела ни до чего, кроме объективности моей любви. Эта объективность и каждое

мое устремление к ней и образуют ведь, собственно, магию писания, и, так как мне не дано превратить в напевы пылающий во мне огонь, мне остается только беззвучным образом поведать мою прекрасную тайну. При этом, однако, я так же мало думаю о современниках, как и о потомках. И если я вообще должен думать о чем бы то ни было, кроме тебя, так лучше всего пусть это будет древность. Любовь сама по себе должна быть вечно новой и вечно юной, язык же ее должен быть свободным и смелым по старинному классическому образцу,— не более скромным, чем римская элегия и чем благороднейшие представители великой нации, и не более разумным, чем великий Платон и святая Сафо.

### Идиллия праздности

„Смотри, я учился у самого себя. И бог взрастил в моей душе различные мелодии“,— вот какие слова я отваживаюсь произнести, когда речь идет не о приятной области поэзии, но о богоподобном искусстве ничего-неделания. С кем же мне поэтому лучше было бы беседовать о праздности, как не с самим собою? И вот что я говорил самому себе в тот незабываемый час, когда мой гений внушил мне задание провозгласить евангелие подлинного наслаждения и любви: „О праздность, праздность! Ты — атмосфера невинности и вдохновения; тебя вдыхают блаженные, блаженными же являются все те, кто тебя имеет и бережет; ты — священное сокровище, ты — единственный фрагмент богоподобия, который нам еще остался от рая“. Говоря такими словами с самим собой, я сидел, словно задумчивая девушка бездумного романа, у ручья, и следил за убегающими волнами. Но они утекали и притекали так равнодушно, спокойно и сентиментально, как если бы какому-либо Нарциссу предстоило отразиться на гладкой поверхности и в прекрасном эгоизме созерцать свое отражение. Они могли бы и меня заманить так,

что я все глубже терялся бы во внутренней перспективе моего духа, если бы я по природе своей не был столь бескорыстным и в то же время столь практичным, что даже моя философия беспрестанно озабочена лишь проблемой всеобщего блага. Поэтому, несмотря на то, что я пришел в несколько ленивое состояние под влиянием уютного одиночества и жары, от которой мои члены сделались вялыми и размякшими, я, тем не менее, серьезно размышлял о возможности длительного объятия. Я думал о средствах продлить совместное пребывание и о том, что впредь лучше запретить все детски-трогательные элегии о внезапной разлуке, чем забавляться, как до сих пор, над комизмом подобного стечения роковых обстоятельств, раз они однажды случились и являются непреодолимыми. И только, когда сила напряженного разума утомилась и разбилась о недостижимый идеал, я покорно предоставил себя потоку мыслей, охотно прислушиваясь к тем пестрым сказкам, которыми в моей груди зачаровывали мои чувства неотразимые сирены: вождение и воображение. Мне не пришлось в голову недостойно подвергнуть критике эту соблазнительную игру с призраками, хотя я и знал, что в значительной мере это лишь приятный вымысел. Нежная музыка фантазии, казалось, заполняла лагуны томления. Я почувствовал это, преисполнившись благодарностью, и решил посредством своей изобретательности повторить для нас обоих в будущем то, что на этот раз дало мне такое высокое счастье, и возобновить перед тобой эту поэзию правды. Таким образом, первое зерно разрослось в чудесное растение причуды и любви. „И так же свободно, как оно выросло,—думал я,—пусть оно растет и впредь и превращается в дикие заросли; никогда я не позволю себе ради ничтожных побуждений любви к порядку или экономии уничтожить естественное изобилие, обрезая излишние листики и завитки“.

Подобно восточному мудрецу, я всецело погрузился в раздумье и спокойное созерцание бессмертных сущно-

стей, преимущественно твоих и моих. Величие в спокойствии, говорят художники, является высшим объектом изобразительного искусства; и, не сознавая этого вполне отчетливо и не прилагая к этому недостойных стараний, я построил и творил наши бессмертные сущности в подобном же достойном стиле. Я вспоминал и видел нас в объятиях друг друга в тот момент, когда к нам опустился легкий сон. От поры до времени один из нас открывал глаза, улыбался, видя сладкий сон другого, и оставался достаточно бдительным для того, чтобы сызнава перейти к ласке или шепнуть какое-нибудь шутливое слово; но еще прежде чем прошел прилив этой шаловливости, мы оба, тесно сплетаясь, снова погрузились в сладостное лоно полусознательного самозабвения.

С крайним неудовольствием думал я теперь о нехороших людях, которые хотели бы изъять сон из жизни. Они, очевидно, никогда не спали и никогда не жили. Ведь почему же боги являются богами, если не потому, что они сознательно и намеренно ничего не делают, понимая в этом толк и проявляя в этом мастерство? И как стремятся поэты, мудрецы и святые также и в этом походить на богов! Как соревнуются они в восхвалении одиночества, свободного времени, широкой беззаботности и бездеятельности! И с полным правом: ведь все благое и прекрасное уже наличествует в них самих и может быть удержано посредством их собственной силы. Чем же, следовательно, является безусловное стремление и продвижение без остановок и без средоточия? Могут ли эти буря и натиск дать питательные соки и произрастание бесконечному растению человечества, которое в тиши растет само собой и самостоятельно образуется? Эта пустая беспокойная суетня — не что иное, как беспорядок, свойственный северу и не могущий вызвать ничего, кроме скуки своей и чужой. И чем это, собственно, начинается и кончается, как не антипатией к миру, которая теперь является такою всеобщей? Неопытное само-



мнение даже и не подозревает, что это свидетельствует лишь о недостатке чувства и ума, и принимает такую антипатию за высокую неудовлетворенность, вызываемую безобразием мира и жизни, о которых оно не имеет ни малейшего представления. Оно и не может его иметь, так как прилежание и польза — это ангелы смерти с огненным мечом, которые запрещают человеку возвращение в рай. Только в спокойствии и умиротворенности, в священной тишине подлинной пассивности можно вспомнить обо всем своем „я“ и предаться созерцанию мира и жизни. Как совершается все мышление и поэтическое творчество, если не путем полнейшей отдачи себя воздействию какого-нибудь гения? И все-таки речь и изображение во всех искусствах и науках представляют собою второстепенную задачу; основным является мышление и поэтическое творчество, а возможно оно только посредством пассивности. Правда, это намеренная, произвольная, односторонняя, но все же — пассивность. Чем прекраснее климат, тем более способствует он бездельности. Только итальянцы умеют ходить, и только восточные люди умеют лежать; где, однако, вдохновение получило более нежную и сладостную форму, как не в Индии? И, независимо от климата, право на праздность является тем, что отличает избранных от обыкновенных, — и собственным принципом благородства.

Где, в конечном счете, больше наслаждения и больше длительности, силы и творчества в наслаждении: у женщин, поведение которых мы называем пассивностью, или у мужчин, у которых переход от мимолетной вспышки к скуке происходит быстрее, чем переход от добра ко злу?

В самом деле, надо было бы не столь преступно пренебрегать изучением праздности, но следовало бы возвести его в искусство, в науку, даже в религию! Охватывая все в едином: чем божественнее человек или человеческое деяние, тем более они уподобляются растению; среди всех форм природы оно является наиболее прав-

ственным и наиболее прекрасным. Таким образом, вышедшая и наиболее законченная жизнь была бы не чем иным, как только *чистым произрастанием*.

Я возымел намерение, удовлетворенный одним сознанием своего существования, возвыситься над всеми конечными, а, следовательно, достойными пренебрежения, целями и намерениями. Сама природа, казалось, способствовала укреплению этого моего состояния, настраивая меня посредством многоголосых хоралов на дальнейшую праздность, как вдруг передо мной возникло новое видение. Мне представилось, что я невидимо присутствую в театре. С одной стороны, я увидел знакомые подмостки, лампы и раскрашенный картон; с другой, — невероятное скопление зрителей, целое море настороженных голов и воспринимающих глаз. На сцене с правой стороны, вместо декорации, был изображен Прометей, который занят был изготовлением людей. Он был скован длинной цепью и работал с большой поспешностью и напряжением; тут же стояло несколько огромных молодцов, которые его безостановочно подгоняли и бичевали. Клей и другие материалы были там в изобилии; огонь же он доставал из большой жаровни. Напротив виден был в качестве безмолвной фигуры обожествленный Геркулес, подобно тому как его изображают с Гебой на коленях. На авансцене бегало и разговаривало множество юных существ, отличавшихся веселостью и существовавших не только напоказ. Наиболее юные из них походили на амуров, более взрослые — на женщин; каждое из них, однако, отличалось своей собственной манерой, выдающейся оригинальностью лица, и все они имели какое-то сходство с дьяволом, каким его изображали христианские художники или поэты; можно было бы назвать их сатанисками. Один из младших сказал: „Кто не презирает, тот и не уважает. И то и другое можно проявлять только безгранично, и хороший тон заключается в том, чтобы играть с людьми. Не является ли, таким образом, некоторая эстетическая злость существенной частью гар-

монического развития?“— „Нет ничего глупее,— прибавил другой,— чем когда моралисты упрекают вас в эгоизме. Они абсолютно неправы: ибо какому богу может поклоняться человек, который не является собственным богом? Правда, вы часто ошибаетесь, воображая, что имеете свое „я“; но если вы принимаете за него ваше тело, ваше имя или ваши вещи, то, по крайней мере, подготавливается помещение, если вообще когда-нибудь этому „я“ суждено явиться“.— „А этому Прометею вы по справедливости можете оказывать всякие почести,— сказал один из наиболее взрослых:— он всех вас сотворил и продолжает создавать множество вам подобных“. В самом деле, как только новый человек был готов, подмастерья сбрасывали его в гущу зрителей, где он мгновенно становился неотличимым,— так они все были похожи друг на друга. „Недостаток лишь в методе!— продолжал сатаниск.— Как можно ограничиваться желанием создавать людей? Это совсем неподобающие орудия“. При этом он указал на неотесанную фигуру бога садов, стоявшую в самой глубине сцены, между амуром и очень красивой неотесанной Венерой. „Тут больше понимал наш друг Геркулес, который мог дать дело пятидесяти и притом геройским девушкам в течение одной ночи за здоровье человечества. Он в своей жизни также потрудился, уничтожив множество свирепых чудовищ, но целью его жизненного пути была всегда благородная праздность, благодаря чему он и взшел на Олимп. Совсем не таков этот Прометей, изобретатель воспитания и просвещения. Ему вы обязаны тем, что никогда не можете быть спокойными и пребываете в постоянной суете; отсюда проистекает то, что вы даже тогда, когда вам, собственно, нечего делать, бессмысленным образом должны стремиться даже к выработке характера или пытаетесь наблюдать и обосновывать характер кого-нибудь другого. Такое начинание просто гнусно. Но в силу того, что Прометей совратил людей на трудовой путь, он теперь сам должен работать, хочет он того или нет. Ему еще вдоволь

хватит этой скуки, и никогда он не освободится от своих цепей“. Когда зрители услышали такие слова, они разразились слезами и вскочили на сцену, чтобы живейшим образом выразить сочувствие своему отцу, и в этот момент аллегорическая комедия исчезла.

### Верность и шутка

„Ты ведь одна, Люцинда?“— „Не знаю... может быть... я думаю“.— „Пожалуйста, пожалуйста, милая Люцинда! Ты ведь знаешь, что если маленькая Вильгельмина говорит: „пожалуйста, пожалуйста!“ и ее желание не исполняется немедленно, она начинает кричать все громче и все настойчивее, покуда ее воля не осуществляется“.— „Так, значит, ты это мне хотел сказать и потому так стремительно ворвался в комнату и так меня испугал?“— „Не сердись на меня, сладостная женщина! О, пусти меня, дитя мое! Красавица! Не упрекай меня, добрая девочка!“— „Теперь ты еще не скоро скажешь: „закрой двери“? — „Вот как?.. Сейчас я тебе отвечу. Только сначала долгий поцелуй и еще один, потом еще несколько и еще много других“.— „О, ты не должен так меня целовать, если я должна оставаться благоразумной. Это наводит на дурные мысли“.— „Ты их заслуживаешь. Ты, в самом деле, можешь смеяться? Кто бы мог ожидать этого от такой угрюмой дамы! Но я ведь знаю, что ты смеешься только потому, что можешь меня высмеять. Не веселость побуждает тебя к смеху. Ну кто, в самом деле, имел только что такой же серьезный вид, как какой-нибудь римский сенатор? А ты могла бы быть весьма восхитительной, милое дитя, с твоими невинными темными глазами, с твоими длинными черными волосами в сверкающем отблеске заходящего солнца, если бы ты не сидела здесь, словно приговоренная. Видит бог! Ты на меня так посмотрела, что я прямо-таки отшатнулся. Я был в состоянии забыть о самом главном и пришел в полнейшее смущение. Но почему же ты

ничего не говоришь? Или я тебе противен?“—„Ну, это уже просто смешно, глухой ты, Юлий! Ты не даешь говорить! Твоя нежность изливается сегодня, как проливной дождь“.—„Так же, как твоя говорливость по ночам“.—„Оставьте в покое мою косынку, сударь“.—„Оставить? Что угодно, только не это. Что значит жалкая, дурацкая косынка? Предрассудки! Она должна исчезнуть с лица земли“.—„Только бы никто не вошел сюда!“—„Ну, разве у нее снова не такой вид, словно она хочет заплакать! Тебе ведь хорошо? Почему твое сердце бьется так неровно? Поди сюда, дай мне его поцеловать. Да, ты перед этим говорила о том, чтобы закрыть двери. Хорошо, только этого здесь не надо, надо не здесь. Скорее вниз, через сад, к павильону, в котором цветы. Идем! О, не заставляй меня так долго ждать“.—„Как прикажете, сударь!“—„Не знаю, ты сегодня какая-то особенная“.—„Если ты начинаешь морализировать, милый друг, то мы могли бы преспокойно вернуться назад. Лучше я дам тебе еще один поцелуй и побегу вперед“.—„О Люцинда, не бегите так быстро, мораль ведь вас не догонит. Ты упадешь, любовь моя!“—„Я не хотела заставлять тебя дольше ждать. Ну, теперь мы на месте. А ты тоже проявил поспешность“.—„А ты — послушание. Только сейчас не время спорить“.—„Спокойно, спокойно!“—„Смотри, вот здесь тебе можно мягко и удобно расположиться. Ну, если ты на этот раз не... то тебе не будет никакого оправдания“.—„Ты хоть бы, по крайней мере, сначала опустил занавеску!“—„Ты права: освещение так становится гораздо очаровательнее. Как чудесно в красном свете выделяется это белое бедро!.. Почему ты так холодна, Люцинда?“—„Любимый, отодвинь подальше гиацинты, этот запах меня одурманивает“.—„Какие они крепкие и самостоятельные, какие гладкие и нежные. Вот это гармоническое развитие“.—„Ах, нет, Юлий! Пусти; я прошу тебя, я не хочу“.—„Разве мне нельзя чувствовать, пылаешь ли ты так же, как и я? О, не мешай мне прислушиваться к биению твоего сердца; грудь твоя прохладна, как

снег, не мешай же мне охлаждать в ней мои губы!.. И ты можешь меня отталкивать? Я буду мстить. Обними меня крепче. Поцелуй за поцелуй; нет, не многие, а один нескончаемый! Возьми мою душу совсем и отдай мне свою!.. О прелестное, превосходное совпадение! Разве мы не дети? Говори же! Как ты только могла сначала быть такой равнодушной и холодной, а потом, когда ты меня, наконец, теснее к себе притянула, ты в это же самое мгновение сделала такое лицо, как будто тебя что-то огорчило, как будто ты сожалела о том, что ответила на мою страсть. Что с тобой? Ты плачешь? Не прячь свое лицо! Посмотри на меня, возлюбленная!“ — „О, дай мне так лежать рядом с тобой, я не могу смотреть тебе в глаза. Это было очень гадко с моей стороны, Юлий! Можешь ли ты меня простить, мой милый муж? Ты не оставишь меня? Можешь ли ты еще меня любить?“ — „Иди ко мне, моя сладостная жена! Сюда, к моему сердцу. Помнишь ли ты, как это легко тебе стало после этого? Но говори же, любимая, было хорошо, когда ты плакала в моих объятиях? Как что с тобой? Ты сердисься на меня?“ — „Я на себя сержусь, я могла бы себя ударить... Тебе бы это, конечно, показалось справедливым; и если вы, сударь мой, снова как-нибудь вздумаете со мной обращаться по-супружески, то я уж тогда получше позабочусь о том, чтобы самой войти в роль супруги! Об этом ты можешь не беспокоиться. Это было для меня так неожиданно, прямо до смешного. Только, пожалуйста, не воображайте, сударь мой, что вы так бесчеловечно неотразимы. На этот раз я по своей собственной воле нарушила свое намерение“ — „Первая и последняя воля всегда является наилучшей. Женщины обычно говорят меньше, чем думают, зато они иной раз делают больше, чем хотят. И это вполне справедливо: ваша добрая воля является для вас источником соблазна. Добрая воля — это нечто очень хорошее, плохо в ней только то, что она всегда тут, даже тогда, когда ее не хотят“ — „Что ж, это прекрасная ошибка. А вот вы преисполнены злой волей

и настаиваете на ней“.—„О нет! Когда кажется, что мы настаиваем, это означает только то, что мы не можем иначе, и, следовательно, тут нет ничего дурного. Мы не можем, потому что мы недостаточно хотим; значит, это не злая воля, а недостаток воли. И на ком тут опять лежит вина, как не на вас, поскольку вы не хотите с нами поделиться вашим изобилием, желая сохранить для себя деликом вашу добрую волю! Впрочем, то, что я так подчинился, совершилось против моей воли, и я сам не знаю, чего мы этим хотим достичь. Между тем, все же лучше, чтобы я остудил свой пыл в нескольких словах, чем если бы я разбил прекрасный фарфор. Благодаря такому образу действия я имел возможность несколько опомниться от своего изумления по поводу вашего неожиданного пафоса, вашей превосходной речи и вашего похвального принципа. Нет, в самом деле, это — редкостная черточка, одна из тех, с которыми вы сооблаговолити меня познакомиться; и, насколько могу припомнить, вы же в течение нескольких недель в дневное время не разглагольствовали при помощи таких солидных и полновесных периодов, какими отличалась ваша теперешняя проповедь; может быть, вам желательно ваше мнение переложить на прозу?“— „Разве ты уже, в самом деле, совсем позабыл о вчерашнем вечере и об интересном обществе? Право, этого я не знала“.—„Так, значит, ты сердита на меня за то, что я слишком много разговаривал с Амалией?“—„Разговаривайте, пожалуйста, сколько хотите и с кем хотите. Только вы должны со мной обращаться вежливо, этого я от вас требую“.—„Ты говорила так громко, посторонний стоял тут же рядом, я был смущен и не знал, как мне иначе выйти из положения“.—„И ты не нашел ничего лучшего, как быть невежливым, будучи ненаходчивым?“—„Прости меня только! Я признаю себя виноватым, ты ведь знаешь, как смущенно я себя чувствую, когда мы с тобою находимся в обществе. Мне больно разговаривать с тобою в присутствии других“.— „Как он ловко умеет выворачиваться!“—„Надо, чтобы

ничто подобное никогда не сходило мне с рук; будь весьма бдительной и строгой. Однако смотри, что ты наделала теперь! Разве это не оскорбление святыни? О нет! Это невозможно, это больше того. Признайся мне только, это была ревность!“— „На целый вечер ты весьма нелюбезно обо мне забыл. Сегодня рано утром я хотела тебе обо всем этом написать, но опять разорвала написанное“.— „А так как в этот момент я вошел...“— „Мне стало досадно на твою стремительную поспешность“.— „Могла бы ты меня любить, если бы я не был таким воспламеняющимся, таким наэлектризованным? Разве ты не такая же? Неужели ты забыла наше первое объятие? В одно мгновение любовь уже тут, полностью и навеки, или вовсе нет! Все божественное и все прекрасное происходит быстро и легко. Или радость, по-твоему, собирается, подобно деньгам и другим предметам, постепенно, день за днем? Высокое счастье, подобно небесной музыке, застает нас врасплох, появляется и исчезает“.— „Так ко мне явился ты, дорогой! Но разве ты хочешь снова исчезнуть? Этого ты не должен делать, говорю тебе“.— „Я и не хочу. Я хочу остаться с тобою вообще, а также и сейчас. Послушай, у меня большая охота развернуть перед тобою длинную речь на тему о ревности. Однако, прежде всего, следовало бы, собственно говоря, умилостивить оскорбленных богов“.— „Лучше сначала речь, а потом уж боги“.— „Ты права, мы еще недостойны, и в тебе долго сохраняется воспоминание о том, что тебя задело и огорчило. Как хорошо, что ты такая впечатлительная!“— „Я не более впечатлительна, чем ты, только по-другому“.— „Ну, так скажи мне: раз я не ревнив, как же так происходит, что ты ревнуешь?“— „Разве это произошло без причины? Отвечайте мне!“— „Я не знаю, собственно, что ты имеешь в виду“.— „Ну, я, в сущности, не ревную; но скажи мне, о чем это вы целый вечер беседовали вдвоем?“— „К Амалии, значит? Возможно ли это? Какое ребячество! Ни о чем я с ней не беседовал, и потому-то это и было забавно. И разве



я не разговаривал так же долго с Антонием, с которым перед этим встречался почти ежедневно? — „Значит, я должна поверить тому, что ты разговариваешь с кокетливой Амалией точно так же, как с тихим, серьезным Антонием? Не правда ли, это не что иное, как простая чистая дружба? — „О нет, этого ты не можешь думать, да и не должна думать; это совсем не так. Как можешь ты мне приписать такую нелепость? Ведь есть же, действительно, нечто нелепое в том, когда две личности разного пола создают и воображают между собою такие отношения, которые являлись бы чистой дружбой. С Амалией у меня нет ничего, кроме того, что я ее в шутку люблю. Мне она и вовсе не была бы нужна, если бы она не была немного кокетливой. Побольше бы таких в нашем кругу! Собственно говоря, следовало бы в шутку любить всех женщин“.— „Юлий! Мне кажется, ты становишься совсем глупым“.— „Ты только пойми меня, как следует; не вообще всех, а только тех, которые милы и с которыми приходится встречаться“.— „Значит, это не больше того, что французы называют галантностью и кокетством“.— „Ничего более, кроме того, что мне это представляется прелестным и остроумным. И потом люди должны знать, что они делают и чего они хотят, а это случается редко. Тонкая шутка превращается в их обращении сейчас же снова в грубую серьезность“.— „Эту любовь в шутку вовсе не весело созерцать“.— „Шутка здесь непричем; это не что иное, как роковая ревность. Прости меня, любимая! Я не хотел бы горячиться, но я никак не могу понять, как вообще можно ревновать: ведь между любящими обиды не могут иметь места, так же как и благодеяния. Значит, дело в неуверенности, в недостатке любви и в измене по отношению к самому себе. Для меня счастье является безусловным и любовь составляет нечто единое с верностью. Правда, когда люди так любят, то получается нечто иное. Обычно мужчина любит в женщине лишь пол, женщина в мужчине — лишь степень его природных качеств и его общественной обес-

печенности; в детях же оба любят лишь свое произведение и свою собственность. Там верность является заслугой и добродетелью; там и ревность является на своем месте. Ибо в том они совершенно правы, когда они молча думают, что подобных им существует множество, что один человек приблизительно равноценен другому и что все они вместе взятые не слишком много стоят.— „Значит, ты считаешь ревность не чем иным, как простой грубостью и некультурностью?“ — „Да, или неправильным воспитанием и извращенностью, что так же скверно, если не хуже того. По этой системе самое лучшее, когда женятся вполне сознательно из вежливости и любезности; и, конечно, для таких субъектов должно быть столь же удобно, сколь и занимательно, находясь в состоянии взаимного презрения и живя рядом, жить фактически врозь. В особенности в женщинах может развиваться настоящая страсть к браку; и когда такого рода женщина войдет во вкус, то легко может случиться, что она подлюжины мужей перемнит одного за другим, сходясь с ними духовно или физически; тут никогда нет недостатка в случаях быть иной раз деликатными и пространно разговаривать о дружбе“.— „Ты уже раньше говорил так, как будто ты не считаешь нас способными к дружбе. Неужели действительно таково твое мнение?“ — „Да! Однако неспособность, думается мне, заключается больше в дружбе, чем в вас. Вы любите все, что вы любите, деликом, как возлюбленного или ребенка. Такой характер любви имел бы место у вас даже в отношениях между сестрами“.— „В этом ты прав“.— „Дружба для вас слишком многогранна и слишком однобока. Она должна быть чисто духовной и притом иметь вполне отчетливые границы. Это отграничение так же, только более утонченным образом, разрушало бы вашу сущность, как голая чувственность без любви. Для общества же она слишком серьезна, слишком глубока и слишком священна“.— „Разве люди не могут беседовать между собою без того, чтобы думать о том, являются ли они мужчинами или женщинами?“—

„Это могло бы оказаться весьма серьезным. В крайнем случае мог бы создаться интересный клуб. Ты понимаешь, что я имею в виду. Было бы уже достижением, если бы там можно было вести свободный остроумный разговор, не будучи ни слишком диким, ни слишком тупым. Наиболее утонченное и лучшее, конечно, отсутствовало бы — то, что всегда там, где, хотя бы в небольшом числе, имеется хорошее общество, является его вдохновением и душой. Вот это и есть шутливая любовь, или любовь к шутке, которая, являясь бессодержательной, снижается до забавы. На этом основании я защищаю также и двусмысленности“.— „В шутку или для забавы?“ — „Нет, нет! Я это делаю вполне серьезно“.— „Но не так серьезно и торжественно, как Паулина и ее любовник?“ — „Упаси боже! Я представляю себе, что они заставили бы звонить в колокола, когда они обнимаются, если бы только это было пристойно. О, это верно, подруга моя, человек по природе серьезная бестия! Этой постыдной и пагубной наклонности должно изо всех сил и всесторонне противодействовать. Для этого хороши также и двусмысленности, только они так редко бывают двусмысленны; когда же они таковыми не являются и содержат лишь один смысл, тогда это не безнравственно, а докучливо и плоско. Легкомысленные беседы должны быть как можно более утонченными, изысканными и скромными; впрочем, они должны быть и достаточно дерзкими“.— „Все это хорошо, только какое значение они имеют именно в обществе?“ — „Они должны придавать разговору вкус, как соль — кушаньям. Вопрос должен заключаться не в том, для чего нужно говорить двусмысленности, но лишь в том, как их надо говорить, так как совсем опускать их нельзя и не должно. Было бы ведь просто грубостью разговаривать с очаровательной девушкой так, как если бы она была бесполой амфибией. Долг и обязанность заключается в том, чтобы всегда давать намек на то, что она есть и чем будет; и в таком нечутком, тупом и преступном окружении, каким является современное общество, было бы в самом

деле комично оставаться наивной девушкой“.— „Это напоминает мне знаменитого шута, который сам часто был преисполнен печали, в то время как всех заставлял смеяться“.— „Общество — это хаос, который должен быть организован и гармонизован, может быть, только при помощи остроумия; если же не шутить и не дурачиться с элементами страсти, то она сгущается в непроницаемые массы и затемняет все“.— „Должно быть, здесь в воздухе сгустились страсти, так как уже почти темно“.— „О дама сердца моего, вы, конечно, закрыли глазки! Иначе окружающая ясность непременно озарила бы комнату“.— „Юлий! Кто из нас более страстен, я или ты?“ — „Оба мы в достаточной мере. Без этого я не мог бы жить. И, видишь ли: поэтому я способен был бы примириться с ревностью. В любви имеется все: дружба, изысканное обращение, чувственность, а также страсть; и в ней должно быть все, и одно должно усиливать и смягчать, оживлять и возвышать другое“.— „Дай обнять тебя, мой верный друг!“ — „Однако ревности я могу разрешить тебе только при одном условии: я чувствовал часто, что небольшая доза культурного утонченного гнева бывает не во вред мужчине. Возможно, что в отношении тебя так же обстоит дело с ревностью“.— „Верно! Значит, мне не нужно полностью от нее отречься“.— „Если бы только она всегда так мило и остроумно проявлялась, как сегодня у тебя!“ — „Ты находишь? Ну, если в следующий раз ты остроумно и мило вспымишь, то я тебе так же скажу об этом и воздам тебе похвалу“.— „Разве мы теперь недостойны умиловить оскорбленных богов?“ — „Да, если твоя речь вполне закончена, если же нет, то договаривай остальное“.

### Ученические годы возмужалости

Играть в фараон с видом величайшей страстности и в то же время оставаться рассеянным и отсутствующим

щим; в мгновение азарта рискнуть на все и после проигрыша равнодушно отвернуться — это было лишь одной из дурных особенностей, которыми отличалась буйная молодость Юлия. Одной этой особенности достаточно для того, чтобы обрисовать характер жизни, которая в самой полноте мятежных сил содержала неизбежные зачатки преждевременной испорченности. Любовь без объекта пылала в нем и разрушала его изнутри. По малейшему поводу пламя страсти вырывалось наружу; однако через короткий промежуток времени его страсть, — из гордости или своенравия, — казалось, сама отвергала свой объект и с удвоенной яростью возвращалась назад в себя и в него, чтобы снова беспощадно пожирать его сердце. Его мысль находилась в постоянном брожении; каждое мгновение он готов был встретить нечто необычайное. Ничто не могло бы его поразить, и меньше всего его собственная гибель. Без дела и без цели бродил он вокруг между вещами и людьми, как человек, который с трепетом ищет чего-то такого, от чего зависит все его счастье. Все могло его прельстить и ничто не могло удовлетворить его. Этим объяснялось то, что распутный образ жизни привлекал его лишь до тех пор, пока он его не испытал и не узнал ближе. Ни одно из проявлений распутства не могло превратиться для него в неотъемлемую привычку, ибо в нем было столько же презрения, сколько легкомыслия. Он мог вполне осмотрительно предаваться роскошествам и всецело погружаться в наслаждения. Однако ни здесь, ни в различных увлечениях и занятиях, куда ненасытная любознательность толкала часто его юношеский энтузиазм, он не находил высокого счастья, которого буйно требовало его сердце. Следы этого счастья обнаруживались всюду, обманывали и горечью отравляли его стремительность. Наибольшей прелестью обладали для него всякого рода знакомства и, как бы часто они ему ни надоедали, все же именно к общественным развлечениям он всегда в конце концов возвращался. Женщин он, в сущности, совсем не знал,

несмотря на то, что рано привык с ними общаться. Они казались ему удивительно чуждыми, часто совсем непостижимыми и вряд ли существами его породы. Что же касается молодых людей, которые ему более или менее подходили, то к ним он устремлялся с горячей любовью и с настоящим пылом дружбы. Но это еще не являлось для него тем, чего он искал. Ему казалось, будто он готов обнять весь мир и не может ни за что ухватиться. Таким образом, он становился все более диким от неудовлетворенной тоски и чувственным — под влиянием разочарования в духовном; он совершал неразумные поступки из протеста против судьбы, и его безнравственность была действительно в некотором роде чистосердечной. Он видел пропасть перед собой, но считал, что не стоит труда умерять свой бег. Он предпочитал, подобно дикому охотнику, быстро и стремительно обрушиться с крутого обрыва, сквозь жизнь, чем, соблюдая предосторожности, изнемогать в медленной муке.

С таким характером он часто в самом оживленном и веселом обществе чувствовал себя одиноким, и, в сущности, менее всего он находил себя одиноким, когда с ним не было никого. Тогда он опьянялся образами надежды и воспоминания и намеренно предавался соблазну своей собственной фантазии. Каждое из его желаний возрастало с неизмеримой скоростью и почти без промежутков от первого тихого движения до безграничной страсти. Все его мысли принимали видимый образ и движение, так что их действия и взаимодействия отличались чувственной ясностью и интенсивностью. Его вдохновение не только не стремилось удержать повода самообладания, но добровольно отбрасывало их прочь для того, чтобы весело и задорно кинуться в этот хаос внутренней жизни. Он мало пережил и все же был полон воспоминаний, относящихся также и к его ранней юности: ибо какое-нибудь особенное мгновение страстного настроения, разговор, шопот из глубины сердца, все это оставалось для него

вечно дорогим и отчетливым, и даже по прошествии лет он помнил об этом так, как если бы это происходило только что. Но все, что он любил и о чем думал с любовью, являлось оторванным и единичным. Все его бытие представлялось его воображению множеством отдельных кусков без взаимной связи; каждый был полноценен и как бы сам по себе; то, другое, что в действительности находилось рядом и было с этим связано, являлось для него безразличным и как бы не существующим вовсе.

Он был еще не вполне испорчен, когда в лоне одиноких желаний святой образ невинности блеснул в его душе. Луч влечения и воспоминания пронзил и зажег ее, и этот опасный сон стал решающим для всей его жизни.

Он вспомнил об одной благородной девочке, с которой он в счастливые времена своей ранней юности дружески и весело забавлялся, побуждаемый чистой детской привязанностью. Так как он был первым, который благодаря своему интересу к ней очаровал ее, то это милое дитя устремило к нему свою душу, подобно тому как цветок поворачивается к солнечному свету. Сознание, что она была еще едва созревшей и стояла на пороге юности, делало его желание еще более непреодолимым. Обладать ею казалось ему высшим благом; он был уверен в том, что не может жить без этого, и решился на все. При этом малейшее соображение о мещанской морали внушало ему отвращение, как всякого рода насилие.

Он поспешил вернуться к ней и нашел ее более сформировавшейся, но такой же благородной, своеобразной, задумчивой и гордой, как и раньше. То, что волновало еще больше, чем ее любезность, было следами глубокого чувства. Казалось, что она, мило и поверхностно мечтая, скользит по жизни, как по цветущей равнине, и от его внимательного наблюдения не укрылась ее значительная склонность к безграничной страстности. Ее симпатия к нему, ее невинность, мол-

чаливость и замкнутый характер легко предоставляли ему случаи видеть ее одну; опасность, с этим связанная, только увеличивала очарование того, что он принял. Однако он с досадой должен был себе признаться, что ему не удавалось приблизиться к цели, и он упрекал себя в недостатке ловкости, чтобы совратить ребенка. Девочка охотно допускала с его стороны некоторые нежности и отвечала на них с робким сластолюбием. Однако, лишь только он пытался перейти известные границы, она, не производя впечатления обиженной, противодействовала ему с непреодолимым упорством, может быть, больше руководясь чужим запретом, чем собственным чутьем по отношению к тому, что во всяком случае дозволено, и к тому, что не дозволено ни в коем случае.

А между тем, он не уставал надеяться и наблюдать. Однажды он застал ее врасплох, когда она меньше всего этого ожидала. Перед тем она долго была одна, предоставленная на более длительный, чем обычно, промежуток времени своей фантазии и неопределенной тоске. Когда он это заметил, то решил не упускать мгновения, которое, возможно, никогда не повторится, и, окрыленный внезапной надеждой, пришел в состояние опьянительного вдохновения. С губ его полился поток просьб, комплиментов и софизмов, он осыпал ее нежностями и, вне себя от восторга, почувствовал, как прелестная головка опустилась, наконец, к нему на грудь, подобно тому как слишком распутившийся цветок томно поникает на своем стебле. Без колебания прильнула к нему стройная фигурка, шелковистые локоны золотых волос заструились по его руке, в нежном ожидании приоткрылся бутон очаровательного рта, и в кротких темносиних глазах вспыхнул алчущий непривычный огонь. Лишь слабый протест оказывала она его дерзновеннейшим ласкам. Скоро она и совсем перестала сопротивляться, ее руки внезапно поникли, и все оказалось ему предоставленным: вся ее нежная девственная плоть с плодами юной груди. Но в то же мгнове-



ние потоки слез хлынули из ее глаз, и самое горькое отчаяние искажило ее лицо. Юлий сильно испугался; не столько потому, что увидел слезы, сколько оттого, что к нему сразу же вернулось полное сознание. Он подумал обо всем, что только что произошло и что должно было за этим последовать: о жертве перед ним и о жалкой судьбе человеческой. Холодная дрожь пробежала по его телу, и тихий вздох, вырвавшись из глубины, сорвался с его губ. С высоты своего переживания он почувствовал презрение к самому себе и забыл действительность и свое намерение в мыслях о всеобщей сострадательности.

Мгновение было упущено. Он пытался лишь утешить и успокоить милого ребенка и с отвращением поспешил покинуть место, где самовольно намеревался разорвать венок невинности. Он отлично знал, что многие из его приятелей, которые еще меньше верили в женскую добродетель, чем он, нашли бы его поведение ненаходчивым и смешным. Он и сам приходил почти к тому же заключению, когда начинал хладнокровно размышлять. Вместе с тем, он все же находил свою глупость превосходной и интересной. Он держался того мнения, что благородные люди в житейских обстоятельствах неизбежно в глазах толпы должны казаться простачками или сумасшедшими. Так как при следующем свидании Юлий не без лукавства заметил или вообразил, что девочка казалась скорее недовольной, что ее не соблазнили до конца, он укрепился в своем недоверии к женской добродетели и повергся в острое ожесточение. Его отношение к ней превратилось в нечто вроде презрения, для которого, собственно, он имел так мало оснований. Он скрылся, опять ушел в свое одиночество и предоставил пожирать себя своей тоске.

Итак, он снова погрузился на время в прежний образ жизни, в котором чередовались меланхолия и беспашанность. Единственный друг, обладавший достаточной силой и серьезностью, чтобы его утешить, занять и задержать на пути к гибели, был далеко; таким



образом, его тоска оставалась безысходной также и с этой стороны. Однажды он порывисто протянул руки к отсутствующему, как будто тот должен был, наконец, появиться, и снова безутешно опустил их, после долгого и напрасного ожидания. Он не пролил ни одной слезы, но его душа впала в агонию безнадежной тоски, от которой он избавился только для того, чтобы совершить новые безрассудства.

Он громко радовался, оглядываясь в лучах роскошного утреннего солнца на город, который он любил еще ребенком, в котором он прожил все это время и который он теперь надеялся оставить навсегда. Он предвкушал уже неизведанную жизнь новой родины, которая ожидала его на чужбине и образы которой он успел уже пылко полюбить.

Вскоре он нашел другое очаровательное местожительство, где его, правда, ничто не связывало, но зато многое притягивало. Все его силы и склонности пробудились под влиянием новой обстановки; без меры и без цели для своего внутреннего содержания принял он участие во всех проявлениях внешней жизни, которые хоть сколько-нибудь были примечательны, откликаясь на все, его окружающее.

Но, почувствовав скоро и в этой шумихе пустоту и скуку, он стал часто возвращаться к своим одиноким грезам и по-старому ткать узоры своих неудовлетворенных желаний. Однажды он даже проронил слезу из жалости к себе, когда заглянул в зеркало и увидел, как мрачно и колоче горел в его темных глазах огонь подавленной любви, как под непокорными черными кудрями легкие морщинки врезались в воинственный лоб и как побледнели его щеки. Он вздохнул о своей бесполезной юности; но тут существо его возмутилось, и из числа красивых знакомых женщин он выбрал ту, которая жила свободнее всех и больше всех блистала в хорошем обществе. Он решил добиваться ее любви, и он позволил своему сердцу деликом наполнить себя этим объектом. То, что так дико и при-

чудливо началось, не могло нормально кончиться; его избранница, которая была столь же тщеславна, сколь красива, должна была найти странным, и даже более чем странным, то, как Юлий с серьезнейшей тщательностью повел свою осаду, то проявляя себя при этом дерзким и уверенным, как старый волокита, то робким и неумелым, как полнейший новичок. Проявляя себя столь странно, он должен был быть гораздо богаче, чем он был, чтобы иметь такие притязания. Ее отличала непринужденная и оживленная манера держаться, и ему казалось, что она обладает даром изысканной речи. Однако то, что он принимал у любимой за божественное легкомыслие, являлось не чем иным, как бессодержательным увлечением, без подлинной радости и веселости, а также и без вдохновения; в ней было ровно столько ума и хитрости, сколько требуется для того, чтобы всех умышленно и бесцельно приводить в смятение, заманивать в свои сети мужчин и управлять ими и чтобы опьяняться их поклонением. К несчастью для Юлия, эта дама проявила по отношению к нему некоторые знаки благосклонности; эти знаки были из тех, которые ни к чему не обязывают, потому что проявляющая их никогда не призналась бы в своей благосклонности, и которые волшебством скрытности неразрывнее связывают пойманного новичка. Уже один украденный взгляд, одно рукопожатие, одно слово, сказанное лишь ему одному, могли его околдовать, если бы только простой и дешевый дар был приправлен хотя бы видимостью своеобразной и особой значительности. Ему показалось, что она подарила ему еще более явный знак внимания, и он почувствовал себя глубоко обиженным тем, как мало она его понимала, так спеша ему навстречу. Он гордился сознанием того, что это его обидело, и в то же время его безмерно очаровывала мысль, что нужно только быть проворным и использовать благоприятную возможность, чтобы беспрепятственно подойти к цели. Он уже осыпал себя горькими упреками за свою медлительность, когда внезапно в нем

возникло подозрение, что ее инициатива — это лишь обман и что на самом деле она поступает с ним нечестно; и так как один его приятель дал ему на этот счет исчерпывающее разъяснение, у него не могло остаться никаких сомнений. Он понял, что его находят смешным, и должен был себе признаться, что это вполне естественно. Он пришел в некоторую ярость и легко наделал бы бед, если бы в результате его внимательных наблюдений эти пустые люди с их маленькими связями и разрывами, со всей игрой их тайных намерений и задних мыслей, не внушили ему глубокого презрения. Потом он снова сделался неуверенным, и так как его мнительность перешла теперь уже всякие границы, он стал относиться с недоверием к собственному недоверию. То видел он корень зла только в своем своенравии и чрезмерной чувствительности, и это предположение придавало ему новые надежды и новое доверие; то во всех злополучиях, которые в самом деле, казалось, его преследовали, он видел лишь искусное дело ее мести. Все колебалось, и только то становилось для него все яснее и определеннее, что законченное шутство и глупость в общем являются подлинным преимуществом мужчины, своенравная же злоба в соединении с наивной холодностью и смеющейся бесчувственностью — прирожденным искусством женщин. Это было все, чему он научился посредством напряженного стремления к познанию человека. В отдельных случаях он, всегда остроумным образом, делал промахи, ибо всюду предполагал искусственные намерения и глубокую связь и не имел никакого чутья к незначительному. При этом возрастала его страсть к игре; связанные с ней запуганные сдвещения обстоятельств, странности и счастливые случайности интересовали его, так же как он при более значительных обстоятельствах, побуждаемый простой причудой, решался на ответственную игру со своими страстями и их объектами или только думал, что решался.

Итак, он все сильнее запутывался в интригах дурного

общества, а то, что ему еще оставалось в смысле времени и сил в этом водовороте развлечений, он предоставил одной девушке, которую он стремился обладать как можно более безраздельно, хотя он нашел ее среди тех, которые почти открыто принадлежат всем. Делало ее для него столь привлекательной не только то, благодаря чему она была для всех желанной и всеми одинаково прославленной,—ее редкая опытность и неисчерпаемая разносторонность во всех соблазнительных искусстваа чувственности. Еще более сильное впечатление производило на него ее наивное остроумие, блестящие искры ее неотшлифованного ума, сильнее же всего — ее решительные манеры и ее последовательное поведение. Будучи весьма испорченной, она проявляла своего рода характер; ее отличало множество своеобразных особенностей, и ее эгоизм был также особого порядка. Наряду с независимостью, она ничего так безмерно не любила, как деньги, но она умела ими распоряжаться. При этом она была нетребовательна к тем, кто был не слишком богат, и даже по отношению к другим была чистосердечна в своем стяжательстве и лишена какого-либо коварства. Она казалась беззаботно живущей только настоящим и тем не менее постоянно думала о будущем. Она экономила в мелочах, для того чтобы расточать на свой манер в крупном и чтобы иметь наилучшее в области изысканной роскоши. Ее будуар отделан был просто и без обычной мебели, только со всех сторон были наставлены большие ценные зеркала, а там, где оставалось свободное место, висели хорошие копии сладострастных картин Корреджо и Тициана, а также несколько хороших оригиналов, изображающих свежие цветы и фрукты; вместо ламбрекенов — самые живые и веселые изображения, гипсовые слепки с античных барельефов; вместо стульев — настоящие восточные ковры; обстановку дополняло несколько мраморных групп в половину человеческого роста: слаготлюбивый фавн, почти преодолевший сопротивление спасавшейся

бегством и в изнеможении упавшей нимфы; Венера, приподнявшая одежду и с улыбкой созерцающая свои сладострастные бедра, и другие такого же характера изображения. Здесь она часто сидела на турецкий манер в одиночестве целые дни напролет, праздо опустив руки на колени, так как она презирала все женские работы. От поры до времени она освежалась благовонными ароматами и при этом заставляла своего жокея, красивого мальчика, которого она нарочно соблазнила уже на четырнадцатом году его жизни, читать себе вслух повести, описания путешествий и сказки. Слушала она довольно рассеянно, и только те места привлекали ее внимание, где описывалось что-нибудь смешное, или те, которые содержали какое-нибудь замечание общего характера, которое она тоже признавала верным. Ибо она вообще ни на что не обращала внимания и не имела склонности ни к чему, кроме реальности, находя всю поэзию смешной. Когда-то она была актрисой, но лишь в течение короткого времени, и она охотно смеялась над своей непригодностью для этой профессии и над той скукой, которую ей там пришлось испытать. Одной из ее многочисленных особенностей было то, что она в таких случаях говорила о себе в третьем лице. Точно так же и когда она рассказывала, она называла себя только Лизеттой, и говорила, что, если бы она была писательницей, то описала бы свою собственную историю, но так, как если бы она говорила о ком-нибудь другом. Музыка она не воспринимала никак, зато в области изобразительных искусств обнаруживала столько чутья, что Юлий часто беседовал с ней о своих работах и о своих идеях и считал наиболее удачными из своих набросков те, которые он делал на ее глазах и в то время, как она говорила. Однако в статуях и рисунках она ценила только живую силу, а в картинах — только волшебство красок, правдивость в передаче тела и, во всяком случае, световые эффекты. Если же кто-нибудь говорил ей о правилах, об идеале и о так

называемом рисунке, она начинала смеяться или переставала слушать. Но для того чтобы попробовать свои силы в этой области,—как ни много добровольных учителей предлагали ей свои услуги,—она была слишком ленива и избалована и слишком ценила преимущества своего образа жизни. Кроме того, она не доверяла никакой лести и была убеждена в том, что никакие усилия не помогут ей сделать в области искусства ничего выдающегося. Когда хвалили ее вкус и ее комнату, в которую она лишь изредка вводила только избранных любимцев, она в ответ на это начинала юмористически прославлять сначала добрую старую судьбу, лукавую Лизетту и вслед за этим англичан и голландцев в качестве представителей наилучших среди всех известных ей национальностей, так как полная касса некоторых новичков этого рода положила хорошее начало ее богатой обстановке. Вообще она очень радовалась в тех случаях, когда ей удавалось обойти глупца; но она делала это забавным, почти ребяческим образом, остроумно и скорее из озорства, нежели из динизма. Весь свой ум она обращала на то, чтобы оградить себя от назойливости и неделикатности мужчин, и это ей так хорошо удавалось, что даже грубые, развратные люди говорили о ней с искренним уважением, которое тем, кто ее не знал, но был осведомлен о ее профессии, казалось весьма комичным. Именно это впервые побудило любопытного Юлия завязать столь необычайное знакомство, и вскоре у него появилось еще больше оснований для изумления. Когда ей приходилось иметь дело с обыкновенными мужчинами, она терпела и делала то, что считала своей обязанностью, точно, ловко и искусно, но оставаясь совершенно холодной. Если же мужчина ей нравился, она вводила его даже в свой священный кабинет и, казалось, становилась совсем другим человеком. Ее охватывала тогда прекрасная вакхическая страсть; дикая, разнузданная и ненасытная, она почти забывала про свое искусство и впадала в состояние восторжен-



ного обоготворения мужского начала. Поэтому Юлий и любил ее, а также потому, что она казалась всецело ему преданной, хоть и не очень выражала это словами. Она скоро замечала, обладает ли умом тот или иной из ее новых знакомых, и, придя к положительному заключению, становилась открытой и сердечной и охотно предоставляла своему другу рассказывать ей обо всем, что знал он про белый свет. Многие содействовали расширению ее кругозора, однако никто так не понимал ее внутреннего содержания, как Юлий, никто не относился к ней так бережно и никто не уважал так ее подлинную ценность, как он. Поэтому она была привязана к Юлию больше, чем можно выразить словами. Может быть, впервые она с волнением вспомнила о своей ранней юности и невинности, и впервые ей не понравилось то окружение, которое до сих пор ее вполне удовлетворяло. Юлий это чувствовал и радовался этому, однако он не мог до конца преодолеть того презрения, которое внушали ему ее профессия и ее испорченность; неизгладимое недоверие, которым он с некоторых пор проникся, казалось ему здесь вполне уместным. Как он возмутился, когда однажды неожиданным образом она сообщила ему, что он имеет честь стать отцом. Ведь он знал, что она, несмотря на свое обещание, совсем недавно принимала визиты другого. Она не могла отказать Юлию в этом обещании. Вероятно, она сама охотно бы его сдержала, но ей требовалось больше, чем то, что он мог ей давать. Она знала лишь один способ зарабатывать деньги, и из деликатности, которую она проявляла единственно по отношению к Юлию, она брала лишь незначительную долю того, что он ей предлагал. Всего этого не учел разгневанный юноша; он счел себя обманутым, он сказал ей это в жестких выражениях и оставил ее в самом возбужденном состоянии, как он думал, навсегда. Вскоре после этого его разыскал ее мальчик со слезами и жалобами, которые не прекращались до тех пор, пока Юлий не последовал за ним. Он нашел ее почти

раздетой в уже темном кабинете; он опустился в любимые объятия, она прижала его к себе так же пылко, как и всегда, но ее руки сейчас же опустились. Он услышал глубокий стонущий вздох,—это был последний; и когда он взглянул на себя, то увидел, что он в крови. Преисполненный ужаса, он вскочил и хотел бежать. Он помедлил только для того, чтобы захватить с собою длинный локон, лежавший на полу около ножа, окрашенного кровью. Она только что обрезала его в экстазе отчаяния, перед тем как нанести себе многочисленные раны, из которых большинство оказались смертельными. Вероятно, у нее была мысль, что этим она в качестве жертвы предаст себя смерти и разрушению, ибо, по словам мальчика, она при этом громким голосом говорила: „Лизетта должна погибнуть; погибнуть немедленно: так хочет рок, железный рок“.

Впечатление, которое эта внезапная трагедия произвела на восприимчивого юношу, было неизгладимо и благодаря собственной силе вжигалось все глубже и глубже. Первым следствием гибели Лизетты было то, что воспоминания о ней он обоготворил мечтательным уважением. Он сравнил ее высокую энергию с ничтожными интригами той дамы, которая его завлекла, и его внутреннее чувство отчетливо подсказало ему, что Лизетта была нравственнее и женственнее, ибо та кокетка никогда не выражала той или иной степени благосклонности без побочных намерений; и, несмотря на это, весь свет уважал ее и восхищался ею, так же как и многими другими, ей подобными. В силу этого его разум горячо протестовал против всех ложных и справедливых мнений, которые изрекаются по поводу женской добродетели. Для него сделалось принципом сознательно презирать все общественные предрассудки, к которым до сих пор он относился лишь пренебрежительно. Он вспомнил о нежной Луизе, которая едва не сделалась жертвой его соблазна, и пришел в ужас. Ведь и Лизетта была из хорошей семьи, рано возвращена, похищена и брошена на чужбине, слишком горда,



чтобы вернуться, и извлекла она из своего первого опыта столько, сколько другие не извлекут из последнего. С болезненным удовольствием собирал он те или иные любопытные черточки, относящиеся к ее ранней юности. В ту пору она была скорее грустной, чем легкомысленной, но в глубине ее уже тогда горело пламя, и даже, когда она была маленькой девочкой, ее заставляли перед картинами с изображениями нагих фигур или при других обстоятельствах — в необычайных проявлениях самой порывистой чувственности.

Это исключение из того, что Юлий считал обычным для женского рода, было слишком единично, а то окружение, в котором он с ним столкнулся, — слишком нечисто, чтобы он мог притти таким путем к представлению, соответствующему действительности. Его чувство скорее отталкивало его теперь почти вовсе от женщин и от общества, где они задавали тон. Он боялся своей страстности и всей душой стал искать дружбы с молодыми людьми, которые, как и он, были способны к воодушевлению. Им он отдал свое сердце, лишь они были для него подлинно существующими, остальную же массу обычных призрачных существ он с удовольствием презирал. Со страстью и виртуозностью спорил он мысленно со своими друзьями и размышлял по поводу их различных достоинств и отношений с ним. Он разгорячался в процессе собственных мыслей и воображаемых разговоров и оцепенялся гордостью и сознанием своего мужского достоинства. Все они пылали также благородной любовью, здесь дремала большая неразвернувшаяся энергия, и нередко они говорили неотшлифованными, но меткими словами возвышенные вещи о чудесах искусства, о смысле жизни, о сущности добродетели и самоутверждения; преимущественно же о божественности дружбы между мужчинами, и эту дружбу Юлий решил сделать подлинным содержанием своей жизни. Он имел много таких дружеских связей и с ненасытностью заключал все новые и новые. С каждым мужчиной, который представлялся ему

интересным, он стремился завязать такую связь и не успокаивался до тех пор, пока ему не удавалось этого достичь, преодолев сдержанность своего избранника юношеской настойчивостью и самоуверенностью. Можно предположить, что Юлий, который, в сущности, все считал для себя дозволенным и не боялся оказаться в смешном положении, имел в качестве идеала и перед глазами благопристойность, несхожую с общепринятой.

В чувстве и обхождении одного друга он находил более чем женскую бережность и нежность при наличии возвышенного ума и твердого характера; другой вместе с ним пылал благородным негодованием по поводу плохих времен и мечтал о совершении великих дел. Обаятельный духовный облик третьего представлял собою еще только хаотический комплекс всевозможных потенциалов, но он отличался тонким пониманием всего и предощущением мира. Одного Юлий почитал в качестве своего наставника в области искусства, другого он считал своим учеником и лишь урывками снисходительно принимал участие в распутствах, для того чтобы до конца его распознать, расположить к себе и спасти его большое дарование, которое было так же близко к гибели, как и его собственное.

Цели, к достижению которых они со всей серьезностью стремились, были высоки. А между тем, все их стремление сводилось к красивым словам и превосходным желаниям. Юлий не подвигался вперед, настроение его не прояснялось, он не работал и ничего не создавал. Больше того, никогда он так не запускал своих занятий в области искусства, как именно тогда, когда его разглагольствования перед друзьями превращались в потоки планов и проектов всех работ, которые он намеревался выполнить и которые в момент его первоначального вдохновения представлялись ему уже законченными. В тех редких случаях, когда к нему возвращалась трезвость, он заглушал ее музыкой, являвшейся для него опасной бездонной пучиной тоски и уныния, в которую он охотно и добровольно погружался.

Это внутреннее брожение могло бы подействовать на него исцеляюще, из глубины отчаяния могли бы в конце концов возродиться спокойствие, твердость и просветленность. Но бушующая неудовлетворенность раздробляла его воспоминания, и никогда еще его представление об его целостном „я“ не было столь беспомощным. Он жил только настоящим, к которому он припадал губами, изнемогающими от жажды, и без конца погружался в каждую неизмеримо малую и вместе с тем неисчерпаемую частицу чудовищного времени, как если бы только в ней ему, наконец, предстояло найти то, что он уже так долго искал. Эта бушующая неудовлетворенность вскоре должна была разладить и расстроить его связи, даже с его друзьями, из которых большинство при наличии блестящих дарований отличалось такою же бездеятельностью и раздвоенностью, как он сам. Тот, казалось, его не понимал, другой восхищался лишь его умом, обнаруживая при этом недоверие к его сердцу, действительно несправедливое. Юлий почувствовал себя оскорбленным в своем сокровеннейшем достоинстве и разрываемым тайной ненавистью. Этому чувству он предался без колебаний, ибо считал, что лишь того, кого должно уважать, можно ненавидеть и что только друзья могут так глубоко оскорбить друг друга в самых нежных чувствах. Один юноша погиб по собственной вине; другой даже начал становиться совсем обыкновенным; с третьим его отношения расстроились и приняли почти банальный характер. Их взаимоотношения носили исключительно духовный характер, и такими им следовало бы оставаться; но именно потому, что они являлись такими утонченными, всему суждено было осыпаться лепестками нежнейшего цветка, когда друзьям представился повод оказывать друг другу взаимные услуги. Возникшее между ними соревнование в великодушии и благодарности в конце концов привело к тому, что в самой сокровенной глубине души они начали предъявлять друг другу земные требования и друг друга сравнивать.

Вскоре случай беспощадно разрубил тот узел, который в порыве страсти был завязан лишь прихотью. Все больше и больше погружался Юлий в такое состояние, которое от сумасшествия отличалось лишь тем, что оно охватывало его лишь тогда и постольку, когда и поскольку он хотел ему предаваться. Если не считать этого, то поведение Юлия соответствовало всем правилам каждого приличного общественного порядка, и как раз теперь его начали называть благоразумным; это объяснялось тем, что смятение всяческих страданий производило свою разрушительную работу в глубине его сознания и болезнь его духа все глубже и затаеннее подтачивала его сердце. Это было скорее безумие чувств, чем повреждение разума, и болезнь эта была тем опаснее, что внешне он казался веселым и безмятежным. Таково было его обычное настроение, и Юлия находили даже приятным. И только когда ему случалось выпить вина больше чем обычно, он становился чрезвычайно грустным и склонным к жалобам и слезам. Но даже и в таких случаях его речь в присутствии посторонних пенялась горьким остроумием и насмешками надо всем, или же он вел свою игру с чудаковатыми и глупыми людьми, общение с которыми он теперь всему предпочитал. Он умел приводить их в наилучшее настроение так, что они простодушно делились с ним всеми своими помыслами, показывая себя такими, какими они были на самом деле. Обыденность возбуждала и забавляла его не по причине его любезной снисходительности, но оттого, что она была глупой и сумасбродной.

О себе самом он не думал, лишь от поры до времени его пронизывала уверенность, что он внезапно должен погибнуть. Раскаяние он подавлял посредством гордости, а мысли и образы самоубийства были так знакомы ему еще со времен его первоначальной юношеской тоски, что они успели утратить для него очарование новизны. Он был бы вполне способен привести в исполнение такое решение, если бы он вообще был способен прийти к какому бы то ни было решению.

Ему казалось, что такой исход едва ли стоит усилий, так как он не хотел надеяться, что ему таким путем удалось бы избежать скуки существования и отвращения к судьбе. Он презирал мир и все и гордился этим.

Но и от этой болезни, так же как и от всех предыдущих, он исцелился и избавился при первом же взгляде на одну женщину, которая была единственной и которая впервые захватила его душу целиком и в самой ее сердцевине. До сих пор его страсти играли только на поверхности, или же это были преходящие состояния без всякой взаимной связи. Теперь же его охватило новое, незнакомое чувство, говорившее ему, что один лишь данный объект его устремлений является настоящим и что такое впечатление останется у него вечно. Первый взгляд был уже решающим, при вторичном же взгляде он это осознал и сказал себе, что теперь пришло и действительно находится здесь то, что он так долго смутно ожидал. Он изумился и пришел в ужас, так как, поскольку он думал, что высшим благом для него было быть ею любимым и вечно ею обладать, он при этом чувствовал, что это высшее и единственное его желание вечно будет для него неосуществимым: она уже сделала свой выбор и отдала себя; ее друг был также и его другом и жил достойно ее любви. Юлий был его поверенным, поэтому он подробно знал о том, что делало его несчастным, и со всей строгостью судил о своей недостойности. Против нее восстала вся сила его страсти. Он отрешился от надежды и от счастья, но он решил его заслужить и стать господином над самим собой. Ничто не являлось для него столь ненавистным, как мысль о том, что он каким-нибудь неясным словом или заглушенным вздохом может выдать хотя бы малейшую частицу того, что его наполняет. Разумеется, любое проявление чувства было бы неразумным, и поскольку он был таким пылким, она — такой нежной и взаимоотношения — такими хрупкими, то даже одно какое-нибудь движение, из тех, которые кажутся произвольными и все же хотят быть заме-



ченными, повело бы все дальше и окончательно бы все запутало. Поэтому всю свою любовь он оттеснил в самую глубину своего внутреннего мира и там предоставил своей страсти бушевать, пылать и пожирать его; но внешний вид его производил совсем иное впечатление, и ему так хорошо удавалась роль ребяческой непринужденности, неопытности и своего рода братской жесткости, которую он взял на себя для того, чтобы как-нибудь от лести не перейти к нежности, что в ней никогда не возникало ни малейшего подозрения. В своем счастье она чувствовала себя ясно и легко, ни о чем не догадывалась, а следовательно, и ничего не боялась; напротив, она предоставляла полную свободу и своему остроумию и своему капризу, когда находила его нелюбезным. Вообще ее природе свойственно было все высокое и все грациозное, что только может быть свойственно женской природе: каждая черта божественного и каждое проявление шаловливости, но все это носило печать утонченности, культуры и женственности. Свободно и мощно развивалась и проявляла себя каждая отдельная особенность, как если бы была единственной, и, тем не менее, это богатое, дерзкое смешение столь различных вещей в целом не являлось просто сумятицей, ибо его одушевляло вдохновение, живое дыхание гармонии и любви. Она могла в течение одного и того же часа изображать какую-нибудь комическую сцену с выразительностью и тонкостью заправской актрисы и читать возвышенные стихи с чарующим достоинством безыскусственного напева. То ей хотелось блистать и развлекаться в обществе, то она вся превращалась во вдохновение, то помогала советом и делом, серьезно, скромно и дружески, как самая нежная мать. Малейший эпизод, благодаря ее манере рассказывать, становился очаровательным, как красивая сказка. Все пронизывала она чувством и остроумием; во всем она обладала вкусом, и все выходило облагороженным из ее творческой руки, из ее сладкоречивых уст. Ни одно из проявлений хорошего и великого не было для нее столь святым

или столь обыкновенным, чтобы воспрепятствовать ей принимать в нем страстное участие. Она воспринимала каждый намек и отвечала даже на вопрос, который не был произнесен. Произносить речи перед ней было невозможно; они сами собою принимали форму беседы, и по мере возрастающего интереса, на ее лице отражались все новые оттенки одухотворенных взглядов и милых выражений. Казалось, что видишь эти оттенки выражений, меняющиеся соответственно содержанию того или другого места, при чтении ее писем,— так проникновенно и задушевно писала она о том, что мыслилось ею в форме разговора. Кто знал ее только с этой стороны, мог подумать, что она была только любезной, что она могла бы заворочить в качестве артистки и что ее крылатым словам не хватало лишь размера и рифмы, чтобы превратиться в нежную поэзию. И однако именно эта женщина в каждом решающем случае выказывала, к удивлению, мужество и силу, и это было также тою высокою точкою зрения, с которой она судила о достоинстве людей.

Это величие души было той стороною, с которой Юлий главным образом и познавал ее существо в начале своей страсти, ибо эта сторона наилучшим образом соответствовала серьезности его чувства. Все существо его равномерно отступило с поверхности в глубину; он погрузился в полную замкнутость и удалился от общения с людьми. Суровые скалы были его излюбленным обществом, на берегу пустынного моря следил он за своими мыслями и советовался с самим собой; и когда свистящий ветер шумел в высоких елях, то ему казалось, что могучие волны глубоко под ним из участия и сострадания стремились к нему приблизиться, и с тоскою смотрел он вслед далеким кораблям и заходящему солнцу. Это был его любимый уголок, который превратился для него благодаря воспоминанию в священную отчизну всех его страданий и решений.

Обожествление его возвышенной подруги сделалось для его духа прочным средоточием и основанием по-

вого мира. Здесь исчезали все сомнения; благодаря этому подлинному благу он чувствовал ценность жизни и предугадывал всемогущество воли. Он стоял поистине на свежей зелени крепкой материнской почвы, и новые небеса безграничным сводом расстилались над ним в голубом эфире. Он осознал в себе высокое призвание к божественному искусству. Он проклял свою лень за то, что так далеко отстал в своем художественном развитии, и — свою бывшую изнеженность за то, что она мешала каждому мощному напряжению. Он не позволил себе погрузиться в праздное отчаяние, но последовал пробудившемуся в нем голосу священного долга. Он пустил в ход все средства, которые только остались у него от его прежней расточительности. Он разорвал все свои прежние связи и одним ударом вернул себе полную независимость. Свои силы и свою юность он посвятил возвышенному труду художника и вдохновению. Он забыл о своей современности и развивался по примеру героев древности, руины которой он благоговейно любил. Также и для него действительность не существовала, так как он жил только в будущем и в надежде когда-нибудь создать бессмертное произведение в качестве памятника своей добродетели и своего достоинства.

Так он страдал и жил в течение многих лет, и те, которые с ним встречались, считали его старше, чем то было в действительности. То, что он творил, являлось значительным по замыслу и создано было в старинном стиле, но серьезность, которая пронизывала его произведения, была устрашающей, формы носили характер чудовищного преувеличения, античность искажалась жесткостью его изобразительной манеры, и его картины при всей их основательности и продуманности оставались застывшими и окаменевшими. Многие в них было достойно похвал, лишь миловидность в них отсутствовала; и в этом он сам был похож на свои произведения. Его характер закалился в чистом огне страдания божественной любви и сверкал светлой силой, но он был

суровым и твердым, как настоящая сталь. Его спокойствие объяснялось его холодностью, и только тогда он приходил в волнение, когда величественная дикость пустынной природы больше обычного его восхищала, когда он мысленно давал своей далекой подруге правдивый отчет в борьбе за свое развитие и в той цели, которую преследовала вся его работа, или же, когда его так охватывал энтузиазм искусства в присутствии других, что после долгого молчания несколько крылатых слов вырывалось из глубины его души. Но это случалось редко, так как он проявлял так же мало участия к людям, как и к самому себе. По поводу их счастья и их начинаний мог он только приветливо улыбаться, и он верил им на слово, когда замечал, каким они его находили неприятным и нелюбезным.

Несмотря на это, одна знатная дама, казалось, обратила на него некоторое внимание и оказывала ему предпочтение. Ее тонкая душа и нежность ее чувствования вызывали живейшее влечение с его стороны, тем более, что они сочетались с очарованием привлекательного и при том необычного внешнего облика и с впечатлением от ее глаз, преисполненных выражением тихой меланхолии. Но как только у него появлялось желание сделаться более сердечным, его охватывало прежнее разочарование и привычная холодность. Он видел ее часто и все же не мог высказаться, но вскоре и этот поток чувства отхлынул назад во внутреннее море всяческого вдохновения. Даже владычица его сердца отступила назад в священный мрак и осталась бы ему чуждой, если бы они снова когда-нибудь встретились.

Единственное, что настраивало его мягче и теплее, было общение с другой женщиной, которую он уважал и любил, как сестру, и на которую он так и смотрел. Он уже давно состоял с нею в приятельских отношениях. Она была болезненной и несколько старше, чем он; при этом, однако, обладала ясным зрелым умом, прямым здравым смыслом и даже в глазах посторонних

была бесконечно справедлива и в то же время любезна. Все, что она предпринимала, подчинялось духу ласкового упорядочения, и как бы сама собою ее деятельность развивалась постепенно из предыдущей и незаметно связывалась с последующей. С такой точки зрения Юлий определенно понял, что нет никакой другой добродетели, кроме последовательности. Только это была не застывшая холодная согласованность предвзятых принципов или предубеждений, но постоянная верность материнского сердца, которое с застенчивой силой расширяет и завершает в себе самом круг своего воздействия и своей любви и превращает грубые явления окружающего мира в уютную собственность и предмет общественной жизни. При этом ей чужда была всякая ограниченность, свойственная домовитым женщинам, и с глубокой бережностью и проникновенной мягкостью говорила она о господствующих мнениях и об отклонениях и исключениях из общего правила тех, которые плывут против течения; ее ум был безупречен в такой же мере, в какой ее чувство — чисто и велицемерно. Говорила она охотно, главным образом, о нравственных предметах, причем часто переводила споры на общие вопросы и находила удовольствие в островах, когда они звучали осмысленно и казались содержательными. Она не экономила слов, и ее высказывания никогда не носили характера боязливой упорядоченности. Это было очаровательное смешение отдельных реплик и общей участливости, продолжительной внимательности и внезапной рассеянности.

Материнская добродетель этой превосходной женщины была, наконец, вознаграждена природой, и под ее верным сердцем, когда она меньше всего на это надеялась, зачалась новая жизнь. Это преисполнило юношу, который был так привязан к ней и принимал такое теплое участие в ее семейном счастье, живейшей радостью; но это событие всколыхнуло в нем многое из того, что в течение долгого времени молчало.

Так как некоторые художественные попытки Юлия

пробудили в его груди новую уверенность, а первое одобрение больших мастеров его ободрило; так как искусство привело его в новые достопримечательные места, где его окружали новые веселые люди, то чувство его смягчилось и потекло мощно, как большой поток, когда лед тает и ломается и волны с новой силой prorываются вперед по старому руслу.

Он был удивлен, почувствовав себя снова непринужденно и весело в обществе людей. Его образ мыслей сделался мужественным и суровым, но его сердце за время одиночества стало снова наивным и робким. Он тосковал по некоей родине и мечтал о хорошем браке, который бы не шел вразрез с требованиями искусства. И когда он оказывался в цветнике молодых девиц, то он часто находил одну или многих из них достойными любви. Ему казалось, что жениться на той или иной девушке он готов был бы немедленно, если уж он не мог ее полюбить. Ведь понятие и даже самое слово „любовь“ было для него священнейшим и оставалось совсем вдалеке. При таких обстоятельствах он усмехался по поводу кажущейся ограниченности своих мгновенных желаний и остро чувствовал, как бесконечно многого ему бы еще не хватало, если бы по мановению волшебного жезла эти желания внезапно исполнились. В другой раз он смеялся еще больше над своей пылкостью, пробудившейся после столь длительного воздержания, когда случай предоставил ему возможность легко и безмятежно вкусить наслаждение и когда благодаря роману, который был начат, завершен и ликвидирован в течение нескольких минут, его душа освободилась и облегчилась по крайней мере от некоторого количества горючего материала.

Он понравился одной весьма образованной девушке благодаря тому, что с явной искренностью восхищался ее воодушевленными разговорами и всем ее обаятельным внутренним обликом; и так как в его лице она обрела поклонника, который обходился без всякой лести и только манерой обращения с ней выражал свое обо-

жание, то она мало-по-малу все ему позволила, кроме последнего. И даже этот предел она поставила ему не из-за холодности, а также не из предусмотрительности и не принципиально, так как она отличалась достаточно легкой возбудимостью, имела определенно выраженную склонность к легкомыслию и жила в весьма свободных условиях. Ее удерживала женская гордость и боязнь перед тем, что она считала звериным и грубым. Юлий невольно улыбался скудному воображению этого извращенного и причудливого существа, при мысли о творчестве и воздействии всемогущей природы, о ее вечных законах, о высоте и величии материнства, о красоте мужчины, преисполненного здоровьем и любовью и охваченного экстазом жизни, и о красоте женщины, отдающейся этому экстазу; но как ни мало соответствовало его характеру такое начало без завершения, тем не менее, при данных обстоятельствах он был рад убедиться в том, что он еще не утратил вкуса к нежному и утонченному наслаждению.

Скоро, однако, он забыл как эту, так и другие подобные мелочи, так как встретил молодую художницу, которая, подобно ему, страстно поклонялась прекрасному и, казалось, так же как и он, любила одиночество и природу. Все ее пейзажи были как бы схвачены единым взглядом, и в них можно было видеть и чувствовать живое дуновение настоящего воздуха. Контуры в них были слишком неопределенны и манерой своего исполнения выдавали недостаточно основательную школу. Однако массы были удачно согласованы в некоем единстве, которое ощущалось так ясно и отчетливо, что, казалось, ничего другого при этом и нельзя было почувствовать. Она занималась живописью не в качестве ремесла или искусства, но лишь ради удовольствия и любви к ней; каждый кусок действительности, который нравился ей или интересовывал ее во время ее странствий, она набрасывала на бумагу, в зависимости от времени и настроения, пером или акварелью. Для работы маслом ей не хватало терпения и усердия,

и она редко принималась за портрет; только в тех случаях, когда ей попадалось лицо, которое она считала выдающимся и значительным, она работала с добросовестнейшей тщательностью и правдивостью в передаче натуры и умела добиваться от пастели чарующей мягкости. Пусть для искусства ценность этих опытов была условной и незначительной, все же Юлий радовался немало очаровательной дикости ее пейзажей и тому дару, благодаря которому она передавала неисчерпаемое многообразие и чудесную согласованность черт человеческого лица, и, как бы ни были просты черты лица самой художницы, они все же не были незначительны, и Юлий находил в них большую выразительность, которая всегда была ему нова.

Люцинда обладала решительной склонностью к романтическому; Юлий был поражен этим новым проявлением сходства между ними, и, чем дальше, тем больше проявлений он обнаруживал. Подобно ему, Люцинда была из тех, кто живет не в обыденности, но создает свой собственный, выдуманый мир, построенный по собственным законам. Только то, что она сердечно любила и почитала, являлось для нее действительным, все остальное для нее не существовало. И она знала, что обладает подлинной ценностью. Подобно ему, она со смелой решимостью отбросила от себя все посторонние соображения, разорвала все путы и жила вполне самостоятельно и независимо.

Чудесное сходство привлекало юношу все ближе к новой знакомой; он увидел, что и она сознавала это сходство, и вскоре оба заметили, что они друг другу не безразличны. Прошло еще немного времени с начала их знакомства; Юлий рещался лишь на отдельные отрывочные слова, которые были значительны, но не отчетливы. Он стремился больше узнать о судьбе и прежней жизни Люцинды, которая в этом отношении, в противоположность другим, была очень несообщительна. Она не без сильного волнения призналась ему, что была уже матерью красивого крепкого мальчика,



которого вскоре отняла у нее смерть. Юлий также погружился в воспоминания, и, по мере того как он рассказывал ей о прошлом, его жизнь впервые предстала перед ним в виде осмысленной истории. С каким удовольствием говорил с ней Юлий о музыке и как он обрадовался, услышав из ее уст о своих самых сокровенных и индивидуальных мыслях по поводу священных чар этого романтического искусства! Когда он слышал ее пение, которое чисто и мощно поднималось из ее глубокой и нежной души; когда он присоединил к нему свой голос и их голоса то сливались воедино, то чередовались в вопросах и ответах по поводу нежнейших ощущений, для которых нет слов,— он не мог удержаться, он напечатлел робкий поцелуй на свежих устах и огненных очах ее. С безграничным восторгом почувствовал он, как божественная голова высокого создания склонилась к его плечу; черные локоны, рассыпались по белоснежной груди и прекрасной спине; он тихо сказал: „Восхитительная женщина!“ — и в этот миг роковой гость неожиданно появился в комнате.

Теперь она, по его понятиям, в сущности, позволила ему все; он считал для себя невозможным мудрствовать лукаво при наличии взаимоотношений, которые представлялись ему такими чистыми и такими значительными, и все же малейшее промедление являлось для него невыносимым. От божества, думал он, желают не того, что представляется лишь переходом и средством, но ему открыто, с упованием признаются в том, что является целью всех желаний. Поэтому и он с невинной непринужденностью попросил у нее всего, о чем можно просить возлюбленную, и в потоках красноречия нарисовал ей картину того, как его страстность будет его опустошать, если она захочет быть чересчур женственной. Такое признание немало изумило ее, однако она интуитивно чувствовала, что после обладания Юлий проявит себя более любящим и преданным, чем раньше. Она не могла прийти ни к какому решению и предоставила это обстоятельствам, которые привели все к

лучшему. Лишь немного дней провели они вдвоем, и Люцинда отдалась ему навеки, открыв ему глубину своей души и всю силу, естественность и возвышенность, которые в ней таились. Люцинда, подобно Юлию, вела вынужденно замкнутый образ жизни, и вот теперь среди объятий в потоках речей из сокровенной глубины сразу прорвались наружу доверчивость и долго сдерживаемая общительность. Несколько раз в течение ночи они принимались то порывисто плакать, то громко смеяться. Они всецело предались друг другу и слились воедино, и все же каждый оставался вполне самим собою, даже в большей мере, чем когда-либо, и каждое внешнее проявление было преисполнено глубочайшим чувством и индивидуальнейшим своеобразием. То охватывал их безграничный экстаз, то начинали они забавляться и шутить, и тогда Амур действительно был здесь веселым ребенком, чем он, вообще говоря, бывает так редко.

То, что открылось юноше благодаря общению с его подругой, показало ему, что только женщина может быть подлинно несчастной и подлинно счастливой; он понял, что только те женщины, которые в лоне человеческого общества остались детьми природы, обладают той детской непосредственностью, с которой надо принимать дары и милости богов. Он научился ценить найденное им необыкновенное счастье, и когда он сравнивал его с недостойным, ненастоящим счастьем, которым он, руководимый случайным капризом, хотел когда-то овладеть искусственным путем, оно представилось ему настоящей розой на живом стебле рядом с поддельной. Однако, ни в упоении ночей, ни среди дневных радостей Юлий не хотел назвать это счастье любовью. Ведь когда-то он так убедил себя в том, что любовь не для него и он не для нее! В подтверждение этого самовнушения он вскоре установил различие между любовью и тем, что, по его мнению, связывало их обоих. К ней он испытывает пылкую страсть и навсегда останется ее другом; то, что чувствовала к нему она, и то, что она ему давала, он называл неж-

ностью, воспоминанием, преданностью и надеждой. Таково было его мнение.

А между тем, время текло и увеличивалась радость. В объятиях Люцинды Юлий снова нашел свою молодость. Роскошное развитие ее прекрасного стана было для неистовства его любви и его чувств очаровательнее, чем свежая прелесть груди и чистота девственного тела. Порывистая сила и теплота ее объятий были более чем девческими; они говорили об экстазе и глубине, которые могут появиться только у матери. Когда он увидел ее, залитую волшебным отсветом нежного заката, он не мог прекратить ласковых прикосновений к волнистым очертаниям ее тела, ощущая через тонкую оболочку гладкой кожи теплые течения нежнейшей жизни. А в это время взор его упивался цветом, который, благодаря воздействию теней, казался многообразно меняющимся и все-таки оставался тем же. Это было чистое смешение цветов, и нигде не выделялся один только белый, коричневый или красный в отдельности. Все это затуманилось и растворилось в одном единственном гармоничном сиянии умиротворенной жизни. Юлий тоже был прекрасно сложен, но мужественность его фигуры проявлялась не в выпирающей наружу силе мускулов. Контуры были скорее плавными, члены — развитыми и округлыми, но нигде не было чрезмерности. При ярком свете поверхность его фигуры всюду образовывала широкие массы, гладкое тело казалось плотным и крепким, как мрамор, и в процессе любовной борьбы развертывалось все богатство его сложения.

Они радовались своей юной жизни, месяцы проходили, как дни, и так, незаметно, промелькнуло больше двух лет. Тут Юлий постепенно понял, как велика была его оплошность и какую недогадливость он проявил. Ведь он искал любовь и счастье всюду, где их нельзя было найти, и теперь, когда он сделался обладателем высшего блага, он этого не осознал и не решился дать ему верного определения. Он понял, что любовь, которая

для женской души является безраздельным, совершенно простым чувством, у мужчины может проявляться лишь как чередование и смешение страсти, дружбы и чувственности; и он увидел с радостным удивлением, что он так же безгранично любим, как он сам любил.

Вообще казалось заранее предрешенным, что каждое происшествие в его жизни должно поражать его необыкновенным концом. Вначале ничто так не изумляло и не притягивало его к Люцинде, как открытие, что ее внутренний облик похож на его собственный, вернее даже, что их внутреннее содержание совершенно одинаково; и вот со дня на день ему пришлось обнаруживать все новые и новые различия. Правда, даже и эти различия основывались на глубоком внутреннем сходстве, и, чем богаче развertyвалась перед ним ее сущность, тем многогранней и задушевней становился их союз. Он и не подозревал, что ее своеобразие так же неисчерпаемо, как и ее любовь. Внешний облик ее даже казался теперь более юным и цветущим в его присутствии; и от соприкосновения с его душою точно так же расцвела и ее душа, превращаясь в новые образы и новые миры. В ней, казалось, он обладает всем, что прежде он любил в отдельности: своеобразие внутреннего облика, восхитительная страстность, скромная действенность, способность к образованию и сильный характер. Каждое новое обстоятельство, каждое новое суждение являлось для нее новым поводом для общения и для гармонии. Подобно их взаимной симпатии, росла и взаимная вера, а вместе с верой возрастали уверенность, бодрость и сила.

Они оба испытывали одинаковую склонность к искусству, и Юлию удалось создать несколько законченных произведений. Его полотна оживились, пронизанные потоками животворящего света, и в интенсивной, бодрой красочной гамме расцвела реальная плоть.купающиеся девушки, юноша, с затаенным удовольствием созерцающий свое отражение в воде, или благостно улыбающаяся мать с любимым ребенком на руках — вот, пожалуй,

важнейшие темы его кисти. Формы их, может быть, не всегда соответствовали общепринятым законам художественной красоты; то, чем они радовали взор, сводилось к некоей тихой прелести, к глубокому отпечатку спокойного ясного бытия и наслаждения этим бытием. Изображенные им люди казались одушевленными растениями в богоподобной человеческой оболочке. Таким же умиротворенным характером отличались и объятия, в изображении которых он проявлял неисчерпаемое разнообразие. Эта тема вдохновляла его больше всего, так как очарование его кисти нагляднейшим образом выявлялось именно здесь. Некое тихое волшебство, казалось, действительно захватывало врасплох и запечатлеvalo для вечности быстротечное и таинственное мгновение высшей жизни. Чем меньше в них было вакхической ярости, чем больше в них было скромности и мягкости, тем соблазнительнее оказывались образы юношей и женщин, пронизанных сладостным огнем.

Подобно тому, как усовершенствовалось его искусство и, как бы само собой, пришло то, чего ему не удавалось достичь никакими стремлениями и усилиями, его жизнь также превратилась в произведение искусства без того, в сущности, чтобы он заметил, как это произошло. Он почувствовал себя внутренне просветленным, и так как он стоял в центре своей жизни, то увидел и правильно пересмотрел все ее составные периоды и ее строение в целом. Он чувствовал, что никогда уже не утратит этой цельности, загадка его бытия была разрешена, и ему казалось, что все заранее предрешало и с ранних лет готовило его к тому, чтобы найти эту разгадку в любви, для которой он по юношескому неразумию считал себя совершенно неподходящим.

Легко и мелодично, как красивая песнь, протекали их годы, их жизнь была содержательной, их окружение также было полно гармонии, и их простое счастье производило впечатление скорее редкого таланта, чем необычайного дара случая. Юлий изменил даже свое внешнее поведение; он стал общительнее, и, хоть он

и порвал со многими, чтобы зато теснее сблизиться с немногими, в различиях, которые он проводил между людьми, исчезла его нетерпимость, он стал многостороннее и научился облагораживать обыкновенное. Вскоре он привлек к себе некоторых выдающихся людей, Люцинда их объединила, и таким образом возникло непринужденное общество, или, вернее, большая семья, члены которой, благодаря своей образованности, никогда друг другу не надоедали. Получали доступ также некоторые выдающиеся иностранцы. Юлий разговаривал с ними реже, но Люцинда умела их занимать и притом так, что ее исключительная разносторонность и выработанное умение подойти к каждому восхищали ее собеседников, и духовная музыка, красота которой состояла в многогранности и чередовании мотивов, не нарушалась ни переборами, ни диссонансами. В этом их искусстве общения наряду с серьезным стилем должны были найти себе место любой очаровательный способ выражения, любой переходящий оттенок настроения.

Юлий казался проникнутым нежностью по отношению ко всему окружающему, но это была не утилитарно-сострадательная благосклонность к толпе, а созерцательная радость по поводу красоты человека вообще, который остается вечно, в то время как отдельные люди исчезают; и живой отклик на сокровеннейшие проявления своей и чужой духовной жизни. Он почти всегда был одинаково расположен к ребяческой шутке и к возвышенной серьезности. Теперь он любил не только дружбу в своих друзьях, но и их самих. Каждое интуитивное предчувствие или намек, возникавшие в его душе, он в разговоре с одинаково настроенными стремился осознать и развить. Таким образом, развивалась и обогащалась во многих измерениях и направлениях его внутренняя сущность. Но также и в этом отношении полное соответствие он находил только в душе Люцинды, где семена всего прекрасного ждали только воздействия его индивидуальности, чтобы развернуться в прекраснейшее мироощущение.

Я люблю возвращаться мысленно к весеннему периоду нашей любви; я вижу все изменения и преобразования, я переживаю их снова, и мне хотелось бы по крайней мере некоторые из нежных очертаний ускользающей жизни схватить и запечатлеть на полотне сейчас, пока я нахожусь еще в разгаре теплого лета, пока и оно еще не миновало, пока и это еще не поздно. Мы, смертные, такие, какими мы здесь являемся, представляем собою лишь благороднейшие побеги на этой чудной земле. Люди об этом легко забывают, они высокомерно порицают вечные законы мироздания, в центре которого они во что бы то ни стало желают обрести любимую земную поверхность. Но не таковы мы с тобой. Мы благодарны и довольны тем, чего желают боги и что они так ясно начертали в священных письменах прекрасной природы. Скромная душа осознает, что ей предназначено, так же как и всему существу на земле, цвести, созреть и увядать. Но она знает, что одно в ней является непреходящим. Это — вечное томление по вечной юности, которое здесь и всегда ускользает. Еще оплакивает нежная Венера гибель своего милого Адониса в каждой прекрасной душе. Полная сладостного желания, ожидает и разыскивает она юношу, с нежной тоской вспоминая о его небесных очах, о нежных чертах возлюбленного, о его ребяческой болтовне и шутливых выражениях, и вот улыбается сквозь слезы, прелестно краснея, увидев и себя среди цветов пестрой земли.

Я хочу дать тебе хотя бы намек на те божественные символы, о которых я не в состоянии рассказать. Ведь, как я ни осмысливаю прошедшего и ни стремлюсь проникнуть в мое сокровенное „я“, чтобы в ясности настоящего созерцать воспоминание, предоставив и тебе его созерцать, все же всегда остается нечто, не дающее себя обнаружить, так как оно спрятано где-то в самой глубине. Внутренний мир человека является его собственным Протеем, изменяясь и не поддаваясь выражению в словах, когда его хочешь схватить. В этом сокровеннейшем средоточии жизни творческая прихоть

ведет свою волшебную игру. Там находятся все начала и концы всех нитей духовного организма. Только то, что постепенно развертывается во времени и в пространстве, только то, что происходит, является предметом истории. Что же касается загадки мгновенного возникновения и превращения, то ее можно только угадать и дать разгадать лишь посредством аллегории.

Фантастический мальчик, который понравился мне больше всех из четырех бессмертных романов, виденных мною во сне, не без причины играл с маской. Даже в то, что кажется чистым изображением и фактом, вкралась аллегория, примешав к прекрасной правде многозначительный смысл. Но лишь в виде духовного дуновения парит она, одушевляя весь комплекс изображенного, подобно Остроумию, которое невидимо играет со своими творениями и только тихо усмешается.

В древней религии имеются поэмы, которые в ней кажутся единственно прекрасными, святыми и нежными. Поэзия так искусно и богато построила и перестроила их, что подлинный смысл остался неопределенным и допускает все новые истолкования и значения. Чтобы дать тебе представление о том, что я думаю по поводу превращений любящей души, я выбрал среди этих значений те, которые бог гармонии мог бы рассказывать музам или слышать от них, после того как любовь заставила его опуститься на землю и превратиться в пастуха. Тогда на берегах Амфриза он, я думаю, создал также идиллию и элегию.

### Метаморфозы

Спокойно и сладко спит детский дух, и поцелуй любящей богини возбуждает в нем лишь легкие сновидения. Роза стыдливости рдеет на его щеке, он улыбается, и кажется, что он открывает уста, но не просыпается и не сознает того, что в нем происходит. Лишь после того, как очарованье внешней жизни, много-



кратно отраженное и усиленное его внутренним эхом, насквозь проникает все его существо,— он открывает глаза, радуясь солнцу, и только тогда вспоминает волшебный мир, который он видел в сиянии бледного месяца. Ему запомнился пробудивший его чудесный голос, который ответно исходит и теперь от всех вещей внешнего мира; и когда он с детской робостью пытается убежать от тайны своего бытия, гоняясь, полный любопытства, за неизвестным, всюду слышит он отзвук своего собственного стремления.

Так в зеркале реки глаз встречает лишь отражение голубого неба, зеленые берега, качающиеся деревья и фигуру погруженного в себя созерцателя. Если душа, полная бессознательной любви, находит себя там, где надеялась найти ответную любовь — она поражается изумлением. Но вскоре человек снова дает увлечь и обмануть себя волшебными чарами лицемерия, снова начинает любить свою тень. Тогда приходит черед очарования, душа еще раз воссоздает свою оболочку и испускает последний вздох завершения в виде новой формы. Дух затеривается в своей ясной глубине и, как Нарцисс, находит себя вновь в образе цветка.

Любовь выше очарования! Как быстро и бесплодно увяд бы цветок красоты, если бы его не дополняла возникшая ответная любовь!

Этот миг, поцелуй Амура и Психеи, есть роза жизни. Вдохновенная Диотима открыла Сократу лишь половину любви. Любовь — не только тайная внутренняя потребность в бесконечном; она одновременно и священное наслаждение совместной близостью. Это не просто смешение, не переход от смертного к бессмертному, но также и полное единство того и другого. Существует чистая любовь, неделимое и простое чувство, не нарушаемое ни малейшим беспокойным стремлением. Каждый дает столько, сколько берет, как один — так и другой, все между собой равно и целостно и завершено в самом себе, как вечный поцелуй божественных детей.

Под магическим действием радости огромный хаос

спорящих между собой форм разливается в гармоническое море забвения. Когда луч счастья еще преломляется в последней слезе томления, Ирида уже украшает вечное чело неба нежными красками своей разноцветной радуги. Ласкающие сны становятся явью, и из волн Леты встают прекрасные, как Анадиомена, чистые массы нового мира, развертывая свое стройное членение на месте исчезнувшего мрака. В золотой юности и невинности время и человек пребывают среди божественной умиротворенности природы, и вечно хорошеет Аврора с каждым возвратом.

Не ненависть, как говорят мудрецы, а любовь разлучает живые существа и создает вселенную, и только в свете любви можно их обнаружить и увидеть. Только в ответе своего *Ты* может каждое *Я* полностью ощутить своё бесконечное единство. Тогда разум до конца разовьет внутренний зародыш богоподобия, стремясь все ближе к цели, полный рвения создать душу, подобно художнику, созидающему свое единственно любимое произведение. В мистериях творения дух созерцает игру и законы произвола и жизни. Произведение Пигмалиона шевелится, и потрясенного художника охватывает радостный трепет от сознания собственного бессмертия. Как орел Ганимеда, возносит его божественная надежда могучим крылом на Олимп.

## Два письма

### 1

Неужели действительно правда то, что так часто мне втайне желалось и что я не решался высказать? Я вижу сияние священной радости, озаряющее твое лицо, когда скромно сообщаешь ты мне прекрасную весть.

Ты будешь матерью!

Прощай, тоска, и ты, тихая жалоба, мир снова прекрасен, теперь я опять люблю землю, и утренняя заря

новой весны поднимает сверкающую розами главу свою над моим бессмертным бытием. Если бы у меня были лавры, я обвил бы ими твое чело, чтобы посвятить тебя на новый подвиг, на новую деятельность, ибо и для тебя теперь начинается новая жизнь. Ты за это дай мне миртовый венок. Мне подобает быть украшенным, как юноша, этим прообразом невинности, я ведь пребываю в раю природы. То, что раньше было между нами, было лишь любовь и страсть. Теперь природа соединила нас более глубоко и нераздельно. Одна только природа — истинная жрица радости; только она умеет завязывать брачный узел; и не праздными словами, а новыми цветами и живыми плодами от изобилия своей силы. В бесконечной смене новых образов свивает творящее время венок вечности, и свят тот человек, которого коснется такое счастье, что он принесет плоды и сохранит здоровье. Мы не какие-нибудь пустоцветы среди прочих существ, боги не хотят исключить нас из огромного сцепления действующих сил и подают нам явственные знаки. Так заслужим же наше место в этом прекрасном мире, принесем бессмертные плоды, образуемые духом и произведением, и вступим в хоровод человечества. Я хочу обрабатывать землю, я буду сеять и жать для настоящего и будущего, я хочу использовать все мои силы, пока светит день, а вечером обновлять их в объятиях матери, которая будет вечно моей невестой. Наш сын, маленький серьезный плутишка; будет играть около нас и вместе со мною выдумывать против тебя немало проказ.

---

Ты права, мы непременно должны купить это маленькое именье. Хорошо, что ты уже предприняла шаги, не ожидая моего решения. Устраивай все так, как это тебе нравится; только не слишком нарядно, если возможно, но и не слишком утилитарно, а главное, не слишком обширно.

Если только ты сделаешь все по своему собственному

намерению и не станешь слушать речей о приличном и общепринятом, то это и будет именно так, как оно и должно быть и как мне этого хочется, и я буду очень рад сделаться хозяином этого прекрасного достоинства. Все, что мне вообще нужно, я всегда имел, не задумываясь об этом и без чувства собственности. Легкомысленно жил я на земле и не чувствовал себя дома на ней. Но вот святость брака дала мне гражданские права. Я уже не витаю в пустом пространстве всеобщего воодушевления, я довольтвуюсь дружественным кругом, я вижу полезное в совершенно ином свете и поистине нахожу полезным все то, что вечная любовь сочетает с ее предметом, словом, все, что служит подлинному браку. Даже предметы внешнего мира внушают мне почтение, когда они добротны, каждый в своем роде, и в конце концов ты еще услышишь от меня ликующие, хвалебные речи о ценности собственного очага и достоинствах семейственности.

Теперь я понимаю твоё пристрастие к сельской жизни, я люблю его в тебе и чувствую так же, как и ты. Я не хочу больше видеть эти неповоротливые глыбы всего, что есть испорченного и больного в человечестве; и когда я мыслю их вообще, они представляются мне дикими зверями на цепи, которые даже не могут свободно выражать свою ярость. В деревне люди могут быть хотя и вместе, но все-таки не теснить безобразно друг друга. Если бы все шло так, как оно должно быть, красивые жилища и прелестные хижины, как свежие растения и цветы, украшали бы там зеленеющую почву и создали бы сад, достойный божества.

Разумеется, и в деревне мы найдем все ту же пошлость, которая царит повсюду. Человечество, собственно, должно бы разделяться лишь на два сословия — созидающее и создаемое, мужское и женское, а вместо всяких искусственных обществ — великое супружество этих двух сословий и всеобщее братство для каждого в отдельности. Но вместо того мы видим лишь несметную грубость и как незначительные исключения отдельных

людей, изуродованных неправильным воспитанием. Но на свежем воздухе то единственное, что красиво и хорошо, не так легко подавить силой низкой толпы и призраком ее всемогущества.

Знаешь, какая пора нашей любви мне представляется особенно прекрасной? Хотя, правда, в моем воспоминании все кажется мне чистым и прекрасным, и о первых днях я думаю с томительным восхищением. Но дороже всех сокровищ для меня те последние дни, которые мы провели вместе в имении.— Новый повод, чтобы снова пожить в деревне!

И еще одно.— Не позволяй подрезать побеги винограда слишком коротко. Я пишу об этом потому, что ты находила их слишком разросшимися и густыми, и на тот случай, если бы тебе вздумалось иметь перед глазами маленький домик открытым со всех сторон и совершенно чистым. Зеленая лужайка тоже должна оставаться так, как есть. Малютка будет на ней виться, ползать, играть и кататься.

---

Не правда ли, то огорченье, которое причинило тебе мое печальное письмо, теперь уже совершенно изгладилось? Я не могу дольше мучить себя заботами среди всех этих прелестей и в головокружительной надежде. Ты страдала не больше, чем я. Какое это имеет значение, если ты меня любишь, если действительно любишь до самой глубины души, без затаенного отчуждения? Стоило ли бы говорить о какой-то боли, если мы через нее достигаем лучшего, более горячего сознания нашей любви. Ты того же мнения. Все, что я тебе тут говорю, ты знала уже давно. Словом, ни восхищенье, ни любовь не возникли бы во мне, если бы они не преобладали уже сокрытыми в какой-то глубине твоего существа, о Ты, Безграничная и Счастливая!

Размовки хороши иногда для того, чтобы хоть однажды было высказано все самое святое. То чуждое, что время от времени пробегает между нами,— оно не в нас,

его нет ни в одном из нас. Оно только лишь между нами и на поверхности, и я надеюсь, что ты благодаря этому случаю совершенно прогонишь его и вытравишь из себя.

И откуда берутся эти маленькие антипатии, если не из обоюдной ненасытности в стремлении любить и быть любимым? Без этой ненасытности нет любви. Мы живем и любим до уничтожения. И если одна только любовь превращает нас в полноценных людей и есть жизнь жизни, то противоречия для нас не страшнее, чем жизнь или человечество, и примиренье будет следовать в ней за столкновеньем сил.

Я чувствую себя счастливым, что люблю женщину, которая способна любить так, как ты. Так, как ты,—эти слова значительнее всех превосходных степеней.—Как ты только можешь одобрять мои речи, когда я, сам того не желая, нашел слова, которые так могли тебя ранить? Я хочу сказать, что я пишу более красиво, чем это нужно, для того чтобы высказать тебе все, что у меня в глубине души. Ах любимая! Только верь, что никакой твой вопрос не останется без моего внутреннего отклика. Твоя любовь не может быть более вечной, чем моя.—Восхитительна твоя красивая ревность к моей фантазии и к описаниям ее неистовства. Это закономерно выявляет безграничность твоей преданности, но также позволяет надеяться, что твоя ревность близка к тому, чтобы погубить себя своей же собственной чрезмерностью.

Этот вид фантазирования—письменного—скоро больше не будет нужен. Скоро я буду с тобой. Я блаженнее, спокойнее, чем когда бы то ни было. Я мысленно лишь хотел бы тебя увидеть и неотступно стоять перед тобой. Ты чувствуешь все, прежде чем я это произнесу, и радостно вспыхиваешь, с сердцем, полным наполовину любимым мужем, наполовину ребенком.

Помнишь еще, я писал тебе, что никакое воспоминание не может развенчать тебя в моих глазах, что ты вечно чиста, как святая дева непорочного зачатия,

и что тебе не достает лишь ребенка, чтобы стать Мадонной?

И вот теперь он у тебя есть, теперь он воплотился в действительность. Я то держу его на руках, то рассказываю ему сказки, то очень серьезно обучаю его, то даю ему добрые наставления о том, как молодой человек должен вести себя в обществе.

И вновь мой дух возвращается к матери, я целую тебя бесконечным поцелуем, я вижу, как вздымается желанием твоя грудь, и чувствую, как под твоим сердцем что-то таинственно шевелится.

---

Как только мы снова будем вместе, мы не забудем нашей молодости, и я хочу сохранить святость нашего общения. Ты, конечно, права: часом позже это — бесконечно поздно.

Так жестоко, что я сейчас не могу быть с тобой! От нетерпенья я делаю много глупостей. Я чуть ли не с утра до вечера брожу вокруг в очарованной местности; я спешу, как будто это необычайно необходимо, и в конце концов попадаю в такое место, где я меньше всего хотел бы быть. Я жестикулирую так, как будто веду пылкие речи; я рассчитываю, что я один, и внезапно оказываюсь среди людей; и я невольно улыбаюсь, когда замечаю свою рассеянность. Подолгу писать я также не могу и стремлюсь скорее снова на волю, чтобы промечтать прекрасный вечер на берегах спокойной реки.

Сегодня, между прочим, я даже забыл, что пора отправлять письмо. Зато у тебя будет тем больше радостного смятения.

---

Люди, право, очень добры ко мне. Они только не прощают мне, что я так часто не принимаю никакого участия в их разговоре и иногда прерываю его самым странным образом: мне кажется, что втихомолку они

сердечно радуются моей радости. Особенно Юлиана. Я ей сообщаю лишь немного о тебе, но она сообразительна в таких делах и угадывает все остальное. Нет ничего более милого, чем чистое, бескорыстное довольство любовью!

Я думаю, разумеется, что я любил бы моих друзей, даже если бы они были менее прекрасными людьми. Я ощущаю огромное изменение во всем моем существе: совершенно особенную мягкость и нежную теплоту во всех движениях души и духа, как приятное утомление чувств, следующее за высшим напряжением жизни.

И все же это совсем не похоже на слабость. Напротив, я знаю, что отныне буду с большей любовью и обновленной силой заниматься всем, чего требует мое призвание. Я никогда еще не ощущал такой уверенности и отваги, чтобы, сознавая себя мужчиной среди мужчин, вступить на путь героической жизни и в братстве с друзьями творить для вечности.

Это мой удел; так надлежит мне уподобиться богам. Ты же, подобно природе, будешь в виде жрицы радости тихо раскрывать тайну любви и в кругу достойных сыновей и дочерей превратишь прекрасную жизнь в священный праздник.

---

Меня часто охватывает забота о твоём здоровье. Ты слишком легко одеваешься и любишь вечернюю прохладу. Это — опасные привычки, которые в числе других ты должна оставить.

Подумай, для тебя ведь начинается новый порядок вещей. До сих пор я называл твоё легкомыслие очаровательным, оно было уместно и в полном созвучии с окружающим. Я находил это женственным — когда ты шутила со счастьем и, пренебрегая всеми предосторожностями, могла нарушить весь обиход твоей жизни и твоего окружения.

Но вот теперь существует нечто, с чем ты всегда будешь считаться, к чему ты все будешь приспосабливать.



Теперь ты должна будешь постепенно приучаться к экзотике, разумеется, в аллегорическом смысле.

---

В этом письме все так же запутано идет одно за другим, как в человеческой жизни — молитва и еда, озорство и восхищение. Ну, спокойной ночи! — Ах, почему я, хотя бы во сне, не могу быть с тобой, действительно с тобой и тебе присниться! Если я только вижу тебя во сне, то это все то же одиночество. — Ты хочешь знать, почему ты не видишь меня во сне, хотя ты так много обо мне думаешь? Милая, не бывает ли так же часто, что ты подолгу молчишь обо мне?

---

Письмо Амалии доставило мне большую радость. Разумеется, по ее льстивому тону я вижу, что она не выделяет меня из людей, нуждающихся в лестях. Я этого не требую. Странно мне было бы требовать, чтобы она меня расценивала нашим способом. Довольно уж, что одна знает меня вполне! — По-своему она меня знает прекрасно! — Должно ли ей быть известно, что такое *обожание*? Я сомневаюсь, и сожалею ее, если она этого не знает. А ты? Тоже нет?

---

Сегодня в одной французской книжке я нашел такое выражение о двух влюбленных: „Они были вселенной один для другого“.

Мне пришло на ум, трогательно и смешно, что то, что там было сказано без особого смысла, просто как фигура преувеличения, в нас буквально превратилось в истину!

В сущности, и для такой французской страсти это буквально точно. Они находят вселенную один в другом потому, что утрачивают интерес ко всему остальному.

Мы не так. Все, что мы обычно любили, мы любим теперь еще горячее. Смысл вселенной для нас только

что раскрылся. Через меня ты постигла бесконечность человеческого духа, а я понял через тебя брак, жизнь и прелесть всех вещей.

Все одухотворилось для меня, говорит со мной, и все свято. Когда любят так, как мы, природа и человек обращаются вновь к своей первоначальной божественности. Сладострастие в уединенном объятии двух влюбленных вновь становится тем, что оно представляет собой в великом целом,— священнейшим чудом природы; и то, что для других было бы предметом справедливого стыда, для нас оно вновь то, что оно и есть в действительности,— чистое пламя благороднейшей жизненной силы.

У нашего ребенка непременно будут три свойства: много своеволия, серьезное лицо и некоторые способности к искусству. Все остальное я ожидаю в тихой покорности. Сын или дочь, на этот счет у меня нет определенного желания. Но о воспитании нашего ребенка я уже несказанно много думал, а именно, как заботливо мы будем предохранять его от всяческого воспитания; думал, может быть, больше, чем трое предусмотрительных отцов думают о том, как бы им зашнуровать свое потомство в корсет чистейшей нравственности, начиная с самой колыбели.

Я составил несколько проектов, которые тебе понравятся. В них очень много рассчитано на тебя. Только не забрасывай искусства! — Что выбрала бы ты для своей дочери, если бы это была дочь, портрет или пейзаж?

---

Глупая ты с твоими мелочами внешней жизни! Ты хочешь знать, что меня окружает, где, когда и как я все делаю, живу и существую? — Оглядишься же кругом: на стуле возле тебя, в твоих объятиях, у твоего сердца — вот где я, там я живу. Разве не достигает до тебя луч моего желания, не подкрадывается с нежной теплотой к самому твоему сердцу, к твоим устам, которые ему хотелось бы покрыть поцелуями?

Ты даже хвалишься тем, что мысленно ты мне пишешь постоянно, а я только часто, ах ты, буквоедка! Во-первых, я именно так о тебе всегда и думаю, как ты описываешь, что я иду около тебя, тебя вижу, слышу, говорю с тобой. Но затем и иначе, в особенности, если я просыпаюсь ночью.

---

Как можешь ты только сомневаться в значительности и божественности твоих писем! Последнее письмо как бы смотрит, ярко сверкая глазами; это не послание, а песнь.

Думаю, что если бы я пробыв вдали от тебя еще несколько месяцев, твой стиль развился бы в совершенстве. Впрочем, я считаю более разумным оставить нам теперь писанье и стиль и дольше не откладывать самого лучшего и высшего изучения, и я почти решился выехать через неделю.

## 2

Странно, что человек не боится самого себя. Дети правы, заглядывая с таким любопытством и трепетом в собрание неведомых духов. Каждый атом вечного времени может заключать в себе целый мир радости, но в то же время развернуть неизмеримую бездну страданий и страхов. Я теперь понимаю старую сказку о человеке, которого волшебник заставил в несколько мгновений пережить много лет: ибо я испытал на самом себе страшное всемогущество фантазии.

Со времени последнего письма твоей сестры — тому вот уж три дня — я перечувствовал страдания целой человеческой жизни, от пылающей солнцем молодости до бледного лунного сияния седой старости.

Каждая малейшая подробность твоей болезни, о которой она писала, подтверждала для меня то, что я уже раньше слышал от врача или сам наблюдал, что болезнь эта гораздо опаснее, чем вы считали, даже,

собственно, не столько опасна, сколько безнадежна. Погруженный в эти мысли, лишенный всяких сил из-за невозможности поспешить к тебе из этой дали, я был поистине в безутешном состоянии. Только теперь, когда я вновь возродился от радостной вести о твоём выздоровлении, я как следует вижу, каково мне было. Ибо теперь ты здорова, почти совершенно здорова. Это я заключаю из всех сообщений с такою же уверенностью, с какою я несколько дней тому назад произносил над нами смертный приговор.

Я совсем не представлял себе это как нечто будущее или как если бы это еще совершалось теперь. Все прошло; уже давно ты была сокрыта в холодном лоне земли; цветы понемногу росли на любимой могиле, и слезы мои уже текли тише. Молча, одиноко стоял я и видел лишь любимые черты и сладостные молнии говорящих глаз. Неподвижно оставалась предо мною эта картина, лишь время от времени бледное лицо медленно появлялось ей на смену, с последней улыбкой, или в смертном последнем сне, или внезапно спутывались различные воспоминания. С невероятной быстротой сменялись очертания, возвращаясь вновь к первоначальному образу и снова изменяясь, пока все не исчезало в переутомленном воображении. Только твои невинные глаза оставались в пустом пространстве и недвижно стояли там, где дружественные звезды вечно мерцают над нашей бедой. Неотступно следил я за черными огнями, которые кивали со знакомой улыбкой во мраке моей скорби. То жгла меня острая боль от темных солнц невыносимой ослепительностью, то чудный блеск витал и струился, как бы стараясь меня завлечь. Тогда казалось, что свежий утренний ветерок овеивает меня, я закидывал голову вверх, и что-то громко кричало во мне: „Зачем тебе мучиться, через несколько мгновений ты можешь быть с нею“.

Я спешил уже последовать за тобою, как вдруг новая мысль остановила меня, и я сказал моему духу: „Недостойный, ты не можешь перенести даже маленьких

диссонансов этой посредственной жизни, а уже считаешь себя созревшим и заслуживающим высшего бытия? Иди, страдай и следуй своему призванию и приходи вновь, когда твои задания будут выполнены“. Не бросилось ли тебе также в глаза, как все на этой земле стремится к золотой середине, как все добропорядочно, как незначительно и мелочно? Так мне постоянно казалось; потому я предполагаю — и я уже сообщил тебе однажды, если не ошибаюсь, это предположение; — что наша последующая жизнь будет обладать большим размахом, добро и зло в ней будут сильнее, безудержнее, смелее, чудовищнее.

Обязанность жить победила во мне, и я снова был в сутолоке жизни, среди людей, среди их и моих беспомощных поступков и переполненных ошибками дел. Тогда мною овладел ужас, какой мог бы охватить смертного, если бы он внезапно очутился одиноким среди необозримых ледяных гор. Все было холодно и чуждо мне, и даже слеза застыла.

Удивительные миры возникали и исчезали предо мною в пугливом сне. Я был болен и сильно страдал, но я любил мою болезнь и приветствовал самую боль. Я ненавидел все земное и радовался, что оно подлежит каре и разрушению. Я чувствовал себя так одиноко, так странно, и подобно тому, как утонченная душа иногда в лоне счастья вдруг грустит над своей радостью и, достигнув вершины, переполняется чувством ничтожества, так и я с тайной утехой смотрел на свою боль. Она стала для меня прообразом повседневной жизни, мне казалось, что я видел и ощущал вечное противоречие, благодаря которому все становится и существует, и стройные образы постепенного развития казались мне мертвыми и ничтожными по сравнению с этим огромным миром бесконечной силы и бесконечной борьбы и войны, пронизывающей бытие до самых глубин.

Благодаря этому странному ощущению болезнь превратилась в самодовлеющий мир, в самом себе законченный и оформленный. Я чувствовал, что ее богатая

тайнами жизнь полнее и глубже, чем обыденное здорье тех истинных лунатиков, которые бродят вокруг меня. И с болезненностью, которая отнюдь не была мне неприятной, это чувство оставалось во мне и совершенно уединило меня от других людей, совершенно так же, как отделяла меня от земли мысль о том, что твое существо и моя любовь были слишком святы, чтобы не спешить избавиться от грубых земных уз. Думалось, что все к лучшему и неизбежная твоя смерть есть не что иное, как тихое, приятное пробуждение после легкого сна.

Мне думалось также, что я бодрствую, созерцая твой облик, который, преображаясь, становился все более радостно-чистым и отвлеченным. Строгий и все же привлекательный, как будто Ты, и в то же время уже больше не Ты, божественный образ, осиянный чудесным блеском, он был то устрашающим, как зримый луч всемогущества, то ласкающим, как проблески золотого детства. Тихо, медленными глотками пил мой дух из источника прохладного и чистого горения, тайно опьяняясь, и это блаженное опьянение я ощущал как своеобразный духовный сан, ибо и в самом деле мне был совершенно чужд светский образ мыслей и никогда не покидало меня чувство, что я посвящен смерти.

Медленно протекали годы, и с великими трудностями один поступок сменял другой, одно деяние за другим продвигались к цели, которую я так мало считал моей целью, как мало я принимал те дела и поступки за то, чем они назывались. Это были для меня лишь священные символы, лишь намеки на единую возлюбленную, которая была посредницей между моим раздробленным Я и неделимой и вечной человечностью; все бытие — постоянное богослужение уединенной любви.

Но вот я заметил, что это уже конец. Чело уже утратило гладкость, и кудри полиняли. Мой жизненный путь был окончен, но не был завершен. Лучшие жизненные силы отлетели, а искусство и добродетель, вечно недостижимые, стояли предо мною. Я пришел бы в от-

чаяние, если бы не узрел и не обожествил их в тебе, прелестная мадонна! И тебя и твою благостную божественность во мне.

Тогда ты мне явилась, полная значительности, и подала мне смертельный знак. Сердце мое уже рвалось к тебе и к свободе; я тосковал о любимой старой отчизне и только что хотел отряхнуть с себя пыль странствований, как снова был призван к жизни обетованием и достоверностью твоего выздоровления.

Наконец, я опомнился от моих грез наяву, испуганный многозначительностью соотношений и уподоблений, и боязливо стоял над непостижимой бездонностью этой сокровенной истины.

Знаешь ли, что для меня стало наиболее ясным после этого? — Во-первых, что я тебя боготворю и что очень хорошо, что я так поступаю. Мы оба составляем одно целое, и человек лишь тогда становится единым и вполне самим собой, если он рассматривает и представляет себя как центр целого и дух мира. Однако, к чему это представление, когда мы находим в себе зародыш всего и все же вечно остаемся осколком самих себя?

И затем, я теперь знаю, что смерть дает себя ощущать и прекрасной и сладостной. Я постигаю, как свободное творение в расцвете своих сил может с тайной любовью томиться о своем избавлении и свободе и радостно созерцать мысль о возврате, как зарю надежды.

### Размышление

Мне нередко приходило на ум, как странно, что рассудительные и достойные люди, с никогда не ослабевающей трудолюбивой изобретательностью и глубокой серьезностью, могут в вечном круговороте все снова повторять одну и ту же игру, которая, однако, явно не может ни принести пользы, ни привести к какой-либо цели, хотя это и самая древняя из всех игр.

И дух мой вопрошал тогда: что же природа, которая во всем так глубокомысленна, которая применяет хитрость в большом масштабе и вместо остроумных слов совершает остроумные поступки, что она могла бы подумать по поводу тех наивных намеков, посредством которых образованные ораторы пытаются именовать безымянность?

И эта безымянность сама по себе имеет двусмысленное значение. Чем стыдливее и современнее человек, тем больше следует он моде истолковывать ее бесстыдным образом. Напротив, для древних богов всякая жизнь имеет целью возродить некую классическую значительность, а также и бесстыдное героическое искусство. Обилие таких произведений и проявленный в них размах творческого воображения определяют ранг и достоинство в царстве мифологии.

Это количество и эта сила превосходны, но это еще не высшее достижение. Где же дремлет, скрываясь, желанный идеал? Или неутомимое сердце находит в высочайшем из всех изобразительных искусств вечно лишь новые манеры, а завершенный стиль никогда?

Мышление имеет то свойство, что после самого себя оно охотнее всего размышляет о том, над чем можно размышлять без конца. Поэтому жизнь образованного и восприимчивого человека есть лишь постоянное творчество и размышление на тему о прекрасной загадке своего предопределения. Он все вновь определяет его, ибо в этом и заключается все его предопределение, быть предопределенным и определять. Только лишь в самом своем искании находит дух человеческий ту тайну, которую он ищет.

Что же является само по себе определяющим или определенным? В мужественности это — безымянное. А что есть безымянное в женственности? — Неопределенное.

Неопределенное богаче тайной, но определенное имеет больше притягательной силы. Раздражающая запутанность неопределенного романтичнее, но возвышенность строения определенного гениальнее. Красота неопреде-



ленного преходяща, как жизнь цветов и как вечная юность смертных чувств; энергия определенного проносится, как настоящая гроза, как истинное воодушевление.

Кто может измерить и кто может сравнивать, какова бесконечная ценность того и другого, когда оба взаимно связаны в своем действительном предопределении, которому определено заполнять все проблемы и быть посредником между мужской и женской обособленностью и человеческой бесконечностью.

Определенное и неопределенное и вся полнота их определенных и неопределенных взаимоотношений — это и есть единое и целое, это удивительнейшее и все же простейшее, простейшее и все же высочайшее. Вселенная сама по себе есть лишь игрушка определенного и неопределенного, и действительное определение определяемого есть аллегорическая миниатюра на жизнь и деятельность вечно струящегося творчества.

С вечно неизменной симметрией стремятся оба противоположными путями приблизиться к бесконечному и бежать от него. С медленным, но верным успехом неопределенное распространяет свое присущее ему желание из самой середины конечного в безграничное. Напротив, законченное определенное бросается смелым скачком из душевного усыпления бесконечного желания к границам конечного действия и, все утончаясь, растет в великодушном самоограничении и прекрасной умеренности.

В этой симметрии также обнаруживается невероятный юмор, с которым последовательная природа проводит свою обычайшую и простейшую антитезу. Даже в самой градиозной и искусной организации проступают наружу эти комические заострения великого целого и с лукавой значительностью, как уменьшенный портрет, придают всякой индивидуальности, возникающее и существующее лишь благодаря ей и благодаря серьезности ее игры, окончательное закругление и законченность.

Благодаря этой индивидуальности и такой аллегории

из стремления к безусловному расцветает пестрый идеал остроумной, находчивой чувственности.

Теперь все ясно! Отсюда — вездесущность безымянного неизвестного божества. Сама природа желает вечного круговорота все новых и новых опытов; и она требует также, чтобы каждый в отдельности был новым, законченным в самом себе истинным подобием высшей неделимой индивидуальности.

Углубляясь в эту индивидуальность, размышление приняло такое индивидуальное направление, что вскоре стало пресекаться и забывать самого себя.

---

„Что мне эти намеки, которые с непонятной рассудительностью не играют, а бессмысленно спорят, не на границе, а уже почти в самом центре чувственности?“

Так сказала бы ты, и так, хотя не сказала бы, но спросила бы Юлиана.

Милая возлюбленная! Допустимо ли, чтобы в пышном букете были только благонравные розы, тихие незабудки и скромные фиалки и что-либо иное, девственно и детски цветущее, или также и все другое, что так странно сияет разноцветным ореолом?

Мужская неловкость — многостороннее существо. Оно богато всевозможными цветами и плодами. Предоставь сама его место причудливому растению, которое я не хочу называть. Оно послужит хотя бы фоном для ярко пылающего граната и светлых апельсинов. Или же, вместо этой пестрой полноты, оно должно дать лишь такой совершенный цветок, который объединяет в себе красоты всех прочих и делает их существование излишним?

Я не прошу извинения. Вскоре я это сделаю еще раз, вполне доверяясь объективности твоего ума по отношению к художественным произведениям неловкости, дающим материал для созидания, черпая его часто весьма охотно в мужском возбуждении.

Это — нежное фуриозо и умное адажио дружбы. Ты

из него можешь научиться разным вещам: что мужчины с такой же неслыханной деликатностью умеют ненавидеть, как вы любить; что ссору, когда она закончилась, они превращают в разлад и что ты можешь делать к этому столько примечаний, сколько тебе угодно.

## Юлий к Антонио

### 1

Ты очень изменился с некоторых пор! Берегись, друг, как бы стремление к великому не покинуло тебя, прежде чем ты это почувствуешь. Что же из этого выйдет? Ты в конце концов накопишь столько нежности и утонченности, что твое сердце и чувство на это растрачатся. Где же будет тогда мужественность и действенная сила? Ты доведешь меня до того, что я стану поступать с тобой так же, как ты со мной поступаешь, и сделаю для тебя то, что ты сделал для меня с тех пор, как мы живем не вместе, а рядом друг с другом. Я должен буду указать тебе границы и сказать: „Хотя он и имеет склонность ко всему прекрасному, но только не к дружбе“. Однако я никогда не стану с моральной точки зрения критиковать друга и его поведение; кто может это делать, тот не заслуживает высокого и редкого счастья иметь друга.

То, что ты ошибаешься прежде всего в самом себе — только ухудшает дело. Скажи мне серьезно, ищешь ли ты добродетели в этих холодных софизмах чувства, в этих художественных упражнениях ума, которые опустошают человека и разьедают его жизнь до мозга костей?

Уже давно я покорно молчал. Я совершенно не сомневался, что ты, знающий столь многое, распознаешь также и причины, вследствие которых погибла наша дружба. Мне почти кажется, что я ошибся, иначе почему бы ты мог так удивиться, что я хочу окончательно объединиться с Эдуардом, и, словно не понимая, как

будто спрашиваешь, чем мог ты меня обидеть. Если бы тут была только обида, только какой-нибудь единичный случай, тогда не стоило бы вносить диссонанс подобным вопросом. Все само собой нашло бы ответ и было бы улажено. Но это уже больше не то, и при каждом случае я ощущаю как осквернение то, что я откровенно сообщал тебе об Эдуарде все так, как оно происходило. Конечно, ты ничего ему не сделал, ты даже не сказал вслух, а я знаю и прекрасно вижу насквозь все твои мысли. И если бы я этого не знал и не видел, в чем же было бы незримое единение наших душ и чудесная магия этого единения? — Тебе, конечно, не придет в голову дольше уклоняться и ради одной только учтивости стремиться превратить в ничто это недоразумение: ибо тогда уже мне, действительно, было бы нечего больше сказать.

Бесспорно, вы разделены вечной пропастью. Спокойная, ясная глубина твоего существа и пылкая борьба его неутомимой жизни лежат на противоположных концах человеческого существования. Он — само действие, ты — чувствующая и созерцающая натура. Потому-то ты и должен был бы всем интересоваться и все понимать, ты и бываешь проникновенным в тех случаях, если только не замыкаешься сознательно. Это-то, собственно, и возбуждает во мне досаду. Лучше бы ты ненавидел Великолепного, вместо того чтобы понимать его превратно! Но куда же мы придем, если усвоим неестественную привычку то немного великое и прекрасное, которое еще пока существует, понимать так пошло, как понимает его только пошлая проницательность, не отказываясь от притязаний на смысл? — То, что мерещится в других, делается в конце концов собственным свойством.

В том ли заключается знаменитая многосторонность? — Конечно, ты правильно подметил основу равенства: одному живется немногим лучше, чем другому; одна лишь разница, что каждый остается на свой лад непонятым. Разве ты не принуждал мое чувство к веч-

ному молчанию о том, что для меня есть самого святого, к молчанию не только пред тобой, но и пред другими? И это потому, что ты не мог до поры до времени заставить замолчать свое суждение, и потому еще, что твой рассудок придумывал для всего границы, прежде чем успевал найти свои собственные. Ты почти довел меня до необходимости объяснять тебе, сколь велика, в сущности, моя ценность; насколько правильнее и увереннее был бы твой путь, если бы ты время от времени не рассуждал, а веровал, если бы ты в том или ином предположил во мне неизвестное бесконечное.

Конечно, во всем виновата моя собственная беспечность. Быть может, виною было также отчасти и мое упорство. Я хотел быть с тобою постоянно, но не посвящал тебя ни в прошлое, ни в будущее. Быть может, это противоречило моему чувству и мне казалось это излишним, так как в самом деле я считал тебя бесконечно одаренным разумом.

О Антонио, если бы я мог сомневаться в вечных истинах, то ты довел бы меня до того, чтобы считать нашу тихую прекрасную дружбу, основанную на чистой гармонии бытия и совместного пребывания, чем-то фальшивым и извращенным!

Неужели все еще непонятно, почему я бросаюсь в совершенно другую сторону? — Я отрекаюсь от тонкого наслаждения и вмешиваюсь в яростную битву жизни. Я спешу к Эдуарду. Все решено, условлено. Мы хотим не только жить вместе, но в братском союзе совместно работать и действовать. Он суров и резок, его добродетель более мощна, чем восприимчива: у него мужественное, великодушное сердце, и, живи он в лучшую эпоху, он был бы — я смело говорю — героем.

## 2

Конечно, хорошо, что мы, наконец, побеседовали друг с другом; я еще и потому доволен, что ты никогда не

любил писать и бранил бедные неповинные буквы; признаю, что ты, действительно, более гениален в разговоре. Но у меня все же осталось еще кое-что на сердце, что я не смог высказать, и я хочу попробовать наметить тебе это письменно.

Почему именно этим путем? — О друг мой, если бы я только знал какой-нибудь более утонченный и развитой способ сообщения, чтобы тихо, под нежным покровом, сказать издали то, что мне хотелось бы! Разговор для меня слишком громок, слишком близок и слишком отрывочен. Эти отдельные слова передают лишь одну какую-нибудь сторону, отрывок из общей связи, из того целого, которое мне хотелось бы наметить, очертить в его полной гармонии.

Могут ли люди, которые хотят жить вместе, быть слишком деликатными в общении между собою? — Нет, чтобы я боялся сказать что-нибудь слишком резкое, порывистое и избегал бы потому некоторых лиц и предметов в нашем разговоре. На этот счет, я думаю, между нами, конечно, навсегда уничтожена преграда!

То, что я хотел тебе еще сказать, есть нечто совершенно общее; и все же я выбираю этот обходный путь. Я не знаю, истинная ли это или ложная деликатность, но мне было бы трудно говорить много о дружбе лицом к лицу с тобою.

И все же именно мыслями о ней мне хочется с тобою поделиться. Ты сможешь сам легко найти им применение—о нем, главным образом, идет речь.

Для меня, так, как я это чувствую, существует два вида дружбы.

Первая совершенно внешняя. Ненасытно спешит она от дела к делу и принимает каждого достойного человека в большой союз объединенных героев, стягивает старинную связь все крепче каждой новой добротелью и постоянно стремится приобрести все новых братьев; чем больше их, тем больше ей хочется.

Вспомни первобытный мир, и ты найдешь повсюду

эту дружбу, ведущую честный бой против всякого зла, хотя бы оно было в нас самих или в нашем возлюбленном, всюду, где благородная сила движет большими массами и создает миры или управляет ими.

Теперь иные времена, но идеал этой дружбы останется во мне, пока я сам буду существовать.

Другая дружба совершенно внутренняя. Дивная симметрия своеобразнейшего, как будто заранее было предопределено, что во всем надо искать себе дополнения. Все мысли и чувства делаются общими благодаря взаимному воздействию и развитию всего, что есть самого святого. И эта чисто духовная любовь, эта прекрасная мистика в общении, представляется не только отдаленной целью для, может быть, бесплодного стремления. Нет, ее можно найти только законченной. И тогда в ней также нет никакого обольщения, как и в другой, героической. Если добродетель какого-либо человека бездействует, дела должны свидетельствовать. Но кто внутренне чувствует и зрит человечество и мир, тот нелегко найдет универсальный смысл и универсальный дух там, где их нет.

К этой дружбе способен лишь тот, кто в своем внутреннем существе пришел к полному покою и в смирении умеет почитать божественность другого.

Если боги подарили подобную дружбу человеку, то ему не остается ничего другого, как заботливо охранять ее от всего внешнего и щадить священное создание. Ибо недолговечен этот нежный цветок.

### Томление и покой

Люцинда и Юлий в легких одеждах стояли у окна беседки, освежаемые прохладным утренним ветерком и погруженные в лицезрение восходящего солнца, которое все птицы приветствовали веселым пением.

— Юлий,— спросила Люцинда,— почему в таком радостном покое я чувствую глубокое томление?

— Только в томлении мы находим покой,— ответил Юлий.— Это и есть покой, когда нашему духу ничто не мешает томиться и искать там, где он не найдет ничего более высокого, чем его собственное томление.

— Только в ночном покое,— сказала Люцинда,— горят и сияют томление и любовь так же ярко и полно, как это восхитительное солнце.

— А днем,— возразил Юлий,— счастье любви бледно мерцает, так же скупо, как скудное сияние дневной луны.

— Или оно появляется и погружается внезапно в непроглядный мрак,— добавила Люцинда,— как те молнии, которые освещали нам комнату, когда луна была скрыта в облаках.

— Только ночью,— сказал Юлий,— поет свои жалобы и глубоко вздыхает маленький соловей. Только ночью нерешительно раскрывается цветок и свободно выдыхает чудеснейшее благоухание, чтобы опьянить равным наслаждением и дух и чувство. Только ночью, Люцинда, глубокий любовный жар и смелая речь божественно струятся из уст, которые в шуме дня с нежной гордостью замыкали их сладостную святыню.

### Люцинда

Не меня, мой Юлий, следует изображать такой святой; хотя я и способна была бы изливаться в жалобах, как соловей, и чувствую в глубине души, что я посвящена ночи. Это ты сам свят, это волшебный цветок твоей фантазии ты видишь во мне, вечно тебе принадлежащей тогда, когда смолкает дневной шум и ничто обыденное не рассеивает твой высокий дух.

### Юлий

Не скромничай и не льсти. Помни, ты жрица ночи. Даже при свете солнца возвещает об этом темный блеск твоих густых кудрей, сияние строгих черных глаз, высокий рост, величественность чела и благородная форма всех членов.



Люцинда

Глаза смыкаются от твоих похвал, потому что уже ослепляет их шумное утро, а разноголосое пение веселых птиц смущает и пугает душу. Как жадно могло бы ухо в тихой и темной вечерней прохладе выпить сладкие речи прекрасного друга!

Юлий

Это не праздная фантазия. Бесконечно и вечно недосыгаемо мое стремление к тебе.

Люцинда

Как бы то ни было, ты — единственная точка, в которой мое существо находит покой.

Юлий

Священный покой я нашел лишь в этом томлении, друг!

Люцинда

А я в этом чудном покое — священное томление.

Юлий

Ах, пусть жестокий свет снимет покров, который скрывал это пламя, затем, чтобы обман чувств мог охлаждающе умиротворить пылкую душу!

Люцинда

Так однажды вечно холодный, суровый день прервет теплую ночь жизни, если юность умчится и если я отрекусь от тебя, как ты однажды отрекся от великой любви во имя величайшей.

Юлий

Если бы я мог показать тебе незнакомую подругу, а ей чудо моего чудесного счастья!

## Люцинда

Ты ее еще любишь и будешь любить ее вечно, как и меня. Это великое чудо твоего чудесного сердца.

## Юлий

Оно не чудеснее твоего. Я вижу, как ты, прижавшись к моей груди, играешь локоном своего Гвидо; нас обоих братски объединяет то, что мы украшаем достойное чело вечными венками радостей.

## Люцинда

Пусть покоится в ночи, не извлекаяй на свет то, что священно цветет в тихой глубине сердца.

## Юлий

Где может волна жизни поиграть с дикарем, которого нежное чувство и дикая, суровая судьба вырвали и выбросили в грубый мир?

## Люцинда

Преображенно сверкает единственно чистый образ недосыгаемой незнакомки на голубом небе твоей чистой души.

## Юлий

О вечное томление! — Но в конце концов бесплодное томление дня, тщеславное ослепление пропадет и погаснет, и великая ночь любви вечно будет ощущать покой.

## Люцинда

Так чувствует себя, если мне дано быть такой, какая я есть, женская душа в согретой любовью груди. Она томится только по твоему томлению, покойна там, где ты покой находишь.

## Причуды фантазии

Шумными тягостными устройствами жизни оттесняется и жалостно удушается нежное дитя богов — Жизнь — в объятиях по-обезьяньи любящей Заботы.

Иметь намерение, поступать согласно намерениям и искусственно сплетать намерение с намерением для нового намерения, это уродство вкоренилось так глубоко в нелепую природу богоподобного человека, что он должен принимать решительные меры и превращать в намерение, если ему захочется хоть раз без всякого намерения свободно отдаться движению внутреннего потока вечно сменяющихся образов и чувств.

Высшее проявление разума заключается в том, чтобы замолкать по своему усмотрению, предаваться всей душой фантазии и не мешать нежным забавам молодой матери с ее младенцем.

Но после золотого века своей невинности разум редко бывает так рассудителен. Он хочет владеть душой безраздельно; даже когда она мечтает быть наедине с прирожденной своей любовью, он тайно подслеживает и подсовывает на место невинных детских игр лишь воспоминание о прежних целях или предположения будущих. Он даже умеет оттенить цветом и придать легкий жар пустым холодным обманам и хочет своим подражательным искусством лишить безобидную фантазию ее истинной сущности.

Но юная душа не дает умудренному годами ошеломить себя хитростью и все смотрит, как ее любимец играет с чудными картинами прекрасного мира. С готовностью дает она украсить свое чело венками, которые дитя сплетает из цветов жизни, и послушно поддается снам наяву, грезя о музыке любви и воспринимая таинственно-дружеские голоса богов, как отрывочные звуки отдаленного романса.

Прежние, давно знакомые чувства звучат из глубины прошлого и будущего. Лишь слегка прикасаются они

к насторожившейся душе и вновь быстро исчезают на фоне замолкшей музыки и смутной любви. Все любит и живет, жалуется и радуется в дивной путанице. Здесь, на шумном празднестве отверзаются в общем хоре уста всех радостных; и здесь смолкает одинокая девушка в присутствии друга, которому она хотела бы довериться, и, улыбаясь, отказывает она ему в поделуе. Задумчиво рассыпаю я цветы на могилу слишком рано умершего сына, или вскоре, полный радости и надежды, преподношу их невесте любимого брата, в то время как верховная жрица подает мне знак и протягивает мне руку для союза, чтобы у вечно чистого огня дать клятву вечной непорочности и вечного воодушевления. Я удаляюсь от алтаря и жрицы, чтобы, схватив меч, ринуться с толпой героев в битву, которую я вскоре забываю, когда в глубоком одиночестве созерцаю лишь небо и себя.

Душа, которой снятся такие сны, вечно грезит ими, даже когда она бодрствует. Она чувствует себя обвитой цветами любви, она остерегается разорвать легкие венки, она охотно отдается в плен и посвящает себя фантазии и охотно отдает себя во власть ребенка, который все материнские заботы вознаграждает милыми играми.

Тогда через все бытие проносится свежее веяние расцвета юности и ореол детского восторга. Мужчина боготворит возлюбленную, мать — ребенка и все — вечного человека.

И душа постигает жалобу соловья и улыбку новорожденного, и она понимает значение всего, что тайными письменами начертано в цветах и звездах; священный смысл жизни, так же как красивый язык природы. Все предметы говорят с ней, и всюду под нежной оболочкой она видит милый дух.

По этой празднично украшенной земле движется она в легком танце жизни, невинная, заботясь лишь о том, чтобы не отстать от ритма общности и дружбы и не нарушить гармонию любви.

Все наполнено вечно звучащим пением, в котором душа лишь время от времени воспринимает отдельные слова, и они позволяют ей раскрыть еще более высокие чудеса.

Все прекраснее становится этот окружающий ее волшебный круг. Она никогда не сможет его покинуть, и все, что она создает или произносит, все звучит, как удивительный романс о чудесных тайнах детского мира богов, сопровождаемый чарующей музыкой чувств и украшенный полным глубокого значения цветением милой жизни.

**НОВАЛИС**



## УЧЕНИКИ В САИСЕ

### 1

#### Ученик

Многообразны пути человеческие. Перед глазами того, кто прослеживает и сравнивает их, возникнут удивительные фигуры; фигуры, видимо входящие в состав той великой тайнописи, которую мы замечаем всюду — на крыльях, яичных скорлупах, в облаках, в кристаллах и горных породах, на замерзающей воде, внутри и снаружи гор, растений, животных и людей, в небесных светилах, на круглых пластинках смолы и стекла при касании и трении, в железных опилках вокруг магнита и в странных совпадениях случайностей. Некое предчувствие говорит, что в них-то и заложен ключ к этой чудесной письменности, грамота ее языка, и все же предчувствие это не желает само подчиняться строгим формам и не желает как будто служить высшим ключом. Чувства людей словно залиты неким алкагестом. Их желания, их мысли уплотняются как будто только на мгновение. Так возникают их предчувствия, но вскоре все снова, как и прежде, расплывается перед их взором.

Издали послышалось мне: „Непонятность есть только следствие непонимания; оно ищет то, что уже имеет, и тем самым ничего большего найти не может. Мы не понимаем языка потому, что язык сам себя не понимает, не хочет понимать; настоящий санскрит гово-



рит, чтобы говорить, потому что говорить — его радость и его сущность“.

Немного спустя кто-то сказал: „Священные письмена не нуждаются в объяснении. Кто говорит правдиво, исполнен вечной жизни, и мнится нам, что письмо его чудесным образом сродни подлинным тайнам, ибо оно — один из аккордов вселенской симфонии“.

Голос говорил, конечно, о нашем учителе, который умеет собирать черты, повсюду разбросанные. Особый свет загорается во взорах его, когда и перед нами лежит высокая руна, и он всматривается в наши глаза, не возшло ли и в нас то светило, которое делает фигуру видимой и понятной. Ежели он видит нас огорченными тем, что ночь все еще не миновала, то он утешает нас и обещает грядущую удачу созерцателю прилежному и верному. Часто рассказывал он нам о том, как с детства влечение упражнять, занимать и наполнять свои чувства не давало ему покоя. Он глядел на звезды и воспроизводил на песке их пути, их расположения. В воздушное море вглядывался он и непрерывно без устами созерцал его ясность, его движения, его облака, его светочи. Он набирал себе камней, цветов, жуков всякого рода и различным образом располагал их в ряды. К людям и к животным он присматривался, сиживал на берегу моря, искал раковины. К сердцу и к мыслям своим он прислушивался тщательно. Он не знал, куда тоска влечет его. Когда он подрос, он стал скитаться, смотреть на другие земли, другие моря, на новые воздушные просторы, на чужие звезды, на неведомые растения, на неведомых зверей и людей, он спускался в пещеры, видел, как здание земли некогда возводилось пластами и пестрыми слоями, и впечатлевал в глине странные изображения, виденные на скалах. Но всюду находил он знакомое, правда — в дивных смещениях и сочетаниях, и потому нередко диковинные вещи сами собой в нем упорядочивались. Вскоре он во всем стал примечать связи, примечать встречи и совпадения. И вот он уже ничего больше не видел в отдель-

ности. Восприятия его чувств, теснясь, слагались в большие пестрые картины: он слышал, видел, осязал и мыслил одновременно. Его радовало сводить чужаков друг с другом. То звезды были для него людьми, то люди — звездами, камни — животными, облака — растениями, он играл силами и явлениями, он знал, где и как он может то или другое найти и выявить, и вот он уже сам перебирал струны, ища созвучий и ходов.

Что случилось с ним впоследствии, об этом он умалчивает. Он говорит нам, что мы сами, ведомые им и собственным желанием, откроем то, что с ним произошло. Многие из нас от него отстали. Они вернулись к своим родителям и научились ремеслу. Некоторых он разослал, мы не знаем куда; он их выбирал. Из них некоторые появились лишь недавно, другие раньше. Один, еще ребенок, едва появился, как учитель пожелал передать ему преподавание. У него были большие темные зрачки на небесно-голубом фоне, кожа его сияла, подобно лилиям, а кудри — подобно светлым облачкам, когда близится вечер. Голос пронизывал всех нас до глубины души, мы охотно подарили бы ему все наши цветы, камни, перья. Он улыбался бесконечно серьезно, и нам было с ним как-то странно хорошо. „Будет время, он вернется, — говорил учитель, — и будет жить среди нас, тогда уроки прекратятся“. Он отослал с ним другого, о нем мы часто жалели. У него был всегда грустный вид, он пробыл здесь долгие годы, ему всегда невезло, он находил нелегко, когда мы искали кристаллы или цветы. Вдаль видел он плохо, располагать пестрые ряды он не умел. Он так легко все ломал. И все же ни у кого не было такой потребности и такой радости видеть и слышать. С некоторых пор, — это было прежде, чем то дитя вступило в наш круг, — он вдруг сделался веселым и ловким. Однажды он ушел грустным, не возвращался, и наступила ночь. Мы очень о нем беспокоились; вдруг, на утренней заре, мы услышали в ближайшей роще его голос. Он пел вдохновенную, радостную песнь; мы все

подивились; учитель обратил на восток такой взгляд, которого я, верно, никогда больше не увижу. Вскоре тот вернулся к нам и принес, с выражением несказанного блаженства на лице, незатейливый камешек странной формы. Учитель взял его в руку и долго целовал юношу, затем он поглядел на нас влажными очами и положил камешек на пустое место, оставленное посредине между другими камнями, как раз в том месте, где многие ряды сходились наподобие лучей.

Я никогда впредь не забуду этих мгновений. Нам казалось, словно мы мимоходом ощутили в душах своих светлое предчувствие этого чудесного мира.

Я тоже менее удачлив, чем другие, и сокровища природы тоже как будто менее охотно даются мне в руки. Но учитель ко мне расположен и позволяет мне сидеть в раздумии, когда другие отправляются на поиски. Того, что с учителем, со мной никогда не случилось. Меня все возвращает в самого себя. То, что однажды сказал второй голос, я понял прекрасно. Меня радуют дивные нагромождения и фигуры в залах, и все же мне кажется, будто все это только картины, оболочки, украшения, собранные вокруг божественного чудесного изображения, и оно-то и не покидает моих мыслей. Их я не ищу, но в них я ищу часто. Мнится, словно они должны указать мне путь туда, где, погруженная в глубокий сон, стоит дева, по которой томится мой дух. Мне учитель об этом никогда не говорил, да и я не могу ему ничего поверить: это представляется мне тайной ненарушимой. Охотно расспросил бы я того ребенка — я находил нечто родственное в его чертах, к тому же вблизи его мне казалось, будто во мне все светлеет. Останься он с нами дольше, я наверное больше бы узнал в самом себе. Да и грудь у меня в конце концов отверзлась бы, и развязался язык. И я охотно бы за ним последовал. Случилось не так. Как долго я еще здесь останусь, я не знаю. Мне кажется, что навсегда останусь здесь. Я едва решаюсь сам себе в этом признаться, однако слишком

уж глубоко проникает меня уверенность: когда-нибудь я найду здесь то, что постоянно меня волнует; она здесь. Когда я в этой уверенности здесь брожу, все складывается передо мной в некий высший образ, в новый строй, и все обращено в одну сторону. И тогда все становится для меня таким знакомым, таким милым; и все то, что еще казалось мне странным и чуждым, сразу делается словно домашней утварью.

Как раз эта чуждость мне и чужда, и потому собрание это меня всегда одновременно и отдаляло и притягивало. Учителя я не могу и не хочу постичь. Он мне непостижимо мил именно таким. Я знаю: он меня понимает, он никогда не возражал против моего чувства и моего желания. Напротив, он хочет, чтобы мы следовали по собственному пути, ибо каждая новая дорога проходит по новым странам и каждая в конце концов снова приводит к этим обителям, к этой священной отчизне. Так вот и я хочу описать свою фигуру, и ежели, как гласит там эта надпись, ни один смертный не поднимет покрывала, то мы должны пытаться стать бессмертными; кто не хочет поднять его, тот не истый ученик Саиса.

## Природа

Должно было пройти много времени, пока люди додумались обозначать одним именем многообразные предметы своих чувств и противопоставлять их себе. Упражнение ускоряет развитие, и во всяком развитии происходят деления и расчленения, которые можно было бы сравнить с преломлениями светового луча. Также и внутренняя жизнь лишь постепенно расщеплялась на столько различных душевных сил, и при постоянном упражнении расщепление это будет все возрастать. Быть может, это не что иное, как болезненное расположение позднейших людей, когда они теряют способность снова смешивать эти разрозненные цвета

своего духа и произвольно восстанавливать прежнее простое природное состояние или вызывать новые многообразные их сочетания. Чем более они объединены, с тем большим единством, с тем большей полнотой и индивидуальностью вливается в них каждое природное тело, каждое явление, ибо природа впечатления соответствует природе органа чувства, и потому тем более древним людям все должно было казаться человеческим, знакомым и близким, самая свежая самобытность должна была обнаруживаться в их воззрениях, каждое их проявление было подлинно природной чертой, и их представления должны были быть согласованы с окружающим их миром и являть собою точный его отпечаток. Поэтому мы вправе рассматривать мысли наших праотцов о вещах в природе как необходимое порождение, как самоотображение тогдашнего состояния земной природы, и особенно из этих мыслей, как из наиболее пригодных орудий наблюдения над вселенной, можем мы с определенностью вывести основное отношение в ней: тогдашнее ее отношение к своим *обитателям* и ее обитателей к ней. Мы видим, что как раз самые возвышенные вопросы привлекали их внимание прежде всего и что они отыскивали ключ к этому дивному зданию, то в основной совокупности реальных вещей, то в вымышленном предмете неведомого чувства. Примечательно здесь свойственное всем предчувствие этого предмета в жидком, в разреженном, в бесформенном. Косность и беспомощность твердых тел могла, по всей вероятности, послужить отнюдь не лишенным смысла поводом к вере в их зависимость и неизменность. Однако раздумие во-время натолкнулось на трудность объяснения форм при помощи этих бесформенных сил и морей. Оно пыталось разрешить узел особым соединением, превратив первые начала в твердые, оформленные тельца, которые оно, однако, принимало настолько малыми, что это выходило за пределы мыслимого, и вот ему мнилось, что оно, правда, не без содействия мыслью порожденных существ,

притягивающих и отталкивающих сил, может из этого моря песчинок воздвигнуть громаду мироздания. Еще раньше находили мы, вместо научных объяснений, сказки и поэмы, полные примечательных образных черт, людей, богов и зверей в качестве совместных строителей, и мы слышим, как возникновение мира описывается самым естественным образом. По крайней мере, мы выносим уверенность в случайном, *рукотворном* его происхождении, и представление это все же достаточно осмыслено даже для того, кто презирает беспорядочные плоды воображения. Изображать историю мира как человеческую историю, находить всюду только человеческие события и отношения — сделалось проходящей через века идеей, в самые различные времена вновь возникавшей в новом обличии, и она, видимо, постоянно имела преимущество чудесно воздействовать и легко убеждать. К тому же случайность природы как бы сама собой примыкает к идее человеческой личности, и последняя охотнее всего становится доступной пониманию в образе человеческого существа. Поэтому-то, вероятно, поэзия и была излюбленным орудием подлинных друзей природы, и дух природы ярче всего явил себя в поэтических произведениях. Когда читаешь или слышишь настоящие поэтические произведения, то чувствуешь движение некоего внутреннего разума природы и, подобно ее небесному телу, реешь в ней и в то же время над ней. Испытатель природы и поэт благодаря единому языку всегда обнаруживали свою принадлежность к единому племени. То, что первые собирали в целом, и то, из чего они воздвигали большие, упорядоченные массы, перерабатывалось вторыми для человеческих сердец, на пропитание и потребу каждого дня, и они оформляли безмерную природу, дробя ее на многообразные, малые, прелестные природы. Ежели одни по преимуществу бесечно искали текучее и летучее, то другие, взрезая острым ножом, пытались исследовать внутренний строй и взаимоотношения частей. Ласковая природа умирала у них

под руками, и от нее оставались лишь мертвые трепещущие останки, а между тем, сугубо, как крепким вином, воодушевляемая поэтом, она же откликалась божественными и задорными шутками и, вознесенная над собственными буднями, поднималась к небу, плясала и прорицала, приветно встречала каждого гостя и с легким сердцем расточала свои сокровища. Так вкушала она небесное блаженство часов, проведенных с поэтом, и приглашала к себе испытателя природы лишь тогда, когда болела и мучилась совестью. Тогда она отвечала ему на каждый вопрос и охотно оказывала почтение серьезному, строгому мужу. Итак, кто хочет по-настоящему узнать ее душу, пусть ищет ее в обществе поэтов: там она откровенна и изливает свое дивное сердце. Но тот, кто не любит ее от всего сердца, кто любит ее в ней лишь отдельными чертами и только их стремится познать, тот пусть прилежно посещает ее у одра болезни или в ее склепе.

Наши отношения к природе столь же непостижимо разнообразны, как и наши отношения к людям; так же как ребенку она являет себя ребячливой и с готовностью льнет к его ребяческому сердцу, так же точно богу являет она себя божественной и вторит его высокому духу. Нельзя, не говоря лишнего, утверждать, что существует природа, и всякое стремление к истине в речах и беседах о природе всегда лишь все более и более отдаляет от природного. Уже многое достигнуто, когда стремление к полному постижению природы облагораживается, превращаясь в томление, в нежное, скромное томление, которое чуждое, холодное существо охотно допускает по отношению к себе, лишь бы только томление это когда-нибудь могло рассчитывать на более близкое общение. Внутри нас живет таинственная тяга во все стороны, которая ширится кругом, исходя из бесконечно глубокого средоточия. Между тем нас окружает чудесная чувственная и нечувственная природа, и мы думаем, что тяга эта — притяжение, исходящее от природы, проявление нашей симпатии с ней;

вся разница лишь в том, что один за пределами этих голубых далеких образов ищет еще отчизну, которую они ему заслоняют, ищет возлюбленную своей юности, ищет родителей, братьев и сестер, старых друзей, милое прошлое; другой мнит, что его ожидают по ту сторону неведомые великолепия, он думает, что за этим скрывается будущее, полное жизни, и жадно протягивает руки к новому миру. Немногие спокойно довольствуются этим великолепным окружением и пытаются охватить только его во всей его полноте и во всех его сцеплениях; они ради единичного не забывают о мерцающей нити, которая связует в ряды отдельные члены и образует священное паникадило, и они испытывают блаженство в созерцании этой живой красы, реющей над ночными безднами. Так возникают многообразные способы восприятия природы, и если на одном конце ощущение природы становится веселой шуткой, пиршеством, то мы видим, как там оно превращается в благоговейнейшую религию и целой жизни сообщает направление, меру и значение. Уже среди младенчаствующих народов встречались такие серьезные души, для которых природа была божественным ликом, в то время как иные веселые сердца лишь самих же себя приглашали к ее столу; воздух был для них живительным напитком, светила — факелами для ночного пляса, а растения и животные — не более как отменными яствами, и потому природа представлялась им не тихим, дивным храмом, а привольной кухней и житницей. Но тут же были и другие, более вдумчивые натуры, которые в окружающей их природе замечали лишь следы больших, но одичавших насаждений и денно и нощно были заняты созданием образцов более благородной природы. — Они дружно размежевались в великом деле: одни пытались пробудить в воздухе и в лесах умолкнувшие и потерянные звуки, другие запечатлевали в бронзе и в камне свои мечты и образы более прекрасных поколений, заново создали жилища из более прекрасных скал, извлекали из земных недр сокровенные богатства; они обуздывали буй-



ные потоки, населяли неприятное море, снова водворяли в пустынные широты древний великолепный мир растений и животных, запруживали лесные разливы и возделывали более благородные виды цветов и трав; отверзали землю, делая ее доступной для животворных касаний плодоносного воздуха и палящего света, они обучали цвета чарующим смесям и сочетаниям, а леса и дуга, ручьи и скалы они обучали по-новому слагаться в пленительные сады; они звуками воодушевляли члены живого тела, чтобы оно развertyвалось и двигалось, весело и размеренно колеблясь; они пеклись о бедных, покинутых зверях, восприимчивых к человеческим нравам, и очищали леса от вредоносных чудовищ, этих исчадий выродившейся фантазии. Вскоре природа снова обучилась более ласковым нравам, она стала нежней и усладительней и с готовностью шла навстречу человеческим желаниям. Постепенно сердце ее снова забилося по-человечески, фантазии ее сделались безмятежнее, она снова делалась более обходительной и охотно отвечала ласковому вопрошателю, и вот как будто постепенно возвращается древний золотой век, когда она бывала для людей другом, утешительницей, жрицей и чародейкой, когда она жила среди них и небесное общение делало из людей бессмертных. Тогда светила снова будут посещать землю, на которую они сердились в те омраченные времена; тогда солнце отложит свой строгий скипетр и снова сделается звездой среди звезд, и все поколения мира снова сойдутся тогда после долгой разлуки. Тогда встретятся древние осиротелые семьи, и каждый день будет свидетелем новых приветствий, новых объятий; тогда прежние насельники земли снова к ней возвратятся, в каждом холме зашевелится вновь затлевший пепел, всюду вспыхнет пламя жизни, древние обитатели отстроятся вновь, обновятся древние времена, и история станет сном бесконечного, необозримого настоящего.

Всякий, кто этого племени и этой веры и кто охотно готов внести свою долю участия в это укрощение

природы, ходит по мастерским художников, прислушивается к поэзии, неожиданно пробивающейся во всех сословиях, никогда не устаёт созерцать природу и с ней общаться, всюду следует ее указующему персту, и, стоит ей поманить его, он не останавливается ни перед одним трудным переходом, хотя бы тот и вел его через гнилые трущобы; он наверняка найдет несказанные сокровища, рудничная лампочка наконец остановится, и кто знает, в какие небесные тайны посвятит его тогда какая-нибудь очаровательная обительница подземного царства. Конечно, никто так не отклоняется от цели, как тот, кто воображает, будто это диковинное царство ему уже известно, будто он в немногих словах сумеет объяснить его законы и всюду найти правильный путь. Само собой и без труда понимание не осенит никого, кто оторвался и уподобился острову. Это может случиться только с детьми или людьми с детской душой, не ведающими, что творят. Долгое, неустанное общение, свободное и искусное созерцание, внимание к малейшим намекам и чертам, внутренняя жизнь поэта, испытанные чувства, простая и богобоязненная душа — таковы существенные требования к истому другу природы, без которых ни одно желание его не исполнится. Хотеть объять и понять человеческий мир, будучи лишенным полнокровной человечности, видимо, не разумно. Ни одно из чувств не должно дремать, и хотя и не все они одинаково бодрствуют, они тем не менее все должны быть возбуждены, а не приглушены и расслаблены. Подобно тому как распознается будущий живописец в мальчишке, который заполняет рисунками все стены и всякую ровную поверхность песка и сочетает краски в пестрые узоры, точно так же будущий мудрец распознается в том, кто без усталости выслеживает природные явления, о них выспрашивает, на все обращает внимание, сопоставляет все примечательное и радуется, когда он сделается повелителем и обладателем нового явления, новой силы, нового познания.

А между тем, некоторым мнится, что вовсе не стоит проследивать все бесконечные расщепления природы, что, к тому же, это предприятие опасное, бесплодное и безысходное. Так же как никогда не будет найдена ни мельчайшая крупица твердых тел, ни простейшее волокно, ибо всякая величина теряется в бесконечность и вперед и назад, точно так же обстоит дело и с разными видами тел и сил; и здесь до бесконечности наталкиваешься на новые виды, новые составы, новые явления. Это, видимо, прекращается лишь тогда, когда ослабевает наше усердие, и мы, таким образом, расточаем драгоценное время в праздных созерцаниях и скучных подсчетах, и в конце концов это превращается в подлинное безумие, в постоянное головокружение перед ужасной бездной. К тому же, как бы далеко мы ни проникали, природа всегда остается страшной мельницей смерти: всюду чудовищные скачки, нерасторжимая вихревая цепь, царство прозорливости, самого дерзкого произвола, безмерность, чреватая несчастьями; немногие светлые точки освещают собою лишь ночь, тем более жуткую, и всевозможные ужасы должны до бесчувствия угнетать всякого наблюдателя. Смерть сопутствует несчастному человеческому роду, как некая спасительница, ибо не будь смерти, сумасшедший был бы счастливей всех. Стремление же проникнуть в тайники этого исполинского механизма уже есть тяга в бездну, начало головокружения: ведь каждое раздражение есть нечто вроде нарастающего вихря, который быстро завладевает несчастным и увлекает его с собой в страшную ночь. В этом заключается коварная западня человеческого рассудка, который природа всюду старается уничтожить, как своего злейшего врага. Хвала детскому неведению и невинности людей, не позволяющим им замечать те ужасные опасности, которые, подобно страшным грозovým тучам, залегли вокруг их мирных жилищ и каждое мгновение грозят над ними разразиться. Лишь внутренний разлад природных сил оберегает людей до сей поры, между тем не может

не наступит тот великий час, когда все люди, приняв великое, единое решение, вырвутся из этого мучительного состояния, из этой ужасной тюрьмы и добровольным отказом от своих здешних владений навеки освободят свой род из этой юдоли и перенесут его в более счастливый мир, на лоно древнего отца. Так они все же достойно завершат путь свой и избегнут необходимого, насильственного уничтожения или еще более ужасного вырождения в зверей через постепенное разрушение мыслительных органов, через безумие. Общение с природными силами, с животными, растениями, скалами, бурями и волнами по необходимости должно уподобить людей этим предметам, и такое уподобление, превращение и растворение божественного и человеческого в неукротимые силы — это и есть дух природы, этого страшного, всепожирающего существа: разве все то, что мы видим, не остатки ограбленного неба, не великие развалины прежних великолепий, не объедки страшной трапезы?

„Пусть,— говорят более смелые,— род наш ведет длительную, обдуманную разрушительную войну с этой природой. Мы должны пытаться одолеть ее медленными ядами. Пусть испытатель природы будет благородным героем, бросающимся в зияющую пропасть, чтобы спасти своих сограждан. Художники уже нанесли ей исподтишка не один удар, продолжайте, завладейте тайными нитями и распаляйте в ней вождение к самой себе. Пользуйтесь этими раздорами, чтобы уметь управлять ею, как неким огнедышащим быком. Она должна будет вам покориться. Терпение и вера подобают человеческому роду. Далекое братья объединены с нами для единой цели, звездное колесо станет колесом прялки нашей жизни, и тогда мы сможем при помощи наших рабов построить себе новый Джинистан. Так будем же, внутренне торжествуя, смотреть на ее опустошения, на ее смуты, она сама должна нам поддаться, и каждое насилье должно стать для нее тяжкой карой. Давайте жить и умирать, вдохновляясь

чувством нашей свободы, отсюда бьет ключом тот поток, который когда-нибудь затопит и обуздает ее, в нем будем купаться и с обновленной душой освежать себя для геройских подвигов. Сюда не достигаает злоба этого чудовища, достаточно одной капли свободы, чтобы навсегда сломить ее и дать меру и направление ее неистовствам“.

„Они правы,— говорят многие,— здесь или нигде скрывается талисман. Мы сидим у источника свободы и вглядываемся в него; это великое волшебное зеркало, в котором чисто и ясно раскрывается все творение, в нем купаются нежные духи и отображения всех существ, и все тайники открыты для нас здесь. К чему нам с трудом бродить по мутному миру видимых вещей? Ведь более чистый мир лежит в нас, в этом источнике. Здесь открывается истинный смысл великого, пестрого, смутного зрелища, и если мы, полные этих видений, вступаем в природу, все нам хорошо знакомо, и мы с уверенностью распознаем каждый образ. Нам уже незачем долго допытываться; легкого сравнения, немногих черт на песке уже достаточно, чтобы понять друг друга. Так все для нас — великие письмены, ключ к которым в наших руках, и нет для нас ничего неожиданного, потому что ход великого часового механизма нам известен. Только мы наслаждаемся природой всей полнотой чувств, потому что она никогда не делает нас бесчувственными, потому, что нас не томят лихорадочные сны и ясное разумение делает нас уверенными и спокойными“.

„Другие заблуждаются в своих речах,— говорит им некий серьезный муж.— Разве они не узнают в природе точного отпечатка самих себя? Сами же они изнывают в жестоком бездумии. Они не знают, что их природа — игра ума, дикая фантазия их сновидения. Да, поистине, она для них огромный зверь, странная, причудливая личина собственных их вожелений. Человек наяву смотрит без содрогания на это порождение своего беспорядочного воображения, ибо он знает, что это не

более как ничтожные призраки собственной его слабости. Он чувствует себя господином вселенной, его Я мощно реет над этой бесконечной бездной. Все внутри его стремится возвещать, распространять гармонию. Он до бесконечности будет обретаться все в большем и большем единении с самим собой и с собственным творением, его окружающим, и с каждым шагом перед взором его все яснее будет выступать всеобъемлющее действие высокого нравственного миропорядка, этой твердыни его Я. Смысл мироздания — разум: ради него оно существует, и раз оно уже стало полем сражения для детского, еще только расцветающего разума, оно некогда будет божественным отражением его действий, полем деятельности истинной церкви. А пока что пусть человек почитает его как подобие своей души, которое облагораживается вместе с ним, восходя по ступеням, не поддающимся определению. Итак, кто хочет достигнуть познания природы, пусть упражняет свое нравственное чувство, пусть действует и творит согласно благодному, в нем заложенному ядру, и природа откроется ему как бы сама собой. Нравственное деяние есть тот великий и единственный опыт, в котором разрешаются все загадки разнороднейших явлений. Кто его понимает и кто умеет разлагать его в строгом ходе мысли, тот — вечный владыка над природой“.

Ученик робко прислушивается к перекрещивающимся голосам. Ему кажется, что каждый из них прав, и странное смятение овладевает его душой. Внутренняя смута постепенно стихает, и над темными, друг о друга разбивающимися волнами словно возносится дух мира, чей приход знаменуется новым приливом бодрости и созерцательного, безмятежного спокойствия в душе юноши.

Веселый сверстник с челом, увенчанным розами и выюнками, к нему подскочил, но увидал, что он сидит, погруженный в самого себя. „Ах ты, мечтатель,— воскликнул он,— ты стоишь на совершенно ложном пути. Ты этак никогда не сделаешь больших успехов. Во всем

самое лучшее — настроение. А разве такое настроение бывает в природе? Ты еще молод и разве ты не чувствуешь призыва молодости и своей крови? Не чувствуешь, что любовь и томление наполняют твою грудь? Как ты можешь сидеть в одиночестве? Разве природа бывает одинока? Радость и желание бегут от одинокого; а без желания, что пользы тебе в природе? Он уживается только в человеческой среде, тот дух, который, переливаясь тысячами пестрых красок, вторгается во все твои чувства сразу и окружает тебя, как невидимая возлюбленная. На наших празднествах у него развязывается язык, он сидит во главе стола и затягивает песни самой радостной жизни. Ты никогда еще не любил, бедняга; при первом поцелуе перед тобой откроется новый мир, и жизнь, дробясь на тысячу лучей, ринется в твое восхищенное сердце. Я расскажу тебе сказку, слушай внимательно!

Давным давно жил-был далеко на западе совсем-совсем молодой человек. Он был очень добр, но и чужак, каких мало. Он то-и-дело огорчался ни за что ни про что, всегда тихо бродил в одиночку, садился в сторонку, когда другие играли и веселились, и занимался диковинными вещами. Пещеры и леса были любимым его приютом, да еще он только и делал, что говорил со зверями и птицами, с деревьями и скалами, конечно, ни одного разумного слова, а сплошной вздор; послушаешь, со смеху помрешь. Но сам он всегда оставался насупленным и серьезным, несмотря на то, что белка, мартышка, попугай и снегирь из сил выбивались, чтобы его развлечь и направить на путь истины. Гусь рассказывал сказки, ручей тут же брэнчал балладу, большой толстый камень выкидывал потешные коленца, роза потихоньку ласково обвивала его сзади, залезала ему в кудри, а плющ поглаживал ему озабоченное чело. Однако хандра и задумчивость упорствовали. Его родители были очень опечалены, они не знали, что делать. Он был здоров и ел, никогда они ничем его не обидели, да и немного лет перед этим он был весел и

беспечен, как никто. Он был застрельщиком во всех играх и любим всеми девушками. Он был писанным красавцем, не человек, а картинка, и плясал — одно загляденье. Среди девушек была одна, очаровательная, писаная красавица, лицо, словно воск, кудри, словно золотой шелк, алые, как вишни, губы, стройная, как куколка, глаза черные, как вороново крыло. Кто ее видел, места себе не находил, так она была мила. В то время Розочка — так звали ее — от всего сердца привязалась к писаному красавцу Гиацинту — так звали его — и он до-смерти ее полюбил. Остальная молодежь этого не знала. Впервые сказала им об этом фиалка, домашние же кошечки давно это приметили; дома их родителей стояли близко друг от друга. И вот когда Гиацинт ночью стоял у своего окна, а Розочка — у своего, кошечки, охотясь за мышами, пробегали мимо, видели, как они оба стоят, и не раз смеялись и хихикали так громко, что те это слышали и сердились. Фиалка рассказала это по секрету землянике, земляника рассказала это своему другу крыжовнику, который не скупился на уколь, когда проходил Гиацинт; так вскоре узнал об этом весь сад и лес, и когда выходил Гиацинт, слышалось со всех сторон: „Розочка, ты моя милочка!“ Гиацинт же на это сердился и все-таки тут же не мог не смеяться от всего сердца, когда юркнувшая ящерица садилась на теплый камень, поводила хвостиком и пела:

Розочка, ребенок дорогой,  
Стала вдруг совсем слепой,  
Думает — Гиацинт ее мать,  
Бросилась его обнимать;  
Но, заметив чужие черты,  
Чтоб испугалась — и не думай ты!  
Как ни в чем не бывало, опять  
Продолжает его целовать\*.

Ах, как скоро миновало великолепие! Пришел человек из чужой стороны, он удивительно много путешество-

\* Перевод М. А. Петровского.



вал, у него была длинная борода, глубокие глаза, страшные брови, на нем было диковинное платье, которое спадало многими складками и в которое были вотканы странные узоры. Он сел перед домом, принадлежавшим родителям Гиацинта. Гиацинт же был очень любопытен, подсел к нему и вынес ему вина и хлеба. Тогда тот расправил свою белую бороду и стал рассказывать до глубокой ночи, и Гиацинт не отходил от него ни на шаг и не уставал его слушать. Судя по тому, что об этом узнали потом, он много рассказывал о чужих странах, об удивительных, чудесных вещах, и оставался он три дня, и спускался вместе с Гиацинтом в глубокие шахты. Ну и проклинала же Розочка старого колдуна за то, что Гиацинт был совсем очарован его беседами и ни о чем больше не заботился; он едва принимал ничтожную пищу. Наконец тот исчез, но оставил Гиацинту книжицу, которую ни один человек не мог прочесть. Гиацинт же дал ему еще на дорогу плодов, хлеба и вина и далеко проводил его. После чего он вернулся в глубокой задумчивости и начал вести совсем новый образ жизни. Розочка из себя выходила, сердечная, ибо с той поры он ни во что ее не ставил и всегда оставался сам с собой. Но вот случилось, что он однажды вернулся словно перерожденный. Он бросился на шею к своим родителям и заплакал. „Я должен уйти в чужие страны,— говорил он,— старая чудная женщина в лесу рассказала мне, как мне выздороветь, бросила книгу в огонь и заставила меня итти к вам и испросить у вас вашего благословения. Быть может, я вернусь скоро, быть может, никогда. Кланяйтесь Розочке. Я охотно бы с ней поговорил, но сам не знаю, что со мной, меня что-то гонит прочь; когда я хочу вспомнить старое время, тотчас врываются более властные мысли, покой ушел, а с ним и сердце и любовь, я должен итти их отыскать. Я охотно сказал бы вам, куда, я сам не знаю — туда, где живет мать всех вещей, дева под покрывалом. По ней пылает душа моя. Про-

щайте“. Он вырвался и ушел. Его родители сетовали и проливали слезы. Розочка оставалась в своей светелке и горько плакала. Гиацинт же бежал что было мочи по долинам и чащам, через горы и потоки, направляясь к таинственной стране. Он всюду расспрашивал людей и зверей, скалы и деревья о святой богине (Изиде). Иные смеялись, иные молчали, нигде не получал он ответа. Вначале он проходил через суровую, дикую страну, туман и облака бросались ему поперек дороги, буря не прекращалась; потом он попал в необозримые песчаные пустыни, в раскаленную пыль, и по мере того как он продвигался, менялась и душа его, время стало для него удлиняться, и внутреннее беспокойство улеглось; он сделался мягче, и могучий, бушевавший в нем порыв постепенно превратился в незаметную, но сильную тягу, в которой растворилось все его существо. Он словно долгие годы оставил позади себя. Между тем, и местность становилась богаче и разнообразней, воздух — теплым и голубым, дорога — ровнее, зеленые кустарники манили его своей приветной тенью, но он не понимал их языка, да они как будто ничего и не говорили, и все же они наполняли и его сердце зеленым цветом и прохладной тишиной. Все выше вздымалось в нем сладостное томление, и все шире и сочнее становились листья, все голосистей и резвей птицы и звери, плоды благоуханней, небо темнее, воздух теплее и горячее его любовь, время бежало все быстрее, словно приближалось к цели. Однажды он набрел на хрустальный ключ и на множество цветов, которые спускались в долину между черными, подпирающими небо колоннами. Они ласково приветствовали его знакомыми словами. „Милые земляки, — сказал он, — где бы мне найти священную обитель Изиды? Где-нибудь здесь поблизости должна она быть, и вам, верно, все здесь более знакомо, чем мне“. — „Мы тоже здесь только мимоходом, — отвечали цветы, — семья духов отправилась в путь, и мы готовим ей дорогу и пристанище, но мы только что проходили через местности, где называлось ее имя.

Пройди наверх, откуда мы идем, и ты, наверное, узнаешь больше“. Цветы и ключ улынулись, произнося эти слова, предложили ему испытать свежей влаги и пошли дальше. Гиацинт последовал их совету, спрашивал и переспрашивал и дошел, наконец, до давно искомой обители, скрывавшейся под пальмами и иными редкостными растениями. Сердце его билось в бесконечном томлении, сладчайший трепет пронизывал его насквозь в этом жилище вечных времен года. Овеянный небесными благоуханиями, он уснул, потому что только сон мог ввести его в святое святых. Причудливо, сквозь бесчисленные покои, полные диковинных предметов, нес его сон на крыльях чарующих звуков и в смене аккордов. Все представлялось ему таким знакомым и все же в неведанном великолепии, наконец исчез и последний земной налет, словно растворившийся в воздухе, и он стоял перед небесной девой; вот он поднял легкий блестящий покров, и Розочка упала в его объятия. Далекая музыка окружала тайны любовной встречи, излияния тоски и не допускала ничего чуждого в пределы этого восхитительного приюта. Впоследствии Гиацинт еще долго жил с Розочкой в кругу счастливых родителей и сверстников, и бесчисленные внучата благодарили старую чудную женщину и за ее совет и за ее огонь; ибо в те времена у людей рождалось столько детей, сколько они хотели“.

Ученики друг друга обняли и разошлись. Просторные гулкие залы стояли пустые и светлые, и на бесчисленных языках продолжалась дивная беседа между тысячами всяких существ, которые были собраны в этих залах и расставлены в самых различных сочетаниях. Их внутренние силы играли, сталкиваясь друг с другом. Они стремились вернуться к свободе, к прежнему своему состоянию. Немногие лишь находились на присущем им месте и спокойно наблюдали за окружающей их пестрой жизнью. Остальные жаловались на отчаянные муки и страдания и оплакивали былую, великолепную жизнь на лоне природы, где их объединяла общая свобода

и где каждое само собой получало то, в чем оно нуждалось. „О! — говорили они, — если бы только человек понимал внутреннюю музыку природы и обладал чутьем к внешней гармонии. Но ведь он даже и того не знает, что мы друг с другом связаны и не можем существовать одно без другого. Он ничего не может оставить на своем месте, он как тиран нас разъединяет и орудует одними диссонансами. Каким он мог бы быть счастливым, если бы обращался с нами ласково и сам вступил в наш великий союз, как некогда в золотом веке, как он по праву его называет. В то время он нас понимал, так же как и мы его понимали. Его жажда стать богом отторгла его от нас, он ищет то, чего мы не можем ни знать, ни чаять, и с тех пор он перестал быть сопровождающим голосом, созвучным движением. Правда, он в нас чувствует бесконечное блаженство и вечное наслаждение, и поэтому он питает столь удивительную любовь к некоторым из нас. Чары золота, тайны красок, радости воды ему не чужды, в творениях античности он чувствует дивные свойства камней, и все же он еще лишен сладостной страсти к живой природе, глаза, воспринимающего наши восхитительные таинства. Научится ли он когда-нибудь чувствовать? Этот божественный, этот самый естественный из всех органов ему еще мало знаком; через чувство могло бы вернуться прежнее, желанное время; стихия чувства есть внутренний свет, преломляющийся на более прекрасные, более яркие цвета. Тогда в нем взошли бы светила, тогда он научился бы чувствовать весь мир, ясней и многообразней, чем это теперь явлено ему глазом в гранях и в поверхностях. Он держал бы в своих руках бесконечную игру и забыл бы о всех безрассудных стремлениях, пребывая в вечном, собою питающемся и непрерывно растущем наслаждении. Мышление — только сон чувства, отмершее чувство, бледная, серая, хилая жизнь“.

Пока они вели эти речи, солнце сияло сквозь высокие окна, и шум голосов терялся в нежном шелесте;

бесконечное предчувствие пронизывало собою все существа, нежнейшая теплота окутывала всех, и чудеснейшее природное пение возникало из глубочайшей тишины. Вблизи слышались человеческие голоса, большие двери распахнулись в сад, и несколько странников расселись на ступенях широкой лестницы, в тени здания. Перед ними лежал очаровательный ландшафт в чудном освещении, и вдали взор терялся в вершинах голубых гор. Ласковые дети принесли разнообразные яства и напитки, и вскоре между ними завязалась оживленная беседа.

„На все, что человек предпринимает, он должен обращать свое неразделенное внимание или свое Я,— сказал наконец один из них,— и когда он это сделал, в нем вскоре чудесным образом возникают мысли, или вернее, новый вид восприятий, которые, повидимому, не что иное, как движения красящего или стучащего штифта или удивительные сокращения и фигурации эластичной жидкости. Они из той точки, где он, приколлов его, фиксировал впечатление, распространяются во все стороны с живой подвижностью и увлекают за собой его Я. Он нередко может тотчас же снова уничтожить эту игру, снова разделяя свое внимание или позволяя ему произвольно рассеиваться, ибо это, видимо, не что иное, как лучи и действия, которые вызывает Я во всех направлениях в эластической среде, или его преломления в ней, или вообще странная игра волн этого моря, смывающих застывшее внимание. Весьма примечательно, что человек только лишь в этой игре начинает отдавать себе полный отчет в своем своеобразии, в своей специфичной свободе, и что ему кажется, будто он пробуждается от глубокого сна, будто он только теперь чувствует себя в мире как дома и будто дневной свет только теперь распространяется на его внутренний мир. Ему представляется, что он достиг наивысшего, когда он, не нарушая этой игры, способен в то же время производить действия, свойственные другим органам чувств, в одно и то же время и ощущать и мыслить. От этого выигрывают оба восприятия:

внешний мир становится прозрачным, а внутренний мир многообразным и значительным, и человек, пребывая в состоянии внутренней оживленности, находится между двумя мирами, ощущая совершеннейшую свободу и радостное чувство власти. Естественно, что человек стремится увековечить это состояние и распространить его на всю сумму своих впечатлений; что он никогда не устает наблюдать за ассоциациями двух миров и выслеживать их законы, их симпатии и антипатии. Совокупность всего того, что нас трогает, называется природой, и таким образом природа находится в непосредственной связи с теми членами нашего тела, которые мы называем органами чувств. Неизвестные и таинственные связи в пределах нашего тела дают нам право предполагать неизвестные и таинственные отношения в природе, и тем самым природа есть некое дивное сообщество, в которое нас вводит наше тело и которое мы узнаем, измеряя его свойствами и способностями нашего тела. Спрашивается, можем ли мы научиться истинному пониманию природы всех природ при помощи этой особой природы и насколько наши мысли и интенсивность нашего внимания ею определяются или ее определяют и тем самым отрывают ее от природы и губят, быть может, ее нежную податливость. Мы видим таким образом, что эти внутренние отношения и свойства нашего тела должны быть исследованы в первую очередь, прежде чем мы сможем надеяться ответить на этот вопрос и проникнуть в природу вещей. Однако можно было бы также допустить, что мы вообще должны уже обладать разнообразным мыслительным опытом, прежде чем приступать к внутренней связи в нашем теле и прежде чем смочь пользоваться его разумом для уразумения природы, и тогда, действительно, не было бы ничего естественнее того, что мы порождали бы всевозможные движения мысли и достигли бы в этом деле достаточной ловкости, достаточной легкости, чтобы переходить от одного движения к другому и всячески их связывать и разлагать. Для этой цели следовало

бы внимательно рассматривать все наши впечатления, а также с точностью наблюдать вызываемую ими игру мысли, и если бы при этом возникли в свою очередь новые мысли, то последить и за ними, чтобы таким путем постепенно ознакомиться с их механизмом и чтобы путем многократного повторения научиться различать и запоминать различные движения, неизменно связанные с каждым впечатлением. Если бы затем удалось установить, хотя бы только сначала, несколько движений, несколько букв природы, то дальше расшифровка шла бы все легче и легче, и власть над порождением и движением мыслей дала бы наблюдателю возможность создавать природные мысли и набрасывать природные композиции, даже при отсутствии предшествовавших реальных впечатлений, и тогда конечная цель была бы достигнута“.

„Это, пожалуй, слишком уж дерзновенно,— сказал другой,— складывать природу из внешних сил и явлений и выдавать ее то за исполинское пламя, то за удивительной формы шар, то за двоицу или троицу или за какую-нибудь другую диковинную силу. Было бы более мыслимо, чтобы она оказалась порождением некоего непостижимого сговора бесконечно различных существ, дивной связью мира духов, точкой схода и касания бесчисленных миров“.

„Держайте,— говорил третий,— чем произвольнее сплетена сеть, которую закидывает смелый рыбак, тем счастливей улов. Нужно только ободрять каждого итти как можно дальше и приветствовать каждого, кто оплетает вещи новой фантазией. Не думаешь ли ты, что как раз из законченных систем будущий географ природы будет почерпнуть данные для своей большой карты природы? Эти системы он и будет сравнивать, и только сравнение это научит нас познанию диковинной страны. Но познание природы будет все еще бесконечно отлочно от ее истолкования. Настоящий шифровщик достигнет, пожалуй, того, что будет приводить в движение много природных сил одновременно, чтобы полу-

чить великолепные и полезные явления, он сможет фантазировать на природе, как на большом музыкальном инструменте, и все же он природы не будет понимать. Это даровано историку природы, тому, перед кем открыты времена, кто, посвященный в историю природы и знакомый с миром, высшей ареной этой истории, понимает ее знамения и пророчески их оглашает. Это пока еще неведомая область, заповедное поле. Лишь божественные посланцы проронили отдельные слова этой высшей науки, и остается только удивляться тому, что чуткие души прослушали эти намеки и принизили природу до единообразного механизма без прошлого и будущего. Все божественное имеет свою историю, и неужели природа, это единственное целое, с которым человек может себя сравнивать, не является, как и человек, частью истории, или, что то же, не обладает духом? Природа не была бы природой, если бы она им не обладала, не была бы единственным противоположением человечества, необходимым ответом на этот таинственный вопрос, или вопросом к этому бесконечному ответу“.

„Только поэты чувствовали то, чем природа может быть для человека,—заговорил прекрасный юноша,—и в этом случае опять-таки можно сказать о них, что в них заключено человечество в самом совершенном растворе, и поэтому каждое впечатление, проходящее через их зеркальную прозрачность и подвижность, распространяется во все стороны, сохраняя чистоту во всех своих бесконечных изменениях. Они все находят в природе. Им одним не чужда ее душа, и не напрасно ищут они в общении с ней блаженства золотого века. Для них природа наделена всеми сменами бесконечной души, и более, чем любой самый одаренный, самый живой человек, поражает она неожиданностью глубокомысленных оборотов и мыслей, встреч и отклонений, больших идей и странностей. Неисчерпаемое богатство ее фантазий вознаграждает всякого, кто ищет общения с ней. Все умеет она украшать, оживлять, приводить



в действие, и если в единичном как будто и господствует только бессознательный, ничего не значащий механизм, то все же взор, проникающий глубже, различает дивную симпатию с человеческим сердцем в совпадении и в последовательности каждой случайности. Ветер есть движение воздуха, которое может иметь многие внешние причины, но разве он не нечто большее для одинокого, томящегося сердца, когда он со свистом пронесется мимо, когда он веет из милых стран и тысячью темных, жалобных звуков словно растворяет тихую грусть в глубоком, мелодическом вздохе всей природы? Не так же ли и любящий юноша чувствует, что вся его чреватая цветениями душа с пленительной правдивостью находит себе выражение в юной, скромной зелени весенних лугов, и разве изобилие души, жаждущей сладостного растворения в золотом вине, было когда-либо явлено более пленительно и более возбуждительно, чем в налитой, блестящей виноградной грозди, наполовину прятующейся под широкими листьями? Поэтов обвиняют в преувеличении, им как бы только прощают их образный, неточный язык, мало того, пренебрегая более глубоким исследованием, довольствуются тем, что фантазии их приписывают то странное природное свойство, благодаря которому она видит и слышит многое из того, чего другие не слышат и не видят, и в прелестном безумстве произвольно обращается и распоряжается реальным миром; мне же кажется, что поэты далеко не достаточно преувеличивают, что они лишь смутно чувствуют чары этого языка и играют с фантазией только так, как ребенок играет с волшебным жезлом отца. Они не знают, какие силы им подвластны, какие дали должны им повиноваться. Ведь разве не правда, что скалы и леса покоряются музыкой и, укрощенные ею, подчиняются воле каждого, как домашние звери?— Разве самые красивые цветы, в самом деле, не расцветают вокруг возлюбленной и не радуются украшать ее собою? Разве небо не становится для нее безоблачным, а море — спокойным?— Разве вся природа в целом,

так же как лицо и жесты, как пульс и окраска, не выражает состояние каждого из тех высших, дивных существ, именуемых нами людьми? Разве скала не превращается в некое своеобразное Ты, стоит мне с ней заговорить? И разве я чем-нибудь отличаюсь от потока, когда, грустно склонившись, гляжу в его воды и теряю мысли, ускользающие в его беге? Только спокойная, удовлетворенная душа поймет растительный мир, только веселый ребенок или дикарь поймет животных.— Понимал ли уже кто-нибудь камни и светила, я не знаю, но то, несомненно, было существо возвышенное. Такова глубина духа, светящаяся хотя бы в тех статуях, что остались от минувших времен великолепия человеческого рода, таково необычайное проникновение в мир камней, которое из них излучается и которое покрывает вдумчивого наблюдателя каменной корой, словно прорастающей внутрь. Возвышенное обращает в камень, и нам не следовало бы удивляться возвышенному в природе и его действию, или же недоумевать, где нам его найти. Разве природа не могла окаменеть от лицемерия бога? Или от страха пред приходом человека?“

Услышав эту речь, тот, кто заговорил первый, погрузился в глубокое раздумие, далекие горы окрасились в пестрые цвета, и вечер с нежной доверчивостью спустился на землю. После долгого молчания послышался его голос:— „Чтобы постичь природу, нужно заставить ее вновь возникать в самом себе во всей ее последовательности. При этом должно руководствоваться только божественным стремлением к тем существам, которые нам подобны, и теми условиями, которые необходимы для того, чтобы мы могли им внимать, ибо поистине вся природа постижима только как орудие и посредник договоренности между разумными существами. Мыслящий человек возвращается к первоначальной функции своего бытия, к творческому созерцанию, к той точке, в которой зачатие и знание пребывали в чудеснейшей взаимной связи, к творческому мигу подлинного наслаждения, внутреннего самозачатия. И вот, стоит

ему всецело погрузиться в созерцание этого перво-явления, как перед нами развертывается история создания природы в нововозникших временах и пространствах и как некое безмерное зрелище, а каждая неподвижная точка, которая образуется в бесконечной текучести, становится для него новым откровением гения любви, новой связью между Ты и Я. Тщательное описание этой внутренней истории мира и есть истинная теория природы; благодаря внутренним связям в пределах мира его мысли и благодаря гармонии между этим миром и вселенной сама собою возникает система мыслей — точное отображение и формула вселенной. Но искусство спокойного созерцания, творческого миропостижения — трудно, выполнение требует неустанного строгого размышления и беспощадной трезвости, и наградой будет не одобрение ленивых современников, а только лишь радость знания и бодрствования, более непосредственное соприкосновение с мирозданием“.

„Да,— сказал второй,— ничто так не примечательно, как великая одновременность в природе. Природа словно повсюду присутствует деликом. В пламени свечи действуют все силы природы, и так она всюду и непрерывно представляет самое себя и превращается, сразу выпускает листья, цветы и плоды, и пребывая во времени, она сразу — и настоящее, и прошлое, и будущее; и кто знает, на какие особые виды далее она точно так же простирает свое действие и не является ли наша система природы лишь солнцем во вселенной, связанным с ней светом, тягой и влияниями, которые в первую очередь яснее всего ощутимы в нашем духе и через него в свою очередь проливают дух вселенной на эту природу и распределяют дух этой природы по другим природным системам“.

„Ежели мыслитель,— сказал третий,— по праву вступает как художник на путь действия и, умело пользуясь движениями собственного духа, пытается свести мироздание к простой, но кажущейся загадочной, фигуре, мало того, ежели он, можно сказать, танцует природу

и словами повторяет линии движений, то любитель природы должен удивляться этой смелой затее и радоваться развитию этих, заложенных в человеке, способностей. Художник справедливо ставит действие во главу угла, ибо сущность его — в делании и созидании со знанием и волей, и искусство его — в том, чтобы пользоваться своим орудием для всего, уметь изображать мир по-своему, и потому действие является принципом его мира, и его мир — его искусством. И здесь опять-таки природа явлена в новом великолепии, и только бездумный человек презрительно откидывает неразборчивые, удивительно перемешанные слова. Но жрец благодарно возлагает это новое возвышенное измерительное искусство на алтарь, где уже лежит магнитная стрелка, которая никогда не заблуждается и которая бесчисленные суда выводила из океанского бездорожья, возвращая их к населенным берегам и в родные гавани. Однако, кроме мыслителей, существуют еще и другие друзья знания, которые не столь преимущественно отдаются созиданию через мышление и тем самым, не имея призвания к этому искусству, охотнее становятся учениками природы и находят удовлетворение учась, а не уча, узнавая, а не делая, получая, а не давая. Некоторые из них трудолюбивы, и, доверяя всеприсутствию и тесному родству природы, к тому же заранее убежденные в незавершенности и сплошности всего единичного, они тщательно выделяют какое-нибудь одно явление и пристальным взглядом останавливают ее дух, тысячекратно меняющий свои обличия, а затем, ухватившись за эту нить, они шарят по всем закоулкам тайной мастерской, дабы иметь возможность набросать исчерпывающий план этих лабиринтоподобных переходов. Когда они закончили эту кропотливую работу, то на них незаметно уже снизошел более высокий дух, и им тогда легко говорить о разложенной перед ними карте и предписывать путь каждому ищущему. Неизмеримая польза вознаграждает их кропотливый труд, и план карты неожиданным образом совпадает с системой мы-

слителя, и кажется, что они ему в утешение словно привели живое доказательство в пользу его абстрактных положений. Самые праздные из них с детской доверчивостью ожидают милостивого сообщения полезных для них сведений о природе от высших, горячо ими почитаемых существ. Они в этой краткой жизни не желают посвящать время и внимание всяким делам, отнимая и время и внимание от служения любви. Они чистой жизнью стремятся лишь к тому, чтобы приобретать себе любовь, лишь к тому, чтобы ее расточать другим, не заботясь о великом зрелище борющихся сил, спокойно покорствуя своей судьбе в этом царстве власти, ибо их наполняет глубокое сознание своей неразлучности с любимыми существами и природа трогает их только как отображение и собственность этих существ. Зачем нужно знание этим счастливым душам, избравшим лучшую долю и подобно чистому пламени любви пылающим в этом дольном мире только на вершинах храмов или на гонимых бурей кораблях как знак бьющего через край небесного огня? Эти любящие дети, в блаженные часы внимая тайнам природы, часто узнают чудесные вещи и в невинной простоте душевной их разглашают. По стопам их идут исследователи, чтобы подбирать каждую драгоценность, невинно и радостно оброненную ими; любовь их славословит сочувствующий поэт и старается при помощи своих песен пересадить эту любовь, этот росток золотого века, в иные времена и страны“.

„В ком,—воскликнул юноша, и взор его засверкал,—не разыграет сердце, когда глубочайшая жизнь природы проникнет в его душу во всей своей полноте, когда то всеильное чувство, для которого язык не знает иных названий, как любовь и сладострастие, в нем ширится, подобно могучему, всерастворяющему облаку, и он в сладостном трепете погружается в темное, манящее лоно природы, когда бедное Я разбедается захлестывающими волнами наслаждения и в великом океане ничего больше не остается, кроме единого фокуса

безмерной силы зачинания, ничего, кроме всепоглощающего вихря? Что есть пламя, повсюду вспыхивающее? Страстное объятие, нежный плод которого росится в сладострастных каплях. Вода, это первородное дитя воздушных слияний, не в силах отрицать своего сладострастного происхождения и являет собою на земле стихию любви и слияния с небесным всемогуществом. Недалеки от истины были древние мудрецы, искавшие происхождения вещей в воде, и поистине они говорили о более высокой воде, чем морская или ключевая; о воде, в которой открывается первождкость, каковой она явлена нам в расплавленном металле, и потому пусть люди и почитают ее как нечто божественное. Как все еще мало таких людей, которые погружались в тайны жидкого, и у них это предчувствие высшего наслаждения и высшей жизни, пожалуй, никогда и не зарождалось в опьяненной их душе. В жажде открывается эта мировая душа, это мощное стремление растечься. Опьяненные слишком хорошо знают это неземное упоение жидким, и в конце концов все приятные ощущения в нас суть многообразные разливы и всплески первоводы. Даже сон не что иное, как прилив этого невидимого мирового океана, а пробуждение — начало отлива. Сколько людей стоят на берегу упоительно шумящих рек и не слышат колыбельной песни материнских струй и не наслаждаются чарующей игрой их бесконечных волн! Подобно этим волнам жили и мы в золотом веке; в пестроцветных облаках, в этих плывущих морях и первоистоках живого на земле, жили и зачинались людские поколения, пребывая в вечных играх; их посещали дети неба, и этот цветущий мир погиб лишь во время того великого события, которое священные предания именуют потопом; враждебные существа погрузили землю в пучину, и некоторые люди уцелели в чужом мире, выброшенные на утесы новых гор. Как странно, что как раз самые святые и самые увлекательные явления природы находятся в руках таких мертвых людей, какими обычно бывают химики! Явления, которые, властно пробуждая твор-

ческие силы природы, должны быть только тайной любящих, мистериями высшего человечества, бесстыдно и бессмысленно вызываются к жизни грубыми умами, которые никогда не узнают, какие чудеса заключены в их колбах. Только поэты должны были бы иметь дело с жидким, только им должно было бы разрешаться повествовать о нем пламенной юности; мастерские стали бы храмами, и люди поклонялись бы своим огням и рекам и хвалились бы ими с обновленной любовью. Сколь счастливыми снова почитали бы себя те города, которые омывает море или большая река, и каждый источник снова сделался бы вольным приютом и местопребыванием умудренных опытом и одухотворенных людей. Потому-то ничто так и не манит к себе детей, как огонь и вода, и каждый поток сулит им увести их в пестрые дали, в более красивые места. Небо, опрокинувшееся в воде,— не просто отражение, это нежное содружество, это знак доброго соседства, и если неудовлетворенное стремление тянется в безграничную высь, то счастливая любовь охотно погружается в бездонную глубь. Однако напрасно поучать и наставлять природу. Слепорожденный не научится видеть, сколько бы ему ни рассказывали о цвете и свете и далеких образах. Так же не постигает природы и тот, кто лишен природного органа, внутреннего орудия, порождающего и расчленяющего природу, тот, кто всюду, как бы само собой, не узнает во всем природы и не различает и, словно вчувствуясь во все природные существа, не сливается с ними, через посредство ощущения, испытывая прирожденную ему радость зачинания и свое тесное многообразное сродство со всеми телами. Но тот, кто обладает верным и испытанным чувством природы, тот и наслаждается природой, ее изучая, и радуется ее бесконечному многообразию, ее неисчерпаемости в наслаждении, и не нуждается в том, чтобы ему ненужными словами мешали наслаждаться. Напротив, ему представляется, что нельзя достаточно сокровенно общаться с природой, достаточно нежно о ней говорить, доста-

точно сосредоточенно и внимательно ее созерцать. Он чувствует себя в ней, как на груди своей целомудренной невесты, и только ей, в часы сладостной доверчивости, доверяет он добытые им познания. Счастливым почитаю я этого сына, этого любимца природы, которому она позволяет созерцать себя в своей двойственности, как силу зачинающую и рождающую, и в своем единстве, как бесконечное, вечно длящееся супружество. Жизнь его будет полнотой всех усад, цепью сладострастия, и его религия — подлинным, настоящим натурализмом“.

Во время этой речи к обществу приблизился учитель вместе со своими учениками. Странники поднялись и почтительно его приветствовали. Свежительная прохлада распространялась из темных аллей по площадке и ступеням. Учитель велел принести один из тех редких самоцветных камней, которые именуют карбункулами, и светлоалый сильный свет разлился по всем фигурам и одеждам. Вскоре меж ними завязалась ласковая беседа. В то время как издалека неслись звуки музыки и из хрустальных сосудов прохладительное пламя, рдея, лилось в уста говоривших, чужестранцы рассказывали примечательные воспоминания о своих дальних странствиях. Они пустились в путь, полные стремления и жажды знания, в поисках следов того исчезнувшего первобытного народа, выродившимися и одичавшими остатками которого видимо и является нынешнее человечество, обязанное его высокой культуре важнейшими и необходимейшими познаниями и орудиями. Особливо же привлекал их тот священный язык, который служил блестящей связующей нитью между этими царственными людьми и надземными странами и обитателями и кое-какими словами которого, как о том гласят многообразные предания, быть может, еще владели некоторые счастливые мудрецы из числа наших предков. Произнесение их было дивным пением, неотразимые звуки которого глубоко проникали в самую сущность каждого природного явления и его разлагали. Каждое имя в этом языке, казалось, было вещим словом для



души каждого природного тела. Колебания этих звуков с творческой мощью пробуждали все образы явлений мира, и справедливо можно было сказать о них, что жизнь вселенной — вечный, тысячегласный разговор, ибо казалось, что в этой речи самым непостижимым образом сочетались все силы, все виды действия. Разыскать обломки этого языка, хотя бы все сведения о нем, было главной целью их путешествия, и слава, шедшая из древности, привлекла их и в Саис. Они надеялись получить важные сведения у блюстителей храмового архива и в больших его собраниях самим, быть может, найти ответы. Они попросили у учителя разрешения провести одну ночь в храме и в течение нескольких дней присутствовать при его уроках. Они получили то, чего хотели, и от души ликовали, когда учитель сопровождал их рассказы разными замечаниями из сокровищницы своего опыта и развивал перед ними ряд поучительных и чарующих историй и описаний. Наконец заговорил он и о призвании своей старости — пробуждать, упражнять и обострять многообразное чувство природы в юных душах и связывать его с другими задатками для выращивания более совершенных цветов и плодов.

„Быть провозвестником природы — прекрасное и святое служение, — говорил учитель. — Мало одного объема и совокупности познаний, мало одного дара легко и чисто привязывать эти познания к знакомым понятиям и опыту и подменять своеобразные, чуждо звучащие слова привычными выражениями, даже мало той ловкости, с которой богатое воображение располагает природные явления в легко воспринимаемые и прекрасно освещенные картины, которые либо дразнят и удовлетворяют чувство прелестью сочетаний и богатством содержания, либо восхищают дух глубокой значительностью, — все это взятое вместе не исчерпывает собою требований, предъявляемых к истому природовещателю. Для того, кому есть дело до чего-либо иного, кроме природы, для того, пожалуй, и этого достаточно, но тот, кто испытывает в себе искреннее влечение к природе,

кто ищет в ней все и является как бы чувствительным орудием ее сокровенного действия, лишь того признает своим учителем и доверенным природа, кто говорит о ней с благоговением и верой, чьи речи обладают той дивной неподражаемой внушительностью и той стройностью, которыми отличаются подлинные евангелия, подлинные откровения. Изначально благоприятные задатки такой природы должны быть с детства поддерживаемы и развиваемы неустанным прилежанием, одиночеством и молчанием,— ибо многоречивость несовместима с тем упорным вниманием, которое здесь требуется,— детским, скромным поведением и неутомимым терпением. Нельзя определить, как скоро кто-либо делается причастным ее тайн. Иные счастливы достигли этого раньше, иные лишь в глубокой старости. Истинный исследователь никогда не стареет, всякое вечное стремление выходит за пределы жизненного срока, и чем более ветшает внешняя оболочка, тем ядро становится более светлым, ясным и могучим. К тому же дар этот не связан с внешней красотой или силой, или рассудительностью, или каким-либо иным человеческим преимуществом. Во всех сословиях, в каждом возрасте и в юбных полах, во все времена и под любыми широтами бывали люди, в которых природа облюбовала своих избранников и которые были осчастливлены внутренним зачатием. Нередко люди эти казались более простоватыми и неудачливыми, чем другие, и в течение всей своей жизни оставались в тени толпы. Мало того, следует почитать за великую редкость, когда истинное понимание природы сочетается с большим красноречием, умом и великолепным поведением, так как оно обычно вызывается и сопровождается простою речью, прямою и незатейливостью. В мастерских ремесленников и художников и всюду, где люди находятся в многообразном общении и борьбе с природой, как то в земледелии, в мореходстве, в скотоводстве, в горном деле и точно так же во многих других промыслах, повидимому, чаще и легче всего обнаруживается развитие этого чувства.

Если всякое искусство заключается в познании средства для достижения искомой цели, для получения определенного действия и явления и в умении выбирать и применять эти средства, то тот, кто чувствует в себе внутреннее призвание приобщать многих людей к пониманию природы, преимущественно развивать и поддерживать в людях эти задатки, должен прежде всего стремиться к тому, чтобы внимательно следить за естественными поводами такого развития и научиться у природы основам этого искусства. С помощью достигнутых таким образом познаний он построит себе систему приложений этих средств к каждому данному индивидууму, систему, основанную на опытах, на расчленениях и сравнениях, он освоится с этой системой так, чтобы она сделалась для него второй природой, и с энтузиазмом приступит наконец к своей благодарной работе. Только его можно будет по праву назвать учителем природы, ибо всякий другой, только натуралист, будет пробуждать чувство к природе лишь случайно и по симпатии, будучи сам не более как порождением природы“.

# **ВИЛЬГЕЛЬМ-ГЕНРИХ ВАКЕНРОДЕР**



## ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ КОМПОЗИТОРА ИОСИФА БЕРГЛИНГЕРА

### Первая глава

Я неоднократно обращал мой взор к прошлому и с наслаждением собирал сокровища истории искусства былых столетий; но теперь мой дух влечет меня хоть раз остановиться на временах настоящих и испытать свои силы на истории одного художника, знакомого мне с ранней его юности и самого задушевного моего друга. Увы, ты, к сожалению, скоро покинул землю, мой Иосиф! и не легко мне будет снова найти тебе подобного. Но я найду отраду в том, что прослежу мысленно историю твоего духа, с самого начала, как ты мне о том в незабвенные часы часто подробно рассказывал и как я сам душевно понимал тебя, и расскажу твою историю тем, кому она доставит радость.

Иосиф Берглингер родился в маленьком городке южной Германии. Его матери суждено было, произведя его на свет, покинуть мир; его отец, человек уже довольно пожилой, был доктором науки врачевания и обладал скудными средствами. Счастье повернулось к нему спиной, и ему стоило больших трудов прокормить себя и шестерых детей (ибо у Иосифа было пять сестер), тем более, что ему не хватало разумной хозяйки.

Отец Иосифа был по природе мягким и очень добродушным человеком, который всегда охотно готов был, по мере сил и возможности, помочь, посоветовать и подать милостыню; после доброго дела он спал лучше обыкновенного; долго, с сердечным умилением и благодарностью богу, мог он вкушать от благих плодов своего сердца и свою душу охотнее всего питал трогательными чувствами. В самом деле, глубокая грусть и сердечная любовь овладевает нами всегда, когда мы созерцаем завидную простоту этих душ, которые в обыкновенных проявлениях доброго сердца находят столь неисчерпаемую бездну великолепия, что это дает им райское блаженство на земле, примиряет их со всем миром и поддерживает в них чувство полной удовлетворенности. Это-то впечатление и испытывал Иосиф, когда думал об отце,— но *его самого* небо создало таким, что он всегда стремился к чему-нибудь еще *более высокому*; его не удовлетворяло одно лишь здоровье души и сознание, что она выполняет свои обычные дела, работая и творя добро,— ему хотелось, чтобы она плясала от полноты восторга и к небу, своей родине, возносила ликованья.

В душе его отца были, однако, и другие стороны. Он был трудолюбивый и добросовестный врач, в течение всей своей жизни не интересовавшийся ничем иным, кроме знания диковинных вещей, сокрытых в человеческом теле, и обстоятельного изучения всех плачевных человеческих недугов и болезней. Эти ревностные занятия сделались для него, как это часто бывает, тайным, притупляющим нервы ядом, который проник во все его жилы и изгрыз в нем много звучащих струн человеческого сердца. К этому присоединялась раздраженность нуждою и бедностью и, наконец, старость. Все это разъедало основную доброту его души; ибо у душ, не отличающихся силой, все, с чем человек имеет дело, переходит в его кровь и изменяет помимо его ведома его внутреннее существо.

Дети старого врача вырастали, как сорная трава

в заброшенном саду. Сестры Иосифа отличались отчасти болезненностью, отчасти слабоумием и вели жалкую, одинокую жизнь в своей темной маленькой комнате.

Никто не мог соответствовать этой семье менее, чем Иосиф, который постоянно жил в прекрасных мечтах и небесных грезах. Его душа походила на нежное дерево, семя которого птица заронила на стену или развалины, где оно девственно пробивается между жесткими камнями. Он всегда был одинок и молчалив и питался исключительно своей собственной фантазией; поэтому и отец считал его несколько странным и слабоумным. Своего отца и сестер он искренно любил; но внутренний мир свой ценил превыше всего и тайл и скрывал его от других. Так таят шкатулку с драгоценностями, ключа от которой никому не доверяют.

Высшую радость с самых ранних лет доставляла ему музыка. Он слушал иногда, как кто-нибудь играет на клавире, и сам играл немного. Благодаря часто повторяющемуся наслаждению музыкой он постепенно развился так своеобразно, что она сделалась его внутренней сущностью и душа его, привлекаемая этим искусством, вечно витала в сумеречных лабиринтах поэтического чувства.

Замечательную эпоху в его жизни составило путешествие в епископскую резиденцию; один состоятельный родственник, тамошний житель, полюбил мальчика и взял его на несколько недель к себе. Здесь он уже зажил прямо, как на небесах: его душа наслаждалась разнообразнейшей прекрасной музыкой и порхала кругом, подобно бабочке в теплом воздухе.

Преимущественно он посещал церкви и слушал священные оратории, кантатны и хоры с полновзвучным сопровождением тромбонов и труб под высокими сводами, причем зачастую из чувства благоговения он смиренно стоял на коленях. Прежде чем раздавалась музыка, в тесной, тихо перешептывающейся толпе народа ему казалось, будто он слышит вокруг себя шум обыкновенной и пошлой жизни людей, нечто вроде



большой ярмарки с ее мелодическим смешением звуков; голову его туманили пустые житейские мелочи. С нетерпением ожидал он первых звуков инструментов,— и когда они наконец прорывались из глухой тишины, мощно и протяжно, подобно веянию ветра с небес, и вся сила звуков проносилась над его головой,— тогда ему чудилось, будто у души его внезапно выросли большие крылья, будто он восхищен из бесплодной равнины, мутная облачная завеса спадает перед его смертными глазами, и он возносится к светлому небу. Тогда тело его стояло тихо и неподвижно, а глаза устремлялись на землю. Настоящее перед ним исчезало; внутреннее существо его очищалось от всяких житейских мелочей, образующих подлинную пыль на блестящей поверхности души; музыка проникала легким трепетом в его нервы и пробуждала в нем целый ряд разнообразных образов. Так, во время многих радостных и возвышающих душу песнопений, представляющих бога, ему совершенно отчетливо представлялось, будто он видит царя Давида в длинной царской мантии, с короной на голове, пляшущего перед ковчегом завета, воспевая хвалебные гимны; он видел весь его восторг и все его движения, и сердце прыгало у него в груди. Тысячи дремлющих в его душе ощущений прорывались и дивно перемешивались друг с другом. В некоторых местах музыки ему, наконец, даже казалось, будто какой-то особенный луч света проникает ему в душу; ему представлялось, будто он при этом сразу становится гораздо умнее и может более ясным оком и с некоторой величавой и спокойной грустью взирать на весь этот кишачий внизу мир.

Несомненно, по крайней мере, то, что он чувствовал себя, по окончании музыки и по выходе из церкви, чище и благороднее. Все существо его еще пылало от духовного вина, которое его опьянило, и он смотрел иными глазами на всех проходящих. Когда же он при этом видел, как группы прогуливающихся людей останавливаются и смеются или передают друг другу новости, то это производило на него совсем особенное

отталкивающее впечатление. Он говорил себе: „Ты должен всю жизнь оставаться непрерывно в этом прекрасном поэтическом опьянении, и вся твоя жизнь должна быть сплошной музыкой“.

Когда же он приходил после того к своим родственникам к обеду и наслаждался пребыванием в обычно веселом и шутливо настроенном обществе, то бывал недоволен, что так скоро снова спускался в прозаическую жизнь и что опьянение его испарялось, как блестящее облако.

Это горькое противоречие между его прирожденным небесным энтузиазмом и земным участием в жизни каждого человека, насильственно низводящим каждого ежедневно из области мечтаний, мучило его в течение всей жизни.

Когда Иосиф бывал в каком-либо большом концерте, то обычно садился, не глядя на блестящее собрание слушателей, в уголок и слушал с таким же благоговением, как если бы он был в церкви,— столь же безмолвно и неподвижно, устремив перед собою в землю глаза. От него не ускользал ни малейший звук, и от напряженности внимания он чувствовал себя под кофед слабым и утомленным. Его вечно подвижная душа поддавалась полностью игре звуков; точно она отделилась от тела и более свободно трепещет вокруг, или же точно тело его тоже превратилось в душу,— так свободно и легко охватывалось прекрасными гармониями все его существо, и тончайшие складки и изгибы звуков отпечатлевались в его мягкой душе. Слушая радостные и восхитительные полногласные симфонии, особо им любимые, ему зачастую казалось, будто он видит, как веселый хоровод юношей и девушек пляшет на светлом дужке, как они прыгают взад и вперед и как между отдельными парами иногда происходит разговор пантомимой, после чего они снова смешиваются с веселой толпой. Многие места в музыке были ему настолько ясны и убедительны, что звуки казались *словами*. В другой же раз звуки вызывали в его сердце удивительное

смешение радости и грусти, так что он бывал одинаково близок к смеху и к плачу; ощущение, которое часто встречается на нашем жизненном пути и не передается ни одним искусством так хорошо, как музыкой. С каким восхищением и удивлением прислушивался он к музыкальной пьесе, которая начинается с бодрой и веселой, как ручей, мелодии, но постепенно и незаметно и удивительно начинает ползти и извиваться, все более и более омрачаясь, чтобы под конец разразиться сильным громким рыданьем или же пронестись сквозь дикие скалы с устрашающим ревом. Все эти разнообразные ощущения вызвали в его душе всегда соответствующие чувственные образы и новые мысли: чудесный дар музыки, искусства, которое вообще действует на нас тем могущественнее и тем сильнее приводит все силы нашего существа в возбуждение, чем темнее и таинственнее его язык.

Прекрасные дни, прожитые Иосифом в епископской резиденции, наконец прошли, и ему пришлось снова вернуться в свой родной город, в дом своего отца. Как грустен был обратный путь! Каким жалким и подавленным почувствовал он себя опять в семье, все жительство которой вертелось исключительно вокруг скудного удовлетворения самых насущных физических потребностей, и у отца, который так мало сочувствовал его склонностям! Последний относился с презрением и отвращением ко всем искусствам, находившимся, по его мнению, в услужении у разнузданных похотей и страстей и льстящим знатым людям. Он давно уже с неудовольствием смотрел на то, что его Иосиф так сильно привязался к музыке; теперь же, когда эта любовь в мальчике выростала все выше, он сделал продолжительную и серьезную попытку отвлечь его от пагубной склонности к искусству, занятие которым было, по его мнению, не многим лучше безделья и которое удовлетворяло исключительно вождедения чувств, и обратить его к медицине, как к наиболее благотворной и общепользней для человечества науке. Он приложил

большие старания к тому, чтобы обучить его первоначальным ее основам, и дал ему в руки учебники.

Это положение вещей было весьма мучительно и тяжело для бедного Иосифа. Он подавил и скрыл у себя в груди свой энтузиазм, дабы не огорчать отца, и намеревался заставить себя изучить, между прочим, и полезную науку. Но это превратилось в вечную душевную борьбу. Он прочитывал страницу из своего учебника по десяти раз, не будучи в состоянии понять, что читает,— душа его в тайниках своих продолжала непрестанно напевать свои мелодические фантазии. Отец был им очень озабочен.

Горячая любовь его к музыке брала в нем в тиши все более и более перевес. Если в течение нескольких недель ни один звук не касался его слуха, то он чувствовал себя совершенно расстроенным; он замечал, что сердце его сжимается, в груди образуется какая-то пустота и появляется непреодолимое стремление снова воодушевить себя звуками. В этих случаях даже посредственные музыканты, играющие во время праздников и церковных торжеств на духовых инструментах, могли внушить ему такие чувства, о каких они сами не имели никакого представления. И как только в соседних городах можно было услышать прекрасную серьезную музыку, он бежал туда, полон горячей жаждой, даже в сильнейший снег, бурю и дождь.

Почти ежедневно вспоминал он с тоской великолепное время своего пребывания в епископской резиденции и представлял в душе снова те чудные вещи, которые там слышал. Часто повторял он себе сохранившиеся у него в памяти такие милые и трогательные слова первой духовной оратории, которую ему пришлось слышать и которая произвела на него особенно глубокое впечатление:

*Stabat Mater dolorosa,  
Juxta crucem, lacrimosa,  
Dum pendebat filius:  
Cujus animam gementem,  
Contristatam et dolentem*

Pertransivit gladius.  
 O quam tristis et afflicta  
 Fuit illa benedicta  
 Mater unigeniti:  
 Quae moerebat et dolebat  
 Et tremebat, cum videbat  
 Nati poenas incliti \*

И как там дальше идет.

Но увы!.. Когда такой восхитительный час пребывания в небесных грезах или опьянение, в котором он, насладившись чудной музыкой, возвращался домой, прерывались тем, что сестры его ссорились между собой из-за нового платья, или отец не в состоянии был дать старшей достаточно денег на хозяйство, или отец рассказывал о каком-либо очень несчастном, жалком больном, или тем, что в дверях появлялась какая-нибудь старая, вся скрюченная нищенка, которую лохмотья не в состоянии были защитить от зимней стужи,— увы! на свете нет более горького, более пронзающего сердце ощущения, как то, что в ту минуту терзало Иосифа. Он думал: „Милосердный боже! неужели мир таков на самом деле? и неужели такова воля твоя, что я должен жить в сутолоке людской толпы и принять участие в общем страдании? И все же так это выходит, да и отец мой постоянно проповедует, что долг и значение человека требуют, чтобы он вмешивался в

\* Мать стояла в тяжелой муке,  
 С плачем воздевая руки,  
 У креста, где страдал сын.  
 В сердце, полное страданья,  
 Лютой скорби и терзанья,  
 Меч вонзился до глубин.  
 О, в какой немой кручине  
 По единокровному сыне  
 Пресвятая мать была!  
 Как болела и скорбела!  
 Все глядела то на тело,  
 То на смертный пот чела.

Перевод *О. Румера*.

людскую толпу, подавал советы и милостыню, перевязывал отвратительные раны и исцелял ужасные болезни! А вместе с тем какой-то внутренний голос во мне громко взывает: „Нет! Нет! ты родился для более высокой, более благородной цели!“ — Такими мыслями он мучился зачастую подолгу и не мог найти выхода; впрочем, не успевал он опомниться, как эти противные образы, казалось, увлекавшие его насильно в житейскую грязь, исчезали из его души, и дух его снова беспретятственно парил в небесах.

Постепенно он пришел окончательно к убеждению, что бог послал его в мир для того, чтобы он сделался весьма отменным художником в области музыки; а иногда ему представлялось, что небо возведет его из унылой и скудной бедности, в которой он вынужден был проводить свою юность, к тем вышшей славе. Многие сочтут это за романтический и неестественный вымысел, но я рассказываю чистую правду: часто Иосиф, будучи один, падал в горячем сердечном лечении на колени и просил бога направить его таким образом, чтобы из него когда-нибудь вышел, пред лицом неба и земли, великолепнейший художник. В это время, когда кровь его, возбуждаемая направленными в одну и ту же точку представлениями, зачастую находилась в состоянии сильного брожения, он написал несколько маленьких стихотворений, которые передавали его настроение или восхваляли музыкальное искусство и которые он с большой радостью, по-детски чувствительно положил на музыку, не зная ее правил. Образцом этих песен является нижеследующая молитва, с которой он обратился к святой, почтаемой покровительницей музыкального искусства:

О Цецилия святая!  
Одинокий, изнывая,  
Плачу горькою слезой.  
Зри — от мира удаленный  
И коленопреклоненный,  
Я молюся пред тобой.  
Звук от струн твоих чудесный  
Окрыляет мир небесный,

*Вильгельм-Генрих Вагнероде*

Отрывает от земли:  
 Успокой смятенье крови,  
 Звучком песен и любви  
 Жажду сердца утоли.  
 Силу дай руке бессильной  
 Вызвать смело звук обильный  
 И восторгом оживи.  
 Чтоб смягчали струн отзвуки  
 Сердца гордые порывы  
 Сладкой грустию любви.  
 Окрылен тобой, воспряну  
 И под сводом храма гряну  
 В честь тебе, тобой избран,  
 Гимн, молитвой вдохновенный:  
 Да ликует сонм смиренный  
 Умиленных христиан.  
 С оживленными струнами  
 Дай мне силу над сердцами,  
 С тайны душ покров сорви:  
 Чтоб я мог всевластным духом  
 Целый мир наполнить звуком  
 Вдохновенья и любви\*.

Более года мучился бедный Иосиф в одиночестве и размышлял о шаге, который намеревался предпринять. Неудержимая сила влекла его душу в тот великолепный город, на который он смотрел, как на рай; ибо он сторал от жажды основательно изучить там свое искусство. Но сыновние обязанности, как камень, давили его сердце. Отец заметил, конечно, что Иосиф не хотел больше серьезно и ревностно заниматься его наукой, он уже почти махнул на него рукой и деликом ушел в свою меланхолию, которая с приближением старости все усиливалась. Он не стал больше тратить много времени на мальчика. Однако Иосиф не утратил из-за этого своей детской любви; он вечно боролся со своей склонностью и все не мог собраться с духом, чтобы высказать в присутствии отца то, в чем хотел ему признаться. Целыми днями мучился он, взвешивая все обстоятельства, но так и не мог выбраться из ужасной бездны своих сомнений; не помогали и горячие его молитвы: это

\* Перевод С. Шевырева.

почти сокрушило его сердце. О чрезвычайно унылом и мучительном состоянии, в котором он тогда находился, свидетельствуют нижеследующие строки, найденные мною среди его бумаг:

О, не знаю, что меня стесняет,  
Что мой дух и давит и терзает.  
Словно я от казни иль от грома  
Рвусь, бегу из отческого дома.  
Чем виновен, чем пред богом грешен  
И за что страдаю безутешен?  
Божий сын! ужель твоя отрада  
Не смирит бунтующего ада?  
Не пошлет святого откровенья  
Разогнать души моей сомненья?  
Не внушит безумцу мысли здравой  
И стези мне не укажет правой?  
О, спаси меня, любовь и сила!  
Иль вели земле, чтоб поглотила,  
А не то я жертва чуждой власти:  
Увлекут меня слепые страсти,  
И твоей лишенный благодати,  
Убегу из отческих объятий\*.

Тоска его все увеличивалась, покушение бежать в тот дивный город становилось все сильнее. „Но неужели,— думал он,— небо не придет тебе на помощь? Неужели оно не пришлет тебе никакого знамения?“ — Страсть его достигла, наконец, высшего предела, когда отец однажды, во время какой-то домашней размолвки набросился на него резче обыкновенного и с тех пор не переставал относиться к нему неприязненно. Тогда он решился; отбросил всякие сомнения и колебания и ни о чем больше не раздумывал. Приближался праздник пасхи; его он хотел провести еще дома, но только он минет — пуститься по белу свету.

Праздник прошел. Он дождался первого прекрасного утра, когда яркий солнечный свет, казалось, очаровывал и манил его; он спозаранку выбежал из дому,— что, в сущности, было для него обычно, но на этот раз

\* Перевод С. Шевырева.



не вернулся домой. С восторгом и бьющимся сердцем спешил он по тесным переулкам маленького города; у него было такое чувство, что ему хочется прыгнуть через все, что его окружало, прямо в открытое небо. На углу повстречалась ему одна старая родственница. „Куда спешишь, братец?—спросила она.— Не на рынок ли за овощами?“—„Да, да!“—воскликнул рассеянно Иосиф и выбежал, трепеща от радости, за городские ворота.

Но, пройдя небольшое расстояние по полю, он обернулся, и обильные слезы потекли у него из глаз. „Не воротиться ли мне?“—подумал он. Но он пустился бежать дальше, словно у него пятки горели, и все время плакал и бежал он, точно хотел уйти от своих слез. Много чужих деревень, чужих лиц мелькало мимо него; вид чужого мира снова придавал ему мужество, он почувствовал себя свободным и сильным,—ближе и ближе подходил он к цели,—и вот, наконец,—милосердное небо! какой восторг!—наконец увидел он перед собой башни дивного города.

## Вторая глава

Я возвращаюсь к моему Иосифу, уже когда он через несколько лет после того, как мы его покинули, сделался капельмейстером в епископской резиденции и пользовался большой славой. Родственник его, отлично его принявший, сделался творцом его счастья и доставил ему возможность основательнейшим образом изучить музыкальное искусство. Отец Иосифа также постепенно стал спокойнее относиться к его поступку. Неустанным усердием Иосиф пробил себе дорогу и достиг наконец высшей ступени счастья, какой только мог себе пожелать.

Однако все на свете меняется на наших глазах. Он написал мне однажды, после того как уже был несколько лет капельмейстером, нижеследующее письмо:

„Милый патер!

Жизнь, которую я веду, очень несчастна: чем больше вы меня утешаете, тем больше я это чувствую.

Когда я вспоминаю о мечтах моей юности,—как я был счастлив в этих мечтах! Мне казалось, что я буду непрерывно предаваться фантазиям и изливать свое переполненное сердце в произведениях искусства,—но как чужды и суровы оказались для меня сразу же годы ученья! Как горько мне было, когда завеса предо мной раскрылась! Я узнал, что все мелодии, хотя бы они и возбуждали во мне самые гетерогенные и часто чудеснейшие ощущения, основывались на одном единственном, неумолимом математическом законе!

Узнал, что вместо того, чтобы свободно летать, мне предстоит сперва научиться карабкаться по неуклюжим подмосткам в клетке грамматики искусства! Как мне пришлось мучиться, чтобы добиться путем обыкновенного научного механического разума чего-либо соответствующего всем правилам, прежде чем я мог подумать о том, чтобы выразить мое чувство в звуках!.. Это была тягостная механика! Но как бы то ни было, я обладал еще упругостью юности и все надеялся на прекрасное будущее! А теперь?.. Роскошное будущее превратилось в жалкое настоящее.

Какие счастливые часы проводил я мальчиком в большом концертном зале! Когда я сидел безмолвно и неприметно в уголке, очарованный всей его роскошью и великолепием, и так страстно желал, чтобы эти слушатели собрались когда-нибудь также и ради моих произведений, чтобы чувство их пробуждалось мною! Теперь я весьма часто сижу в том же зале и исполняю там также и мои произведения; но я чувствую себя поистине совсем иначе. Как мог я себе вообразить, будто эта выступающая в золоте и шелку публика собирается, чтобы насладиться произведением искусства, согреть свое сердце и показать художнику свое впечатление! Раз эти души не могут воспламениться даже

в величественном соборе, в день самого священного праздника, когда на них мощно действует все великое и прекрасное, что может дать искусство и религия, то чего же ждать от них в концертном зале? Чувство и вкус вышли из моды и считаются неприличными. Проявлять к какому-нибудь художественному произведению чувство было бы так же странно и смешно, как если бы кто-нибудь в обществе вдруг заговорил стихами и в рифму, в то время как вообще-то в жизни пользуются разумной и общепонятной прозой. И для этих-то душ изнуряю я мою душу! Для них стремлюсь я достигнуть того, чтобы пробудить в них какие-либо чувства! Вот то высокое назначение, для которого я считал себя рожденным!

И когда кто-нибудь, обладающий хоть какими-либо чувствами, вздумает меня хвалить и критически одобряет и задает мне критические вопросы,— то мне всегда хочется попросить его, чтобы он не давал себе такого труда изучать чувство по книгам. Бог знает почему, но когда я только что наслаждался музыкой или каким-либо иным, восхищающим меня художественным произведением и все существо мое полно этим, то мне хотелось бы передать мое чувство одним штрихом на доске, если бы только краска могла его выразить. Я не в состоянии хвалить искусственными словами, я не могу высказать ничего умного.

Меня, конечно, немного утешает мысль о том, что может быть, где-нибудь в маленьком уголке Германии, куда попадет то или иное из написанного мною, хотя бы и спустя долгое время после моей смерти, живет какой-нибудь человек, которому небо внушило такую симпатию к моей душе, что он воспримет в моих мелодиях как раз то, что я чувствовал при их сочинении и что мне так сильно хотелось вложить в них. Прекрасная мысль, которой можно некоторое время весьма приятно себя обманывать!

Наиболее ужасными, однако, являются все остальные обстоятельства, опутывающие художника. Обо всякой



отвратительной зависти и подлости, обо всяких противно мелочных обычаях и столкновениях, о всяческом подчинении искусства воле двора — мне претит сказать хотя бы единое слово; до того все это недостойно, до того унижает человеческую душу, что говорить об этом у меня язык не поворачивается. Сугубым несчастьем для музыки является то, что в этом искусстве как раз необходимо участие такого множества рук, для того чтобы произведение могло существовать! Я сосредоточиваю и возвышаю всю свою душу, чтобы осуществить крупное произведение, — и сотни бесчувственных и пустых голов вмешиваются в это и требуют того или иного.

Я мечтал в юности бежать от земной юдоли, а между тем теперь-то и окунулся в самую грязь. К сожалению, несомненно, что, несмотря ни на какие усилия наших духовных крыл, оторваться от земли невозможно; она насильно тянет нас к себе обратно, и мы попадаем снова в самую пошлую людскую среду.

Вокруг меня я вижу художников, достойных сожаления. Даже самые благородные из них так мелочны, что не знают, как себя вести от чванства, если невзначай их произведение приобретет широкую популярность. Боже милостивый! Да разве мы не обязаны половиной нашей заслуги божественности искусства, вечной гармонии природы, а другой половиной — всеблаговому творцу, даровавшему нам способность применять это сокровище? Разве все эти бесчисленные прелестные мелодии, вызывающие в нас самые разнообразные ощущения, не возникли из единственного чудесного трезвучия, которое природа создала от века? Эти, полные грусти, то приятные, то мучительные ощущения, вызываемые в нас, неизвестно как, музыкой, что они такое, как не таинственное действие сменяющихся мажора и минора? И разве мы не должны благодарить творца за то, что он нам как раз даровал умение так сопоставлять эти звуки, которым изначально присуще было сочувствие человеческой душе, чтобы они трогали

сердце? Поистине, почитать надо *искусство*, а не художника, который не что иное, как слабое орудие.

Вы видите, что мое рвение и моя любовь к музыке не стали слабее, чем прежде. Потому-то я так и несчастлив — впрочем, оставим это! Не буду омрачать вас описанием всех этих противных нравов вокруг меня. Достаточно сказать, что я живу в весьма нечистой атмосфере. Насколько идеальнее жилось мне в былое время, когда я, в простодушной юности и тихом уединении, еще только *наслаждался* искусством, чем теперь, когда я им занимаюсь в ослепительнейшем светском блеске, окруженный исключительно шелковыми платьями, звездами и крестами, исключительно людьми культурными и со вкусом! Чего бы мне хотелось?— Мне хотелось бы покинуть всю эту культуру и бежать в горы, к простому швейцарскому пастуху и подыгрывать его альпийским песням, по которым он тоскует, где бы ни находился“.

Из этого отрывочно написанного письма можно отчасти видеть то состояние, в котором находился Иосиф. Он чувствовал себя покинутым и одиноким среди шума стольких негармоничных душ вокруг. Искусство его было глубоко унижено тем, что не производило, насколько он знал, ни на кого живого впечатления, тогда как ему казалось, что оно создано было исключительно для того, чтобы трогать человеческие сердца. Зачастую в часы уныния он приходил в полное отчаянье и думал: „Как странно и необычайно искусство! Неужели оно только для меня одного обладает столь таинственной силой, а всем остальным людям служит лишь для развлечения и приятного времяпрепровождения? Чем же является оно действительно и на самом деле, если для всех людей оно — ничто и только для меня одного — нечто? Не несчастнейшая ли это мысль сделать это искусство своей единственной жизненной целью и главным занятием и вообразить себе тысячу прекрасных вещей о его глубоком действии на человеческие души,

о том искусстве, которое в настоящей земной жизни не играет большей роли, чем карточная игра или любое иное времяпрепровождение?"

Когда ему в голову приходили подобные мысли, то он представлялся себе величайшим фантазером в своем стремлении сделаться мировым художником-исполнителем. Он напал на мысль, что художник должен творить только для себя одного, для подъема собственного духа, и для одного или нескольких людей, которые его понимают. И я не могу отказать этой мысли в некоторой справедливости.

Но я буду краток в остальном рассказе о жизни моего Иосифа, ибо воспоминания об этом наводят на меня грусть.

Несколько лет прожил он таким образом капельмейстером, причем уныние и неприятное сознание того, что он, несмотря на все свое глубокое чувство и искреннее влечение к искусству, для мира не нужен и гораздо менее полезен, чем любой ремесленник,— все более и более возрастали. Часто с грустью вспоминал он о чистом, идеальном энтузиазме своего детства, а вместе с тем и о своем отце, о том, как тот старался воспитать из него врача, дабы он облегчал человеческие страдания, исцелял несчастных и тем приносил пользу миру. „Может быть, так было бы лучше!“— думал он временами.

Между тем, отец его, состарившись, стал очень слаб. Иосиф постоянно переписывался со своей старшей сестрой и посылал ей денег на содержание отца. Посетить его сам он не решался; он чувствовал, что это для него невозможно. Он пришел в еще большее уныние, жизнь его клонилась к упадку.

Однажды он исполнял в концертном зале прекрасную музыку собственного сочинения; впервые показалось, что он произвел некоторое впечатление на сердца слушателей. Всеобщее изумление, безмолвное одобрение, которое гораздо прекраснее громкого, возбудило в нем радостную мысль, что, может быть, на этот раз он достойным образом проявил свое искусство; это обо-

дрило его к новой работе. Когда он вышел на улицу, к нему подкралась бедно одетая девушка, желая с ним поговорить. Он не знал, что ей сказать, посмотрел на нее. „Боже!“—воскликнул он,—это была его младшая сестра в самом жалком одеянии. Она пешком прибежала из дому, чтобы принести ему известие, что отец его при смерти и хочет перед концом еще раз поговорить с ним. Все пение умолкло в его груди; в глухом оцепенении он собрался и спешно поехал в свой родной город.

Сцены, происшедшие у смертного одра его отца, я описывать не стану. Не следует думать, что дело доходило до пространных и горестных взаимных объяснений; они глубоко поняли друг друга без лишних слов; вообще природа словно издевается над нами, раз люди лишь в эти последние решительные минуты приходят к настоящему взаимному пониманию. Тем не менее, Иосиф чувствовал себя потрясенным до глубины души. Сестры его были в самом жалком состоянии; две из них вели плохую жизнь и сбежали; старшая, которой он всегда посылал деньги, расточала их, а отца оставляла впроголодь; и вот он в нужде умирает, наконец, на глазах сына: ах, как ужасно было изранено и истерзано его бедное сердце! Он озаботился, насколько мог, о своих сестрах и вернулся назад, так как дела его призывали.

Он должен был написать к предстоящему празднику пасхи новую музыку к „Страстям“, которой сильно домогались его завистливые соперники. Но потоки слез лились у него из глаз, как только он собирался сесть за работу; он не знал, что делать со своим истерзанным сердцем. Он лежал, задавленный и засыпанный земным прахом. Наконец, собрав силы, он рванулся вверх и простер с горячим и страстным стремлением руки свои к небу; дух его исполнился высочайшей поэзии, громогласных, ликующих песнопений, и он написал с дивным вдохновением, но при не прекращавшемся душевном волнении, музыку к „Страстям“, которая, со



своими потрясающими и охватывающими все муки и страдания мелодиями, навеки останется мастерским произведением. Душа его была подобна больному, который в чудесном пароксизме проявляет большую силу, чем здоровый.

Но, исполнив эту ораторию в день праздника в соборе с величайшим напряжением и жаром, он почувствовал себя совершенно изнеможенным и расслабленным. Какая-то нервная слабость пала, подобно вредной росе, на все его члены; он проболел некоторое время и вскоре затем умер, в расцвете лет.

Много слез я пролил по нем, и меня охватывает странное чувство, когда я обзираю его жизнь. Зачем угодно было богу, чтобы в течение всей его жизни борьба между его небесным энтузиазмом и земными страданиями делала его таким несчастным и чтобы, наконец, в его двойственном существе, дух и тело совершенно оторвались друг от друга!

Пути господни неисповедимы. Но нельзя не удивляться многообразию тех великих душ, которых небо ниспослало в мир для служения искусству.

Рафаэль написал, при всей своей невинности и простодушии, гениальнейшие произведения, в которых созерцаем мы все небо; Гвидо Рени, который вел дикую жизнь игрока, создал картины самого нежного и святого содержания; Альбрехт Дюрер, простой нюрнбергский мещанин, творил в той же комнате, где злая жена его с ним ежедневно ссорилась, с усердным, механическим прилежанием полные чувства произведения искусства; а Иосиф, в гармонических произведениях которого столько таинственной красоты, отличался от всех них!

Ах, почему именно высокая его фантазия и погубила его? Должен ли я сказать, что он был, может быть, создан скорее для того, чтобы наслаждаться искусством, чем чтобы им заниматься? Может быть, те натуры счастливей, в которых искусство проявляется тихо и укромно, подобно скрытому гению, и не мешает им в

**их житейских делах? И не должен ли, может быть, вечно вдохновенный человек все же с твердостью смело и сильно влетать свои высокие фантазии в эту земную жизнь, если он хочет быть истинным художником? Да, не является ли эта непонятная творческая сила вообще чем-то совершенно иным, и — как мне сейчас представляется — чем-то еще более чудесным, еще более божественным, нежели сила фантазии?**

Художественный гений является и остается для человека вечной тайной, и у нас кружится голова при попытках исследовать ее глубины; но вместе с тем она вечно будет предметом высочайшего восхищения, что можно сказать, впрочем, и обо всем великом на свете.

Но после этих воспоминаний о моем Иосифе я не могу ничего больше писать. Я заканчиваю свою книгу, — и мне остается только пожелать, чтобы она послужила тому или иному для пробуждения добрых мыслей.

**ТИБ**



## БЕЛОКУРЫЙ ЭКБЕРТ

В одном из уголков Гарца жил рыцарь, которого обыкновенно звали белокурым Экбертом. Он был лет сорока или около того, невысокого роста, короткие светлые волосы, густые и гладкие, обрамляли его бледное лицо со впалыми щеками. Он жил очень тихо, никогда не вмешивался в распри соседей и редко появлялся за стенами своего небольшого замка. Жена его столь же любила уединение, оба были сердечно привязаны друг к другу и только о том горевали, что бог не благословил их брака детьми.

Гости редко бывали у Экберта, а если и бывали, то ради них не делалось почти никаких изменений в обычном течении его жизни, умеренность господствовала в доме, где, казалось, сама бережливость правила всем. Экберт только тогда бывал весел и бодр, когда оставался один, в нем замечали какую-то замкнутость, какую-то тихую, сдержанную меланхолию.

Чаще всех приходил в замок Филипп Вальтер, человек, к которому Экберт был душевно привязан, находя образ мыслей его весьма сходным со своим. Вальтер жил по-настоящему во Франконии, но иногда по полгода и более проводил в окрестностях замка Экберта, где собирал травы и камни и приводил их в порядок; у него было небольшое состояние, и он ни от кого не зависел. Экберт нередко сопровождал Вальтера в его уединенных прогулках, и взаимная дружба их крепла с каждым годом.

Бывают минуты, когда нам мучительно иметь тайну от друга, даже такую, которую прежде тщательно старались скрыть; душа чувствует тогда непреодолимое влечение вполне открыться близкому человеку, посвятить его в свое самое сокровенное и тем самым сильнее привязать его. В такие мгновения взаимно знакомятся чуткие души, и нередко случается, что один вдруг отступает в страхе перед приязнью другого.

Туманным осенним вечером Экберт сидел с женою и другом у пылающего камина. Пламя ярко освещало комнату, играя на потолке, сквозь окна глядела темная ночь. Деревья на дворе страхивали с себя холодную влагу. Вальтер жаловался, что ему далеко возвращаться, и Экберт предложил ему остаться у него, чтобы провести часть ночи в откровенной беседе и отдохнуть затем до утра в одной из комнат замка. Вальтер согласился, подали вина, ужин, подложили дров, и разговор друзей стал живее и откровеннее.

После ужина, когда слуги убрали со стола и удалились, Экберт взял Вальтера за руку и сказал:

— Друг мой, не угодно ли вам выслушать рассказ моей жены о ее приключениях в молодости, которые довольно странны.

— Очень рад,— отвечал Вальтер, и все трое придвинулись к камину.

Это было ровно в полночь, месяц то прятался, то вновь выглядывал из-за бегущих облаков.

— Не считите меня навязчивой,— начала Берта,— муж мой говорит—ваш образ мыслей так благороден, что несправедливо было бы что-либо таить от вас. Только, как ни странен будет рассказ мой, не примите его за сказку.

Я родилась в деревне, отец мой был бедный пастух. Хозяйство родителей моих было незавидное, часто они не знали даже, где им достать хлеба. Но более всего меня огорчало то, что нужда вызывала частые раздоры между отцом и матерью и была причиной горьких взаимных упреков. Кроме того, они говорили беспре-

станно, что я простоватое, глупое дитя, неспособное к самой пустячной работе, и точно, я была до крайности неловкой и беспомощной, все у меня валилось из рук, я не училась ни шить, ни прядь, ничем не могла помочь в хозяйстве, и только нужду моих родителей я понимала очень хорошо. Часто, сидя в углу, мечтала я о том, как бы я стала помогать им, если бы вдруг разбогатела, как бы осыпала их серебром и золотом и как наслаждалась бы их удивлением; вокруг меня носились духи, они показывали мне подземные сокровища или дарили мне булыжники, превращавшиеся затем в драгоценные камни; одним словом, меня занимали самые необыкновенные фантазии, и, когда мне приходилось встать, чтобы помочь матери или отнести что-нибудь, я становилась еще более неловкой, потому что голова моя кружилась от разных бредней.

Отец всегда был зол на меня за то, что я была в хозяйстве бесполезным бременем; иногда он даже ходил со мной жестоко, и редко удавалось мне слышать от него ласковое слово. Так мне исполнилось восемь лет, и тогда стали не на шутку думать, как бы научить меня чему-нибудь. Отец полагал, что я поступаю так из упрямства и лени, из любви к праздности, короче говоря, он стал страшать меня угрозами; но так как они оказались бесплодными, то он наказал меня жесточайшим образом, приговаривая, что побои будут возобновляться каждый день, потому что я ни к чему негодная тварь.

Всю ночь я горько проплакала, я чувствовала себя совершенною сиротой и сама к себе испытывала такую жалость, что хотела умереть. Я боялась наступления утра, я не знала на что мне решиться, я хотела стать как можно ловчее и не могла понять, чем я глупее других детей. Я была близка к отчаянью.

Когда стало заниматься утро, я поднялась и почти безотчетно отворила дверь нашей хижины. Я ощутила в чистом поле и вскоре затем в лесу, куда едва еще проникали первые лучи солнца. Я все бежала

и бежала без оглядки и не чувствовала усталости, мне все казалось, что отец нагонит меня и, раздраженный моим побегом, еще суровее накажет.

Когда я вышла из лесу, солнце стояло уже довольно высоко, я увидела впереди что-то темное, окутанное густым туманом. То мне приходилось карабкаться на холмы, то пробираться извилистой тропинкой между скал, и тут-то я поняла, что нахожусь в ближних горах, и, в моем одиночестве, меня стал разбирать страх. Я росла на равнине и еще не видала гор, и в самом слове „горы“, когда о них заходила речь, было что-то страшное для моего детского слуха. У меня не хватало духу вернуться назад, страх гнал меня вперед; часто я робко озиралась кругом, когда ветер начинал свистеть в вершинах деревьев или когда в утреннем воздухе слышались отдаленные удары топора. А когда, наконец, мне встретились угольщики и рудокопы и я услышала незнакомый говор, то чуть в обморок не упала от ужаса.

Так прошла я несколько деревень и, томимая голодом и жаждой, просила милостыни; на вопросы же любопытных отвечала очень удачно. Проблуждав около четырех дней, попала я на тропинку, которая все более и более уводила меня в сторону от большой дороги. Тут окрестные скалы приняли другой вид и стали еще страннее. Утесы так громоздились на утесы, что, казалось, они рухнут от малейшего порыва ветра. Я не знала, идти ли мне дальше. Было как раз самое лучшее время года, и ночи я проводила в лесу или в заброшенных пастушеских хижинах; тут же мне вовсе не попадалось человеческого жилья, и я не думала даже натолкнуться на него в такой глуши; скалы с каждым часом становились страшнее, не раз я проходила по краю бездонных пропастей, наконец, и дороги передо мной не стало. Я была безутешна, плакала и кричала, и голос мой отдавался в ущельях страшным эхом. Наступила ночь, и я, выбрав себе местечко, просшее мхом, хотела отдохнуть. Но я не могла уснуть,



слыша необычные ночные звуки и принимая их то за рев диких зверей, то за жалобы ветра между скал, то за крик незнакомых птиц. Я молилась и заснула только под утро.

Я проснулась, когда уже солнце светило мне в лицо. Предо мной возвышалась крутая скала; я взобралась на нее в надежде увидеть выход из этой пустыни или, быть может, заметить где-нибудь человеческие жилища. Но, стоя наверху, я увидела, что все вокруг, куда только хватал глаз, было то же, что и возле меня, все было покрыто туманною мглою, день был серый, пасмурный, и ни дерева, ни лужка, ни кустарника не различал мой взор, если не считать отдельных кустов, одиноко и печально торчавших в узких расселинах скал. Не могу передать, с какою тоской желала я увидеть хоть одного человека, пусть даже он напугал бы меня. Нестерпимый голод меня томил; я села на землю и решила умереть. Но спустя немного привязанность к жизни превозмогла, я собралась с силами и делый день шла, тяжело вздыхая и обливаясь слезами; наконец, я так устала и силы мои до того истощились, что я едва помнила себя; я не хотела жить, и все-таки боялась смерти.

К вечеру окрестные места повеселели; мысли и желания мои оживали вместе с природой, жажда жизни охватила мою душу. Мне послышался вдали шум мельницы, я ускорила шаги, и как хорошо, как легко стало мне на сердце, когда я, наконец, действительно достигла конца голых скал; я снова увидела перед собой леса и дуга с далекими приветливыми горами. У меня было такое чувство, словно я перешла из ада в рай; мое одиночество и моя беспомощность перестали казаться мне страшными.

Вместо ожидаемой мельницы нашла я водопад, и радость моя от того очень уменьшилась; я зачерпнула ладонью воды из ручья, и вдруг мне послышался в стороне тихий кашель. Никогда не бывала я так неожиданно обрадована, как в эту минуту; я пошла на

голос и увидела на краю леса отдыхающую старуху. Почти вся она была одета в черное; черный капор закрывал ей голову и большую часть лица; в руке держала она клюку.

Я подошла ближе к ней и просила о помощи; она посадила меня подле себя и дала мне хлеба и немножко вина; я ела, а она, между тем, пела пронзительным голосом духовную песнь. Когда же она кончила, то велела мне идти за собою.

Как ни странны казались мне и голос и вся наружность старухи, однако ж я чрезвычайно обрадовалась ее предложению. Она шла при помощи своей клюки довольно проворно и на каждом шагу так дергала лицом, что я сначала не могла удержаться от смеха. Дикие скалы отходили все далее и далее, мы прошли через красивый луг, а потом через довольно большой лес. В ту самую минуту, как мы из него вышли, солнце садилось; никогда не забуду я впечатления, произведенного во мне этим вечером. Все кругом было облито нежнейшим пурпуром и золотом, вершины деревьев пылали в вечернем зареве, и на полях лежало восхитительное сияние; леса и ветви деревьев не колыхались, ясное небо подобно было отверстому раю, и в ясной тиши журчанье источников и набегавший шелест деревьев звучали как бы томной радостью.

В первый раз моя юная душа прониклась тогда предчувствием того, что такое мир и его явления. Я забыла и себя и свою спутницу, мысли и взоры мои мечтательно блуждали между золотыми облаками.

Мы взошли на холм, осененный березами; внизу расстилалась долина, тоже в зелени берез, и среди них маленькая хижина. Веселый лай раздался нам навстречу, и скоро маленькая собачонка, виляя хвостом, кинулась к старухе; потом она подбежала ко мне, посмотрела меня со всех сторон и снова возвратилась к старухе, радостно прыгая.

Спускаясь с пригорка, я услышала чудное пенье какой-то птицы в хижине; она пела:

Уединенье —  
Мне наслажденье.  
Сегодня, завтра,  
Всегда одно  
Мне наслажденье —  
Уединенье.

Эти немногие слова повторялись все снова и снова; звуки этой песенки я бы сравнила разве только со сливающимися вдали звуками охотничьего рога и пастушеской свирели.

Любопытство мое было до крайности напряжено; не дожидаясь приказанья старухи, я вошла вместе с ней в хижину. Несмотря на сумерки, я заметила, что комната была чисто прибрана, на полках стояло несколько чаш, на столе какие-то невиданные сосуды, а у окна, в блестящей клетке, сидела птица, та самая, что пела песню. Старуха кряхтела, кашляла и, казалось, не могла найти себе покоя; то она гладила собачку, то разговаривала с птицей, которая на все ее вопросы отвечала своей обычной песенкой; у нее был такой вид, словно она меня вовсе не замечала. Рассматривая ее, я не раз приходила в ужас, потому что лицо ее было в беспрестанном движении и голова тряслась, вероятно, от старости, так что я решительно не могла уловить, каков ее вид на самом деле.

Отдохнувши немного, она засветила свечу, накрыла крохотный столик и подала ужин. Тут только вспомнила она обо мне и велела мне взять один из плетеных стульев. Я уселась прямо против нее, между нами стояла свеча. Старушка сложила свои костлявые руки и, громко молясь, продолжала гримасничать, так что я чуть было не захохотала снова, но удержалась, боясь рассердить ее.

После ужина она опять стала молиться, а затем указала мне постель в низкой узенькой горнице; сама же легла в большой комнате. Я скоро заснула, почти оглушенная всем происшедшим со мной, но в продолжение ночи несколько раз просыпалась и слышала

тогда, как старуха то кашляет, то разговаривает с собакой и птицей, которая, казалось, дремала и цела по временам отрывистые слова из своей песни. Все это вместе с шумом берез под окном и трелями дальнего соловья составляло такую странную смесь, что мне казалось, будто я еще не проснулась, а из одного сновиденья попадала в другое, еще более странное.

Полутру разбудила меня старуха и почти тотчас же посадила меня за работу. Мне велено было прясть, и я скоро выучилась этому; сверх того, я должна была ходить за птицей и за собачкой. Я скоро освоилась с хозяйством, и все предметы вокруг стали мне знакомы; мне уже казалось, что все так и должно быть, как оно есть, и я перестала думать о странностях старухи и о том, что жилище наше так необычайно и отдалено от людей и что птица не простая птица. Правда, красота ее часто бросалась мне в глаза; перья ее сияли всевозможными цветами, шейка и спинка переливались тончайшей лазурью и ярчайшим пурпуром, а когда она начинала петь, то так гордо надувалась, что ее перья казались еще великолепнее.

Старуха часто уходила и возвращалась не раньше вечера; я выходила с собачкой ей навстречу, и она называла меня своим дитятей и дочкой. Я полюбила ее, наконец, от чистого сердца; известно, как легко человек ко всему привыкает, особенно в детстве.

По вечерам она учила меня читать; и я скоро освоилась с этим искусством, и чтение стало для меня в моем уединении неисчерпаемым источником наслаждения, потому что у старушки было несколько старинных рукописных книг с чудесными сказками.

До сих пор дивлюсь себе, припоминая тогдашний мой образ жизни: не посещаемая никем, я была замкнута в тесном семейном кругу; ведь собака и птица казались мне давно знакомыми друзьями. Но впоследствии я никак не могла вспомнить странной клички собаки, как ни часто я называла ее тогда по имени.

Так-то я прожила у старушки четыре года, и мне



было уже около двенадцати лет, когда она стала ко мне доверчивее и, наконец, открыла мне тайну. Оказалось, что птица каждый день кладет по яйцу, в котором находится или жемчужина или самоцвет. Я и прежде замечала, что потихоньку она шарит в клетке, только я никогда не обращала на это особенного внимания. Теперь старушка поручила мне собирать в ее отсутствие эти яйца и бережно складывать в те необыкновенные сосуды. Она оставила мне пищи и долго, несколько недель, месяцев не возвращалась домой; прятка моя жужжала, собака лаяла, чудесная птица пела, а в окрестностях было так тихо, что я во все это время не помню ни одной бури, ни одного ненастного дня. К нам не попадал странник, сбившийся в лесу, дикий зверь не приближался к нашему жилищу; я была весела и работала изо дня в день. Быть может, человек был бы истинно счастлив, если бы мог так спокойно прожить до самой смерти.

Из того немногого, что я прочла, я составила себе удивительное понятие о людях и обо всем судила по себе и своим товарищам; когда дело шло о веселых людях, то я не могла иначе вообразить их, как маленькими птицами, пышные дамы казались мне такими, как моя птица, а старые женщины — похожими на мою удивительную старушку. Я читала также о любви и воображала себя героиней странных историй. Мое воображение создало прекраснейшего в мире рыцаря, я наделила его всеми совершенствами, хотя и не знала, собственно, каким он должен казаться после всех моих мечтаний; но я душевно сокрушалась, думая, что, может быть, он не станет отвечать мне взаимностью; тогда, чтоб расположить его к себе, я мысленно, а иногда и вслух, произносила трогательные речи. Вы посмеиваетесь. Для всех нас, конечно, минуло теперь время юности.

С тех пор мне приятно было оставаться одной, я становилась тогда полной госпожой в доме. Собака очень любила меня и во всем исполняла мою волю; птица

на все вопросы мои отвечала песней, прятка весело вертелась, и я в глубине души не хотела перемены в моем состоянии. Старушка, возвращаясь из дальних странствий, хвалила меня за прилежание, она говорила, что с тех пор, как я занимаюсь ее хозяйством, оно идет гораздо лучше; любовалась моим ростом и здоровым видом, одним словом, обходилась со мной, как с родной дочерью.

— Ты молодец, дитя,— сказала она мне однажды хриплым голосом,— если и впредь будешь так себя вести, тебе всегда будет хорошо; но худо бывает тем, которые уклоняются от прямого пути, не избежать им наказания, хотя, быть может, и позднего.

Покуда она говорила, я, будучи от природы жива и проворна, не обращала вниманья на ее слова; и только ночью я припомнила их и не могла понять, что же разумела под этим старушка. Я взвешивала каждое слово, я не раз читала о сокровищах, и, наконец, мне пришло в голову, что, может быть, ее перлы и самоцветы вещи драгоценные. Скоро мысль эта стала мне еще яснее. Но что разумела она под прямым путем? Я никак не могла понять полного смысла этих слов.

Мне минуло четырнадцать лет, и какое это несчастье для человека, что он, приобретая рассудок, теряет вместе с тем душевную невинность. Мне стало ясно, что только от меня зависит в отсутствие старухи унести и птицу ее и драгоценности и отправиться на поиски того мира, о котором я читала. И тогда я, быть может; смогу найти того прекрасного рыцаря, который не выходил у меня из головы.

Сначала мысль эта не представляла собой ничего особенного, но когда я сидела за прялкой, она невольно овладевала мной, и я так углублялась в нее, что уже видела себя в богатом уборе, окруженной рыцарями и принцами. После таких мечтаний я душевно огорчалась, когда, оглядевшись кругом, видела себя снова в тесной хижинке. Впрочем, старушке не было до меня дела, лишь бы я только исполняла свои обязанности.

Однажды хозяйка моя опять собралась из дому, сказав, что на этот раз она будет в отлучке долее обыкновенного и что без нее я должна смотреть за всем и не скучать. Я простилась с нею с каким-то страхом, мне казалось, что никогда я уже не увижу ее. Долго смотрела я ей вслед и сама не понимала причины своей тревоги; у меня было такое чувство, словно я вот-вот приму какое-то решение, хотя я еще не сознавала отчетливо какое.

Никогда не заботилась я так прилежно о собачке и птице; они стали милее моему сердцу, чем когда-либо. Спустя несколько дней после ухода старухи я проснулась с твердым решением бросить хижину и, унеся с собой птицу, пуститься в так называемый свет. Сердце во мне болезненно сжималось, то я думала остаться, то эта мысль становилась мне противной; в душе моей происходила непонятная борьба, словно там состязались два враждебных духа. Мгновеньями мое тихое уединенье представлялось мне прекрасным, но затем меня снова захватывала мысль о новом мире с его пленительным разнообразием.

Я сама не знала, на что решиться, собака беспрестанно прыгала вокруг меня, солнечные лучи весело простирались по полям, зелень березок сверкала и переливалась. У меня было такое чувство, словно я должна сделать что-то очень спешное, и я вдруг схватила собачку, крепко привязала ее в комнате и взяла подмышку клетку с птицей. Собака, удивленная таким необыкновенным поступком, рвалась и визжала, она смотрела на меня умоляющим взглядом, но я боялась взять ее с собою. Затем я взяла один из сосудов с самоцветами и спрятала его, а остальные оставила.

Птица как-то чудно вертела головой, когда я вышла с ней за двери; собака силилась оторваться и побежать за мной, но поневоле должна была остаться.

Избегая диких скал, я пошла в противоположную сторону. Собака продолжала лаять и визжать, и это глу-



боко меня трогало; птица не раз собиралась запеть, но оттого что ее несли, ей верно было неловко.

Чем далее я шла, тем слабее становился лай собаки, и, наконец, он совсем замолк. Я плакала и чуть было не возвратилась, но жажда новизны влекла меня вперед.

Я миновала горы и прошла лес, когда же смерклось, принуждена была зайти в деревню. Я страшно робела, входя на постоянный двор, мне отвели горницу и дали постель; я спала довольно спокойно, только старуха приснилась мне и грозила.

Путь мой был довольно однообразен, но чем дальше я уходила, тем тревожнее становилось воспоминание о старухе и о собаке; я думала, что, вероятно, она без моей помощи умрет от голоду; а идя лесом, я ждала, что старуха вдруг выйдет мне навстречу из-за деревьев. Так шла я, вздыхая и плача; когда же во время отдыха я ставила клетку на землю, птица начинала петь свою чудную песню и живо напоминала мне покинутое мною прекрасное уединенье. А так как человек от природы забывчив, то и мне казалось, что прежнее детское мое путешествие было не так печально, как это; я желала даже снова оказаться в таком же положении.

Я продала несколько самоцветов и после долгого пути пришла в какую-то деревню. Уже при самом входе в нее мне стало как-то странно на душе, я испугалась, сама не зная отчего; но скоро я поняла, в чем дело: это была та самая деревня, где я родилась. Как я была поражена! Тысячи воспоминаний ожили во мне, и радостные слезы ручьями полились из глаз. Многие в деревне переменялись, появились новые дома, другие, из тех, что строились на моих глазах, обветшали, кое-где видны были следы пожара; все казалось гораздо теснее и меньше, нежели я ожидала. Я бесконечно радовалась, что после стольких лет увижу родителей; я нашла наш домик, увидела знакомый порог, ручка у двери была прежняя, а дверь — как будто я только вчера ее притворила; сердце мое неистово билось, я поспешно отворила дверь — но в горнице сидели люди

с чужими лицами, они пристально посмотрели на меня. Я спросила о Мартыне-пастухе; мне ответили, что уже три года, как он и жена его умерли. Я бросилась назад и, громко рыдая, ушла из деревни.

А я было так тешилась мыслью поразить их своим богатством; мечты моего детства сбылись самым удивительным образом — и все напрасно, они не могут радоваться со мной, и то, что я думала как лучшую надежду в жизни, навсегда погибло.

В красивом городке я наняла себе небольшой домик с садом и взяла служанку. Хотя свет и не казался мне так чудесен, как я некогда воображала, но я понемногу забывала старушку и свое прежнее местопребывание и жила довольно счастливо.

Птица давно уже перестала петь; и я немало была напугана, когда однажды ночью она вдруг снова запела свою песенку, хотя и не совсем ту, что прежде. Она пела:

Уединенье,  
Ты в отдаленье.  
Жди сожаленья,  
О преступленья!  
Ах, наслажденье —  
В уединенье.

Всю ночь напролет я не могла сомкнуть глаз, в памяти моей встало все минувшее, и я сильнее, нежели когда-либо, чувствовала всю неправоту моего поступка. Когда я проснулась, вид птицы стал мне противен, она не сводила с меня глаз, и ее присутствие беспокоило меня. Она, не умолкая, пела свою песню, звеневшую громче и сильнее, чем в бывшее время. Чем больше я смотрела на нее, тем страшнее мне становилось; наконец, я отперла клетку, всунула руку и, схватив ее за шейку, сильно сдавила, она жалостно взглянула на меня, я выпустила ее, но она была уже мертва. Я похоронила ее в саду.

С этого времени я начала бояться своей служанки; думая о совершенных мной самой проступках, я во-

ображала, что она, в свою очередь, когда-нибудь обокрадет меня или даже убьет. Давно уже знала я молодого рыцаря, который мне чрезвычайно понравился, я отдала ему руку — и тут, господин Вальтер, конец моей истории.

— Если б вы видели ее тогда, — горячо подхватил Экберт, — видели ее красоту, молодость и непостижимую прелесть, сообщенную ей странным ее воспитанием. Она казалась мне каким-то чудом, и я любил ее сверх всякой меры. У меня не было никакого состояния, и если я живу теперь в достатке, то всем обязан ее любви; мы здесь поселились и никогда еще не раскаивались в нашем браке.

— Однако же мы заговорились, — сказала Берта, — на дворе глухая ночь — пора спать.

Она встала и направилась в свою комнату. Вальтер, поцеловав у нее руку, пожелал ей доброй ночи и сказал:

— Благодарю вас, сударыня, я живо представляю вас себе со странной птицей и как вы кормите маленького *Штротманна*.

Вальтер тоже лег спать; один Экберт беспокойно ходил взад и вперед по комнате. „Что за глупое создание человек, — рассуждал он, — я сам настоял, чтобы жена рассказала свою историю, а теперь раскаиваюсь в этой откровенности. Что, если он употребит ее во зло? Или сообщит услышанное другим? А не то, ведь такова природа человека, его охватит непреодолимое желание завладеть нашими камнями, и он станет притворяться, обдумывая тем временем свои планы“.

Ему пришло на ум, что Вальтер не так сердечно простился с ним, как следовало ожидать после такого откровенного разговора. Раз уже в душу запало подозрение, то каждая безделица укрепляет ее в нем. Затем Экберт начал упрекать себя в низости такой недоверчивости к славному своему другу, но не мог все же от нее отделаться. Всю ночь напролет провел он в таком состоянии и спал очень мало.

Берта занемогла и не вышла к завтраку; Вальтер, ко-

тогого это, повидимому, не слишком обеспокоило, расстался с рыцарем довольно равнодушно. Экберт не мог понять его поведения; он пошел к жене, она лежала в горячке и говорила, что, верно, ночной рассказ довел ее до такого состояния.

С этого вечера Вальтер редко посещал замок своего друга, он приходил ненадолго и говорил о самых незначущих предметах. Такое отношение как нельзя более мучило Экберта, и хотя он старался скрыть это от Берты и Вальтера, но всякий легко мог заметить его душевное беспокойство.

Болезнь Берты усиливалась; врач был встревожен, у нее пропал румянец, а глаза час от часу становились лихорадочнее. Однажды утром она позвала к себе мужа и выслала служанок.

— Мой друг,— сказала она,— я должна открыть тебе то, что едва не лишает меня рассудка и разрушает мое здоровье, хотя это и может показаться совершенным пустяком. Ты знаешь, что когда заходила речь о моем детстве, я, как ни старалась, не могла припомнить имени собачки, за которой я так долго ходила; Вальтер же, в тот вечер, прощаясь со мною, сказал вдруг: „Я живо представляю себе, как вы кормили маленького *Штромиана*“. Случайно ли это? Угадал ли он имя или знал его прежде и произнес с умыслом? А если так, то какую связь имеет этот человек с моей судьбой? Я не сразу сдалась и хотела уверить себя, что мне это только почудилось, но нет, это так, да, это наверно так. Невроятный ужас овладел мною, когда посторонний человек таким образом восполнил пробел в моей памяти. Что ты на это скажешь, Экберт?

Экберт взволнованно глядел на страждущую жену; он молчал и думал о чем-то; потом произнес несколько утешительных слов и вышел. В неописуемой тревоге ходил он взад и вперед в одной из дальних комнат. В продолжение многих лет Вальтер был его единственным собеседником, и, несмотря на это, теперь это был единственный человек в мире, существование которого

тяготило и мучило его. Ему казалось, что на душе у него станет легче и веселее, когда он столкнет его со своей дороги. Он взял свой арбалет, чтобы пойти рассеяться на охоте.

Случилось это в суровый, вьюжный зимний день, глубокий снег лежал на горах и пригибал к земле ветви деревьев. Экберт бродил по лесу, пот выступил у него на лбу, он не нашел дичи, и это еще больше его расстроило; вдруг что-то зашевелилось вдали, это был Вальтер, собиравший древесный мох; Экберт, сам не зная, что делает, приложился, Вальтер оглянулся и молча погрозил ему, но стрела сорвалась, и Вальтер упал.

Экберт почувствовал, что на сердце у него стало легче и покойнее, но ужас погнал его к замку, который был не близко, потому что он, сбившись с дороги, слишком далеко забрел в лес. Когда он вернулся, Берты уже не стало; перед смертью она много еще говорила о Вальтере и старухе.

Долгое время Экберт жил в полном уединенье; он и без того бывал всегда подавлен, потому что странная история жены тревожила его и он все боялся какого-нибудь несчастья; тут же он вовсе потерялся. Тень убитого друга неотступно стояла перед его глазами, его вечно мучила совесть.

Иногда, чтобы развлечься, ездил он в соседний большой город, появляясь там в обществе и на празднествах. Ему хотелось какой-нибудь дружеской привязанностью заполнить душевную пустоту, но, вспоминая о Вальтере, он трепетал перед мыслью иметь друга, ибо он был уверен, что с любимым другом будет несчастлив. Он так долго и безмятежно спокойно жил с Бертой, дружба Вальтера в течение многих лет доставляла ему столько радости, и теперь оба были унесены смертью и так внезапно, что бывали минуты, когда жизнь казалась ему какой-то странной сказкой, а не чем-то достоверно существующим.

Молодой рыцарь Гуго привязался к тихому, печальному Экберту и, казалось, питал к нему чувство непри-

творной дружбы. Обрадованный и удивленный Экберт тем охотнее готов был разделить его чувства, что все их не ожидал. Оба стали часто видеться, рыцарь старался оказывать Экберту всякого рода любезности, они не выезжали друг без друга, показывались в обществе всегда вместе, словом, были неразлучны.

Но Экберт бывал весел только на короткое время, чувствуя, что Гуго любит его по неведению; тот ведь не знал его, не знал его истории, и он испытывал снова неодолимое желание открыться ему, чтобы увериться, подлинный ли это друг. Но сомнения и страх возбудить презрение к себе удерживали его. Иногда он был убежден в собственной низости и думал, что ни один человек, хотя немного знающий его, не сможет его уважать. При всем том Экберт не в силах был превозмочь себя; однажды во время прогулки верхом вдвоем с другом он рассказал ему все и затем спросил его, может ли он любить убийцу. Гуго был растроган и пытался утешить его; Экберт вернулся с ним в город с облегченным сердцем.

Но казалось, над ним висит проклятие — как раз в минуты откровенности терзаться подозрениями, потому что, едва они вошли в ярко освещенную залу, как выражение лица его друга ему не понравилось. Ему почудилась злобная усмешка, ему показалось странным, что Гуго мало с ним разговаривает, много говорит с другими, а на него не обращает внимания. В зале находился один старый рыцарь, который был всегдашним его недоброжелателем и часто вышпытывал об его жене и богатстве; к нему-то и подошел Гуго и завел с ним тайный разговор, в продолжение которого оба поглядывали на Экберта. А тот увидел в этом подтверждение своих подозрений, решил, что его предали, и им овладела ужасная ярость. Пристально вглядываясь, он увидел вдруг Вальтерово лицо, все знакомые, слишком знакомые черты его, и, продолжая смотреть, он окончательно уверился, что не кто иной, как Вальтер, разговаривает со старым рыцарем. Ужас его был неопишуем;

он бросился вне себя из комнаты, в ту же ночь оставил город и, беспрестанно сбиваясь с пути, возвратился в замок.

Тут, как беспокойный дух, он метался по комнате, не мог сосредоточиться ни на одной мысли, одно ужасное представление сменялось другим, еще более ужасным, и сон не смыкал его глаз. Иногда казалось ему, что он обезумел и что все это плод его разыгравшегося воображения; затем он снова вспоминал черты Вальтера, и с каждым часом все казалось ему загадочнее. Он решил отправиться в путешествие, чтобы привести свои мысли в порядок; он навсегда отказался от своей потребности в дружбе, в обществе людей.

Он ехал, не выбирая определенного пути, и даже мало обращал внимания на места, мимо которых проезжал. Проехав таким образом несколько дней сряду во всю рысь, он вдруг заметил, что заблудился в лабиринте скал, откуда не было возможности выбраться. Наконец, он повстречался с крестьянином, который указал ему тропинку, пролегавшую мимо водопада; Экберт хотел из благодарности дать ему денег, но крестьянин отказался. „Ну, что же,— подумал Экберт,— опять я воображу, что это не кто другой, как Вальтер“.— И, оглянувшись назад, он увидел, что это не кто другой, как Вальтер. Экберт прищпорил коня и погнал во весь дух через поля и леса и скакал до тех пор, пока лошадь не пала под ним. Не беспокоясь об этом, он продолжал свой путь пешком.

Погруженный в свои мысли, он взошел на пригорок, ему почудился близкий веселый лай, шум берез, и он услышал чудесные звуки песни:

В уединенье!  
Вновь наслажденье,  
Здесь нет мучений,  
Нет подозрений.  
Наслажденье  
В уединенье.

Тут рассудок и чувства Экберта помутились: он не мог разобраться в загадке, то ли он теперь грезит, то ли некогда его жена Берта только привиделась ему во сне; чудесное сливалось с обыденным; окружавший его мир был зачарован, и он не мог овладеть ни одной мыслью, ни одним воспоминанием.

Согнутая в три погибели старуха, кашляя, поднималась на холм, подпираясь клюкой.

— Принес ли ты мою птицу? мой жемчуг? мою собаку?— кричала она ему навстречу.— Смотри, как преступление влечет за собой наказание: это я, а не кто другой, была твоим другом Вальтером, твоим Гуго.

— Боже,— прошептал Экберт,— в каком страшном уединенье провел я мою жизнь!

— А Берта была сестра твоя.

Экберт упал на землю.

— А зачем она так вероломно покинула меня? Все кончилось бы счастливо и хорошо; конец ее испытания приближался. Она была дочерью рыцаря, отдавшего ее на воспитание пастуху, дочерью твоего отца.

— Почему же эта ужасная мысль всегда являлась мне как предчувствие?— воскликнул Экберт.

— Потому что однажды в раннем детстве ты слышал, как об этом рассказывал твой отец; в угоду своей жене он не воспитывал при себе дочери, которая была от первого брака.

Лежа на земле, обезумевший Экберт умирал; глухо, смутно слышалось ему, как старуха разговаривала, собака лаяла и птица повторяла свою песню.



## РУНЕНБЕРГ

Молодой стрелок задумчиво сидел посреди гор, близ охотничьего шалаша, поджидая дичи, между тем как в уединении слышались и журчание потоков и шелест деревьев. Он думал об участи своей, думал о том, что в молодых годах покинул отца и мать, и родину, и всех деревенских приятелей, для того, чтоб вырваться из круга всего, к чему привык с детства, и искать счастья на чужбине. С удивлением видел он себя в этой долине, за таким занятием. Густые тучи, пробегая по небу, терялись за горами; птицы пели в кустах, и эхо им вторило. Медленно спустился он с горы и, сидя на берегу ручья, который, пенясь, журчал по острым камням, вслушивался в переменчивую мелодию волн. Ему казалось, что волны непонятным языком высказывают ему множество важных для него вещей, и он внутренно огорчался, что не понимает слов их. Потом снова повел глазами вокруг, и, считая себя веселым и счастливым, ободрился и громким голосом запел охотничью песню:

Беззаботно припевая,  
Счастлив юноша стрелок;  
С ним ружье и пуля злая,  
Псов неистовая стая  
И охотничий рожок.

Он властитель гор свободный,  
Зверя легкого следит;  
И коль скоро волк голодный

Рыщет осенью холодной,  
Волка ищет и разит.

Пусть садовник сажит лозы,  
По волнам летит пловец;  
На листке пустынной розы  
Молодой Авроры слезы  
Видит прежний их ловец.

Дев ли встретит вместо лани  
Под навесами дерев,  
Пламеня от желаний,  
Он с их уст собирает дани  
И ласкает милых дев!

Покуда он шел, солнце закатилось, и широкие тени легли на долину; прохладный мрак спустился на землю; одни лишь вершины деревьев и круглые маковки гор горели еще золотом вечернего солнца. Христиан становился все грустнее; ему не хотелось возвращаться в шалаш, не хотелось и оставаться; он чувствовал в полной мере свое одиночество и тосковал о людях; он жаждал о книгах, которые выдывал у отца своего и не желал читать, сколько отец ни понуждал его; вспоминал про детство, про игры свои с деревенскими ребятами, про знакомых детей, про школу, которая некогда была для него несносна, и мысленно переносился в прежнее время, на родину, которую добровольно покинул, чтобы искать счастья в чужой стороне, в горах, среди незнакомых людей, в новом образе жизни. Между тем, становилось темно, и громче журчал ручей, и мрачная ночь повевала уже всеобнимающими крыльями; а он все еще сидел, недовольный и углубленный в мысли; ему хотелось плакать, и он был в совершенной нерешимости, что делать и что начать. Бездумно выдернул он из земли торчавший корень и в то же время услышал под почвою глухой протяжный стон, жалобно отозвавшийся в отдалении. Стон этот проник ему в душу и так потряс ее, как будто бы он нечаянно коснулся до раны, чрез которую в муках готова излететь жизнь. Христиан вскочил и хотел бе-

жать, потому что раз уже слышал о чудном альпауновом корне, который, когда его вырвешь, издает такой пронзительный, жалобный стон, что человек от того с ума сходит. Уже хотел он удалиться, как увидел позади себя незнакомого мужчину, который ласково ему поклонился и спросил, куда он намерен идти. Христиан перед тем мечтал о товарище, а тут испугался присутствия ласкового незнакомца.

— Куда спешить так?— повторил тот. Молодой охотник собрался с духом и рассказал ему, какой внезапный ужас навело на него уединение, как он хотел бежать, как вечер был мрачен, а зеленая тень леса печальна, как ручей издавал одни жалобные стоны и облака небесные увлекали с собой мысли за горы.

— Ты молод еще,— сказал незнакомец,— и не в силах переносить суровость одинокой жизни; я пойду с тобою, потому что на целую милю кругом ты не встретишь ни хижины, ни деревни; дорогой мы займемся разговорами и рассказами, и мрачные твои мысли рассеются. Через час из-за гор взойдет месяц; от света его и в душе твоей станет светлее.

Они шли, и незнакомец казался уже старинным приятелем юноше.

— Как зашел ты в эти горы?— спросил он.— Судя по наречию, ты не здешний.

— О!— отвечал охотник,— речь об этом долга, а рассказывать труда не стоит; какая-то непреодолимая сила вырвала меня из круга родных и знакомых; душа моя не владела собою, и подобно птице, которая, попавшись в сеть, напрасно бьется, пугалась она в чудных мечтах и желаниях. Мы жили далеко отсюда, на равнине, где кругом не было ни горы, ни пригорка; немногие деревья украшали зеленую равнину нашу, зато луга, плодородные нивы и сады пролегали по всему пространству, едва объемлемому глазом; большая река лилась и сверкала, как могучий дух, чрез поля и луга. Отец мой был садовником в замке и хотел приготовить меня к своему ремеслу; он любил растения и цветы больше

всего на свете и мог целые дни без усталости заниматься ими. Страсть его была до такой степени сильна, что он воображал себе, будто может с ними разговаривать, что их произрастание и разнообразие красок и очертаний их листьев для него поучительны. Я терпеть не мог садовничества, тем более, что отец старался склонить меня к нему и лаской и угрозами. Мне хотелось быть рыболовом, и я принялся было за это ремесло, только на воде мне также не понравилось; после того меня отдали к купцу в город, и от него я скоро ушел и возвратился в отеческий дом. Однажды отец разговаривал про горы, по которым ездил в молодости, о подземных горных работах и работниках, об охотниках и их занятиях; и вдруг проснулось во мне решительное влечение, уверенность, что теперь нашел я предназначенный мне образ жизни. День и ночь мечтал я о высоких горах, ущельях и хвойных лесах. Воображение мое громоздило огромные скалы, мысленно внимал я охотничьим крикам, звуку рогов, лаяню псов и реву зверей; сновидения мои наполнялись ими, и я не имел покоя. Равнина, замок, небольшой отцовский сад с правильным цветником, тесное жилище, высокое небо, столь печально кругом простиравшееся, не покрывая ни гор, ни холмов,— все казалось мне унылым и мрачным.

Я думал, что все окружающие меня люди живут в жалком невежестве; что они, подобно мне, стали бы думать и понимать, если б душе их хоть однажды сообщилося чувство их ничтожества. Таким образом жил я, пока однажды утром не решил твердо покинуть навсегда родительский дом. В одной книге нашел я сведения о ближних высоких горах, с описанием некоторых земель, и направил к ним свой путь. Была ранняя весна, и я чувствовал себя весело и легко. Я спешил покинуть равнину и однажды вечером увидел в отдалении темные очертания гор. Мне не спалось в гостинице, где я остановился, так сильно было мое нетерпение вступить на землю, которую я уже почитал своим отечеством; проснувшись раненько по-

утру, я бодро пустился далее. После полудня очутился я у подошвы любезных гор своих и, как опьяненный, то шел, то на минуту останавливался, то оглядывался назад и восхищался новыми и вместе столь знакомыми для меня предметами. Скоро равнина исчезла из глаз моих, горные потоки встречали ревом, с обрывистых уступов скал шумели зыбкими ветвями бук и дуб; дорога моя пролегла по краям головокружительных пропастей; синие горы величественно, грозно замыкали картину. Новый мир открылся передо мной; я не чувствовал усталости. Таким образом, обходив большую часть гор, чрез несколько дней пришел я к старому лесничему, который, по неотступным просьбам моим, взял меня к себе, чтоб приучить к охоте. Вот уж три месяца служу я у него. Как король в своем королевстве, вступил я во власть над сею областью, где я нашел свой приют; я ознакомился с каждым ущельем, с каждой расселиной гор, и когда ранним утром отправлялись мы в лес и рубили деревья, когда я упряжнял глаз мой и ружье и натаскивал верных моих спутников, собак, то был я совершенно счастлив своим занятием. Уже с неделю сижу я здесь и подстерегаю дичь в этих пустынных горах; ныне же вечером вдруг стало мне так грустно, как никогда еще не бывало в жизни; я показался сам себе таким сиротою, таким бедным, что до сих пор не могу истребить сего печального в душе моей чувства.

Незнакомец слушал внимательно, куда они проходили темным лесом. Теперь вышли они на чистое место, и двурогий месяц, стоявший над вершиной горы, дружески их приветствовал. В неузнаваемых формах, разрозненными громадами, загадочно вновь соединяемыми бледным мерцанием, лежал перед ними расколотый хребет, а за ним крутая гора, на которой в белом свете луны страшно виднелись древние выветрившиеся развалины.

— Здесь дорога наша разделяется, — сказал незнакомец; — я спущусь в эту пропасть; жилище мое там,



подле старой шахты. Руды — мои соседи, горные потоки рассказывают мне в безмолвии ночей много чудесного; тебе туда идти со мной нельзя. Но взгляни: вон полуразвалившиеся строения Руненберга; как хорош и как привлекателен вид древнего замка! Ты ни разу не бывал там?

— Ни разу, — отвечал юноша. — Однажды в сумерки старый лесничий рассказывал мне об этой горе чудеса, которые я глупо позабыл; помню только, что меня в тот вечер мороз подирал по коже. Мне бы очень хотелось побывать на вершине; там так светло; верно, и трава на ней зеленее, и окрестности удивительны; а сверх того, не мудрено, если там сохранились какие-нибудь старинные диковинки.

— И верно так, — продолжал незнакомец; — кто только умеет искать и чье сердце непритворно туда влечется, тот находит там и старинных друзей, и сокровища, и все, чего только желает. — Проговорив это, быстро спустился он вниз, не простясь с товарищем, скоро исчез в густоте леса, и наконец, самый гул от шагов его замолк. Молодой охотник не удивился, но скорее пошел к Руненбергу; все манило его, и ему казалось, что туда зовут его яркие звезды, что месяц освещает дорогу к развалинам, прозрачные облака к ним тянутся, а из глубины и воды, и шумные леса приглашают и ободряют его. Он летел как будто на крыльях, сердце в нем сильно билось; он так радовался внутренно, что радость эта переродилась в тайный страх. — И вот очутился он там, где никогда еще не бывал; скалы вокруг него стали круче; зелень пропала, голые стены, казалось, звали его гневливым призывом, и пустынный, уныло свистящий ветер дул ему в спину. Так шел он без остановки и в глухую полночь дошел до узкой тропинки, которая висала у самой пропасти. Но Христиан не обращал внимания на бездну, которая как будто разверзлась, чтоб поглотить его; так сильно гнали его безумные мечты и непонятные желания. Опасная дорога привела его к высокой стене, которая, казалось, теря-

лась в тучах; тропинка становилась с каждым шагом уже, и юноша, чтоб не упасть, принужден был хвататься за выдававшиеся камни. Наконец, он должен был остановиться; тропинка уперлась в стену под окном; и он не знал, остаться ли ему тут или возвратиться; вдруг он увидел свет, блеснувший из старинного строения; устремленный туда взор его проник во внутренность древней обширной залы, которая, чудесно убранная многоцветными камнями и кристаллами, сверкала разнообразными огнями, таинственно производимыми отблеском свечи, колебавшейся в руках высокой женщины, ходившей в раздумье по комнате. Судя по росту, по силе членов, по строгому выражению лица, нельзя было почесть ее смертною; но восхищенному юноше казалось, что никогда еще он не видывал такой красавицы ни во сне, ни наяву. Он трепетал и желал тайно, чтоб она подошла к окну и его заметила. Наконец женщина остановилась, поставила свечу на хрустальный стол, подняла глаза вверх и запела голосом, проникавшим в душу:

Где же духи, где же духи?  
 Где они? Зачем их нет?  
 Плачут светлые кристаллы,  
 И струятся слез потоки  
 С алмазных столбов;  
 Слышны вздохи, слышны вздохи,  
 В переливе светлых волн  
 Образуется виденье,  
 Очаровывает души  
 И манит к себе сердца.  
 О, придите, о, придите,  
 Духи, в золотой чертог,  
 Покажите, покажите  
 Из таинственного мрака  
 Лица светлые свои  
 И жемчужными слезами  
 Очаруйте, очаруйте  
 Ненасытные сердца.

Окончив, стала она раздеваться и складывала одежду в великолепный поставец. Сначала сняла с головы золотое покрывало, и длинные черные волосы густыми ку-



дьями спустились до чресл, затем распустила она одежду на груди, и юноша забыл и себя и весь мир в созерцании неземной красоты. Когда она мало-помалу сбросила с себя все платье, он не смел дышать; нагая прохаживалась она по зале взад и вперед; тяжелые вьющиеся кудри образовали около нее темное волнистое море, из которого блестящие члены нежного тела сияли подобно белому мрамору. Спустя несколько времени подошла она к другому золотому поставцу, вынула из него дощечку, украшенную драгоценными камнями, рубинами, алмазами, и долго внимательно ее рассматривала. На доске, как казалось, представлено было чудное, непонятное изображение разными чертами и разноцветными красками; когда луч света ударял в него, глаза юноши болезненно ослеплялись; но скоро потом зеленые и голубые отливы драгоценных камней их успокаивали. Он стоял, пожирая все это жадными взорами, и в то же время глубоко погруженный в себя. В душе его разверзлась бездна образов и благозвучий, тоски и сладострастия; сонмы окрыленных звуков, радостных и печальных мелодий потрясали до самой глубины его сердце; целый мир горести и надежды раскрылся внутреннему его зрению, дивные твердьни упования и несокрушимой веры, великие потоки слез, преисполненных скорби. Он сам себя не узнавал и очень испугался, когда красавица отворила окошко и, подав ему волшебную каменную дощечку, сказала: „Прими на память!“ Он схватил доску и почувствовал, что представленное на ней изображение в ту же минуту незримо вошло в его сердце. Свет и могущественная красавица и чудная зала — все исчезло. На душу его пала темная, туманная ночь; он искал прежних своих ощущений, вдохновения и непонятной любви, он смотрел на драгоценную доску, в которой слабо и бледно отражался заходящий месяц.

Еще крепко держал он в руках доску, когда утренняя заря загорелась, и тогда, истощенный, измученный, полусонный, ринулся он с крутой возвышенности.

Солнце ударило прямо в лицо спящему юноше, который, проснувшись, увидел себя снова на красивом холме. Он посмотрел кругом и увидел далеко за собой развалины руненбергские, едва различимые на краю горизонта; он искал дощечки и нигде не находил ее. Удивленный, смущенный, хотел он собрать мысли и связать воспоминания; но память его омрачилась словно густым туманом, в котором рождались и двигались безобразные призраки, дикие и неясные. Вся прошедшая жизнь лежала за ним в темной дали; он не мог отличить чудесного от естественного; все мешалось в голове его. После долгой борьбы с собою подумал он, наконец, что видел чудный сон в эту ночь или даже впал во внезапное сумасшествие; только все он не мог понять, как забрел так далеко в чужую сторону.

Полусонный сошел он с холма и попал на проторенную дорогу, которая вывела его с гор на равнину. Все было для него чуждо, сначала думал он добраться до своей родины, но увидел, что вся окрестность ему совершенно незнакома, и заключил, наконец, что находится на южной стороне гор, в которые зашел весною с севера. Около полудня Христиан очутился над деревнею, из хижин коей поднимался вверх гостеприимный дым; дети в праздничных платьях играли на зеленой площадке, и из небольшой церкви раздавались звуки органа и пение прихожан. Его охватило неизъяснимо сладостное чувство; все так растрогало его сердце, что он заплакал. Узкие сады, низкие хижины с дымными трубами и прямо размежеванные нивы напоминали ему о нуждах бедного человеческого рода и о зависимости его от щедрой земли, благосклонность которой составляет всю его надежду; сверх того, пение и звуки органа наполняли душу его набожностью, какой он никогда не испытывал. Ощущения и желания минувшей ночи казались уже ему нечестивыми и преступными; он желал снова пристать к людям, как к братьям; пристать по-детски, с полным сознанием собственной слабости и ничтожества, и истребить в себе безбожные по-

мысли и намерения. Привлекательна, прелестна казалась ему долина с небольшой речкой, извивавшейся по садам и лугам; с ужасом вспоминал он о пребывании своем в пустынных горах, между голыми камнями, мечтал о счастье жить в этом мирном селении и в таком расположении духа вошел в наполненную людьми церковь.

Только что замолкло пение, и священник начал проповедь о благодеяниях господя, знаменуемых жатвой; он говорил, как щедроты его питают все живущее, как чудесно хранится в колосе бытие рода человеческого, как милосердие божие неистощимо сообщается в хлебе насущном и с каким чувством богобоязненный христианин должен вкушать непреходящую трапезу. Народ набожно слушал, а взоры охотника устремлялись на благочестивого проповедника и заметили подле самой кафедры молодую девушку, более других углубленную в молитву. Она была стройна и белокура; проникновенная кротость блистала в голубых ее очах; лицо ее казалось прозрачным и цвело нежнейшим цветом. Никогда еще сердце юноши не бывало так полно любви и спокойно, так преисполнено тихим, отрадным чувством. Рыдая, наклонился он, когда священник произнес благословение; святые слова проникли в него какою-то незримой силой, и мрачный призрак ночи, подобно привидению, отстал от него и удалился. Он вышел из церкви, остановился под липой и горячей молитвой возблагодарил бога, что тот освободил его от сетей злого духа.

В этот день все село праздновало жатву, и все были веселы; наряженные дети радовались заранее пляскам и пирогам; на деревенской площади, обсаженной деревьями, молодые парни готовяли все к осеннему празднику; скрипачи настраивали свои инструменты. Христиан еще раз вышел в поле, чтоб собраться с мыслями, привести их в порядок, и возвратился в деревню, когда уже все было готово веселиться и праздновать. Тут была и белокурая Лизавета с родителями, и юноша вменялся в веселую толпу. Лизавета плясала, а он,

между тем, завел разговор с отцом ее, который был мызником и одним из самых богатых людей в селе. Отцу полюбилась молодость, речи чужеземца, и они скоро условились, чтобы Христиан поступил к нему в услужение садовником; а он брался за это, потому что теперь могли пригодиться ему сведения и занятия, которые он презирал у себя на родине.

С этой поры началась для Христиана новая жизнь; он перешел жить к мызнику и был причислен к его семейству; а с переменой состояния переменил и нрав свой, сделался так добр, так услужлив и ласков, так прилежен в работе, что вскоре все в доме, особенно хозяйская дочь, сердечно его полюбили. Всякое воскресенье, когда она шла в церковь, приготовлял он ей пышный букет цветов, и она благодарила его со стыдливою радостью; он скучал, если случалось по целым дням не видеться с нею, зато ввечеру она ему рассказывала сказки и веселые повести. Они становились все более и более необходимыми друг другу, и старики, замечавшие это, не сердились, потому что Христиан был прилежнее и красивее всех молодых ребят на селе; да и сами они с первого взгляда почувствовали к нему дружбу и привязанность. Прошло с полгода, и Лизавета стала его женой. Возвратилась весна, прилетели ласточки и певчие птицы, сад оделся пышною зеленью, весело отпраздновали свадьбу, жених и невеста дышали счастьем и радостью. Поздно ввечеру, отводя жену в спальню, молодой супруг сказал своей любимой:

— Нет, ты не такова, как призрак, некогда восхищавший меня во сне и которого я не могу забыть; однако ж я весел подле тебя, счастлив в твоих объятиях.

Как обрадовалось семейство, когда год спустя увеличилось оно маленькой дочкой, которую назвали Леонорой. Правда, Христиан задумывался, смотря на ребенка, но вскоре опять возвращалась к нему юношеская веселость. Чувствуя себя спокойным и пристроенным, редко вспоминал он о прежнем образе жизни. Но спу-

стя несколько месяцев пришли ему на память родители, особливо думал он, как бы порадовался отец тихим его счастьем и садовничьим ремеслом; его мучило то, что он с таких давних пор мог позабыть об отце и матери; собственное дитя напоминало ему радость, которую дети доставляют родителям; и вот он решил, наконец, пуститься в путь и вновь посетить свою родину.

Грустно было Христиану расставаться с женою; все желали ему счастливого пути, и он пустился в дорогу пешком, в лучшее время года. Через несколько часов почувствовал он уже всю тягость разлуки и в первый раз в жизни испытал ее мученье; чуждые предметы казались ему почти дикими; он терялся в неприязненном одиночестве. Ему пришла мысль, что молодость его уже прошла, что он нашел новую отчизну, к которой принадлежит и с которой сердце его освоилось; он готов был оплакать легкомыслие минувших лет и, входя на ночь в деревенскую гостиницу, был сильно расстроен и мрачен. Он не мог понять, зачем оставил добрую жену свою и ее родителей, и на другой день, рано поутру, сердито, с ропотом пустился далее.

Еще тяжелее стало ему на душе, когда он подходил к горному хребту, когда увидел отдаленные развалины; все яснее и яснее выступавшие, и остроконечные вершины гор, отчетливо поднимавшиеся из голубого тумана. Ноги его подкашивались; часто останавливался он и сам удивлялся своей боязни и трепету, который с каждым шагом становился сильнее.

— Узнаю тебя, безумие,— вскричал он; — вижу пагубное обольщение твое, но мужественно тебе сопротивляюсь! Лизавета не пустой призрак; я уверен, что она думает обо мне в эту минуту, ждет меня и, полная любви, считает часы разлуки. Но не вижу ли я перед собою леса, подобного черным волосам? Из ручья не смотрят ли на меня пламенные очи? Не спускается ли с горы навстречу мне огромная женщина?— Проговорив это, Христиан хотел броситься под дерево отдохнуть и

увидел, что в тени его сидит старик и с большим вниманием рассматривает цветок, то обращая его к солнцу, то опять затеняя его рукою, пересчитывает лепестки и словно старается твердо запечатлеть вид их в памяти. Когда Христиан подошел ближе, то лицо старика показалось ему знакомо; скоро не оставалось сомнений: в старике с цветком он узнал отца своего. С выражением живейшей радости бросился он к нему в объятия; тот был рад, но не удивлен внезапным его появлением.

— Вот ты уж и пришел мне навстречу, сын мой! — сказал старик. — Я знал, что скоро найду тебя, только не думал, чтобы ты уж сегодня обрадовал меня своим прибытием.

— Почему же знал ты, батюшка, что отыщешь меня?

— По цветку этому, — отвечал старый садовник; — я, с тех пор как живу, желал увидеть его хоть однажды, но ни разу не удалось мне, потому что он редок и растет лишь в горах; я пошел тебя искать, оттого что мать твоя скончалась, а пустой дом наводил на меня грусть и тоску. Сначала не знал я, куда направить свой путь, наконец пошел через горы, как ни мрачна эта дорога; мимоходом искал я цветка, но нигде не находил, а сегодня совершенно неожиданно отыскал его здесь, в таком месте, где уж начинается долина; из этого заключил я, что и тебя найду скоро; видишь, как сбылось предсказание милого цветка! — Они снова обнялись, и Христиан оплакивал мать; старик же схватил его за руку и сказал:

— Пойдем скорее, чтобы избавиться от мрачности гор; у меня сердце ноет от диких крутых громад, от ужасных расселин, от стонущих горных потоков, возвратимся в приветную, милую равнину.

Они пошли назад, и Христиан опять повеселел. Он рассказывал отцу о своем новом счастье, о ребенке и новой отчизне; он сам приходил в восторг от своих рассказов и чувствовал в полной мере, что ему нечего больше желать для спокойствия душевного. Таким обра-

зом, разговаривая то весело, то печально, пришли они в село. Все, особливо Лизавета, радовались скорому окончанию путешествия. Старик отец поселился у них и отдал им в хозяйство небольшое свое состояние; не было в мире семейства счастливее и довольнее. Поля давали обильные жатвы, скот плодился, и через несколько лет дом Христиана стал одним из виднейших во всем околотке; притом же у него родилось несколько детей.

Таким образом прошло пять лет, когда однажды чужестранец, возвратившийся из путешествия, заехал в их село и остановился у Христиана в доме, который был и виднее и обширнее прочих. Он был человек ласковый и разговорчивый, много рассказывал о своих странствиях, играл с детьми и дарил их; скоро все его полюбили. Сторона эта так ему понравилась, что он расположился пробыть в ней несколько дней. За днями прошли недели, за неделями месяцы; чужеземец никого не удивлял своим долгим присутствием; все уж привыкли считать его членом семейства. Один Христиан часто задумывался; ему казалось, что он видал его когда-то, но не мог припомнить, в какое время и где именно. Наконец, спустя три месяца, чужеземец простился и сказал:

— Милые друзья! чудесная судьба и непостижимое ожидание влекут меня в ближние горы; обольстительный призрак, которому я не в силах противиться, меня манит; теперь оставляю я вас, и не знаю, возвращусь ли когда; со мной есть значительная сумма денег; она в ваших руках будет целее, нежели в моих, потому прошу вас взять ее на сохранение; если я не возвращусь в течение года, то удержите ее как знак благодарности за оказанную вами мне дружбу.

Чужеземец уехал, и Христиан, взяв деньги, спрятал их под замок, часто пересматривал с излишней заботливостью и пересчитывал, чтобы знать, все ли они целы; словом, очень занимался ими.

— Деньги эти могли бы нас вполне осчастливить,—

сказал он однажды отцу,— если б чужеземец не возвратился; мы и дети наши были бы на целую жизнь обеспечены.

— Оставь золото,— ответил старик;— не в нем счастье; благодаря бога, мы до сих пор ни в чем не имели недостатка; выкинь из головы эту мысль.

Часто Христиан вставал среди ночи, чтобы будить работников и самому за всем присматривать; отец боялся, чтобы он в молодых годах не расстроил здоровья своего излишнею заботливостью; и для того встал однажды ночью, желая посоветовать ему не слишком предаваться деятельности, как вдруг, к величайшему своему удивлению, увидел, что Христиан сидит у стола и при свете маленькой лампы снова пересчитывает деньги с большим вниманием.

— Сын мой!— горестно сказал отец,— ужели до того ты дошел? Неужели проклятый металл принесен под эту кровлю на беду нашу? Опомнись, мой друг! Так ведь злой дух вымучит из тебя и жизнь и кровь.

— Да,— отвечал Христиан,— я сам себя не понимаю; золото это не дает мне ни днем, ни ночью покоя; взгляни, как оно и теперь смотрит на меня, и так пронзительно, что пламенный блеск его входит в самую глубину моего сердца! Прислушайся, как звучит эта золотая кровь! Сплю ли я, она слышится мне, гремит ли музыка, свистит ли ветер, говорят ли люди на улице, я ее слышу; в сиянии солнца не вижу я ничего, кроме этих желтых глаз, которые подмигивают мне и словно нашептывают ласковые слова привета: вот почему я принужден бываю вставать ночью, чтобы удовлетворить страстному призыву золота; внутри его что-то радуется и веселится, когда я его перебираю пальцами; оно тогда от удовольствия становится ярче и прелестнее; взгляни сам, каким оно горит восторгом!

С трепетом и слезами обнял старик сына, прочел молитву и сказал:

— Христель, обратись к слову божию, ходи чаще



и прилежнее в церковь, иначе ты зачахнешь, снедаемый тяжкой тоской.

Христиан спрятал деньги, обещал исправиться и притти в себя; старик успокоился. Прошел год и более, а о чужестранце не было слуха; наконец, старик согласился на неотступные просьбы сына, и оставленные деньги употребили на угоды и другие расходы. Скоро заговорили в деревне о богатстве молодого мызника; Христиан был радостен и доволен; сам отец восхищался его счастьем и вовсе забыл страх свой. Но зато как удивился он, когда однажды вечером Лизавета, отведши его в сторону, рассказала со слезами, что мужа она перестает понимать, что он говорит так безумно, особливо ночью; так страшно бредит, во сне часто и долго ходит по комнате, сам того не зная, и рассказывает чудесные вещи, которые приводят ее в трепет; но что еще страшнее бывает веселость его днем; тогда смех его дик и нагл, глаза блуждают, как чужие. Отец испугался, а удрученная жена продолжала:

— Всегда говорит он о чужеземце и уверяет, что знавал его прежде и что на самом деле чужеземец этот — дивно прекрасная женщина; сверх того, не хочет он уже ходить в поле или работать в саду, утверждая, что слышит ужасный подземный стон, как только выдернет какой-нибудь корень; он робеет и пугается каждого растения и травки, как страшного привидения.

— Милосердый боже! — воскликнул старик, — ужели до такой степени довела его жадность? Стало быть, очарованное его сердце уж не человеческое, но из холодного металла; кто не любит цветов, тому и любовь и страх божий чужды.

На другой день отец пошел прогуляться с сыном и повторил ему многое из слышанного от Лизаветы; он убеждал его вернуться на путь истинный и сосредоточить дух свой на благочестивых размышлениях. Христиан отвечал:

— Охотно, батюшка; мне самому часто бывает легче,

и все идет хорошо; я могу на долгое время, на целые годы забыть глубочайшую истину души моей и с легкостью обратиться к чуждому мне образу жизни; но вдруг, подобно молодому месяцу, встает в сердце моем господствующая звезда, а звезда эта не что иное, как я сам, и побеждает чуждую силу. Я мог бы сохранить всю свою веселость, но в одну чудную ночь роковая рука напечатлела в душе моей некий таинственный знак; магический образ часто покоится и спит, я уже думаю, что он исчез совершенно, как вдруг просыпается он и кипит, как яд, и движется во мне по всем направлениям. В это время я могу его только мыслить и чувствовать, и все вокруг изменяется или, лучше сказать, поглощается этим образом. Как вид воды ужасает бешеного и удваивает в нем силу яда, так бывает со мной при взгляде на углообразные фигуры, на всякую черту, на всякий луч; все тогда стремится разрешить узы живущего во мне образа и вызвать его к жизни; тело мое и дух приходят в ужас; так как душа его чувствует посредством наружных ощущений, то снова, мучась и терзаясь, она старается не допустить его дальше внешних чувств, чтоб отделаться от него и быть покойною.

— Недобрая звезда увела тебя от нас,—сказал старик;—ты был рожден для тихой жизни, любил покой и мир растений, но нетерпение увлекло тебя в мир диких скал; утесы, ущелья, громады камней расстроили мозг твой и возбудили в сердце пагубную страсть к золоту. Тебе никогда не надо было глядеть на горы; так и хотел я тебя воспитать, но суждено было иное. Упрямство, дикость и самонадеянность поколебали в тебе спокойствие душевное и детскую кротость.

— Нет,—отвечал сын,—я помню ясно, как растение впервые ознакомило меня с горем земного мира; с той поры понял я вздохи и ропот, которые всюду раздаются в природе, стоит только прислушаться; в растениях, травах, цветах и деревьях болезненно гноится обширная язва; все они труп прежнего, роскошного,

скалистого мира; все они являют очам нашим страшное тление. Я понимаю теперь, это самое хотел мне поведать тот корень своим тяжким вздохом; он забылся от муки и все открыл мне. Вот почему все растения питают ко мне злобу и ищут моей смерти. Они хотят изгладить из сердца моего любимый образ и каждую весною прельщают меня опустошенной, мертвой своей красотой. Преступно и коварно обманули они тебя, старик, ибо они совершенно овладели твоею душой. Впроси камни, и ты удивись речам их!

Долго смотрел на него отец и не мог вымолвить ни слова; они молча пошли домой, и старик начал в свою очередь пугаться веселости сына, потому что видел в нем что-то дикое, необыкновенное, словно из него, как из машины, говорило другое существо, неуклюжее и неловкое.

Снова наступил праздник жатвы; народ пошел в церковь, пошла и Лизавета с детьми помолиться богу; муж тоже собирался идти с нею, но, дойдя до церкви, воротился назад и задумчиво вышел из села. Он сел на пригорок и увидел снова под собою дымящиеся крыши, слышал в церкви пение и звуки органа; разряженные дети плясали и играли на зеленом лугу.

— Жизнь моя прошла, подобно сновидению,— говорил он сам с собой;— годы протекли с тех пор, как я в первый раз спустился отсюда и подошел к детям; те, которые когда-то играли здесь, сегодня важно стоят в церкви; и я был в ней; но нынче Лизавета уже не цветущая детской прелестью девушка, юность ее прошла, не могу теперь с прежнею жадностью ловить взгляд ее очей; и так я упрямо пренебрег высоким, вечным блаженством для счастья временного и преходящего!

Снедаемый тоской, пошел он в ближний лес и углубился в густую чащу. Страшная тишина окружала его, листья деревьев не шевелились. Вдруг увидел он идущего издали человека и узнал в нем чужеземца; он испугался, и первая мысль его была: „Он станет требовать обратно свои деньги!“ Когда же фигура приблизилась,

увидел он свою ошибку; ибо наружные черты, показавшиеся ему знакомыми, рассеялись и исчезли; к нему же подошла старуха, отвратительная до чрезвычайности; одежда ее состояла из грязных лохмотьев, изорванный платок прикрывал седые волосы, хромя, она опиралась на клюки. Ужасным голосом она спросила у Христиана, кто он такой и как его имя; он подробно отвечал ей и прибавил потом:

— Кто же ты сама?

— Меня называют лесной женщиной,— сказала старуха;— всякий ребенок расскажет тебе обо мне; а ты разве не знавал меня прежде?— С этими словами она обернулась и пошла прочь, и Христиану почудилось, что между деревьев мелькнуло золотое покрывало, высокий стан, сильные члены. Он хотел погнаться за нею, но она сгнула с глаз.

Между тем, что-то блестящее в траве привлекло его внимание. Он поднял и узнал потерянную за несколько лет перед тем магическую дощечку с разноцветными камнями, с диковинными фигурами. Вид и блеск камней мгновенно сильно подействовали на все его чувства. Крепко сжал он ее, чтобы увериться, точно ли она у него в руках, и поспешил с нею назад в село. Отец вышел навстречу.

— Видишь ли,— закричал ему сын,— то, о чем я тебе так часто рассказывал и почитал пустым сновидением, теперь действительно сбылось, она в моих руках.

Старик долго рассматривал доску и сказал:

— Сын мой! сердце обливается кровью, когда я смотрю на эти черты и камни; я со страхом угадываю смысл начертанных здесь слов; посмотри, как холоден их блеск; как они страшно глядят, подобно кровавым очам тигра. Брось эту грамоту; она делает тебя холодным и жестоким, она окаменяет твое сердце.

Посмотри на розы эти:  
Как их души к свету рвутся!  
Словно рано утром дети,  
Нам они сквозь сон смеются.

Поднимают к небу лица,  
Солнце над собой почуя,  
Чтобы с ним навеки слиться  
В кратком миге поцелуя.

В сладкой изойти печали —  
Высшая для них утеха.  
Глянть: уж многие завяли,  
Не видать на лицах смеха.

Нет им радости милее,  
Как в любимом раствориться  
И навек преобразиться,  
В сладостной истоме млея.

Тихо розы умирают  
Смертью, благовонья полной,  
И округа обоняет  
Бальзамические волны.

Сердца струны золотые  
Тронула любовь рукою;  
Сердце молвит: „Предо мною  
Радость высшая — того не скрою:  
Вы, страдания любви святые“\*.

— Однако же,— отвечал сын,— в недрах земли должны скрываться до сих пор дивные, несметные сокровища. О! если б кто-нибудь мог открыть их, добыть и себе присвоить; мог сжать в объятиях своих землю, как милую невесту, так сжать, чтобы она, трепещущая любовью и страхом, добровольно отдала свои драгоценности! Лесная женщина звала меня; иду искать ее. Неподалеку отсюда есть старая, обвалившаяся шахта, сотни лет тому назад вырытая одним рудокопом; может быть, там найду ее!

И он поспешно ушел. Тщетно старик хотел удержать его, скоро он потерял его из виду. Через несколько часов с сильным напряжением отец достиг старой шахты; увидел человеческие следы, отпечатавшиеся на песке при самом спуске, и, рыдая, пошел назад, твердо

\* Перевод О. Б. Румера.

уверенный, что сын его в сумасшествии спустился в пропасть и потонул в скопившихся на дне ее водах.

С тех пор старик беспрестанно грустил и плакал. Все село сожало о молодом мызнике; Лизавета была безутешна, дети громко рыдали. Прошло полгода, и старик умер; скоро последовали за ним Лизаветины родители, и она одна принуждена была управлять огромным хозяйством. Скопившиеся дела отвлекали ее от грусти, а воспитание детей и присмотр за имением мало оставляли времени на гореванье и слезы. Наконец, по истечении двух лет, решилась она выйти снова замуж и отдала руку молодому веселому человеку, который любил ее еще с юности. Но скоро все в доме приняло другой вид. Скот падал, слуги и служанки обманывали, амбары с плодами земными горели; горожане, у которых в руках находились их деньги, пропадали с ними вместе. Скоро хозяин увидел себя принужденным продать несколько пашен и лугов; но неурожай и дороговизна привели его в новое затруднение. Казалось, что чудесным образом добытые деньги разбегались всевозможными путями, а дети, между тем, множились, и отчаяние сделало Лизавету и мужа ее неосторожными и нерадивыми; ища рассеянности, он неумеренно предавался крепким напиткам, от которых стал груб и сварлив, так что Лизавета часто оплакивала горячими слезами горькое свое положение. Прошло счастье, пропали и прежние друзья, через несколько лет бедные были всеми покинуты и с трудом перебивались с недели на неделю.

У них осталось всего-навсего несколько овец и одна корова, которую часто пасла сама Лизавета с детьми. Так однажды сидела она на лугу с работою, подле нее была Леонора, на руках грудное дитя; и вдруг увидела странный облик, приближавшийся издали; то был человек в совершенно изорванном платье, босой, с темно загоревшим лицом, обезображенный длинною щетинистую бородою; голова его была непокрыта, но в волосы влетался венок из зеленых листьев и делал дикий вид

его еще страннее и диковиннее. Он нес за плечами что-то тяжелое в туго завязанном мешке; идучи, опираясь он на молодую сосну.

Подошедши ближе, сложил он свое бремя, дыша тяжело; поздоровался с Лизаветою, которая трепетала, смотря на него; девочка жалась к матери. Отдохнув немного, он сказал:

— Вот я и возвратился из трудного путешествия по самым диким горам в мире; но зато достал, наконец, и принес драгоценнейшие сокровища, какие только воображение представить и душа пожелать может. Смотрите и дивитесь! — Тут развязал он и вытряс свой мешок, который наполнен был кремнями, большими кусками кварца и другими камнями. — Драгоценные эти камни, — продолжал он, — еще не обделаны и не полированы, оттого и не блестят; огонь, который выступит наружу, слишком глубоко еще спрятан в их сердцах; но стоит только ударить по ним покрепче, чтобы они почувствовали, что никакое притворство им не поможет, и тогда увидят, чего они стоят! — Проговорив это, взял он два кремня и стал крепко бить ими один об другой, так что красные искры посыпались.

— Что? Видели вы сияние? — вскричал он. — Так-то все они состоят из огня и света; улыбка их освещает мрак, только теперь еще они не хотят добровольно улыбаться. — Потом бережно он сложил камни опять в мешок и, накрепко завязав его, уныло сказал:

— Я знаю тебя, ты — Лизавета.

Жена испугалась и спросила, дрожа от предчувствия:

— Почему имя мое тебе известно?

— Господи боже мой! — отвечал злополучный, — да ведь я тот самый Христиан, который некогда пришел к вам охотником, неужто не узнаешь меня?

Лизавета не знала, что делать, от испуга и жалости. Он упал ей на шею и стал целовать. Она вскрикнула:

— Творец милосердый! муж мой идет!

— Будь покойна, — сказал Христиан; — я для тебя все равно, что мертвый; там в лесу ожидает меня прекрас-

ная, могущественная, в золотом покрывале. Вот милое дитя мое, моя Леонора. Поди, ангел, поди, друг мой, поцелуй меня, поцелуй раз только; дай прижать губы мои к твоим губам, и тогда — я вас оставляю.

Леонора плакала и льнула к матери, которая в слезах и рыдая толкнула ее к путнику, а тот тянул ее к себе, обнял и прижал к своей груди. Потом пошел он прочь, и они видели, как говорил он в лесу с ужасною лесной женщиной.

— Что с вами сделалось?— спросил муж, увидя, что Лизавета и дочь ее бледны как смерть и обливаются слезами.

Ни одна не отвечала.

С тех пор несчастный не показывался более.



## БОКАЛ

В кафедральном соборе зазвонили к обедне. По обширной площади в разных направлениях брели мужчины и женщины, проезжали экипажи и священнослужители шли в свои церкви. Фердинанд стоял на широкой лестнице, глядя вслед прохожим и рассматривая тех, что подымались наверх, чтобы присутствовать на литургии. Солнце ослепительно сияло на белых камнях, все искали в тени спасения от жары; и только он давно уже стоял, прислонясь к колонне, под жгучими лучами, не чувствуя их, весь затерявшись в воспоминаниях, всплывших в его памяти. Он думал о своей жизни и вдохновлялся чувством, которое заполонило всю его душу и погасило в нем все остальные желания. В этот же час он стоял здесь год тому назад и смотрел на женщин и девушек, идущих к мессе; равнодушно, насмешливыми глазами рассматривал он разнообразные фигуры, не один нежный взгляд был лукаво брошен в его сторону, и не одна девушка покраснела; его взгляд следил за хорошенькими ножками, как они переступали ступени и как колыхавшееся платье, слегка подымаясь, открывало их изящные шиколотки. Но вот со стороны рынка появилась молоденькая фигурка, вся в черном, стройная, благородная, со скромно опущенными глазами; она спокойно, с милой грацией, подымалась на паперть, шелковое платье облегалo прекраснейшее тело и колыхалось в такт движущимся членам;

оставался еще один шаг, но нечаянно она подняла ресницы, и синий-синий луч ударил в его глаза. Словно молния ожгла его тело. Она споткнулась и, как ни быстро он подбежал, он не смог воспрепятствовать тому, что она некоторое время лежала у его ног в восхитительной позе, припав на колена. Он поднял ее, она не глядела на него, но вся заалелась и не ответила даже на его вопрос, не ушиблась ли она. Он пошел за ней в церковь и неотступно видел перед собой, как она склонилась перед ним на колени и как волновалась ее прекрасная грудь. На другой день он снова оказался на паперти храма; место стало для него священным. Перед тем он собирался уехать, друзья нетерпеливо ждали его на родине, но теперь он обрел отечество здесь, он обновился сердцем. Он стал видаться с ней чаще, она не избегала его, но все это делалось украдкой, в редкие мгновения, потому что ее богатая семья зорко следила за ней, а еще больше того знатный и ревнивый жених. Они открыли друг другу сердце, но не знали, как им быть, так как он был чужестранец и не мог дать ей того достатка, какого она была в праве ожидать. И тут он почувствовал свою бедность; но стоило ему подумать о своем прежнем образе жизни, как он представлял себя безмерно богатым, потому что его существование стало чище, а его сердце было полно теперь благодного умиления; природа стала ему ближе и ее красота доступна его чувствам, он не был теперь чужд религиозного благоговения и, переступая тот же порог, входил в овеянный таинственным сумраком храм совсем с другими чувствами, чем в дни бывшего легкомыслия. Он покинул своих знакомых и жил одной любовью. Если ему случалось, проходя по ее улице, увидеть ее у окна, то в этот день он был уже счастлив; часто в сумерки он разговаривал с нею, ее сад прилегал к саду его друга, который, однако, не знал его тайны. Так прошел год.

Все эти картины новой жизни опять пронеслись в его памяти. Он поднял глаза, уже ее благородная фигура реяла на площади, она светила ему навстречу из

беспорядочной толпы, словно солнце. Чудесная песня зазвучала в его сердце, и он вошел, как только она приблизилась, в церковь. Он подошел к ней со святой водой, ее белые пальцы трепетали, когда она прикоснулась к его руке, она поклонилась с милой грацией. Он последовал за ней и стал вблизи нее на колени. Сердце его было полно любви и грусти, ему мнилось, будто из отверстых ран его бесконечного стремления все его существо изливается в благоговейных молитвах; всякое слово священнослужителя потрясало его, всякий звук музыки наполнял благоговением его душу; его губы дрожали, когда красавица прижимала распятие, висевшее у нее на четках, к пылающим алым устам. Как только он мог не постигать прежде подобной веры и подобной любви! Но вот священнослужитель поднял святые дары, зазвучал колокол, она поклонилась еще смиреннее и осенила крестом свою грудь; и словно молния пронеслась сквозь все его душевные силы и чувства, и лик на алтарном образе показался живым, а красочный сумрак окна — светом рая; слезы обильно полились из его глаз, умеряя пожирающий пламень его сердца.

Служба кончилась. Он снова предложил ей святую воду, они сказали друг другу несколько слов, и она удалилась. Он задержался, чтобы не привлекать ничего внимания; он провожал ее взглядом до тех пор, пока край ее платья не исчез за углом. Он испытал нечто, подобное чувству усталого, заблудившегося путника, когда в густом лесу гаснет последний луч заходящего солнца. Он очнулся от своей задумчивости, когда чья-то старая, иссохшая рука ударила его по плечу и кто-то окликнул его по имени. Он отступил назад и узнал своего друга, ворчливого Альберта, удалившегося от всех людей, одинокий дом которого был открыт лишь для одного Фердинанда.

— Вы не забыли еще нашего уговора?— спросил он хриплым голосом.

— О нет,— ответил Фердинанд,— а вы нынче выполните свое обещание?

— Хоть сейчас,— ответил тот,— если вам угодно последовать за мной.

Пройдя город, они вошли в большое здание, стоявшее на отдаленной улице.

— Сегодня,— сказал старик,— потрудитесь пройти со мной в глубину дома, в самую уединенную из моих комнат, чтобы нам никто не помешал.

Они миновали множество покоев, спустились и поднимались по лестницам, шли коридорами, и Фердинанд, которому казалось, что он хорошо знает дом, удивлялся количеству комнат и странному устройству обширного здания, а еще больше тому, что старик, будучи холост и не имея родственников, жил в нем один с единственным слугой и никогда не соглашался сдавать кому бы то ни было свободных помещений. Наконец Альберт отпер дверь и сказал:

— Вот мы и на месте.— Они очутились в большой, высокой комнате, обитой красным дамаском, окаймленным золотом; мебель была обита той же тканью, а сквозь опущенные красные, тяжелого шелка, гардины мерцал пурпуровый свет.

— Подождите минуту,— сказал старик, выходя в соседнюю комнату. Фердинанд тем временем занялся рассматриванием книг, в которых нашел множество удивительных рисунков и чуждых, непонятных букв, кругов и линий, и по немногим словам, которые он смог прочесть, ему показалось, что это труды по алхимии; он знал, что старик слывет алхимиком. На столе лежала лотия со странной инкрустацией из перламутра и разноцветных кусочков дерева, складывающихся в блестящие изображения птиц и цветов; звезда посредине была большим куском перламутра, искусно обработанным, как геометрическое, с дикульными фигурами, кружево, напоминавшее розу цветных окон готической церкви.

— А, вы рассматриваете мой инструмент,— сказал вер-

нувшийся Альберт,— ему уже двести лет, я привез его с собой на память о моем путешествии в Испанию. Но оставьте все это и садитесь.

Они уселись за столом, который тоже был покрыт красной скатертью, и старик поставил на него что-то завернутое в ткань.

— Из сострадания к вашей молодости,— начал он,— я обещал вам не так давно предсказать, будете вы счастливы или нет, и свое обещание я хочу сейчас выполнить, хотя вы недавно готовы были смотреть на него лишь как на шутку. Не приходите в ужас, так как то, что мной задумано, является вполне безопасным, и вы не услышите от меня страшных заклинаний, и вас не испугает никакой отвратительный призрак. Моя попытка может в двух случаях потерпеть неудачу: если вы в действительности не любите так, как заставили меня поверить, в этом случае мои усилия окажутся тщетными, и мы ничего не увидим; или же вы смутите оракула ненужным вопросом или уничтожите его предсказание излишней горячностью, покинув свое место и разрушив чары; вы должны обещать мне держать себя вполне спокойно.

Фердинанд дал слово, и старик, развернув ткань, вынул принесенный предмет. Это был золотой бокал очень искусной и красивой работы. Его широкое основание было охвачено рельефом, исполненным на матовом и полированном золоте: венком цветов с вплетенными в него миртами и разнообразной листвой и плодами. Посредине кубка тянулась подобная же лента, но побогаче, с маленькими фигурками: бегущими дикими зверьками, напуганными детьми или играющими с ними. Бокал был красиво изогнут, и края его загибались навстречу губам, а внутри золото горело красноватым жаром. Старик поставил чашу между собой и юношей и попросил его придвинуться ближе.

— Не чувствуете ли вы чего-нибудь, когда ваш взгляд тонет в этом блеске?

— Да,— ответил Фердинанд,— это сияние проникает

мне прямо в душу, я готов сказать, что мое истомившееся сердце принимает его, как поцелуй.

— Да, это так! — сказал старик. — А теперь пусть ваши глаза перестанут блуждать, устремите их на это золотое сияние и старайтесь представить себе, как можно живее, вашу возлюбленную.

Оба спокойно сидели некоторое время, сосредоточенно глядя на сверкающий кубок. Но скоро старик молча, сначала медленно, затем все быстрее и, наконец, с необыкновенным проворством, стал равномерно поводить рукой вокруг горевшего, как жар, бокала, слегка касаясь его пальцем. Затем он остановился и начал описывать круги в обратную сторону. Спустя немного Фердинанду почудилась музыка, но, казалось, она звучала где-то в стороне, на далекой улице; скоро, однако, звуки приблизились, они становились слышнее и слышнее, они отчетливее раздавались в воздухе и, наконец, у него не осталось никаких сомнений в том, что они лились изнутри кубка. Все больше и больше крепили звуки, набираясь такой силы, что сердце юноши трепетало, а к глазам подступали слезы. Рука старика носилась в разных направлениях над отверстием кубка, и казалось, будто искры, сверкая, сыплются из его пальцев и, светясь и звеня, разлетаются, ударяясь о золото. Скоро число блестящих точек увеличилось, и они, словно нанизанные на нитку, следовали туда и сюда за движением его пальцев; они переливались различными цветами и жались теснее друг к другу, сомкнувшись, наконец, в непрерывные линии. Теперь казалось, будто старик в красноватом сумраке простирал над светящимся золотом чудесную сеть, потому что он влек лучи произвольно, то в ту, то в эту сторону, и старался заткать ими отверстие бокала; они повиновались ему и оставались лежать, наподобие покрова, но местами видно было, как они, колеблясь, ткуются сами собой. И когда они таким образом были связаны, он снова описал над краем круг, музыка отступила, становясь все тише и тише, пока ее совсем не стало



слышно, а светящаяся сеть дрожала, словно в испуге. Она распалась от все усиливавшегося дрожания, и лучи каплями стали падать в чашу, но над упавшими собиралось нечто вроде красноватого облачка, которое двигалось вокруг своей оси по разнообразным кругам и реяло над чашей, подобно пене. Но вот одна точка поярче пронеслась с огромной быстротой сквозь облачный круг. Тут стало возникать видение — словно чей-то глаз выглянул вдруг из прозрачной дымки, словно чьи-то золотые локоны ниспадали, завиваясь кверху кольцами, и тотчас на колеблющейся тени стал проступать нежный румянец, и Фердинанд узнал улыбающееся лицо своей возлюбленной, ее синие глаза, нежные щеки, милые красные губы. Голова еще неуверенно покачивалась, затем обозначилась яснее и отчетливее на гибкой белой шее, склонившись к восхищенному юноше. А старик продолжал описывать круги над кубком, и из него выступили ослепительные плечи, а по мере того как милый образ, покачиваясь с пленительной грацией, все выше поднимался с золотого ложа, стали постепенно показываться две изящно округленных и разделенных груди, посреди которых мерцали в красноватой дымке два нежнейших розовых бутона. Фердинанду казалось, что он чувствует дыхание возлюбленной, когда ее лик, зыбясь, наклонился к нему и почти касался его пылающими устами; в жару, в упоении он перестал владеть собой, рванулся к губам, и мнилось ему — вот он схватит сейчас красивые руки, чтобы освободить нагое видение из его золотой тюрьмы. И тотчас сильная дрожь пробежала по лицу возлюбленной, голова и тело распались на тысячи линий, и возле бокала оказалась роза, сквозь алость которой, чудилось, еще проступала нежная улыбка. Фердинанд нетерпеливо и жадно схватил розу, прижал к губам, и она увяла под его жгучим лобзанием и расплылась в воздухе.

— Ты плохо держишь свое слово,— сказал с досадой старик,— пеняй же на себя самого.— Он снова закутал свой бокал, отдернул гардины и отворил окно; яркий



дневной свет ворвался в комнату, и опечаленный Фердинанд с тысячью извинений оставил ворчливого старика.

Взволнованный, он побежал по улицам города. За воротами он сел под деревьями. Утром она ему сказала, что к концу дня отправится с несколькими родственниками за город. Опьяненный страстью, он то садился, то вскакивал и бродил по роще; ему все чудился тот грациозный образ, что, струясь, выплывал из пламеневшего золота; он ждал — вот она сейчас выступит во всем блеске своей красоты, и вдруг прекрасная форма гибла на его глазах, и он сердился на себя, что благодаря неистовой страсти и смятению чувств уничтожил видение, а с ним, быть может, и свое счастье.

После полудня, когда место для гулянья стало постепенно наполняться людьми, он забрался глубже в кустарник, но ни на одно мгновение не терял из виду далеко протянувшуюся дорогу, внимательно вглядываясь в каждый экипаж, выезжавший из ворот.

Приближался вечер. Заходящее солнце бросало красноватый отблеск, и тут он увидел, что из городских ворот несется богатая золоченая карета, ярко сверкавшая на вечернем солнце. Он побежал к дороге. Ее глаза уже искали его. Приветливо улыбаясь, она высовывалась по грудь из кареты, он поймал на лету ее полный любви привет; вот уже карета поравнялась с ним, ее открытый взгляд упал на него, и, проносясь мимо, она бросила к его ногам розу, красовавшуюся на ее груди. Он поднял ее и поцеловал с таким чувством, словно этот цветок предсказывал, что ему уже никогда не видеть своей возлюбленной и что его счастье навеки разбито.

Вверх и вниз по лестницам бегали люди, весь дом был в движении, все кричали и шумели, готовясь к завтрашнему торжеству. Всех усерднее и приветливее была мать; невеста ни во что не входила и, задумавшись над своей судьбой, удалилась к себе в комнату.

В доме ожидали еще сына, капитана, с его женой и двух старших дочерей с мужьями; Леопольд, младший сын, с беспечной веселостью занимался тем, что всюду увеличивал беспорядок и суматоху, принимаясь за множество дел сразу. Агата, его незамужняя сестра, старалась его образумить и уговорить, чтобы он ни о чем не беспокоился, а оставил бы других в покое; но мать сказала:

— Не мешай его дурачествам, потому что сегодня все это не в счет; об одном прошу вас всех, чтобы вы, раз у меня и без того столько забот, не докучали мне тем, без чего я могу превосходно обойтись; если разобьют что-либо из фарфора, или пропадет несколько серебряных ложек, или слуги приезжих высадят где-нибудь стекло, то вы не досаждайте мне рассказами о таких пустяках. А когда вся эта суматоха кончится, тогда мы все сочтем.

— Правильно, матушка! — сказал Леопольд; — вот образ мыслей, достойный регента! И если кто-либо из слуганок сломает себе шею, повар напьется пьян и у него загорится дымовая труба, а дворецкий на радостях упустит мальвазию из бочки или допустит, чтобы ее вылакали, то о подобных проказах вы ничего не узнаете. Вот разве только землетрясение разрушит дом; милая, этого уж никак не скроешь.

— Когда только он поумнеет? — сказала мать. — Что подумают о тебе брат и сестры, когда они увидят, что ты все такой же безрассудный, каким они тебя покинули два года назад?

— Они отдадут должное моему характеру, — ответил живой юноша, — за то, что он устойчивее, чем у них или у их мужей, которые в короткий срок так резко и совсем не в свою пользу переменились.

Тут вошел жених и осведомился о невесте. За ней послали горничную.

— Передал ли вам Леопольд, милая матушка, мою просьбу? — спросил нареченный.

— Да я и не помню,— отвечала она,— в этом беспорядке и с мыслями собраться некогда.

Вошла невеста, и нареченные радостно приветствовали друг друга.

— Просьба, о которой я упомянул,— продолжал жених,— состоит в следующем: вы не рассердитесь, если я приведу еще одного гостя в ваш дом, который эти дни и без того переполнен?

— Вы сами знаете,— сказала мать,— что, как он ни обширен, было бы трудно сейчас приготовить еще одну комнату.

— А я,— крикнул Леопольд,— отчасти уже позаботился об этом; я велел прибрать большую комнату в задней пристройке.

— Ах, да она недостаточно хороша,— сказала мать,— уже многие годы она служит почти что чуланом.

— Она великолепно реставрирована,— сказал Леопольд,— а друг, для которого она предназначается, не взыщет, ему важна лишь наша любовь; жены у него нет, он охотно проводит время в одиночестве, и она ему как раз подойдет. Нам стоило большого труда уговорить его и снова ввести в общество людей.

— Надеюсь, это не тот ваш мрачный алхимик и заклинатель духов?— спросила Агата.

— Именно он,— ответил жених,— если вам угодно называть его так.

— В таком случае, не разрешайте, матушка,— продолжала сестра.— Что надобно такому человеку в нашем доме? Я не раз видела его с Леопольдом на улице, на него глядеть невозможно без страха; притом старый грешник почти не бывает в церкви, он не любит ни бога, ни людей, и появление этого безбожника в доме в такой торжественный час может навлечь на нас беду. Кто знает, что из этого может выйти?

— Рассказывай!— сказал с раздражением Леопольд.— Ты осуждаешь его, не зная, что это за человек, и раз тебе не нравится его нос и раз он, вдобавок, уже не

молод и не привлекателен, то по тебе выходит, что он и погибшая душа и заклинатель духов.

— Соболаговолите же, дорогая матушка,— сказал жених,— предоставить нашему старому другу местечко в вашем доме, и пусть он разделит нашу радость. Как видно, милая сестричка, он пережил много невзгод, и это сделало его недоверчивым и нелюдимым, он чуждается всякого общества и делает исключение только для меня и Леопольда; я очень ему обязан, он дал моему уму другое направление, я готов даже сказать, что только он сделал меня достойным любви моей Юлии.

— Он дает мне любую книгу,— вмешался снова Леопольд,— и, что важнее, старые манускрипты и, что еще важнее всего этого,— деньги взаймы на одно лишь честное слово; он самого что ни на есть христианского образа мыслей, сестрица, и, как знать, если ты узнаешь его ближе, ты, быть может, перестанешь быть такой неприступной и влюбишься в него, хоть он и кажется тебе сейчас таким уродом.

— Ну, так приводите же его,— сказала мать;— Леопольд так прожужжал мне о нем уши, что мне очень хочется познакомиться с ним. Но вы отвечаете за то, что мы не можем предоставить ему лучшего помещения.

Тем временем стали прибывать гости. То были родственники; замужние сестры и брат-офицер приехали с детьми. Хорошая старушка радовалась внучатам; все приветствовали друг друга, полилась веселая беседа, а жених и Леопольд спустя немного пошли за своим старым угрюмым другом.

Он жил большую часть года за городом, в одной миле расстояния, но у него была еще маленькая квартирка в саду у городских ворот. Здесь-то оба молодых человека случайно познакомились с ним. Теперь же они встретились, условившись заранее, в кафе. И так как был уже вечер, они, поговорив немного, пошли домой.

Мать встретила незнакомца очень дружелюбно; дочери держались несколько в стороне, особенно робела Агата, тщательно избегавшая его взглядов. Приняв было

участие в общем разговоре, старик устремил затем пристальный взгляд на невесту, позднее других присоединившуюся к обществу; казалось, он был в восхищении от нее, и видно было, как он хотел украдкой смахнуть слезу. Жениху была приятна его радость, и, когда они спустя некоторое время отошли к окну, он взял его за руку и спросил:

— Какого вы мнения о моей милой Юлии? Не правда ли, она ангел?

— О мой друг,— ответил взволнованно старик,— подобной красоты и грации я никогда не видал; или еще более того (так как это выражение неточно), она так прекрасна, так божественно очаровательна, что мне сдается, будто я давно ее знаю, будто она, как ни мало мы знакомы, самый близкий моему воображению образ, который всегда жил в моем сердце.

— Я вас понимаю,— сказал юноша,— да, все истинно прекрасное, великое и возвышенное, чему мы удивляемся и изумляемся, поражает нас не как нечто чуждое, неслыханное и невиданное, нет, в такие мгновения нам становится яснее наше собственное „я“, в нас оживают наши сокровеннейшие воспоминания и пробуждаются самые дорогие нам чувства.

За ужином незнакомец почти не принимал участия в разговоре; он попрежнему, не отрываясь, глядел на невесту, так что та, наконец, смутилась и оробела. Офицер рассказал о походе, в котором он принимал участие, богатый купец говорил о своих делах и жаловался на тяжелые времена, а помещик говорил об улучшениях, которые он предпринял в своем имении.

После обеда жених откланялся и отправился в последний раз в свое одинокое жилище, потому что в будущем он собирался жить со своей молодой женой в доме матери, для них уже были отделаны комнаты. Общество разошлось, и Леопольд повел старика в отведенный ему покой.

— Надеюсь, вы не в претензии,— сказал он в коридоре,— что будете жить несколько в стороне и без тех

удобств, которые мать хотела бы вам предоставить; но вы сами видите, как многочисленно наше семейство, а завтра подъедут еще другие родственники. По крайней мере, вы не сбежите от нас, потому что вы не сможете выбраться из такого обширного здания.

Они прошли еще несколько коридоров; наконец Леопольд удалился, пожелав старику доброй ночи. Слуга поставил подсвечник с двумя восковыми свечами, спросил незнакомца, не помочь ли ему раздеться, и когда тот отказался от всяких услуг, ушел, и старик остался один.

— Отчего,— сказал он, расхаживая взад и вперед,— этот образ так живо отражается сегодня в моем сердце? Я позабыл все прошлое и словно видел ее самое перед собой. Я снова был молод, и ее голос звучал, как в те времена; мне казалось, будто я пробудился от тяжелого сна; но нет, теперь я очнулся, и милая иллюзия была только сладким сном.

Он был чересчур взволнован, чтобы заснуть; он стал рассматривать рисунки на стенах, а затем огляделся в комнате.

— Сегодня все мне так знакомо,— воскликнул он,— что я готов вообразить, будто видел когда-то и этот дом и эту комнату.— Он хотел связать с чем-нибудь свои воспоминания и поднял несколько больших книг, которые стояли в углу. Перелистав их, он покачал головой. Футляр от лютни стоял, прислоненный к стене, он открыл его и вынул редкостный старинный инструмент, который был поврежден: у него не хватало струн.

— Нет, я не заблуждаюсь,— воскликнул он, потрясенный:— эта лютня чересчур необычна, она была привезена из Испании моим давно умершим другом Альбертом; там стоят его магические книги, а это та самая комната, где он хотел вызвать для меня дивного оракула; поблекли красные ковры, потускнела золотая кайма, но в моей душе все необыкновенно живо, все, что было пережито в те незабвенные часы; потому-то я содрогался, идя сюда, этими длинными запутанными ко-

ридорами, которыми вел меня Леопольд; боже, здесь, на этом самом столе, подымался, струясь, ее лик и рос, словно напоенный и оживленный красным сиянием золота; здесь мне улыбалось то же лицо, которое этим вечером сводило меня с ума там в зале, в том самом зале, по которому я так часто прохаживался взад и вперед с Альбертом, ведя интимные разговоры.

Он разделся, но сон его был непродолжителен. Рано утром он встал и снова огляделся в комнате; он открыл окно и увидел перед собой те же сады и строения, как когда-то, но с тех пор здесь прибавилось много новых домов.

— Сорок лет канули в вечность с тех пор,— вздохнул он,— а каждый тогдашний день был содержательнее всей остальной жизни.

Его опять пригласили присоединиться к обществу. Все утро прошло в разговорах, наконец вошла невеста в подвенечном наряде. Как только старик увидел ее, он так изменился в лице, что ни от кого не ускользнуло его волнение. Свадебный поезд направился в церковь, и обряд бракосочетания совершился. Когда все возвратились домой, Леопольд спросил мать:

— Ну, как же вам нравится наш друг, этот добрый угрюмый старик?

— По вашему описанию,— ответила та,— я считала его отвратительным, а он мягок и участлив, к нему можно проникнуться полным доверием.

— Доверием?— воскликнула Агата,— к этому ужасному, горящему взгляду, к этим тысячам морщин, к этим бледным сжатым губам и странному смеху, который так язвительно звучит, искажая его лицо гримасой? Нет, избави меня бог от подобного друга! Если злые духи захотят принять человеческий образ, то они изберут именно такой, как этот.

— Вероятно, все-таки помоложе и попривлекательнее,— ответила мать;— но я не узнала по твоему описанию этого доброго старика. Очевидно, это человек пылкого темперамента, но привыкший к тому, чтобы замыкать

в себе самом все свои чувства; новидимому, у него, как говорит Леопольд, несчастливо сложилась жизнь, и оттого он недоверчив и потерял ту непосредственность и откровенность, что свойственны, вообще говоря, только счастливым.

Их разговор был прерван появлением остального общества. Все направились к столу, и чужеземец сел между Агатой и богатым купцом. Когда начали провозглашать тосты, Леопольд воскликнул:

— Постоите, дорогие друзья, возьмите наш праздничный бокал и пустим его в круговую! — Он хотел было встать, но мать сделала ему знак, чтобы он оставался на своем месте.

— Ты его не найдешь, — сказала она, — я переложила в другое место все серебро.

Она поспешно вышла, чтобы самой принести его.

— До чего наша старуха сегодня бодра и хлопотлива, — сказал купец. — Как она ни толста, она в состоянии проворно двигаться, хотя ей уже за шестьдесят; у нее всегда веселое и приветливое выражение лица, а сегодня она особенно счастлива, потому что, глядя на красоту своей дочери, снова чувствует себя молодой.

Старик согласился с этим, а мать, тем временем, вернулась с бокалом. Его до краев налили вином, и он начал гулять вокруг стола, и каждый пил за здоровье того, кто был ему всех милее и желаннее. Молодая пила за здоровье своего супруга, тот за любовь своей красавицы Юлии, и так далее, каждый в свой черед. Когда же бокал был передан матери, та медлила.

— Ну, смелей же! — сказал офицер грубовато и чересчур поспешно. — Мы ведь знаем, что вы считаете всех мужчин неспособными к верности, а каждого в отдельности недостойным женской любви; что же вам милее всего?

Мать посмотрела на него, и ее обычно ласковое лицо вдруг приняло гневно-серьезное выражение.

— Раз мой сын, — сказала она, — так хорошо меня знает и так строго порицает мой нрав, то да будет мне по-



зволено не высказывать моих мыслей, и пусть он постарается опровергнуть то, что он считает моим убеждением, своей непритворной любовью.

Она передала кубок, не пригубив его, дальше, и обещество было на некоторое время смущено.

— Рассказывают,— тихо сказал купец, наклонившись к чужестранцу,— что она любила не своего мужа, а другого, который ей изменил; в ту пору она считалась самой красивой девушкой в городе.

Когда бокал понал к Фердинанду, тот стал с изумлением всматриваться в него: он оказался тем самым, из которого Альберт некогда вызвал прекрасное видение. Фердинанд пристально вглядывался в золото и колебавшуюся струю вина, его рука дрожала; он несколько не удивился бы, если б из сияющего волшебного сосуда снова пророзовел тот же образ, а с ним зацвела его давно миновавшая юность.

— Нет,— сказал он вполголоса немного погодя,— это сверкает вино!

— Чему же тут еще быть?— сказал, рассмеявшись, купец.— Пейте же без забот!

Старик вздрогнул от ужаса, с жаром произнес имя Франциски и прильнул к бокалу пылающими губами. Мать бросила на него удивленный и вопрошающий взгляд.

— От кого вам достался этот прекрасный кубок?— спросил Фердинанд, стыдясь своего рассеянного вида.

— Много лет тому назад,— отвечал Леопольд,— еще до моего рождения, мой отец купил его и весь дом со всем движимым имуществом и утварью у одного старого одинокого холостяка, тихого человека, прославившего у окрестного люда волшебником.

Фердинанду не хотелось говорить, что он знал его, так как сон для него настолько тесно переплелся с явью, что он не мог даже издали допустить посторонних заглянуть ему в душу.

Когда обед был окончен, он остался один с матерью,

потому что молодые люди ушли, чтобы подготовиться к предстоящему балу.

— Садитесь рядом со мной,— сказала мать,— и давайте отдохнем, ведь танцы нам не по возрасту, и если не будет нескромностью спросить, то скажите, видали ли вы уже где-нибудь наш бокал, или признайтесь лучше, что вас так глубоко взволновало?

— Простите мою нелепую горячность и восторженность,— сказал старик,— но с тех пор как я очутился в вашем доме, кажется, будто я уже не принадлежу себе самому, так как ежеминутно я забываю про свои седые волосы и про то, что близкие мои в гробу. Ваша красавица дочь, которая сегодня переживает самый радостный день в ее жизни, до того похожа на одну девушку, которую я знал в моей молодости и на которую я молился, что я готов считать это чудом; не только похожа, нет, это выражение чересчур слабо, она воплощение той! Я часто бывал в этом доме и однажды чудесным образом познакомился с этим бокалом.— Тут он рассказал ей свое тогдашнее приключение.— Вечером того дня,— закончил он,— я в последний раз увидел в парке мою возлюбленную, когда она выезжала из города. Она уронила розу, и я сберег ее; сама она была для меня потеряна, потому что забыла меня и вскоре после того вышла замуж.

— Боже!— воскликнула старуха и вскочила, глубоко потрясенная, с места,— не Фердинанд ли ты?

— Да, это мое имя,— ответил тот.

— А я Франциска,— сказала мать.

Они готовы были обняться, но быстро отступили назад. Оба пытливо вглядывались друг в друга, оба старались восстановить разрушенные временем черты, когда-то такие знакомые и милые, и подобно тому как в темные грозовые ночи сквозь несущиеся черные облака мгновениями таинственно мерцают и тотчас гаснут звезды, так и им казалось, что то в глазах, то на лбу, то где-то у рта промелькнет хорошо знакомая черта, и оба испытывали такое чувство, словно их

молодость плакала вдали, улыбаясь сквозь слезы. Он склонился перед ней, поцеловал ее руку, и две слезы сорвались с его ресниц; потом они сердечно обнялись.

— Твоя жена умерла?—спросила мать.

— Я никогда не был женат,—простонал Фердинанд.

— Боже!—воскликнула старая женщина, ломая руки.— Так это я оказалась неверной! Но нет, я не изменила. Когда, спустя два месяца, я вернулась из деревни, я стала отовсюду слышать, и даже от твоих друзей, а не только от моих, что ты давным-давно уехал и женился на своей родине; мне показывали заслуживавшие доверия письма, ко мне приставали, пользуясь моим отчаянием, моим гневом, так что, в конце концов, я отдала мою руку вполне достойному человеку, а сердцем и всеми помыслами навсегда осталась верна тебе.

— Я вовсе не уезжал отсюда,—сказал Фердинанд,— но спустя некоторое время я узнал о твоём замужестве. Нас хотели разлучить, и это удалось им. Ты счастливая мать, а я живу прошлым и всех твоих детей я буду любить, как своих. Но до чего удивительно, что мы с тобой никогда не видались с тех пор.

— Я редко выходила из дому,—сказала мать,— а мой муж, который вскоре после того ради наследства принял другое имя, уничтожил этим самыми все подозрения, что мы могли остаться в том же городе.

— Я избегал людей,—сказал Фердинанд,— и жил в полном одиночестве; пожалуй, один только Леопольд был мне интересен, он-то и ввел меня снова в круг людей. О мой милый друг, то, что мы потеряли и снова нашли друг друга, кажется какой-то страшной историей о привидениях.

Молодежь нашла стариков в слезах, глубоко взволнованных. Ни он, ни она не сказали ни слова о происшедшем, тайна казалась им чересчур святой. Но с той поры старик стал другом дома, и эти два существа, которые таким странным образом снова обрели друг друга, разлучила только смерть, чтобы спустя короткое время навеки их соединить.

## ЛЮБОВНЫЕ ЧАРЫ

В глубокой задумчивости сидел Эмиль за столом и ожидал своего друга Родериха. Перед ним горела свеча, зимний вечер был холоден, и сегодня Эмилю хотелось, чтобы его спутник был с ним, хотя обычно он охотно избегал его общества; в этот же вечер он собирался открыть ему одну тайну и спросить его совета. Нелюдимый Эмиль во всех делах и случаях жизни находил столько трудностей, столько непреодолимых препятствий, что, казалось, иронический каприз судьбы послал ему этого Родериха, которого во всем можно было признать прямой противоположностью его друга. Непостоянный, ветреный, поддающийся каждому первому впечатлению и мгновенно загорающийся, он брался за все, знал толк во всем, ни одно начинание не было ему слишком трудным, никакие препятствия не были ему страшны; но во время выполнения какого-либо дела уставал и выдыхался он столь же скоро, сколько вначале был находчив и увлечен; встречающиеся помехи не подстрекали его увеличить усердие, но лишь побуждали пренебречь тем, за что он так рьяно брался; словом, Родерих так же беспричинно забрасывал свои планы и беспечно забывал их, как необдуманно их затевал. Поэтому не проходило дня, чтобы между друзьями не завязывалось стычек, которые, казалось, грозили смертью их дружбе, однако, быть может, именно то, что по видимости разделяло их, связывало обоих.

особенно тесно; они нежно любили друг друга, но находили большое удовлетворение выдвигать один против другого самые обоснованные обвинения.

Эмиль — богатый молодой человек впечатлительного и меланхолического темперамента, остался после смерти родителей хозяином своего состояния; для расширения своего кругозора предпринял он путешествие, но вот уж несколько месяцев, как находился в одном большом городе, чтобы насладиться карнавальными развлечениями, о которых нисколько не думал, и чтобы серьезно переговорить о своем состоянии с родственниками, которых вряд ли и посетил. Дорогой встретился ему непостоянный, чрезмерно подвижный Родерих, живший в неладу со своими опекунами; стремясь окончательно отделаться от них и их докучливых увещаний, Родерих горячо ухватился за сделанное ему новым другом предложение взять его с собою в путешествие. В дороге они уже не раз готовы были расстаться, но при каждом столкновении оба только яснее чувствовали, как необходимы они друг другу. Едва выходили они из кареты в каком-либо городе, как Родерих успевал осмотреть все местные достопримечательности, с тем чтобы забыть их на следующий день, тогда как Эмиль в течение недели основательно готовился по книгам, чтоб ничего не пропустить, но затем, по пассивности, многое не достаивал своим вниманием; Родерих немедленно заводил тысячи знакомств и посещал все общественные места; нередко случалось, что он приводил вновь приобретенных приятелей в одинокую комнату Эмиля, где и покидал его с ними одного, когда они начинали надоедать ему. Также часто смущал он скромного Эмиля, превознося сверх всякой меры его заслуги и знания перед учеными и умными людьми, которым давал понять, как много они могли бы получить от его друга сведений из области языкознания, старины или искусствоведения; сам же он никогда не мог найти времени выслушать своего спутника, когда разговор заходил об этих предметах. Стоило же только Эмилю настроиться

на какое-либо дело, как он почти наверняка мог рассчитывать на то, что его непоседливый приятель пропустится ночью на балу или при катанье на санях и будет вынужден лежать в кровати; таким образом Эмиль жил в величайшем уединении с самым живым, беспокойным и общительным человеком на свете.

Сегодня Эмиль ожидал его непременно, так как Родриху пришлось дать торжественное обещание провести с ним вечер, чтобы узнать то, что угнетало и тревожило его задумчивого друга уже в течение многих недель. Пока что Эмиль записал следующие стихи:

Как жизнь весной мила, приятна,  
Когда под соловьиным пеньем  
Цветы и листья с упоеньем  
Дрожат и шепчутся невнятно.

Как хороши при лунном свете  
Вечерних ветерков порханья,  
Когда на крыльях лип дыханья  
Они резвятся точно дети.

Как сладостны нам пышность роз,  
Когда в полях все расцветает,  
Любовь из сотен роз сияет,  
Из ночи звездной, полной грез.

Но мне милей, приятней, слаже  
Свечи мельканье в келье скромной,  
Лишь вспыхнет там огонь укромный,  
Я пред окном стою на страже.

Слежу, как косы расплетает  
Она рукою белоснежной,  
Одежд касается небрежно,  
Венками кудри украшает.

Как лютню со стены возьмет,  
И звуки тихие проснутся,  
Под нежным пальцем засмеются  
И ускоряют свой полет.

Им шлет она вдогонку пенье,  
Шутливо убегает звук,

И в сердце прячется мне вдруг  
И там уж песня чрез мгновенье.

О злые! дайте вольным быть.  
Они ж, замкнувшись в сердце, шепчут:  
„Твое страданье будет вечным,  
Узнай, что значит полюбить“.

Эмиль нетерпеливо поднялся. Темнело, и Родерих все не шел, а он хотел открыть ему свою любовь к незнакомке, жившей напротив, любовь, не дававшую ему спать по ночам и удерживавшую его по целым дням дома. Но вот на лестнице раздались шаги, дверь отворилась, и в нее вошли без стука две пестрые маски с отталкивающими рожами; одна из них — турок, одетый в красный и голубой шелк, другая — испанец, бледно-желтый и красноватый, с множеством перьев, развевавшихся на шляпе. Когда Эмиль стал терять терпение, Родерих сбросил маску, показал свое хорошо знакомое, смеющееся лицо и сказал:

— Э, дорогой мой, что за угрюмая мина! В карнавальное время и такой вид? Мы с любезнейшим нашим молодым офицером пришли за тобой, сегодня большой бал в маскарадном зале; и раз уж я знаю, что ты дал зарок не выходить иначе, как в черном платье, которое носишь всегда, то иди с нами так, как ты есть, потому что уже довольно поздно.

Эмиль был разгневан и сказал:

— Как видно, ты по привычке совершенно забыл о нашем уговоре, очень сожалею (при этом он обратился к незнакомцу), что я ни в коем случае не могу вас сопровождать, мой друг слишком поспешил, давая согласие за меня, я вообще не могу уйти из дома, так как мне нужно поговорить с ним о важном деле.

Незнакомец, который был скромен и понял желание Эмиля, удалился, а Родерих совершенно равнодушно снова надел маску, стал перед зеркалом и сказал:

— Ну и мерзкий вид! Не правда ли? В сущности, это безвкусное, отвратительное изобретение.

— В этом не может быть сомнения,— возразил Эмиль с большим неудовольствием.— Делать из себя карикатуру, одурманивать себя,— это как раз те развлечения, за которыми ты охотнее всего гонишься.

— Из-за того, что ты не любишь танцевать,— сказал тот,— и считаешь танцы зловредной выдумкой, так и другие не должны веселиться? Как это досадно, когда человек весь состоит из причуд.

— Конечно,— возразил разгневанный друг,— и у меня достаточно случаев наблюдать это в тебе; я полагал, что, согласно нашему уговору, ты подарить этот вечер мне, но...

— Но сейчас ведь карнавал,— продолжал тот,— и все мои знакомые и несколько дам ожидают меня на сегодняшнем большом балу. Подумай только, мой дорогой, ведь это у тебя настоящая болезнь, что подобные вещи вызывают в тебе столь незаслуженное отвращение.

Эмиль сказал:

— Кого из нас двоих назвать больным, не стану разбирать; твое непостижимое легкомыслие, твоя жажда рассеяться, твоя погоня за развлечениями, которые не заполняют твоего сердца,— все это мне, по крайней мере, не представляется душевным здоровьем; в известных случаях ты мог бы пойти навстречу моей слабости, если только это слабость, и нет ничего на свете, что до такой степени расстраивало бы меня, как бал с его ужаснейшей музыкой. Ведь кто-то сказал, что глухому, который не слышит музыки, танцующие должны показаться беснующимися, но я думаю, что сама по себе эта страшная музыка, это кружение немногих звуков, повторяющихся с отвратительной быстротой в тех проклятых мелодиях, которые непосредственно проникают в нашу память, я бы сказал даже, в нашу кровь, и от которых впоследствии долгое время нельзя отделаться, я думаю, что это и есть само безумие и бешенство, ибо, если танцы еще могут быть для меня более или менее выносимы, то только без музыки.

— Вот так парадокс! — ответил замаскированный.— Ты



заходишь так далеко, что самое естественное, самое невинное и веселое на свете считаешь неестественным и даже страшным.

— Я ничего не могу поделать с моим чувством,— сказал Эмиль серьезно,— эти звуки с самого детства делали меня несчастным и часто доводили до отчаяния. В мире звуков они являются для меня наваждением, ларвами и фуриями и, подобно им, они носятся над моей головой и с отвратительным смехом скалят на меня зубы.

— Слабость нервов,— отвечал тот,— точно так же, как и твое преувеличенное отвращение к паукам и некоторым другим невинным гадам.

— Ты называешь их невинными,— проговорил расстроенный Эмиль,— потому что они тебе не противны. Но для того, у кого при виде их подымается в душе и пронизывает все его существо чувство тошноты и отвращения, такой же несказанный страх, как у меня, для того эти отвратительные чудовища, как, например, жабы и пауки, или еще это противнейшее из всех созданий — летучая мышь, далеко не безразличны и невинны, а, наоборот, существование их враждебно противостоит его собственному. Конечно, можно посмеяться над неверующими, чье воображение не мирится с привидениями, страшными личинами и теми порождениями ночи, которые мы видим во время болезни или которые рисуют нам творения Данте, ибо даже самая обыкновенная, осязаемая действительность пугает нас страшными, уродливыми образцами этих страхов. И действительно, разве мы могли бы любить красоту, не ужасаясь этим уродствам?

— Почему ужасаясь?— спросил Родерих.— Почему огромное царство вод и морей должно являть нам именно эти страхи, к которым твое представление привыкло, а не необыкновенные занимательные и любопытные маскарады, так что весь этот мир можно было бы рассматривать хотя бы как комический бальный зал? Но твои причуды идут еще дальше: ибо, так же, как

ты любишь розу с каким-то идолопоклонством, с такой же страстностью ты ненавидишь другие цветы; но что же тебе сделала добрая, милая огненная лилия, как и многие другие создания лета? Так и некоторые цвета тебе противны, некоторые запахи и многие мысли, и ты ничего не делаешь для того, чтобы закалить себя в борьбе с ними, и мягко им поддаешься. В конце концов, собрание подобных странностей займет то место, которым должно было бы владеть твое „я“.

Эмиль был разгневан до глубины души и ничего не ответил. Он уже отказался от намерения открыться ему; да и легкомысленный друг, казалось, не жаждал вовсе узнать тайну, о которой его меланхолический товарищ возвестил ему с таким серьезным видом; он равнодушно сидел в кресле, играя своей маской, как вдруг вскричал:

— Будь добр, Эмиль, одолжи мне свой большой плащ.

— Зачем?—спросил тот.

— Я слышу там в церкви музыку,— ответил Родерих,— до сих пор я каждый вечер пропускал этот час, сегодня же он мне особенно удобен, под твоим плащом я могу скрыть это одеяние, также спрятать под ним маску и тюрбан, а когда музыка кончится, тотчас отправиться на бал.

Ворча, Эмиль достал из шкафа плащ, подал его вставшему с места другу и принудил себя иронически улыбнуться.

— Вот тебе мой турецкий кинжал, который я вчера купил,— сказал Родерих, закутываясь в плащ,— спрячь его; такой серьезный предмет не годится держать при себе для забавы, ибо никогда нельзя предвидеть, до каких бед он может довести в случае ссоры или других неприятных неожиданностей; завтра мы увидимся, будь здоров и весел.

Он не дождался ответа и быстро спустился вниз по лестнице.

Оставшись один, Эмиль постарался забыть свой гнев и найти в поведении друга смешные стороны. Он

осмотрел блестящий, прекрасной работы кинжал и сказал:

— Каково должно быть человеку, который вонзает эту острую сталь в грудь противника, или, что еще ужаснее, ранит любимое существо?— Он спрятал кинжал, затем осторожно растворил ставни окна и выглянул в узкий переулок. Но нигде не мелькнуло огня, в доме насупротив было темно; дорогая ему девушка, жившая там и обычно занимавшаяся в это время домашними делами, очевидно ушла из дому. „Быть может, она даже на балу,— подумал Эмиль,— хоть это и не подходит к замкнутому образу ее жизни“. Но вдруг показался свет, и девочка, с которой любимая им незнакомка не разлучалась и с которой она и днем и вечером все время возилась, пронесла через комнату свечу и притворила ставни. Осталась светлая щель, достаточная для того, чтобы Эмиль мог со своего места обозревать часть небольшой комнаты. Нередко счастливый стоял он там, далеко за полночь, как зачарованный, и следил за каждым выражением лица возлюбленной. Он с удовольствием наблюдал, как она учила девочку читать или давала ей уроки шитья и вязания. Из расспросов он узнал, что малютка— бедная сирота, которую прелестная девушка из жалости взяла к себе на воспитание. Друзья Эмиля не могли понять, почему он жил в этом узком переулке в неудобном доме, почему он так мало бывает в обществе и чем он занят. Без всякого дела в одиночестве он был счастлив, недовольный лишь собой и своим нелюдимым характером, тем, что не решался искать более близкого знакомства с этим прелестным существом, хотя она несколько раз в течение дня любезно раскланивалась и отвечала на его приветствия. Он не знал, что и она с таким же упоением следит за ним, и не подозревал, какие желания рождались в ее сердце, на какие трудности и на какие жертвы она чувствовала себя способной, лишь бы овладеть его любовью.

После того как он несколько раз прошелся по ком-

нате и свеча вместе с ребенком снова исчезла, он вдруг решил, вопреки своим склонностям и характеру, пойти на бал, ибо ему пришло на ум, что незнакомка могла изменить замкнутому образу своей жизни, чтобы хоть раз насладиться светом и его развлечениями. Улицы были ярко освещены, снег хрустел под его ногами, проезжали экипажи, и маски в разнообразнейших костюмах свистели и щебетали, проходя мимо него. Из многих домов доносилась к нему столь ненавистная ему танцевальная музыка, и он не мог заставить себя пройти кратчайшим путем к маскараднему залу, куда со всех сторон стекались и теснились толпы людей. Он обошел старую церковь, оглядел высокую башню, которая строго поднималась в ночное небо, и ему были приятны тишина и безлюдие площади. В углублении огромных церковных дверей, богатой скульптурой которых он всегда любовался, вспоминая старое искусство и давно прошедшие времена, он остановился и теперь, чтобы на несколько минут предаться своим размышлениям. Он простоял недолго, как вдруг его внимание привлекла какая-то фигура, которая беспокойно ходила взад и вперед, очевидно кого-то поджидая. При свете фонаря, горевшего перед изображением мадонны, он явственно различил лицо, а также странную одежду. Это была старая женщина, необыкновенно уродливая, что особенно бросалось в глаза, так как рядом с ярко-красным корсажем, обшитым золотом, ее уродливость выделялась еще более чудовишно; юбка на ней была темная, а чепчик на голове также блестел золотом. Эмиль подумал сначала, что видит перед собой безвкусную маску, которая случайно забрела сюда, но при ярком свете он увидел, что старое темное морщинистое лицо было настоящим лицом, а не личиной. Немного спустя появилось двое мужчин, закутанных в плащи; казалось, они осторожно приближались к этому месту, часто оглядываясь по сторонам, не идет ли кто за ними. Старуха подошла к ним.

— Свечи у вас с собой?—поспешно спросила она грубым голосом.

— Вот они,—сказал один,—цена вам известна, кончайте дело быстрее.

Старуха, очевидно, дала ему деньги, которые тот пересчитал под плащом.

— Я полагаюсь на то,—снова заговорила старуха,—что свечи отлиты по всем правилам искусства и будут действовать наверняка.

— Не беспокойтесь,—сказал тот и быстро удалился.

Другой, оставшийся, был молодой человек; он взял старуху за руку и сказал:

— Разве возможно, Алексия, чтобы все эти церемонии и формулы, эти таинственные старые заговоры, в которые я никогда не верил, сковали свободную волю человека и могли пробудить в нем любовь и ненависть?

— Да, это так,—сказала красная женщина,—однако все должно сложиться благоприятно, здесь не одни только свечи, отлитые в полночь новолуния и напитанные человеческой кровью, не одни лишь волшебные формулы и заклинания делают все это, здесь необходимо еще многое другое, известное тому, кто владеет этим искусством.

— Итак, я полагаюсь на тебя,—сказал незнакомец.

— Завтра после полуночи я к вашим услугам,—ответила старуха.—Вы не первый останетесь довольны моими услугами; сегодня, как вам уже известно, меня призывают к другому, и надеюсь, что наше искусство окажет должное действие на его чувства и разум.

Последние слова она произнесла полусмеясь, и оба разошлись и удалились в разные стороны. Эмиль, содрогаясь, вышел из темной ниши и обратил свои взоры к изображению девы с младенцем.

— Перед твоим лицом, всеблагая, эти мерзавцы осмелились совершить свою сделку, готовящую ужасный обман. Но подобно тому, как ты любовно обнимаешь свое дитя, так и мы чувствуем себя в объятиях незримой любви, и наше бедное сердце бьется и в радости и в

страхе пред тем великим сердцем, которое никогда не покинет нас.

Облака проносились над вершиной башни и крутой церковной крышей, вечные звезды с приветливой строгостью, сверкая, глядели вниз, и Эмиль решительно стряхнул с себя впечатление этого ночного ужаса и обратился мыслью к красоте своей возлюбленной. Он снова выступил на оживленные улицы и направился к ярко освещенному зданию, откуда к нему доносились голоса, грохот экипажей, а в промежутках отрывки гремящей музыки.

В зале он тотчас же затерялся в бурлящей сутолоке, вокруг него скакали танцоры, маски мелькали взад и вперед, барабаны и трубы оглушали его, и ему казалось, что сама человеческая жизнь всего только сон. Он проходил сквозь ряды, и лишь глаза его бодрствовали, чтобы отыскать те любимые глаза, ту изящную голову в каштановых кудрях, по которым он нынче тосковал более чем когда-либо, и все же мысленно упрекал боготворимое существо, что оно могло потонуть, затеряться в этом бушующем море суеты и глупости.

— Нет, говорил он себе,— любящее сердце не захочет открыться этому дикому бушеванию, в котором тоска и слезы подвергаются издевательству и высмеиваются гремющим хохотом неистовых труб. Лепет дерев, рокот ключей, звон лютни и благородное пенье, льющееся из взволнованной груди,— вот звуки, в которых пребывает любовь. А так грохочет и ликует ад в неистовстве своего отчаяния.

Он не находил, чего искал, ибо никак не мог свыкнуться с мыслью, что любимое лицо может быть скрыто под отвратительной маской. Уже три раза прошелся он взад и вперед по залу и тщетно вглядывался во всех сидящих и немаскированных дам, когда к нему присоединился испанец и молвил:

— Хорошо, что вы все-таки пришли; вы, может быть, ищете своего друга?

Эмиль совсем забыл о нем; однако, устыдившись, он сказал:

— Действительно, я удивлен, не видя его здесь, потому что маска его достаточно заметна.

— Знаете, чем занят теперь этот странный человек?— спросил молодой офицер.— Он не только не танцевал, но и недолго оставался в зале, потому что почти сейчас же повстречал своего друга Андерсона, приехавшего из деревни; их разговор коснулся литературы, и так как тот не знал еще недавно вышедшей поэмы, то Родерих не успокоился, пока ему не отперли одну из отдаленных комнат, там-то он и сидит теперь со своим приятелем и при свете одинокой свечи читает ему все произведение.

— Это похоже на него,— промолвил Эмиль,— потому что он весь — настроение. Я испробовал все, не опасаясь даже дружеских раздоров, лишь бы отучить его всю свою жизнь разменивать на экспромты; однако эти чудачества до того глубоко вкоренились в его сердце, что он готов скорее разойтись с лучшим другом, чем отказаться от них. Недавно он собрался прочесть мне то самое, столь любимое им произведение, которое он всегда носит при себе, и я даже сам настаивал на этом; но едва было прочитано начало и я уже всецело отдался его красоте, как Родерих внезапно вскочил и, облекшись в кухонный фартук, вернулся обратно и с большими церемониями велел раздуть огонь, чтобы зажарить мне вовсе не привлекавший меня бифштекс, в приготовлении которого он мнит себя первым в Европе, хотя в большинстве случаев он ему не удается.

Испанец засмеялся.

— Он никогда не был влюблен?— спросил он.

— На свой лад,— очень серьезно ответил Эмиль;— так, словно хотел поглумиться над самим собою и над любовью, во многих сразу и, по его собственным словам, до отчаяния, что, однако, не мешало ему через неделю снова забывать всех.

Они расстались в суতোлке, и Эмиль направился к

уединенной комнате, откуда уже издали он услышал громко декламирующего друга.

— А, вот и ты!— воскликнул тот при виде его.— Ты попал кстати, я как раз дошел до того места, на котором нас с тобой тогда прервали; если хочешь, садись и слушай.

— Сейчас я не в настроении,— сказал Эмиль,— кроме того, и час и место кажутся мне мало подходящими для подобных занятий.

— Почему нет?— возразил Родерих.— Все должно начинаться нашим желанием, любое время удобно для возвышенных занятий. Или ты предпочитаешь танцы? В танцорах недостаток, и ты сможешь сегодня несколькими часами прыганья и парой измученных ног снискать расположение многих благодарных дам.

— Прощай!— крикнул тот уже в дверях.— Я иду домой.

— Еще одно слово!— закричал ему вдогонку Родерих.— Завтра, чуть свет, я отправляюсь с этим господином на несколько дней за город, впрочем, я еще зайду к тебе проститься. Если ты будешь спать, что всего вероятнее, не утруждай себя просыпаться, так как через три дня я буду снова с тобой. Удивительнейший человек,— продолжал он, обращаясь к своему новому приятелю.— До того тяжел на подъем, нелюдим и серьезен, что сам себе портит всякую радость, или, вернее, для него не существует радости. Все должно быть благородным, великим, возвышенным, его сердце должно отзываться на все, стой даже он перед кукольным театром; и если игра не отвечает его претензиям, в сущности, совершенно сумасбродным, он впадает в трагическое настроение, и весь мир кажется ему жестоким и варварским; а там он уж, конечно, будет требовать, чтобы под маской какого-нибудь Панталоне или Полишинеля пылало сердце, полное тоски и неземных порывов, и чтобы Арлекин глубокомысленно философствовал о ничтожестве мира, а если эти ожидания не оправдаются, то, несомненно, из глаз его выступят слезы,



и он сокрушенно и презрительно отвернется от пестрого зрелища.

— Он, значит, склонен к меланхолии?— спросил собеседник.

— Собственно говоря,— ответил Родерих,— он только избалован слишком нежными родителями и самим собою. У него вошло в привычку давать своему сердцу волноваться с правильностью прилива и отлива, и, если когда-нибудь это волнение не наступает, он кричит о чуде и готов назначить премии, чтобы побудить физиков удовлетворительно объяснить это явление природы. Он — лучший человек в мире, но все мои старанья отучить его от такой странности совершенно напрасны и бесполезны и, дабы не испытывать неблагодарности за мои добрые указания, мне приходится предоставлять ему полную свободу.

— Может быть, ему следовало бы обратиться к врачу,— заметил собеседник.

— Это тоже принадлежит к его особенностям,— ответил Родерих,— что он от начала до конца презирает медицину, потому что думает, что всякая болезнь в каждом человеке является индивидуумом и не может вылечиваться по прежним наблюдениям или даже по так называемым теориям; он скорее готов прибегнуть к помощи старух или симпатических средств. Также, но в другом отношении, презирает он и всякую осторожность и все, что называют порядком и умеренностью. Благородный человек был с детства его идеалом, а его высшим стремлением было выработать в себе то, что называет он этим именем, то-есть главным образом личность, у которой презрение к вещам начинается с презрения к деньгам; поэтому только бы не внушить подозрения, будто он экономен, неохотно тратит или придает какое-нибудь значение деньгам,— он сорит ими крайне безрассудно, при своих обильных доходах он всегда беден и находится в затруднительном положении, и его одурачивает всякий, кому не лень. Быть его другом — задача из задач, потому что он так раздра-

жителей, что достаточно кашля, не слишком благородной манеры есть или даже ковыряния в зубах, чтобы смертельно его обидеть.

— Он никогда не был влюблен?— спросил друг, приехавший из деревни.

— Кого мог бы он любить?— ответил Родерих.— Он презирает всех дочерей земли, и стоило бы ему только заметить, что его идеал любит наряжаться или, чего доброго, танцовать, как его сердце разорвалось бы; еще ужаснее, если бы она имела несчастье схватить насморк.

Эмиль, между тем, снова находился в сутолоке; но внезапно его объял тот страх, тот ужас, который столь часто уже охватывал его сердце в возбужденной толпе людей, и погнало его вон из залы, из дома, по пустынным улицам, и только в одинокой комнате своей вновь он обрел себя и способность спокойно рассуждать. Ночник был уже зажжен, он отослал слугу спать; напротив было спокойно и темно, и он присел, чтобы излить в стихах ощущения, навеянные балом.

Не знало сердце боли,  
 В оковах страсть дремала,  
 Но сила злобной воли  
 Безумье расковала.  
 Спасти из плена хочет;  
 Литавры загремели  
 И слышно, как хохочет  
 Звук трубный и грохочет,  
 И флейты вдруг запели,  
 И звуки запестрели,  
 Пронзительно свистя,  
 Под переливные скрипок трели  
 В вихре безумном летя,  
 Дикой волной прошумели  
 И дерзким насильем своим тишину одолели.

Куда мы полетели?  
 Зачем хороводом маски  
 Несутся в буйной пляске?  
 Мчит мимо. Сверкает зала,  
 Уносит нас шум карнавала

И сердца робкого полет;  
 О! звонче звените,  
 О! громче гремите,  
 Цимбалы и дудки! Пусть боль замрет,  
 Все смех захлестнет!

Твой нежный лик зовет меня,  
 Улыбкой, блеском глаз маня,  
 Ко мне! тебя схвачу я,  
 Умчу и отпущу я:  
 Я знаю, сгинет красота,  
 Замолкнут милые уста.  
 Ты жертва смерти злой.  
 Зачем, скелет, меня зовешь?  
 Не плачу с дрожью и с тоской,  
 Что нынче, завтра ты умрешь.  
 В земной юдоли  
 Что значат боли?  
 Я живу и парю в хороводе — ты мимо плывешь.

Глядишь, любя! Люблю тебя!  
 Ах! Скорбь и страх измены  
 Крадутся к нам за стены,  
 И боль в слезах, и горький стон  
 Со всех сторон  
 Тебя сковали.  
 Мы без печали  
 Встречаем смерть и гнет тревог.  
 Что значит страх? Что значит рок?  
 Пожали  
 Мы руки, спеша,  
 Как ты хороша!  
 Я бросился вспять, ты мчишься вперед,—  
 И отчаянье сладость дает.

Где мы ликовали,  
 Где все — упоенье,  
 Родилось презренье  
 И горечи яд;  
 О, время услад!  
 Тебя презираю  
 И ту выбираю  
 Невестой своей;  
 Другая ж смелей  
 Глядит на меня:  
 „Так это твоя?“  
 Мы все ураганом

Несемся и канем  
 Из жизни в туман;  
 Нет жизни, нет счастья,  
 Нет в мире участия,  
 Все — смерть и обман.  
 Внизу ж на просторе,  
 Под дветом полей  
 Мучительней горе,  
 Тоска тяжелей.  
 Так громче, димбалы! Литавры, пьяней!  
 Гудите, ревите, рожки, веселей!  
 Шумите, гремите бодрей, горячей!  
 Нет жизни, нет счастья,  
 Нет в сердце участия,  
 Ликуя, уносимся в бездну теней!

Он кончил и стоял у окошка. И вот напротив появилась она — такая прекрасная, какой он еще никогда не видал ее; распущенные каштановые волосы рассыпались волнами, игриво и своенравно завиваясь в локоны вокруг белоснежной шеи; она была почти раздета и, казалось, пред отходом ко сну в позднее ночное время хотела еще исполнить какие-то домашние работы, ибо она поставила по свече в двух углах комнаты, поправила скатерть на столе и удалилась. Эмиль был еще погружен в сладкие грезы и возвращался воображением к образу своей возлюбленной, когда по комнате, к его ужасу, прошла отвратительная красная старуха; на ее голове и груди жутко поблескивало золото, отражая огни свечей. Через миг она исчезла. Мог ли он верить своим глазам? Не было ли то ночное наваждение, которое призрачно промелькнуло перед ним, порожденное собственной его фантазией?

Но нет, старуха вернулась, еще более ужасная, чем раньше: длинные седые и черные космы буйно и беспорядочно развевались по ее груди и спине. Прекрасная девушка следовала за нею бледная, с искаженными чертами, с обнаженной чудною грудью, всем обликом своим подобная мраморной статуе. Между ними шла прелестная малютка, которая плакала и умоляюще прижималась к красавице, не глядевшей на нее. Крошка

просительно подымала ручонки, гладила бледную красавицу по шее и по щекам. Но та крепко держала ее за волосы, а в другой руке несла серебряную чашу; бормоча какие-то слова, старуха вытащила нож и перерезала белую шею ребенка. Тут за ними взвилось что-то, чего они обе, повидимому, не замечали, потому что иначе они бы так же глубоко содрогнулись, как Эмиль. Отвратительная шея дракона, вытягиваясь все более и более, вся в чешуях, выползла из темноты, склонилась над ребенком, который с безжизненно повисшими членами лежал на руках старухи, черный язык стал лизать бьющую ключом алую кровь, и зеленый сверкающий глаз пронзил через щель взгляд и мозг и сердце Эмиля, который в то же мгновенье грянулся обземь.

Бездыханным нашел его Родерих через несколько часов.

---

Радостным летним утром общество друзей собралось в зеленой беседке за вкусным завтраком. Раздавались смех и шутки, все весело и дружно чокались за здоровьем молодой четы и желали ей счастья и благополучия. Жених и невеста отсутствовали, так как красавица была еще занята своим нарядом, а молодой жених одиноко прогуливался в отдаленной аллее, размышляя о своем счастье.

— Жаль,— сказал Андерсон,— что мы должны обойтись без музыки; все наши дамы недовольны и никогда еще так не стремились танцевать, как именно сегодня, когда это невозможно; но это слишком ему неприятно.

— Могу вам открыть,— сказал один молодой офицер,— что у нас все-таки будет бал, да еще самый оживленный и шумный; все уже приготовлено, и музыканты уже тайком прибыли и незаметно размещены. Все эти приготовления сделал Родерих, говоря, что ему не надо слишком уступать и сегодня менее чем когда-либо следует считаться с его чудачествами.

— Он стал теперь гораздо мягче и обходительней, чем раньше,— сказал другой молодой человек,— и потому

я думаю, что эти изменения даже не покажутся ему неприятными. Ведь вся эта женитьба произошла так внезапно, против всех наших ожиданий.

— Вся его жизнь так же полна странностей, как его характер,— продолжал Андерсон.— Все вы, наверно, знаете, как он прошлой осенью во время затеянного им путешествия приехал в наш город, задержался здесь на зиму, жил, как меланхолик, почти не выходя из своей комнаты и не обращая внимания ни на наш театр, ни на другие увеселения. Он почти порвал с Родерихом, своим самым душевным другом, из-за того, что тот старался его развлечь и не хотел потакать всем его мрачным настроениям. В сущности, его преувеличенная раздражительность и уныние были не чем иным, как зарождающейся в его организме болезнью; вам неизвестно, что четыре месяца тому назад он так тяжело заболел нервной горячкой, что мы все уже потеряли надежду на его выздоровление. Когда его бредовые фантазии отбушевали и он пришел в себя, оказалось, что он почти совершенно лишился памяти, предоставлял себе только свои ранние детские и юношеские годы и совсем не мог вспомнить того, что случилось с ним во время его путешествия или перед его болезнью. Ему пришлось вновь знакомиться со всеми своими друзьями, даже с Родерихом; лишь постепенно прояснялось его сознание, и события прошлого, хотя еще и тускло, восстанавливались в его памяти. Дядя взял его к себе в дом, чтобы лучше за ним ухаживать; он же был, как ребенок, и предоставлял делать с собою все, что угодно. Когда он выехал в первый раз и посетил парк, овеянный весенним теплом, он увидел девушку, сидевшую глубоко задумавшись в стороне от дороги. Она подняла глаза, их взоры встретились, и, точно охваченный необъяснимым вдохновением, он приказал остановиться, вышел из экипажа, сел рядом с нею, схватил ее руки, и чувства его вылились в потоке слез. Снова стали опасаться за его рассудок; но он стал спокоен, весел и разговорчив, заставил себя представить родителям

девушки и при первом же посещении попросил ее руки, которую и получил, так как родители не противились ее согласию. Он был счастлив, новая жизнь расцвела в нем, с каждым днем становился он здоровее и веселее. Восемь дней тому назад он приехал ко мне сюда в мое поместье; оно понравилось ему чрезвычайно, до такой степени, что он не успокоился, пока я не продал ему его. Вполне зависело от меня использовать его страстность к моей выгоде, ибо чего желает он, желает горячо и не допускает промедления. Он сделал сейчас же необходимые распоряженья, велел привезти обстановку, чтобы уже на летние месяцы поселиться тут, и вот почему все мы собрались сегодня на его свадьбу в моем прежнем жилище.

Дом был обширен и находился в очаровательной местности. Одна сторона была обращена к реке и прелестным холмам, круглым и обрамленным разнообразными кустами и деревьями; непосредственно перед домом был расположен сад с душистыми цветами. Тут апельсиновые и лимонные деревья стояли в большом открытом зале, и маленькие двери вели в кладовые, погреба и подвалы для провизии. С другой стороны расстиралась зеленеющая лужайка, к которой сразу же примыкал парк; здесь оба длинных крыла дома охватывали просторный двор, и широкие открытые переходы, образованные колоннадами, в три ряда стоявшими одна над другой, соединяли все покои и залы дома, отчего здание с этой стороны приобретало какой-то пленительный, даже фантастический характер, ибо здесь по просторным галереям между колоннами непрерывно за тем или иным делом сновали люди, и из каждой комнаты выходили все новые лица и появлялись то сверху, то снова внизу, чтобы скрыться в других дверях; сюда же сходилась обшество для чая или игр, и потому снизу все принимало вид театра, перед которым каждый останавливался с удовольствием и мысленно ожидал сверху каких-то необычайных и привлекательных происшествий.

Компания молодых людей только что собиралась встать из-за стола, как через сад прошла наряженная невеста и приблизилась к ним. Она была одета в фиолетовый бархат; сверкающее ожерелье колыхалось на блистательной шее, сквозь драгоценные кружева просвечивала белая пышная грудь, венки из мирт и цветов дивно оттенял ее каштановые кудри. Она приветливо поздоровалась со всеми, и юноши были поражены ее совершенной красотой. Она нарвала цветов в саду и теперь направлялась во внутренние покои, чтобы присмотреть за устройством пиршества. В нижней открытой галлерее были расставлены столы, на них ослепительно сверкали белые скатерти, и хрусталь, и разнообразные цветы, в изобилии свисая из изящных сосудов, горели всеми красками; благоухающие зеленые и пестрые гирлянды обвивали колонны, и представляло очаровательное зрелище, как невеста с прелестной легкостью проходила теперь среди сверкания цветов между столами и колоннами, внимательно все оглядывая, и затем исчезла и снова появилась наверху, чтобы войти в свою комнату.

— В жизни не видал девушки милее и красивее!— воскликнул Андерсон.— Наш друг — счастливец!

— Даже бледность,— вставил офицер,— повышает ее красоту. Карие глаза над бледными ланитами под темными волосами блистают еще ярче, и эта почти жгучая алость губ превращает ее лицо в поистине волшебный образ.

— Сияние тихой меланхолии,— сказал Андерсон,— каким она окружена, озаряет ее как бы ореолом величия.

К ним подошел жених и спросил о Родерихе; они уже давно заметили его отсутствие и сами недоумевали, где он находится. Все направились разыскивать его.

— Он внизу в зале,— сказал, наконец, какой-то молодой человек, которого они тоже спросили,— среди лакеев и конюхов, и показывает им фокусы на картах, а те никак не могут надивиться.

Все пошли вниз и нарушили бурный восторг челяди,



между тем как Родерих, как ни в чем не бывало, продолжал свои магические фокусы. Окончив, он вышел с остальными в сад и сказал:

— Я делаю это только затем, чтобы укрепить в этих людях веру, потому что эти фокусы надолго наносят удар их кучерскому вольнодумству и способствуют их обращению.

— Как вижу,— сказал жених,— мой друг среди прочих своих талантов не пренебрегает также и шарлатанством, чтобы совершенствоваться в нем.

— Мы живем в удивительное время,— ответил тот,— в наши дни не следует ничем гнушаться, ведь неизвестно, что к чему еще может пригодиться.

Когда оба друга остались вдвоем, Эмиль снова завернул в темную аллею и сказал:

— Почему в этот день, самый счастливый день моей жизни, я настроен так мрачно? Но уверяю тебя, хотя ты и не хочешь с этим считаться, что не в моей натуре вращаться в людском потоке, быть обходительным с каждым, не пренебрегать никем из родни, ни с ее, ни с моей стороны, относиться с глубоким уважением к родителям, делать комплименты дамам, принимать гостей и надлежащим образом заботиться о дворне и лошадях.

— Все это делается само собой,— сказал Родерих,— посмотри, ведь твой дом как раз для того и устроен, и твой дворецкий, который не сидит, сложа руки, и целый день на ногах, как будто на то и создан, чтобы умело все наладить и уберечь от замешательства самое многочисленное общество и достойно принять его. Предоставь же это ему и твоей прекрасной невесте.

— Сегодня утром, еще до восхода солнца,— сказал Эмиль,— я бродил по парку; на душе у меня было торжественно и радостно, и всем существом своим я чувствовал, что жизнь моя отныне определилась и стала серьезнее, что эта любовь дала мне родину и признание. Я проходил мимо беседки, услышал голоса: то была моя возлюбленная, с кем-то задумчиво беседовавшая.

„Ну, что,—спросил незнакомый голос,—не вышло ли все, как я говорила? Именно так, как я и знала, что случится. Ваше желание исполнилось, будьте же довольны этим“.—Я не хотел подходить к ним; немного погодя я приблизился к беседке, но они уже удалились. И вот теперь я думаю и думаю: что бы могли означать эти слова?

— Быть может, ты был давно любим ею, сам того не подозревая,—сказал Родерих,—тем больше твое счастье.

Зафел поздний соловей; его песнь, казалось, сулила влюбленному радость и счастье. Эмиль задумался.

— Если хочешь развлечься,—предложил Родерих,—то пойдем со мной вниз в деревню; там ты увидишь вторую пару, так как не воображай, пожалуйста, что сегодня только ты один празднуешь свадьбу. Один молодой работник от скуки и одиночества спутался с противной служанкой, и теперь этот дуралей считает себя обязанным жениться на ней. Сейчас они, наверно, уже нарядились; нужно не пропустить этого зрелища, потому что оно, без сомнения, весьма занято.

Печальный юноша дал своему весело болтающему другу увлечь себя, и вскоре они подошли к хижине. Шествие только что вышло, направившись к церкви. Работник был в своей обычной холщовой куртке и мог похвастаться лишь кожаными штанами, которые он начистил до блеска; он был простоват на вид и казался смущенным. Загорелая невеста сохранила лишь последние немногие остатки молодости; она была грубо и бедно, но опрятно одета; красные и синие, уже слегка выцветшие, шелковые ленты развевались на ее лифе; больше всего, однако, она была обезображена тем, что волосы ее при помощи жира, муки и булавок были гладко зачесаны назад и туго закручены на макушке; на самой верхушке воздвигнутой башни торчал веночек. Она смеялась и казалась веселой, но все же была стыдлива и застенчива. Старые родители шли за ними; отец был тоже только работник на дворе, и их жилище, домашняя

утварь, так же как и одежда,— все выдавало крайнюю нужду. Косоглазый грязный музыкант следовал за шествием, пиликал на скрипке и при этом кричал. Скрипка была склеена наполовину из картона, наполовину из дерева, вместо струн были натянуты три бечовки. Шествие остановилось, когда новый барин подошел к людям. Некоторые озорные слуги, молодые парни и девушки балагурили, смеялись и издевались над женихом и невестой, особенно горничные, воображавшие себя красивее и казавшиеся самим себе несравненно лучше одетыми. Ужас охватил Эмиля, он оглянулся на Родериха, но тот снова исчез. Развязный парень с головой Тита, слуга одного из гостей, протискался к Эмилю и, желая показаться остроумным, крикнул:

— Ну, милостивый государь, что вы скажете о блестящей паре? Оба еще не знают, откуда завтра возьмут хлеба, а сегодня после обеда они все же дадут бал, музыкант уже прибыл.

— Нет хлеба?— сказал Эмиль.— Может ли это быть?

— Их нищета известна всем,— продолжал тот сплетничать,— но парень говорит, что он будет любить девушку, даже если за ней нету приданого! О, конечно, любовь всесильна! Эти голодранцы никогда не имели постели, даже эту ночь они должны спать на соломе. Брагу, которой они хотят упиться, они тоже себе выклянчили.— Все кругом громко хохотали, а оба осмеянные несчастные опустили глаза.

Эмиль гневно оттолкнул от себя болтуна.

— Возьмите,— воскликнул он и бросил в руки одетейшего жениха сто дукатов, которые он получил утром. Родители и молодые громко заплакали, неловко упали на колени и целовали ему руки и платье. Он старался освободиться от них.— Уберегите этим себя от нищеты так долго, как только сможете,— крикнул он, ошеломленный.

— О, всю жизнь, милостивый господин, мы будем счастливы!— воскликнули все.

Он не знал, как ушел оттуда. Он очутился один

и неверными шагами поспешил в лес. Он нашел в чаще уединенное место, бросился на холм, поросший травой, и дал волю слезам.

— Мне противна жизнь!— рыдал он, глубоко потрясенный;— я не могу быть веселым и счастливым, я не хочу этого! Прими меня скорей ты, милая земля, спрячь меня в своих холодных объятиях от диких зверей, которые называют себя людьми! Небесный боже! Чем заслужил я, что покоюсь на пуховиках и ношу шелк, что виноград отдает мне свою драгоценную кровь и все настойчиво предлагают и несут мне любовь и честь? Эти бедняки лучше и благороднее меня, и нищета — их кормилица, а насмешка и ядовитая издевка — их поздравления. Греховным кажется мне всякий лакомый кусок, который я вкушаю, всякий напиток из граненого стакана, мой сон на мягкой постели, золото и драгоценности, что я ношу на себе, тогда как мир тысячи тысяч раз гонит несчастных, алчущих сухой корки хлеба, не знающих, что такое отрада. О, теперь я понимаю вас, благочестивые святые, вас, отверженные, вас, осмеянные, которые раздавали беднякам все, до одежды, и опоясав чресла сумой, сами, как нищие, хотели испытать поношения и пинки, которыми грубая наглость и богатое распутство гонят нищету от своего стола; вы сами стали нищими, чтобы отогнать от себя грех пресыщения.

Все образы мира, подобно туману, заколебались перед его взором. Он решил принимать отверженных за своих братьев и удаляться от счастливых. Давно уж его ожидали в зале к бракосочетанию, невесту охватило беспокойство, родители искали его в саду и парке; наконец, он вернулся, выплакавшийся и облегченный, и торжественный обряд был свершен.

Из нижней залы все направились к открытой галерее, чтобы сесть к столу. Впереди шли жених и невеста, остальные попарно следовали за ними; Родерих предложил руку молодой девушке, бойкой и разговорчивой.

— Почему это невесты всегда плачут и при бракосочетании имеют такой серьезный вид?—спросила она, пока они поднимались на галерею.

— А потому, что в это мгновение они живее всего бывают проникнуты значительностью и таинственностью жизни,— отвечал Родерих.

— Но наша невеста,—продолжала девушка,—торжественностью своей превосходит всех, когда-либо виденных мною; и вообще, она всегда так грустна, от души смеющейся ее никогда не увидишь.

— Тем больше чести это делает ее сердцу,—ответил Родерих, который, против своего обыкновения, был не в духе.—Быть может, вы не знаете, сударыня, что невеста несколько лет тому назад взяла на воспитание прелестного ребенка, сиротку девочку. Малютке этой она посвящала все свое время, и любовь нежного существа была ей сладостной наградой. Девочке минуло семь лет, когда она пропала во время прогулки по городу, и, несмотря ни на какие усилия, ее до сих пор не удалось найти. Благородное существо так близко приняло к сердцу это несчастье, что с того времени она страдает меланхолией, и ничто не в состоянии отвлечь ее от тоски по маленькой подруге.

— В самом деле, преинтересно!—воскликнула девушка;—все это в дальнейшем может развиваться весьма романтически и послужить поводом для приятнейших стихов.

Все заняли места за столом. Жених и невеста сели посредине; перед ними расстился веселый ландшафт. Все болтали и провозглашали тосты; царило самое оживленное настроение; родители невесты были совершенно счастливы, только жених был задумчив и тих, мало пил и ел и не принимал участия в разговорах. Он испугался, когда сверху раздались звуки музыки; однако снова успокоился, потому что в воздухе продолжали звучать лишь мягкие переливы рогов, которые нежно прошелестели над кустами, поплыли через парк и замерли у далекой горы. Родерих расположил музы-

кантов в галлерее над обедающими, и Эмилю распоряжение это понравилось. К концу обеда он вызвал к себе дворецкого и сказал, обращаясь к невесте:

— Дорогой друг, позволь и бедности принять участие в нашем избытке.— Вслед за тем он приказал послать достаточно вина и в изобилии разных печений и кушаний бедной новобрачной чете, чтобы этот день и для нее был днем радости, о котором она впоследствии могла бы охотно вспоминать.

— Вот видишь, мой друг,— воскликнул Родерих,— как на свете все прекрасно складывается! Ведь мои бесполезные шатания и болтовня, за которые ты меня так часто осуждал, вызвали этот хороший поступок.

Многим захотелось сказать хозяину что-нибудь приятное по поводу его сострадания и доброго сердца, и барышня заговорила о прекрасном образе мыслей и благородстве души.

— О, не будем говорить! — гневно воскликнул Эмиль.— Это вовсе не хороший поступок, даже вообще не поступок, это ничто! Если ласточки и коноплянки кормятся выброшенными крохами нашего избытка и носят их в гнезда своим птенцам, неужели я не должен был вспомнить о бедном нуждающемся во мне собрате? Если бы я мог следовать влечению своего сердца, то вы так же бы меня осмеяли, так же бы надо мной издевались, как над всяким другим, который удалился бы в пустыню, чтобы ничего больше не знать о свете и его благородстве.

Все замолчали, и Родерих заметил в горящих глазах своего друга сильнейшее неудовольствие; он боялся, как бы Эмиль не забылся еще больше в своей досаде, и постарался быстро перевести разговор на другие предметы. Однако Эмиль стал беспокойным и рассеянным; взгляд его особенно часто направлялся на верхнюю галлерею, где деловито суетились слуги.

— Кто эта отвратительная старуха, которая так хлопчет там наверху и то-и-дело появляется в своем сером плаще? — спросил он, наконец.

— Это одна из моих служанок,— сказала невеста;— ей поручен надзор за камеристками и младшими де-вushками.

— Как можешь ты терпеть возле себя такое уродство?— возразил Эмиль.

— Оставь ее,— ответила молодая женщина;— ведь и уроды жить хотят, а так как она хорошая и честная женщина, то может быть нам очень полезна.

Тут встали из-за стола, и все окружили новобрачного, снова желая ему счастья, а затем стали упрашивать дать разрешение на бал. Невеста очень ласково обняла его и сказала:

— Ты не откажешь мне в моей просьбе, мой милый; ведь все мы предвкушали это удовольствие. Я так давно не танцевала, и ты сам еще ни разу не видел меня танцующей. Разве тебе не интересно посмотреть на мое искусство?

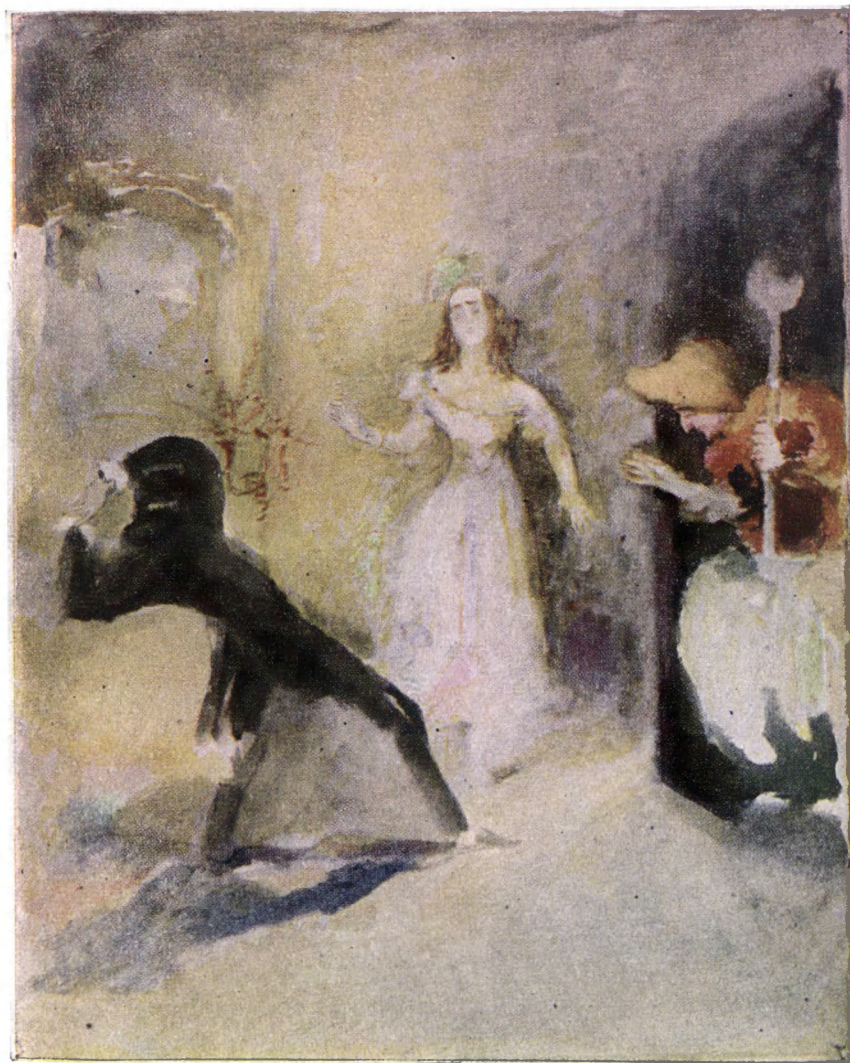
— Такой веселой я никогда еще не видал тебя,— сказал Эмиль.— Не хочу быть помехой вашей радости, делайте, что хотите, только пусть никто не требует, чтобы я сам неуклюжими прыжками сделал из себя посмешище.

— Ну, если ты плохой танцор,— сказала она, смеясь,— то можешь быть уверен, что каждый охотно оставит тебя в покое.— С этими словами невеста удалилась, чтобы переодеться и надеть бальное платье.

— Она не знает,— сказал Эмиль Родериху, с которым он отошел в сторону,— что я могу проникнуть к ней из соседней комнаты через потайную дверь; я хочу неожиданно войти к ней.

Когда Эмиль ушел и многие дамы также удалились, чтобы внести в свои туалеты необходимые для танцев изменения, Родерих отозвал молодых людей в сторону и повел их в свою комнату.

— Уж близок вечер,— сказал он,— скоро стемнеет; теперь живо каждый в свой маскарадный костюм, чтобы как можно ярче и безумнее провести эту ночь! Что только вам ни взбредет на ум— не стесняйтесь, чем





пуше, тем лучше! Чем страшнее будут уроды, в которых вы сумеете превратиться, тем больше я вас похвалю. Самые отвратительные горбы, самые безобразные животы, самые нелепые одеяния — все на показ сегодня! Свадьба ведь такое удивительное событие; совершенно новый, необычный порядок вещей, точно в сказке, сваливается на голову повенчавшихся так внезапно, что этот праздник надо справлять как можно сумбурнее и глупее, хоть как-нибудь мотивируя этим в глазах новобрачных внезапную перемену, чтобы они, словно в фантастическом сне, перенеслись в новое состояние; а потому давайте беситься всю ночь и не поддавайтесь никаким уговорам тех, кто стал бы прикидываться благоразумным.

— Не беспокойся,— проговорил Андерсон,— мы привезли с собой из города большой сундук, полный масок и невероятных пестрых костюмов, ты и сам поразишься.

— Посмотрите-ка,— сказал Родерих,— что я купил у своего портного, который уже хотел изрезать это драгоценное сокровище на лоскутки. Он выторговал этот наряд у одной старой тетки, которая, наверно, щеголяла в нем на шабаше у сатаны. Взгляните на этот багрово-красный корсаж, обшитый золотыми галунами и бахромой, на этот сверкающий позолотой чепец, который, наверно, придаст мне необыкновенно почтенный вид; затем еще я надену вот эту зеленую шелковую юбку с яркожелтой отделкой и эту безобразную маску и, переодетый старухой, поведу весь хоровод карикатур в спальню. Одевайтесь скорее, и мы торжественно отправимся за молодой.

Еще звучали рога, гости прогуливались по саду или сидели перед домом. Солнце скрылось за хмурыми тучами, все окутали серые сумерки, как вдруг из-под облачного покрова еще раз прорвался прощальный луч и словно багровой кровью обрызгал всю местность и особенно здание с галереями, колоннами и гирляндами. Тогда родители невесты и остальные зрители увидели небывалое шествие, колыхавшееся вверх по лестнице:

Родерих в образе красной старухи впереди, следом за ним горбуны, толстопузые уроды, чудовищные парики, тартальи, полишинели и призрачные пьерро, женщины в топорщащихся кринолинах и с высоченными прическами,— отвратительнейшие фигуры, все словно из какого-то жуткого сна. Паясничая, вертясь и раскачиваясь, семеня и рисуясь, они прошли через галерею и исчезли в одной из дверей. Лишь немногие из зрителей засмеялись, так поразило всех странное зрелище. Вдруг из внутренних комнат раздался пронзительный крик, и оттуда в кровавый закат выбежала бледная невеста, в белом коротком платье с трепетавшими на нем цветами; прекрасная грудь была совершенно обнажена, густые локоны развевались по ветру. Как безумная, с блуждающим взором, с искаженным лицом, она ринулась через галерею и, ослепленная ужасом, не находила ни дверей, ни лестницы, а вдогонку за ней Эмиль с блестящим турецким кинжалом, зажатый в высоко поднятой руке. Она была уже в конце галереи, дальше бежать было некуда, он настиг ее. Маскированные и серая старуха бросились за ним. Но он уже яростно пронзил ей грудь и перерезал белую шею; ее кровь струилась, блестя в вечернем свете. Старуха схватилась с ним, чтобы оттащить назад; в борьбе он опрокинулся вместе с ней через перила, и оба разбились у ног родственников, в немом отчаянии созердавших кровавую сцену. Наверху и во дворе, спеша вниз по галереям и лестницам, пестрыми группами стояли и сбегали отвратительные личины, подобные адским демонам.

Родерих обнял умирающего. Он застал Эмиля в комнате его жены, игравшего кинжалом. Когда он вошел, она была почти одета; при виде отвратительной красной старухи в нем ожили воспоминания, перед ним встала жуткая картина той ночи; со скрежетом бросился он на дрожащую, метнувшуюся от него невесту, чтобы покарать ее за убийство и ее дьявольские козни. Старуха, умирая, подтвердила совершенное преступление, и весь дом погрузился в скорбь, горе и отчаяние.

## ЖИЗНЬ ЛЬЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ

Суровой зимою в конце февраля случилось странное происшествие, о причине которого, о том, как все было, и о наступившем затем успокоении в столице носились самые невероятные и противоречивые слухи. Естественно, что когда каждому хочется поговорить и рассказать, не зная в чем собственно дело, то даже обыкновенный случай приукрашивается вымыслом.

Событие это произошло в предместье, довольно людном, на одной из самых узких его улиц. То говорили, что какой-то предатель и бунтовщик обнаружен кем-то и схвачен полицией, то, что какой-то безбожник, севшийся с другими атеистами, захотел вырвать с корнем религию, но что после упорного сопротивления он сдался начальству и сидит теперь под замком, пока не наберется лучших убеждений и правил. Но перед тем он, еще у себя на квартире, защищался с помощью старой пиццали и даже палил из пушки, и до тех пор, пока он не сдался, лилась кровь, так что консистория и уголовная палата будут, пожалуй, настаивать на его казни. Политиканствующий башмачник высказал предположение, что арестованный — это эmissар, который, будучи главой многих тайных обществ, находится в теснейших отношениях со всеми революционерами Европы; в его руках сходятся нити из Парижа, Лондона, Испании, а также из восточных провинций, и дело уже дошло до того, что в далекой Индии готово разразиться

чудовищное восстание, которое перекинется тотчас, подобно холере, в Европу, чтобы воспламенить весь горючий материал.

Достоверно известно было лишь то, что в одном маленьком домике произошел какой-то бунт, была вызвана полиция, народ зашумел, замечены были видные люди, которые вмешались в дело, и спустя некоторое время все опять утихло, причем никто не уловил действительной связи. Нельзя было отрицать некоторых разрушений в самом доме. Каждый представлял себе дело так, как подсказывали ему настроение или фантазия. плотники и столяры исправили затем все повреждения.

В доме этом жил человек, которого не знал никто из окружающих. Был ли это ученый? Или он занимался политикой? Местный ли это житель? Или пришлый? На этот счет никто, даже самый большой умница, не мог дать удовлетворительного разъяснения.

Знали только, что этот неизвестный жил очень тихо и уединенно, его никогда не видели на прогулке, где-либо в общественных местах. Он был еще не стар, хорошо сложен, и его молодую жену, разделявшую с ним уединение, можно было назвать красавицей.

На святках молодежавый мужчина, о котором идет речь, сидя в своей комнатке и плотно прижавшись к печке, так говорил своей жене:

— Ты знаешь, милая Клара, как я люблю и почитаю господина Зибенкеса нашего Жан-Поля\*; но как этот юмористически настроенный герой вышел бы из положения, в котором мы с тобой оказались, остается для меня загадкой. Не правда ли, милочка, теперь, кажется, все средства исчерпаны?

— Конечно, Генрих,— отвечала она с улыбкой и тут же вздохнула,— но если ты остаешься веселым и жизне-

\* Зибенкес—герой романа Жан-Поля Рихтера „Цветы, плоды и шпы, или брачная жизнь и свадьба адвоката бедных Зибенкеса“.

радостным, милейший друг, то возле тебя и я не могу себя чувствовать несчастной.

— Несчастье и счастье — это только пустые слова, — отвечал Генрих; — когда ты покинула дом своих родителей и ушла со мной и когда ты с таким великодушием ради меня пренебрегла всеми предрассудками, тогда-то наша судьба и решилась на всю жизнь. Жить и любить стало нашим девизом; а то, как мы будем жить, казалось нам совершенно безразличным. И я хотел бы еще теперь спросить от полноты сердца: кто во всей Европе может быть таким счастливецом, каким я по праву, чувствуя это всеми силами своей души, смею себя назвать?

— У нас во всем недостаток, — сказала она, — все наше достояние друг в друге, и я ведь знала, когда мы с тобой соединились, что ты небогат; для тебя тоже не было тайной, что я ничего не могла взять с собой из родительского дома. Так нужда и любовь слились для нас воедино, и эта комнатка, наши беседы, наши взгляды в любимые очи — в этом вся наша жизнь.

— Верно! — воскликнул Генрих, вскакивая от радости, чтобы порывисто обнять красавицу. — Как стеснены, постоянно разлучаемы, одиноки и светски-рассеяны были бы мы теперь в этом кругу знати, если бы все пошло своим заведенным порядком. Какие там взгляды, разговоры, рукопожатия, идеи! Животных, даже марионеток, можно было бы так выдрессировать и вышколить, что они произносили бы те же комплименты и прибегали бы к тем же оборотам речи. И, стало быть, мы, мое сокровище, живем в нашем раю, подобно Адаму и Еве, и ни одному ангелу не приходит на ум такая ненужная мысль — изгнать нас отсюда.

— Но, — молвила она тихо, — дрова уже совсем подходят к концу, а эта зима самая суровая из всех пережитых мной.

Генрих засмеялся.

— Слушай, — воскликнул он, — я смеюсь из чистой злости, но все-таки это еще смех не отчаяния, а неко-

тогого смущения, потому что я совершенно не представляю себе, где я мог бы достать денег. Но средство должно найтись; потому что немислимо, чтобы мы замерзли при такой горячей любви, с такой горячей кровью! Просто-напросто невозможно!

Она в ответ весело рассмеялась и возразила:

— Если бы я, так же как Ленетта\*, набрала с собой платьев, которые можно было бы продать, или если бы в нашем хозяйстве водились лишние столовые приборы или медные ступки и кастрюли, то выход легко было бы найти.

— О, да,—сказал он задорно,—если бы мы были миллионерами, как тот Зибенкес, то было бы немудрено, что мы могли бы покупать дрова и даже лучшую пищу.

Она заглянула в печь, где варилась хлебная похлебка, составлявшая весь их скудный обед, за которым подавалось в виде десерта немного масла.

— Пока ты,—сказал Геприх,—займешься распоряжениями по кухне и отдашь повару необходимые приказания, я засяду за свои труды. С какой охотой стал бы я писать вновь, если бы у меня не вышли все чернила, бумага и перья; я непрочь бы и почитать что бы то ни было, если бы только в моем распоряжении была хоть какая-нибудь книга.

— Ты должен мыслить, мой дорогой,—сказала Клара и лукаво на него посмотрела;—надеюсь, что мысли у тебя еще не совсем иссякли.

— Драгоценная супруга,—возразил он,—наше хозяйство так велико и обширно, что оно, вероятно, поглотит все твое внимание; не отвлекайся же, чтобы наше экономическое положение не пришло от этого в расстройство. А так как я отправляюсь сейчас в мою библиотеку, то ты оставь меня в покое; должен же я расширять свои познания и давать пищу уму.

— Он совсем особенный,—сказала про себя жена и радостно засмеялась,—и до чего же он хорош!

\* Ленетта — жена Зибенкеса.

— Итак, я снова перечитываю в моем дневнике,— говорил Генрих,— мои прежние записи, и мне хочется изучать их в обратном порядке, начать с конца и постепенно готовиться к началу, чтобы лучше его понять. Всякое истинное знание, всякое произведение искусства и глубокое мышление всегда должны очерчивать круг, внутренне соединяя начало с концом, подобно змее, жалящей свой хвост—образ вечности, как говорят некоторые, символ разума и всего истинного, как я утверждаю.

Он прочел на последней странице, но уже вполголоса:

— „Существует сказка, что один отчаянный преступник, приговоренный к голодной смерти, постепенно съедал самого себя; в сущности, это басня о жизни и о каждом из нас. У того остались, в конце концов, только желудок и челюсть, у нас же остается душа, как принято называть непостижимое. Подобным же образом и я отбрасывал как отжившее также и то, что относится к чисто внешнему существованию. Смешно даже, что я еще имел фрак со всеми принадлежностями, никогда не бывая в обществе. В день рождения моей жены я представлюсь ей в сорочке и жилетке, так как неприлично ухаживать за людьми высшего света в довольно-таки поношенном сюртуке“.

— На этом кончаются и страница и книга,—сказал Генрих.— Все соглашаются, что фрак глупая и безвкусная одежда, все считают его безобразным, но никто не решается всерьез, как я, отделаться от этого хлама. И я никак не могу вычитать из газет, последуют ли другие мыслящие люди моему смелому и примерному поступку.

Он перевернул лист и прочел на предшествующей странице:

— „Жить можно и без салфеток. Если подумать, как наша жизнь все более и более заполняется суррогатами и как все увеличиваются всевозможные способы замены недостающего, то я проникаюсь подлинной ненавистью к нашему скупому и скаредному веку и прихожу к ре-

шению, так как я в этом властен, жить по образу наших несравненно более щедрых предков. Эти убогие салфетки — сами англичане знать их не хотят и презирают их — явно изобретены для того, чтобы оберегать скатерть. А если, таким образом, считать за проявление широты натуры нежелание беречь простую скатерть, то я пойду еще дальше, объявляя излишней и праздничную скатерть с салфетками в придачу. Продадим и то и другое, чтобы обедать на чистом столе, по образу патриархов, по обычаю — ну, каких же народов? Безразлично! Ведь столько людей на свете не пользуется вовсе столом при еде. И, как уже сказано, я прибегаю к этому не из циничной скарденности, по образу Диогена в бочке, но, напротив, в сознании моего благополучия, чтобы только не стать расточителем из глупой бережливости, как это происходит в наше время“.

— Вот это верно, — сказала, улыбаясь, супруга; — но тогда мы жили еще мотами благодаря продаже такого рода излишних вещей. Часто даже у нас бывало два блюда.

Но вот оба супруга уселись за скудный обед. Глядя на них, можно было им позавидовать, до того беспечно веселы были они за их простой едой. Когда хлебная похлебка была уничтожена, Клара вынула из печки прикрытое блюдо и подала изумленному супругу несколько картофелин.

— Смотри, — воскликнул он, — это называется доставить человеку, пресытившемуся изучением стольких книг, нечаянную радость! Этот прекрасный корнеплод содействовал великому перевороту в Европе. Да здравствует герой этого переворота Вальтер Ралей!\* — Они чокнулись стаканами с водой, и Генрих посмотрел затем, не треснул ли его стакан от этой вспышки энтузиазма.

— Самые богатые государи древности, — сказал он, — позавидовали бы этому невероятному искусству, этому

\* Вальтер Ралей в 1584 г. вывез картофель из Виргинии и положил начало его культуре в Англии и особенно в Ирландии.



введению стаканов в ежедневный быт. Скучно, я думаю, пить из золотого кубка, особенно такую прекрасную, чистую, здоровую воду. Но в наших стаканах до того светла и прозрачна освежающая струя, до того сливается она с бокалом, что, кажется, вливаешь в себя эфир, ставший влагою. Наше пиршество окончено; обнимемся же.

— Мы можем теперь для разнообразия,— сказала она,— придвинуть наши стулья к окну.

— Места у нас довольно,— сказал муж,— настоящий ипподром, если вспомнить о клетках, которые Людовик Одиннадцатый\* приказывал строить для своих опальных. Невероятно, сколько счастья заключено уже в том, что можно поднять, как вздумается, руку или ногу. И все-таки мы еще скованы, если подумать о желаниях, которые охватывают нас и не позволяют нам взлететь, и силки и мы до того связаны друг с другом, что часто наша тюрьма кажется нам нашим лучшим „я“.

— Не будь так глубокомыслен,— сказала Клара, касаясь его красивой руки своими нежными и гибкими пальцами; — лучше посмотри, какими причудливыми ледяными узорами мороз разукрасил наши окна. Моя тетка не раз утверждала, что благодаря этим затянутым толстым льдом окнам комната кажется теплее, чем когда стекла чисты.

— Это вполне возможно,— сказал Генрих; — но я не стал бы пренебрегать дровами, основываясь на этом мнении. В конце концов, лед на окнах может стать таким толстым, что загроздит всю комнату, и нам некуда будет двинуться, как в том доме петербургском\*\*. Лучше уж будем мы жить по-бюргерски, чем по-княжески.

— Как чудесен, как богат рисунок этих цветов! — воскликнула Клара. — Кажется, будто они уже встречались нам в действительности, хотя мы и не знаем их названий. Посмотри, то здесь, то там один цветок по-

\* Людовик XI — король французский (1461—1483).

\*\* „Ледяной дом“ был выстроен на Неве в 1740 г. для забавы императрицы Анны Иоанновны.

крывает другой, и мнится, эти великолепные листья растут на наших глазах.

— Интересно,— спросил Генрих,— исследована ли вся эта флора ботаниками, срисована ли она и занесена ли в их ученые книги? Повторяются ли формы этих цветов и листьев по известным законам или подвергаются все новым фантастическим изменениям? Твое дыхание, твой нежный вздох вызвали эти призраки или тени цветов давно угасшей эпохи, и подобно тому как ты нежно и мило думаешь и гредишь, так некий остроумный гений передает твои причудливые мысли и чувства узорными фантомами или привидениями, словно бледными письменами в каком-то изменчивом альбоме, и я читаю в нем, как ты мне верна и предана и как тебя не покидают мысли обо мне, хоть я и сижу возле.

— Очень галантно, мой уважаемый повелитель!— ответила она ласково.— Вы могли бы давать к этим ледяным узорам поучительные и содержательные пояснения, похоже на те изящные и ученые толкования, которые встречаются в очерках о шекспировских пьесах.

— Постой, дружочек,— возразил супруг,— не будем забираться в эту область, и не обращай ко мне никогда, хотя бы и в шутку, на вы. Теперь, после нашего роскошного обеда, я снова примусь за изучение моего дневника. Эти монологи уже сейчас помогают мне разбираться в себе самом, насколько же большее значение они будут иметь для меня под старость. Разве может дневник не быть монологом? И все-таки подлинно гениальному художнику мыслимо представлять себе и вести его диалогически. Но мы редко прислушиваемся ко второму голосу внутри нас. Еще бы! Найдется ли хоть один человек из многих тысяч, который по-настоящему вникал бы в сказанное умным собеседником и воспринимал бы верно его ответы, если они не соответствуют привычкам и запросам говорящего.

— Это правда,— заметила Клара,— и потому-то создан брак в его высоком значении. В любви женщины всегда звучит этот второй голос, правдивый отклик ее души.

И поверь мне, то что вы так часто, по вашей мужской заносчивости, называете нашей глупостью или недалелью-видностью, а не то так женской логикой, неспособностью проникнуть в сущность жизни — и много еще подобных фраз, — вот в этом-то именно и заключается настоящая сущность духовного диалога как дополнения или гармонического созвучия с вашими душевными тайнами. Однако ж, большинство мужчин довольствуется одним лишь бесцветным эхом, и они называют это голосом природы, созвучием душ, а это, в сущности, только неосознанный и пустой отзвук плохо понятых фраз. Но большей частью это и есть их идеал женственного, в который они до смерти влюблены.

— Ангел небесный! — восторженно воскликнул молодой супруг. — Да, мы понимаем друг друга; наша любовь — это настоящий брак, и ты освещаешь и дополняешь во мне тот мир, где чувствуется сумрак и неполнота. Если существуют оракулы, то не должно быть недостатка и в тех, кто слушает их и разумеет.

За этими словами, в подтверждение сказанного, последовало долгое объятие.

— Поцелуй, — сказал Генрих, — тот же оракул. Разве есть люди, которые могут подумать что-либо разумное, искренно сливаясь в поцелуе?

Клара громко рассмеялась, потом вдруг стала серьезной и сказала с какой-то робостью, в которой сквозило сожаление:

— Да, да, а как мы поступаем с нашими слугами, ключниками, стремянными и конюшими, которым мы так часто многим обязаны? Если мы чем-либо возбуждены или капризно настроены, мы высказываем им наше презрение либо высмеиваем их. Мой отец перепрыгнул однажды на своем черном жеребце через широкую яму, и в то время как все кругом удивлялись ему, а дамы хлопали в ладоши, один только старый конюший, стоявший поблизости, неодобрительно качал головой. Этот человек был медлителен и неуклюж, он был смешон со своей длинной косицей и красным но-

сом. „Ну, а вы,— обрушился на него мой вспльчивый отец,— вы опять станете меня школить?“ Но этот прямой и твердый человек не потерял самообладания и спокойно ответил: „Во-первых, ваше превосходительство недостаточно отпустили поводья, потому что вы оробели; прыжок не был в меру свободен и широк, и вы могли бы упасть; во-вторых, заслуга коня была не меньше вашей, а в-третьих, если бы я не дрессировал животное целыми часами и днями, не боясь скуки и не теряя терпения, то и ваше удажество и добрая воля жеребца оказались бы бесплодны“.— „Да, это правда, старик“,— сказал мой отец и велел щедро его одарить.— Так и мы. Мы смеем только тогда фантазировать, отдаваясь своим ощущениям и предчувствиям, грезить и сыпать острыми словечками, когда сухой рассудок уже вышколил всех этих коней. Но осмелся всадник или лошадь на такой отважный прыжок, будучи только диллетантами, они сорвались бы, к общему ужасу или веселью, в канаву.

— Да, это верно,— заметил Генрих,— наша современность подтверждает это на примерах стольких мечтателей или поэтов. Находятся писатели, которые, попав на ложный путь, все же простодушно решаются на этот требующий такого умения прыжок. О твой отец!

Клара посмотрела на него полными жалости глазами, и он не смог вынести ее взгляда.

— Да, отец,— сказал он, несколько удрученный,— в этом слове так много слилось. И чего мне еще надо? Ты оказалась в состоянии покинуть его, хоть ты и очень его любишь.

Оба задумались.

— Мне хочется почитать дальше,— сказал молодой человек.

Он раскрыл дневник и перевернул с конца еще один лист. Он громко прочитал:

— „Сегодня я продал жадному букинисту редкий экземпляр Чосера, в старом драгоценном издании Кексто-

на \*. Мой друг, милый, благородный Андреас Вандельмеер, подарил мне его в день моего рождения, отпразднованный в юности в университете. Он сам выписал его из Лондона за большую цену и отдал переплести по собственному вкусу в великолепный, богатый переплет со множеством готических украшений. Старый скряга, заплатив мне так мало, сейчас же, должно быть, послал его в Лондон, и получит, конечно, вдесятеро. Надо было мне, по крайней мере, вырезать хоть тот лист, на котором я рассказал историю этого подарка и одновременно пометил наш теперешний адрес. Все это попадет в Лондон или в библиотеку какого-либо богача. Досада берет меня. И то, что я должен был расстаться с этим дорогим мне экземпляром и продать его за бесценок, почти натолкнуло меня на мысль, что я, действительно, обнищал и терплю нужду; ведь эта книга была моим самым драгоценным достоянием, каким я когда-либо обладал, памятью о нем, моем единственным друге! О Андреас Вандельмеер! Жив ли ты еще? Где ты? Помнишь ли ты меня?\*

— Я видела, как больно было тебе продавать книгу, — сказала Клара, — но ты ни разу не рассказывал мне подробно об этом друге твоей юности.

— Это был юноша, — сказал Генрих, — подобный мне, но несколько старше и гораздо степеннее. Мы были знакомы со школьной скамьи, и он, можно сказать, преследовал меня своей любовью и страстно навязывал мне ее. Он был богат, но при всем своем большом богатстве и изнеживающем воспитании приветлив и далек от всякого эгоизма. Он жаловался, что я не разделяю его страсти, что моя дружба чересчур холодна и не удовлетворяет его. Мы вместе учились и жили в одной комнате. Он хотел, чтобы я требовал от него жертв, потому что у него во всем был избыток, а мой отец мог оказывать мне лишь скромную поддержку.

\* Первое кекстоновское издание Чосера вышло в Лондоне в 1475 или 1476 г., второе — несколькими годами позже. Оба эти издания являются редчайшими английскими инкунабулами.

Когда мы возвратились в столицу, он задумал отправиться в Ост-Индию; ведь он был совершенно независим. Сердце влекло его к чудесам этих стран; там он хотел изучать и созерцать, утоляя свою горячую жажду познания, тоску по далеком. Пошли непрестанные уговоры, просьбы, мольбы сопровождать его; он уверял меня, что я найду там свое счастье, должен найти, так как он, конечно, поддержит меня; ведь его предки оставили ему там огромные имения. Но умерла моя мать, и в последние дни ее жизни я хоть немного смог воздать за ее любовь, был болен отец, и мне нельзя было разделить увлечение моего друга; притом я не обладал необходимыми познаниями, не изучил языков, а всем этим он свободно владел из любви к Востоку. Там еще жили его родственники, которых он хотел разыскать. Мои друзья и покровители, идя навстречу моему давнишнему желанию, доставили мне место в дипломатическом корпусе. Состояние, оставшееся после матери, позволило мне приличным образом подготовиться к поступлению на службу, мне предназначенную, и я оставил отца, на выздоровление которого почти не было надежды. Мой друг настаивал, что я должен дать ему часть моего капитала, с тем чтобы он пустил его там в оборот, а в будущем поделился бы со мной прибылями. Но я думаю, что таким способом он хотел получить предлог когда-нибудь преподнести мне значительный подарок. После того я прибыл в составе посольства в твой родной город, и ты знаешь сама, как сложилась там моя судьба.

— И ты ничего больше не слыхал об этом чудесном Андреасе?— спросила Клара.

— Два письма получил я от него из тех дальних стран,— ответил Генрих;— затем до меня дошли непроверенные слухи, что он умер там от холеры. Так я его потерял, отца уже не было в живых, и я был совершенно предоставлен самому себе, даже в том, что касается моего материального состояния. Но я пользовался расположением посла, при дворе ко мне относились

благодаря, я мог рассчитывать на могущественных покровителей — и все это пошло прахом.

— Конечно,— сказала Клара,— ты всем для меня пожертвовал, но и мои родные навсегда оттолкнули меня от себя.

— Тем более любовь должна заменить нам все,— сказал супруг,— и так оно и есть; потому что наш медовый месяц, как называют его прозаические люди, далеко уже вышел за пределы года.

— Но твоя прекрасная книга,— сказала Клара,— твои великолепные стихи! Если б у нас осталась хоть копия их. Какое наслаждение доставляли бы они нам этими длинными зимними вечерами! Правда,— добавила она, вздохнув,— для этого мы должны бы иметь в нашем распоряжении свечи.

— Ничего, Клерхен,— утешал ее муж,— мы болтаем, а это еще лучше; я слышу твой голос, ты поешь мне песни или ты раздражаешься божественным смехом. Никогда в жизни я не слышал такого смеха, как у тебя. В этом шаловливом веселье, в этой радости звучит такое чистое торжество, такое неземное ликование, притом до того тонкое и так глубоко проникающее в душу, что я в восхищении прислушиваюсь и в то же время размышляю и пытаюсь разобраться в этом. Потому что, моя дорогая, бывают такие случаи и настроения, когда человек, которого давным-давно знают, пугает, а иногда приводит в ужас, раздражаясь смехом, идущим из глубины души, какого до тех пор никогда от него не слышали. Это мне случалось наблюдать даже у чутких девушек, которые до тех пор мне нравились. Подобно тому как в некоторых сердцах дремлет неведомый нежный ангел, который только ждет некоего гения, чтобы тот его разбудил, так нередко в изящном и любезном человеке покоится где-то глубоко в подсознании совершенно плоский дух, который выходит из оцепенения, когда нечто комическое властно проникает в самую отдаленную область души. Наш инстинкт подсказывает нам тогда, что в этом существе есть что-то,

чего мы должны остерегаться. О, как полон значения и характерен смех человека! А твой, моя радость, я хотел бы когда-нибудь поэтически изобразить.

— Но поостережемся,—напомнила она,—от несправедливости. Чересчур пристальное наблюдение может легко привести к человеконенавистничеству.

— То, что тот молодой, легкомысленный издатель,—продолжал Генрих,—обанкротился и бежал с моим замечательным манускриптом куда-то на край света, без сомнения, тоже способствует нашему счастью. Легко могло стать, что сношения с ним, выпедная в свет книга, болтовня об этом в городе привлекли бы к нам внимание любопытных. Твой отец и твои родные, конечно, продолжают нас разыскивать; мой паспорт могло бы быть и еще раз и тщательнее проверен, могло бы возникнуть подозрение, что я живу под чужим именем, и будучи беспомощными, так как мое бегство навлекло на меня гнев моего правительства, мы могли бы быть задержаны и даже разлучены; тебя отослали бы к твоим родственникам, а меня впутали бы в сложный процесс. А в нашем тайнике, любимая, мы счастливы, сверхсчастливы.

Тем временем стемнело, огонь в печке погас, и оба счастливица отправились в узенькую, маленькую каморку на свое общее ложе. Здесь они не чувствовали возрастающего леденящего мороза, не слышали метели, стучавшей в окошко. Светлые сны убаюкивали их, счастье, довольство и радость окружали их среди прекрасной природы, и когда они проснулись после этих прелестных иллюзий, действительность еще глубже обрадовала их. Они долго еще болтали в темноте и не спешили вставать и одеваться; мороз и нужда поджидали их. Но вот забрезжил день, и Клара поторопилась в соседнюю комнатку, чтобы извлечь из пепла искру и развести в печи огонек. Генрих помогал ей, и они смеялись, как дети, над тем, что у них ничего не выходит. Наконец, после того как они долго и напряженно дули и раздували, так что лица у обоих покраснелись, щепка



вспыхнула, и небольшое количество умело наколотых дров было заботливо разложено, чтобы нагреть и печь и маленькую комнатку без всякого расточительства.

— Вот видишь, милый муженек,— сказала Клара,— наших припасов нам едва хватит на завтра: что же потом?

— Как-нибудь образуется,— ответил Генрих с таким взглядом, точно она сказала что-то совершенно ненужное.

Стало уже совсем светло, жиденькая похлебка, приправленная веселой болтовней и поделуями, сошла за отличный завтрак, и Генрих растолковал попутно супруге, до чего ложно латинское изречение: „Sine Baccho et Cerere fridet Venus“\*. Так проходил час за часом.

— Заранее радуюсь,— сказал Генрих,— что скоро дойду до того места в моем дневнике, где я рассказываю, моя любимая, как я вдруг вынужден был тебя похитить.

— О небо!— воскликнула она.— Как странно и неожиданно были застигнуты мы этим чудесным мгновением! Уже за несколько дней до того я заметила, что отец находится в каком-то раздражении; он резко переменял со мною тон. Он не раз удивлялся и прежде твоим частым посещениям; но теперь он, не называя тебя, говорил о мешанах, которые не знают своего места и навязываются в ровни к людям высшего света. Так как я не отвечала, то он стал сердиться, а когда я, наконец, заговорила, его раздражение перешло в неистовый гнев. Сначала я почувствовала, что он ищет со мной ссоры, а потом заметила, что он и сам наблюдает за мной и заставляет следить других. Спустя неделю, когда я выходила из дому, моя преданная камеристка нагнала меня на лестнице под предлогом, что ей надо что-то поправить в моем туалете,— лакей был впереди — и сказала мне шопотом, что все открыто, что мой шкаф взломан и найдены все твои письма и что через несколько

\* „Без Вакха и Цереры мерзнет Венера“, то-есть: без вина и хлеба стынет любовь.

часов я должна уже быть на дороге к моей тетке, жившей в глухой стороне. Мое решение было молниеносным. Я вышла из кареты у одной галантерейной лавки и отослала кучера и слугу, с тем чтобы они приехали за мной через час.

— А как я был удивлен, испуган, восхищен,— воскликнул супруг,— когда ты так неожиданно вошла в мою комнату! Я только что вернулся от посланника и был в визитном платье; он вел какие-то странные речи, в совершенно необычном тоне, то угрожая, то предостерегая, но все еще по-дружески. К счастью, при мне оказались различные паспорта, и мы, не медля ни минуты, без всяких приготовлений, взяли до первой деревни извозчика, а там телегу и, перейдя границу, обвенчались и стали счастливы.

— Но,— продолжала она,— дорогой нас поджидали тысячи досадных мелочей, скверные гостиницы, недостаток в одежде, отсутствие слуг при нас, мы были лишены стольких удобств, вошедших в привычку, а какой мы испытали страх, когда случайно от одного из проезжих узнали, что нас ищут, что все предано гласности и что решено действовать с нами без стеснения.

— Да, да, моя милая,— согласился Генрих,— за всю дорогу это был самый неприятный день. Вспомни, как мы, дабы не возбуждать подозрений, должны были вторить смеху этого болтливому чужеземцу, когда он стал характеризовать похитителя, который, на его взгляд, был очень жалким дипломатом, так как не смог надлежащим образом подготовиться и принять свои меры; как он не уставал называть твоего возлюбленного глупцом, простофилей, как ты готова была разразиться гневом, но по моему знаку овладела собой и начинала смеяться и даже старалась сама бранить нас, изображать меня и себя самое ветренниками, недоумками, и наконец, когда болтун, которому мы, как-никак, были обязаны за его невольное предостережение, удалился, ты разразилась громким плачем.

— Да,— воскликнула она,— да, Генрих, печальный это

был, но и забавный денек. Наши кольца и некоторые ценные вещи, которые случайно оказались при нас, очень содействовали нашему бегству. Но то, что мы не смогли спасти твоих писем,— это незаменимая утрата. И меня бросает в жар при мысли, что не только мои, но и чужие глаза пробежали эти небесные строки, эти пламенные признания в любви, и при звуках, которые были блаженством для меня, читавший испытывал одно озлобление.

— Хуже того,— продолжал супруг,— по глупости и чрезмерной поспешности, я оставил там все письма, которые ты в самых различных настроениях посылала мне или тайком совала мне в руку. Сплошь да рядом, не только в любви, именно черное по белому открывает тайну или ухудшает положение. И все-таки невозможно удержаться от того, чтобы с пером в руках не наносить на бумагу этих черточек, которые должны символизировать душу. О моя дорогая, в этих письмах звучали иногда такие слова, что, ощутив благодаря им твою духовную близость, какое-то веяние, исходящее от тебя, мое сердце так могуче расцветало, что, казалось, готово было разорваться от чрезмерно быстрого развертывания лепестков.

Они обнялись, и наступила почти торжественная пауза.

— Милая,— сказал затем Генрих,— какая библиотека составила бы у нас вместе с моим дневником, если б наши письма не подверглись жестокой участи, вызывающей в памяти калифа Омара\*.— Тут он взял дневник и прочел, перевернув назад страницу:

— „Верность!— это поразительное явление, которым человек так часто восхищается в собаке, сплошь да рядом недостаточно ценится в представителях рода человеческого. Просто невероятно, и все же так обыденно, до чего странные и путанные понятия многие соста-

\* По преданию, калиф Омар (634—644) при завоевании Египта сжег знаменитую Александрийскую библиотеку.

вляют себе из пресловутого долга. Когда слуга делает что-либо свыше человеческих сил, то оказывается, он только исполнил свой долг, и вокруг этого понятия долга высшие сословия так много мудрили, что они научились поворачивать его и так и сяк в угоду собственному эгоизму. Не будь жестоких работ на галерах, железной силы административного и правового принуждения, нам, вероятно, пришлось бы наблюдать самые странные явления. Бесспорно, что рабский труд всего великого множества наших канцелярий большей частью бесполезен в нынешнее время, а иногда даже прямо вреден.— Но если представить себе только, что в наш эгоистический век, при таком чувственном поколении, вдруг снесена эта плотина,— что произойдет тогда, какое это вызовет смятение?

Освободиться от долга—это цель, к которой стремятся так называемые интеллигенты всех слоев; они называют это независимостью, самостоятельностью, свободой. Им невдомек, что, чем ближе они к этой цели, тем более возрастают обязанности, которые до тех пор, пусть механически слепо, выполняло государство либо громадная, несказанно сложная, чудовищная машина общественного устройства. Все жалуется на тираннию, а между тем, каждый стремится стать тиранном. Богатый не признает никакого долга по отношению к бедняку, юнкерство—к своим крестьянам, князь—к своему народу, но каждый из них выходит из себя, когда подчиненные не выполняют своего долга по отношению к ним. Поэтому-то и нижние слои общества заявляют, что прошло время для подобных требований, что они давно отжили свой век, и эти слои с помощью риторики и софистики готовы все отвергнуть и уничтожить узлы, при которых только и возможно существование государства и развитие человечества.

Но верность, подлинная верность—как она непохожа, насколько она выше всеми признанных договоров и установленного отношения между обязанностями. И до чего красиво проявляется эта верность у старых слуг

в их готовности к самопожертвованию, когда они с не-притворной любовью, как бывало в стародавние поэтические времена, всей душой преданы своим господам.

В самом деле, я считаю большим счастьем, когда слуга не знает ничего более высокого, более благородного, чем служение своему повелителю. Для него не существует ни сомнений, ни долгих размышлений, ни неуверенных шатаний, никаких колебаний. Подобно смене дня и ночи, зимы и лета, подобно неизменным законам природы, протекает его жизнь; превыше всего для него любовь к господину.

И что же, к таким слугам у власть имущих нет никаких обязанностей? Они имеют их по отношению ко всем своим слугам и помимо положенной платы, но к таким, как эти, они должны проявлять, и в гораздо большей степени, нечто совершенно иное и несравненно более высокое, а именно, правдивую, истинную любовь, идущую навстречу этой безусловной преданности.

Чем же нам отблагодарить, чем воздать (об оплате тут не может быть и речи) за то, что делает для нас наша старая Христина? Она кормилица моей жены; мы нашли ее на первой же станции, и она почти силой заставила нас взять ее с собой. Ей можно было все сказать; она воплощенное молчание; она тотчас вошла в роль, которую ей пришлось играть и дорогою и здесь. И как она нам, особенно моей Кларе, предана! — Она живет в крохотном, темном чуланчике и существует единственно тем, что исполняет всякую случайную работу в нескольких соседних домах. Мы не могли понять, как она умудряется при наших скудных средствах поддерживать в порядке наше белье, как ей удается всегда так дешево покупать продукты, пока мы не догадались, что она жертвует нам всем, чем только может. Теперь она много работает на стороне, чтобы помочь нам, чтобы только не расставаться с нами.

Поэтому-то я и вынужден буду отречься от моего Чосера в издании Кекстона и принять позорное предложение скардного букиниста. Слово „отречься“ всегда

особенно волновало меня, когда его произносили женщины из низших слоев, которых нужда заставляла закладывать или продавать хорошее или любимое платье. Это звучит почти по-детски.— Отречься! — Лир — от Корделии, я — от моего Чосера. А разве Клара не продала еще дорогой своего единственного хорошего платья, того самого, в котором она бежала? Да, Христина дороже Чосера, и надо же ей дать кое-что из выручки. Правда, она ничего не захочет взять.

Калибан, удивляющийся пьяному Стефано, а еще более его вкусному вину, становится на колени перед пьяницей и молит, воздев руки: „Будь моим богом, прошу тебя, будь!“\*

Мы смеемся над этим; и стольким чиновникам, стольким высокопоставленным звездоносцам тоже смешно, хотя они обращаются порой к какому-нибудь жалкому министру или пьяному князю или к отвратительной метрессе, говоря: „Будь моим богом, будь! Я не знаю, на что мне обратить мою веру, чувство преклонения, потребность обожать кого-либо: я не знаю бога, в которого я мог бы верить, которому я мог бы поклоняться, посвятить ему свое сердце, совсем не знаю; будь же им ты — у тебя ведь прекрасное вино“.

Мы смеемся над Калибаном и его рабским сознанием, потому что здесь, как всегда у Шекспира, в комической форме скрывается бесконечная и поразительная истина; и мы тотчас же постигаем ее, как обобщение в этом образе Калибана стольких тысяч живых прототипов, и потому-то мы смеемся над этими многозначительными словами.

„Будь моим богом, будь!“ — сказала Христина Кларе, не выражая этого словами, но в тиши своего честного сердца; и не так, как Калибан или иные светские люди, не ради вина и чинов, но только для того, чтобы Клара позволила ей терпеть лишения, переносить голод и холод и работать на нее до глубокой ночи.

\* См. „Буря“ Шекспира. II. 2.

И нечего растолковывать читателю вроде меня, что тут есть некоторая разница“.

Умиление помешало им в тот день читать дальше, умиление, которое стало еще глубже, когда вошла старая, морщинистая, полубольная, убого одетая кормилица и объявила, что этой ночью ей не придется спать внизу в своем чуланчике, но что все-таки рано утром она сделает необходимые закупки. Клара вышла с нею, и они о чем-то еще говорили между собой, а Генрих ударил кулаком по столу и закричал в слезах:

— Почему это я не начну работать как поденщик? Я здоров, и сил у меня достаточно. Но нет, я не посмею; ведь это дало бы ей почувствовать всю глубину нашей нужды; она тоже старалась бы заработать что-либо, повсюду искала бы помощи, и мы оба сочли бы себя несчастными. Притом нас тогда уж наверное откроют. Пусть же все остается попрежнему, раз мы счастливы!

Клара вернулась с веселым видом, и скверный обед, как всегда, был уничтожен нашими оптимистами, словно перед ними были дорогие блюда.

— Мы могли бы не чувствовать никакой нужды,— сказала Клара, когда еда была окончена,—если б у нас вовсе не вышли дрова, и сама Христина не знает, как тут быть.

— Милая жена,— сказал Генрих совершенно серьезно,— мы живем в век цивилизации, в благоустроенном государстве, а не в среде язычников и людоедов; значит, пути и средства могут быть найдены. Окажись мы где-нибудь в необитаемом краю, я срубил бы несколько деревьев, подобно Робинзону Крузо. Кто знает, не встретишь ли там лес, где менее всего ожидаешь; ведь пришел же к Макбету Бирнамский лес\*, правда, на его погибель. Случается, целые острова вдруг поднимаются из глубы океана; посреди ущелий и диких

\* См. „Макбет“ Шекспира, V, 3—5.

скал возносят свои вершины пальмы, шиповник вырывает клочья шерсти у овец и ягнят, когда они пробегают мимо, и коноплянка уносит эти клочья в гнездо, чтобы приготовить теплую постель своим нежным птенчикам.

Клара на этот раз спала дольше обыкновенного и, проснувшись, очень удивилась тому, что на дворе уже белый день, а еще больше, что ее мужа не было рядом. До чего же она была поражена, когда отчетливо услышала какой-то громкий равномерный шум, напоминавший верезг пилы по твердому, неподатливому дереву. Она быстро оделась, чтобы доискаться причины этого странного явления.

— Генрих,—воскликнула она, подбегая к нему,— что это ты там делаешь?

— Я? Пилю дрова для нашей печки,— отвечал он отдуваясь и, оторвавшись от работы, обратил к жене свое сильно покрасневшее лицо.

— Говори же скорей, каким чудом попала тебе в руки пила и где ты достал этот чудовищный брус из такого прекрасного дерева.

— Ты ведь знаешь,—сказал Генрих,— те несколько ступенек, что ведут отсюда на заброшенный чердак. Так вот, недавно в соседнем с ним чулане я увидел в замочную скважину пилу и колун, которые, должно быть, принадлежат хозяину дома либо еще кому-нибудь. Пусть кто-то там наблюдает за движением всемирной истории, я же стал приглядываться к этим инструментам. Под утро, когда ты еще так сладко спала, я в кромешной тьме пробрался наверх, высадил тонкую, ничтожную дверцу, которая была на слабом, жалком засове, и вернулся назад с этими орудиями убийства. И так как я отлично знаю все ходы и выходы нашего дома, то я с немалым напряжением, пользуясь топором, вышиб из пазов длинные толстые, увесистые перила нашей лестницы и приволок сюда вот эту длинную и тяжелую балку, которая загромождает всю нашу комнату. Ты только посмотри, Клара, какими чудными,





основательными людьми были наши предки. Погляди на этот прекрасный, ядреный дуб, так гладко отполированный и покрытый лаком. Он даст нам совсем не тот огонь, что жалкий хвойный или ивовый хворост.

— Но, Генрих, Генрих,—воскликнула Клара, всплеснув руками,—ты разрушаешь дом!

— Никто не заглянет к нам,—сказал Генрих,—а мы нашу лестницу знаем, да и вовсе не пользуемся ею, так что она, самое большее, служит лишь нашей Христине, которая несказанно удивилась бы, если б ей сказали: „Погляди, старушка, вот сейчас срубят прекраснейший во всем лесу дуб, в обхват толщиной, плотники и столяры искусно обработают его, для того чтобы ты, старая, подымаясь по ступенькам, могла опереться на этот чудный дубовый ствол“. Она громко рассмеялась бы, наша старая Христина. Нет, подобные перила опять-таки принадлежат к совершенно ненужным в жизни излишествам; лес пришел к нам, так как он заметил, что мы употребляем его только в случае крайней нужды. Я—волшебник; всего несколько ударов этим магическим топором—и великолепный ствол покорится моей воле. Это явная заслуга цивилизации; если б здесь, как во многих старых хижинах, вместо перил пользовались веревкой или, как во дворцах, куском обработанного железа, то из моей выдумки ничего бы не вышло, и мне пришлось бы искать и изобретать другие способы, как выйти из положения.

Справившись со своим изумлением, Клара залилась громким и безудержным смехом; затем она сказала:

— Раз уж так вышло, то в этой работе дровосека я помогу тебе; я не раз видела на улице, как это делается.

Они положили дерево на два стула, поставленных в разных концах комнаты, как того требовала его длина. Затем они начали распиливать колоду посередине, чтобы она не загромождала их жилища. Это была не легкая задача, потому что оба были непривычны к ручному труду, да и крепкий дуб с трудом поддавался пиле,

Они смеялись и обливались потом, но дело туго двигалось вперед. Наконец, последние усилия пилы — и балка переломилась. Тут они сделали передышку, отирая лившийся с них пот.

— В этом есть то преимущество, — сказала Клара, — что на первый раз мы можем вполне обойтись без топки.

Они позабыли о завтраке и проработали все утро до тех пор, пока дерево не было распилено на такие куски, что их можно было колоть.

— Посмотри, как наша одинокая комната вдруг превратилась в мастерскую художника, — сказал Генрих в промежутке. — Чурбан, лежавший там в темноте, никем не замечаемый, превратился теперь в эти изящные кубики, которые после некоторого улещивания и искусных уловок со стороны топора могут идти в огонь и в состоянии вынести пламя вдохновения.

Он взял в руки первый попавшийся кусок, но задача расколоть его на части была, разумеется, еще тяжелее распиливания. Тем временем, Клара отдыхала, с удивлением и радостью глядя на мужа, который, побившись немного и тщетно пытаясь применить к делу, приобрел нужную сноровку и даже в этой простой работе оставался для нее красивым мужем.

На их счастье, в то время как они были заняты этой работой, от которой сотрясались стены, хозяин маленького домика, обычно живший внизу, был в отъезде. И вышло так, что весь этот шум не привлек ничего внимания в доме. Соседи тоже не очень прислушивались, так как в предместье, и особенно на этой улице, было много всяких ремесленных заведений, производящих сильный шум.

Наконец, когда у них оказалась куча мелко наколотых дров, они попробовали истопить печь. В этот достопримечательный день у них совпали и обед и ужин. Обед на этот раз был совсем не тот, что вчера и третьего дня.

— Ты не удивляйся, милый муженек, — сказала Клара,

накрывая на стол; — наша Христина принесла домой всякой всячины с большой ночной стирки, которая иногда становится для прачек чем-то вроде праздника, и она счастлива поделиться с нами. У меня не хватило духу отказаться, и ты тоже отнесись поблагосклоннее к этим дарам.

Генрих рассмеялся и сказал:

— Старуха уже давно стала нашей благодетельницей, она работает ночами, чтобы нам помочь, и лишает себя лакомого кусочка, чтобы только нас побаловать. Так давай же попируем, ей во славу, и если ей суждено умереть прежде чем мы сможем проявить свою благодарность на деле, или мы навсегда будем лишены этой возможности, оплатим ей хоть нашей любовью.

За столом они, действительно, кутнули. Старуха принесла яиц, немного овощей и мяса и даже приготовила в маленьком кофейнике кофе. За обедом Клара говорила, что подобные ночные стирки превращаются этими людьми в настоящий праздник, где они рассказывают всякие истории, шутят и веселятся, так что эта работа привлекает всегда много народу и ночные бдения протекают очень торжественно.

— Какое счастье, — продолжала она, — что эти люди умеют находить радость в том, что нам кажется мучительным и грубым рабским трудом. Таким-то образом в жизни смягчается много такого, что, не будь этого кроткого примирения, вызывало бы отвращение или даже ужас. А разве мы оба не испытали того, что сама нужда имеет свою прелесть?

— Разумеется, — ввернул Генрих, смакуя каждый кусочек мяса, которого он давно уже был лишен, — если б кутилы и люди, всегда пресыщенные, знали, что за приятный вкус, что за нежнейший букет у сухой корки хлеба, как это может оценить лишь голодный бедняк, они ему, быть может, позавидовали бы и задумались над искусственными средствами, которые могли бы доставить им то же удовольствие. Но какое это хорошее, счастливое совпадение, что после тяжелого труда

нас ждал этот Сарданапалов пир; мы восстановим наши силы для новых подвигов. Давай же теперь повеселимся, и ты мне спой что-нибудь из тех нежных песенок, которые всегда так очаровывали меня.

Она охотно исполнила его просьбу и, сидя у окна, рука в руке, со взглядом, тонущим во взгляде другого, они заметили, что ледяные узоры на стеклах начали таять, оттого ли, что лютая стужа ослабевала, или оттого, что тепло, распространяемое крепким дубом, оказывало свое действие на эти морозные цветы.

— Взгляни, любимая,— воскликнул Генрих,— как это холодное, обледеневшее окно плачет, тронутое твоим красивым голосом. Все снова и снова повторяется миф об Орфее.

День был ясный, и они, наконец, увидели голубое небо; правда, только клочок его, но они радовались его кристальной прозрачности и тоненьким, изящным, тающим, белоснежным тучкам, проплывавшим по лазурносинему морю и обхватывавшим друг дружку прозрачными руками, словно им было там весело и уютно.

Древняя хижина, или, если угодно, маленький домик имел вид очень странный на этой густо заселенной улице. Весь дом состоял из комнаты в два окна и каморки в одно окно. Впрочем, внизу жил еще старый, угрюмый хозяин, но, обладая некоторыми средствами, он переселялся на зиму в другой город; его мучила подагра, и он лечился там у излюбленного им врача. Тот, кто строил эту хибару, повидимому, был странно, почти непостижимо прихотлив; потому что под окнами второго этажа, где жили наши друзья, подымалась вверх довольно широкая черепичная крыша, которая совершенно заслоняла от них улицу. И если они таким образом, даже открывая в летнее время окна, были совершенно отрезаны от людей, то не менее основательно были они отделены и от обитателей еще меньшего домика, что стоял напротив. Домик был одноэтажный; поэтому они никогда не видали окон и людей в них, но неизменно одну лишь совсем близкую,

протянувшуюся глубоко книзу, черную, закоптелую крышу, а справа и слева от нее две прямые голые стены, защищавшие от пожара два дома повыше и обнимавшие с двух сторон эту низенькую хижину. Еще в первые летние дни, только-только поселившись здесь, они распахнули окна, как это сделали бы люди, которые, живя на узенькой улице, вдруг слышали крики или брань, но они увидели перед собой только черепичную крышу у своих окон и чуть подалее, у домика напротив. Они часто смеялись над этим, а Генрих как-то сказал, что, если сущность эпиграммы (по одной старой теории) состоит в обманутом ожидании, то им суждено насладиться тут эпиграммой.

Не так-то легко зажить людям в таком глубоком уединении, как это удалось нашей парочке здесь, на полной сутолоки окраине, в не утихающей от шума столице. Они были до того изолированы от всего окружающего, что для них было уже событием, когда по чужой кровле осторожно прогуливался кот, пробираясь по острому коньку к слуховому окну и отыскивая там своего кума или кумушку. А то, как ласточки летом вылетали из своего гнезда в отверстия стены и с чиликаньем возвращались назад, и как они щебетали со своими выводками, становилось для наших зрителей, сидевших у окна, целой историей. И они были однажды почти напуганы замечательным происшествием, когда какой-то мальчишка, оказавшийся трубочистом, поднялся с метлой из узкой четырехугольной трубы напротив и они услышали какое-то подобие песни.

Но это одиночество для наших влюбленных было желанным; они могли свободно стоять у окна, целуясь и обнимаясь, не боясь, что какой-нибудь любопытный сосед подглядывает за ними. И они часто воображали себе, будто перед ними не унылые стены, а чудесные скалы в горах Швейцарии, и мечтательно следили за игрой вечерней зари, переливающимся отблеск которой пламенел на трещинах, образовавшихся в штукатурке или в грубом камне. Они потом с умилением вспоми-

нали подобные вечера, возвращаясь к разговорам, которые они тогда вели, к пережитым ощущениям, к шуткам, которыми они обменивались.

Так они хоть на время обрели оружие против жестоких морозов, и пусть себе холода продолжают или даже усиливаются. Не имея недостатка во времени, муж занимался тем, что для облегчения колки дров вытесывал клинья и, загоня их в дерево, заставлял тяжелые колоды легко и быстро сдаваться.

Спустя несколько дней жена, внимательно глядя на то, как он вытесывает клинья, спросила:

— Генрих, когда эта куча дров, которую ты тут нагромоздил, исчезнет,— что тогда?

— Милая,— ответил он,— добрый Гораций (если не ошибаюсь) говорит между другими мудрыми изречениями коротко и ясно: „Carpe diem!“\* Наслаждайся сегодняшним днем, именно им, отдайся ему всецело, пользуйся им, как чем-то единственным и неповторимым; но твоё наслаждение будет неполным, стоит тебе хоть на минуту подумать, что возможен и завтрашний день; и если эта мысль вызовет в тебе заботы и сомнения, то сегодняшний день, эти мгновения радости потеряны, будучи омрачены тревожными вопросами. Мы только тогда счастливы, только тогда ощущаем, как следует, настоящее, когда целиком уходим в него. Смотри, как много смысла заключено в этих двух словах латинского языка, который справедливо считается сжатым и энергичным, потому что он в немногих звуках так много может выразить. Помнишь слова из песенки:

Все заботы,  
Все хлопоты  
Ты на завтра отложи!

— Верно! — воскликнула она. — И разве мы не следуем этой философии вот уже целый год, чувствуя себя прекрасно?

\* „Лови мгновенье!“ См. Гораций, „Оды“, I, II, ст. 8.

Так проходили дни за днями, и молодые супруги наслаждались всей полнотой счастья, хотя они и жили по-нищенски. Однажды утром муж сказал:

— Нынче ночью я видел причудливый сон.

— Расскажи-ка мне его, милый! — воскликнула Клара. — Как мало обращаем мы внимания на сновидения, которые, однако, составляют такую важную часть нашей жизни. Я убеждена, что если бы люди в своей дневной жизни давали больше места тому, что пережито ими во сне, то от этого их, так называемая, действительная жизнь была бы менее дремотной и призрачной. А кроме того, разве твои сны не принадлежат мне; ведь они изливаются из твоего сердца, они порождение твоей фантазии, и я могла бы почувствовать к ним ревность при мысли, что иное сновидение разлучает меня с тобой, что ты, опутанный им, часами забываешь про меня или, пусть даже воображением, влюбляешься в другое существо. И если чувство и воображение являющиеся причиной подобных видений, то разве это не напоминает действительной измены?

— Все дело в том, — возразил Генрих, — принадлежат ли нам наши сны и насколько. Кто знает, как глубоко раскрывают они таинственный образ нашего внутреннего я? Часто мы жестоки, вероломны, трусливы во сне, даже невероятно низки, мы с радостью убиваем невинное дитя, и все же мы убеждены, что подобные качества глубоко чужды нам и противны. При этом сны бывают разных родов. Тогда как одни своей чистотой граничат с откровением, другие зависят от капризов желудка или иных органов. Ведь это необыкновенно сложное переплетение в нашем существе материи и духа, зверя и ангела допускает во всех его функциях такое бесконечное число переходов, что обо всем этом можно сказать очень мало такого, что имело бы всеобщее значение.

— О это всеобщее! — воскликнула она. — Максимы, принципы и тому подобные словечки. Не могу выразить, до чего все это было мне всегда противно и чу-



ждо. В любви нам открывается с полной ясностью значение того несознанного предчувствия, сказывавшегося уже в нашем детстве, что как раз в индивидуальном, единичном состоит сущность вещей, справедливость, поэзия и правда. Философ, рассматривающий все и вся под углом зрения всеобщего, находит для любого явления какое-нибудь правило, он всё что угодно может приладить к своей, так называемой, системе, он не подвержен никаким сомнениям, а его неспособность к правдивому переживанию создает в нем то убеждение в достоверности, которым он так кичится, ту неспособность к сомнению, которая вызывает в нем такую гордость. Настоящая мысль тоже должна быть переживанием, и настоящая идея, органически развиваясь из многих мыслей, должна вдруг получать бытие и брошенным назад светом освещать и давать жизнь тысячам неясно проступавших мыслей. Но это уже область моих видений, а ты расскажи мне лучше о своих, они интереснее и поэтичнее.

— Ты, право, смущаешь меня,— сказал, краснея, Генрих,— потому что на этот раз ты сильно переоцениваешь мой талант сновидца. Убедись же сама.

Я находился еще при моем посланнике, там, в большом городе, среди избранного круга. За столом говорили об одном аукционе, который должен был вскоре состояться. Всякий раз, как произносилось слово „аукцион“, меня охватывал неопиcуемый ужас, но я не понимал, почему. В юношеские годы моей страстью было ходить на книжные аукционы, и хотя мне редко когда удавалось приобретать те книги, которые мне нравились, но я испытывал радость, слыша, как выкрикивают их название, и мечтал о возможности обладания ими. Каталоги таких аукционов я читал, как любимых поэтов, и эта нелепая мечтательность была лишь одним из многих недостатков, от которых я страдал в моей юности; ведь я ничем не напоминал тех юношей, которых называют солидными и рассудительными, и я не раз сомневался в часы одиночества, получится ли из меня

когда-либо так называемый дельный и благоразумный человек.

Клара громко расхохоталась, затем обняла его и горячо поцеловала.

— Нет,— воскликнула она,— до сих пор этого, слава богу, не случилось. И я думаю держать тебя в такой строгости, что ты никогда не будешь этим грешить. Но рассказывай дальше о своем сне.

— Оказывается,— продолжал Генрих,— я не напрасно боялся этого аукциона, потому что, как это часто бывает во сне, я вдруг очутился в аукционном зале и с ужасом увидел, что я сам принадлежу к вещам, которые подлежат продаже с молотка.

Клара опять расхохоталась.

— Как это мило,— воскликнула она,— вот совершенно новый способ стать известностью.

— А я так вовсе этому не радовался,— ответил муж.— Кругом стояло и лежало много всякого рода старых вещей и мебели, и тут же сидели старухи, бездельники, жалкие писаки, пасквилянты, недоучившиеся студенты и комедианты: все это должно было сегодня попасть в руки того, кто больше даст, и я тоже очутился среди этого пыльного старья. В зале сидели некоторые из моих знакомых, и кое-кто из них с видом знатока рассматривал выставленные вещи. Я испытывал невероятный стыд. Наконец явился аукционист, и я испугался, словно меня вот-вот поведут на казнь.

Он уселся с серьезным видом, откашлялся и сразу начал с того, что схватил меня, чтобы поскорее сбыть с рук. Он поставил меня перед собой и сказал: „Посмотрите, милостивые государи и государыни, на этого еще недурно сохранившегося дипломата, хотя и порядком потертого и износившегося, изъеденного кое-где червями и молью, но годного еще служить экраном для камина, чтобы умерять сильный огонь и жар; а не так можно использовать его в виде кариатиды, либо укрепить на его голове часы. Или взять его и поместить перед окном в качестве флюгера. А так как у него

осталась еще маленькая толика разума, то он может разговаривать об обыденных вещах и довольно сносно отвечать на вопросы, если они не очень глубоки. Кто сколько даст за него?"

В зале никакого ответа. Аукционист крикнул: „Ну, господа? Он мог бы стать швейцаром в каком-либо по-сольстве; он мог бы быть даже подвешен в виде люстры в передней, со свечами на руках, ногах и голове. Ведь это милый, на многое еще годный человек. Если у кого-нибудь из присутствующих господ есть домашний орган, то он может приводить его в движение: его ноги, посмотрите, имеют еще сносный вид“. Но и на этот раз никакого ответа.— Я чувствовал себя в состоянии глубочайшего унижения, и моему стыду не было границ, потому что некоторые из моих знакомых скалили зубы и злорадствовали над моим положением, одни смеялись, другие пожимали плечами, словно проникшись жалостью, полной глубокого презрения. В это время вошел мой слуга, и я направился было к нему, чтобы дать ему поручение, но аукционист оттолкнул меня назад со словами: „Потише ты, старая рухлядь! Так-то ты знаешь свои обязанности? Твое назначение здесь в том, чтобы держаться спокойно. Что бы это было, если б вещам, выставленным на аукционе, вздумалось стать самостоятельными!“— И снова на его вопрос не последовало никакого ответа. „Эта дрянь ничего не стоит“,— донеслось из одного угла.— „Кто решится дать что-нибудь за такого шелопаю?“— сказал другой. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я кивнул моему человеку, чтобы он предложил за меня какую-нибудь малость; а тогда, рассуждал я вполне логично, когда он меня приобретет и я уйду из этого проклятого зала, я уж столкнусь с моим слугой, мы люди свои; я покрою его издержки и дам ему еще на чай. Но тот, вероятно, не имел с собой денег или не понял моего кивка, может быть, оттого, что вся эта история была ему неизвестна и непонятна; словом, он не двинулся с места. Аукционист был в досаде; он сделал знак своему

помощнику и сказал ему: „Приведите мне из камеры номера второй, третий и четвертый“. Здоровенный дедина вернулся с тремя оборванцами, и аукционист сказал: „Раз этот дипломат никому не нужен, то мы дадим его в придачу к этим трем журналистам — отставному редактору воскресного листка, репортеру и вот этому театральному критику, — сколько же будет предложено за всю эту банду?“

Старый ветошник крикнул, в задумчивости подержав некоторое время руку на лбу: „Один грош!“ Аукционист спросил: „Итак, один грош? Больше никто? Один грош раз“, — он поднял молоток. Тогда маленький грязный еврейчик выкликнул: „Один грош и шесть пфеннигов“. Аукционист повторил предложенную цену один раз, потом другой и уже замахнулся молотком, чтобы по третьему возгласу присудить меня со всей компанией маленькому израильянину, когда открылась дверь и ты, Клара, вошла во всем своем великолепии с большой свитой знатных дам и властно, с надменным выражением лица и горделивой осанкой, крикнула: „Стойте!“ Все были испуганы и поражены, а мое сердце подпрыгнуло от радости. „Как, продавать с молотка моего собственного мужа? — сказала ты с гневом. — Сколько было предложено до настоящей минуты?“ Старый аукционист поклонился низко-низко, предложил тебе стул и сказал, весь красный от смущения: „За господина вашего супруга пока предложено полтора гроша“.

Ты сказала: „Но я притязую только на моего мужа и требую, чтобы те лица были снова удалены. Восемнадцать пфеннигов за этого несравненного человека! Я предлагаю для начала тысячу талеров“. — Меня это обрадовало, но одновременно испугало, потому что я не представлял себе, где ты возьмешь предлагаемую сумму. Но я тут же избавился от этого страха, когда другая красивая дама тотчас же предложила две тысячи. И вот, богатые и знатные женщины стали соревноваться и усердствовать, чтобы завладеть мной. Ставки все быстрее следовали одна за другой, и скоро

я поднялся в цене до десяти и спустил немного — до двадцати тысяч. С каждой тысячкой я словно вырастал, держался гордо и прямо и расхаживал большими шагами за столом аукциониста, который уже больше не осмеливался призывать меня к порядку. Я бросал теперь презрительные взгляды на тех из моих знакомых, что незадолго перед тем бормотали о бездельнике и шелопае. Все глядели теперь на меня с уважением, в особенности потому, что горячее соревнование дам все усиливалось, вместо того чтобы утихнуть. Одна старая, безобразная женщина, новидимому, вознамерилась не выпускать меня из рук; ее красный нос разгорался все сильнее, и она-то взвинтила на меня цену до ста тысяч талеров. Кругом царил мертвая тишина, и среди нее патетически прозвучал чей-то голос: „Так высоко в нашем столетии еще не оценивали человека! Я вижу теперь, что он мне не по карману“. Оглядевшись вокруг, я заметил, что это замечание исходило от моего посланника. Я снисходительно поздоровался с ним. Короче говоря, цена на меня поднялась до двухсот тысяч талеров с чем-то, и за эту сумму меня отдали, наконец, той красноносой, старой, безобразной даме.

Когда дело, наконец, было решено, поднялся страшный шум, потому что каждому хотелось взглянуть на этот необыкновенный экземпляр. Не знаю, как это случилось, но огромная сумма, за которую я был продан, против всех правил аукциона, была вручена мне лично.

Когда меня уж собирались увести, ты выступила вперед и крикнула: „Это еще не все! Раз моего супруга, противно всем христианским обычаям, публично выставили на аукционе и продали, то я хочу подвергнуться той же тяжелой участи. Я добровольно подчиняюсь молотку господина аукциониста“. Старик сгибался и корчился, ты стала за длинный стол, и все были в восхищении от твоей красоты. Аукцион возобновился, и вскоре молодые люди очень высоко подняли на тебя цену. Сначала я ничем не заявлял о себе, отчасти от удивления, отчасти из любопытства.

Но когда счет пошел на тысячи, то стал слышаться и мой голос. Мы забирались все выше и выше, а мой посол до того горячился, что я еле сдерживал себя; мне казалось низостью то, что этот пожилой человек хотел таким способом похитить данную мне перед алтарем супругу. Он тоже заметил мое недовольство, потому что все чаще косился на меня со злобной усмешкой. В зале набиралось все больше молодых людей, и не будь в моем кармане чудовищной суммы, я потерял бы тебя. Моему самолюбию льстило, что я мог выказать свою любовь к тебе в большей мере, чем ты, потому что скоро после предложенной тобой тысячи талеров ты молчаливо предоставила меня случайностям аукциона и той красноносой даме, которая теперь, как будто, исчезла, по крайней мере я нигде не видел ее больше. Ставки перевалили уже далеко за сто тысяч талеров, ты кивала мне через стол все приветливее, и, обладая огромным капиталом, я, увеличивая их, довел до отчаяния всех моих соперников. И я продолжал задорно ставить и ставить, ядовито усмехаясь. Наконец, все в досаде замолкли, и ты была мне присуждена. Я торжествовал. Я стал отсчитывать требуемую сумму, но — увы! — в суетоке не заметил, сколько, собственно, я выручил за самого себя, и теперь при выплате не доставало еще многих тысяч. Мое отчаяние вызывало только насмешки. Ты ломала руки. Нас потащили в темницу и заковали в тяжелые цепи. Мы были посажены на хлеб и на воду, и я смеялся над тем, что наказанием нам служит то, в чем мы там, наверху, испытывали лишения и что считали за пиршество. Так перепутывается во сне прошедшее и настоящее, близь и даль. Смотритель тюрьмы рассказал нам, что судьи приговорили нас к смерти; оказывается, будто мы коварно действовали в ущерб королевским доходам и общественному достоянию, обманули доверие публики и подорвали государственный кредит; что это ужасный обман так высоко себя оценивать и заставлять оплачивать себя такими большими суммами

во вред всеобщему благу и конкуренции. Это-де прямая противоположность патриотизму, требующему, чтобы каждый индивидуум безусловно жертвовал собой целому, и наше покушение, таким образом, должно быть рассматриваемо как явная государственная измена. Старый аукционист был вместе с нами осужден на смерть, потому что он якобы участвовал в заговоре и, расточая нам обоим непомерные похвалы и выставляя нас перед покупателями как чудо природы, содействовал тому, что ставки поднялись так высоко. Теперь, мол, раскрыто, что мы, будучи связаны с иностранными державами и с врагами страны, имели целью вызвать всеобщее государственное банкротство. Ведь очевидно, что если за отдельную личность, притом не заявившую о себе никакими заслугами, должны быть даваемы такие чудовищные суммы, то ничего не останется на долю министерств, школ, университетов, так же как на воспитательные дома и богадельни. Мы узнали, будто сейчас же после нашего ухода десять дворян и пятнадцать знатных девушек добровольно пошли с молотка, и в этом случае деньги тоже были отвлечены от доходных статей и государственной казны. Всякие моральные ценности погибнут от таких пагубных, растлевающих примеров, и уважение к добродетели исчезнет, если за индивидуумов будут назначаться такие суммы и если они будут так непомерно высоко оцениваться. Мне представлялось все это вполне разумным, и я уже раскаивался, что по моей вине могло произойти все это смятение.

Когда же нас повели на казнь — я проснулся и оказался в твоих объятиях.

— Над этой историей, в самом деле, стоит призадуматься, — отозвалась Клара; — это история очень многих людей, продающих себя как можно дороже, только освещенная, пожалуй, чересчур резким светом. Этот забавный аукцион — неотъемлемая черта государственного устройства всех стран.

— Этот нелепый сон заставляет призадуматься и меня

самого,— сказал Генрих,— потому что мое отчуждение от света и света — от меня дошло до такой степени, что ни один человек не оценил бы меня сколько-нибудь значительной суммой. Во всем этом огромном городе мне не поверят в кредит ни гроша; я стал как раз тем, что люди зовут голю. И все же ты любишь меня, ты, мое дорогое, чудесное создание! Но стоит мне подумать, до чего грубо и топорно устроена самая дорогая и совершенная прядильная машина в сравнении с таким чудом, как мое кровообращение, нервная система и мозг, и что вот этот череп, который, как многие полагают, не заслуживает даже пропитания, в состоянии постигать высокие, благородные мысли и способен, быть может, наткнуться на какое-нибудь новое открытие,— как мне становится смешно, что миллионы не могут по достоинству оценить эту организацию, которую не в силах создать даже самый гордый разум. Когда наши головы сближаются, касаясь друг друга, и уста соединяются для поцелуя, то почти непостижимо, какой тонко переплетающийся механизм нужен для этого, какие трудности должны быть преодолены и каким образом приходит во взаимодействие все это соединение мускулов и костей, кожи и лимфы, крови и влаги, чтобы игрой нервов, тончайших ощущений и еще более непонятных сил вызвать эту радость поцелуя. А если взять анатомическое устройство глаза, то сколько странного, удивительного и противоречивого предстанет перед наблюдателем, если он захочет вывести божественность взгляда из этого соединения роговой оболочки и глазной жидкости.

— Перестань,— сказала она,— все это безбожные речи.

— Безбожные?— спросил с удивлением Генрих.

— Да, другого названия у меня для них нет. Пусть врач, следуя своему долгу, ради науки расстается с иллюзией, внушаемой нам внешним явлением и скрытой за ним сущностью. Ведь тут даже исследователь от иллюзии красоты перейдет к другой иллюзии, которую он, быть может, станет именовать наукой, познанием,



природой. Но если кичливый ум, дерзкое любопытство или презрительная насмешка разрушают все эти сетчатые сплетения и овеществленные иллюзии, в которых заключены красота и изящество, то я называю это безбожной шуткой, если о такой вообще можно говорить.

Генрих сосредоточенно молчал.

— Ты, пожалуй, права,— сказал он спустя некоторое время.— Все, что делает нашу жизнь прекрасной, зависит от чуткости, которая вынуждает нас щадить и оберегать от чересчур резкого света тот милый сумрак, в котором благостно покоится все высокое. Смерть и тление, уничтожение и исчезновение не более истинны, чем одухотворенная, полная тайн жизнь. Раздави напоенный светом, сладко благоухающий цветок — и оставшийся в руке сок уже не цветок и не живая природа. Убаюкиваемые природой, временем и пространством, мы не должны стремиться от этой божественной дремоты, от этого полного поэзии сна к пробуждению.

— Помнишь красивые стихи?— спросила она:

Как может человек сказать: „Я здесь“,  
Чтобы друзьям своим доставить радость!\*

— Вот это верно!— воскликнул Генрих.— Даже самый задушевный, любящий друг должен любить близкого друга, прислушиваясь вместе с ним к заветным тайнам жизни, и, любя глубоко и сам будучи любимым, остерегаться разрушать некоторые иллюзии внешнего существования. Бывают, однако, толстокожие, которые, под тем предлогом, что они живут ради правды и только ее боготворят, заводят друзей, чтобы иметь кого-нибудь, с кем можно обходиться не церемонясь. Мало того, что эта публика старается влезть вам в душу с помощью банальных острот и дешевеньких уловок: они злорадно высматривают все ваши человеческие слабости и противоречия. Принципы человеческого поведения, самые

\* См. Гете, „Торквато Тассо“ I, 3, перевод С. Соловьева.

предпосылки нашего существования подвержены тонким и подчас неуловимым колебаниям, и как раз эти-то колебания, при резком столкновении с подобными толстокожими, принимаются ими за слабости. Очень скоро оказывается, что все те добродетели и таланты, которые сначала, было, вызывали почтительное поклонение подобного друга, превращаются, будто бы, в слабости, ошибки и глупости, и если, наконец, более высокий ум восстает, не желая дольше сносить такое обращение, то он в глазах другого становится тщеславным, упрямым и выскомерным; он, мол, так мелочен, что ему правда не по плечу; и вот приходит конец той дружбе, которой не надо было и начинаться. Но если так обстоит дело с природой, любовью и дружбой, то иначе не может быть и с такими мистическими понятиями, как государство, религия и откровение. Тот взгляд, что существуют недостатки, которые требуют исправления, еще не дает права посягать на таинственную сущность государства. Если религиозное благоговение перед этими могучими, сверхчеловеческими связями и задачами, благодаря которому человек в сложном организованном обществе может стать настоящим человеком, если этот священный трепет перед законами и властью, перед королевским величием, резко осветить светом скороспелых и часто только гадательных суждений, то тайны откровения, скрытые в государстве, превращаются в ничто, становятся непонятным произволом. Не так ли дело обстоит и с дерковью, религией, откровением, этими священными тайнами? И здесь святыня должна быть овеена тихим сумраком, бережно-чутким благоговением. Так как она таинственна и божественна, то ничего нет легче, как сделать ее предметом острой и дерзкой насмешки, чтобы представить ее священную ткань духовно неодаренным людям, неспособным возвыситься до веры, как чистейший обман, или поколебать слабого в его самых сокровенных чувствах. Кажется почти непомнящим, до чего в наши дни повсюду утрачено понимание того великого и неразделимого целого, что могло возникнуть,

только силою божества. Всегда и всюду, в стихах, в произведениях искусства, в истории, в природе и в откровении славится и восхваляется только частное, только единичное; но еще сильнее порицается то единичное, которое в целом, раз это целое — произведение искусства, может быть только таким, как оно есть, если только то, что восхваляется, вообще мыслимо. Постоянная жажда отрицания составляет прямую противоположность всего истинно талантливому, превращаясь, наконец, в неспособность понять вообще явление во всей его полноте. Всегда говорить: „Нет“, — значит ничего не говорить.

Так у этой одинокой, обедневшей и все же счастливой пары проходили дни за днями, недели за неделями. Их существование поддерживалось скудной пищей, но в полноте любви никакие лишения, самая острая нужда не в состоянии были сломить их тихого довольства. Чтобы продолжать так жить, нужно было обладать удивительным легкомыслием этих двух существ, которые могли все позабыть ради настоящего мгновения. Муж поднимался теперь раньше Клары; она слышала, как он стучит и пилит, и находила возле печки приготовленные дрова, которыми она и затапливала ее. Она удивлялась, что эти мелко наколотые дрова с некоторого времени имели совсем другую форму, окраску и были совсем в другом роде, чем она привыкла видеть. Но так как она всегда находила нужный запас, то она перестала об этом думать, тем более, что разговоры, шутки и рассказы во время так называемого завтрака были для нее гораздо важнее.

— Дни становятся длиннее, — начал он; — скоро весеннее солнце заиграет на крыше напротив.

— Конечно, — сказала она, — и недалеко уже время, когда мы снова откроем окно, усядемся возле него и будем вдыхать свежий весенний воздух. До чего хорошо было прошлым летом, когда запах лип даже к нам, сюда, доносился из парка.

Она принесла два маленьких горшочка, наполненных землей; она растила в них цветы.

— Посмотри,— продолжала она,— гиацинт и тюльпан, которые нам казались погибшими, выйдут наружу. Если они расцветут, то для меня это будет предзнаменованием, что и наша судьба скоро переменится к лучшему.

— Но, милая,— сказал он, немного задетый,— чего же нам недостает? Разве до сих пор у нас нет в изобилии хлеба, воды и огня? Погода, как видишь, становится мягче, потребность в дровах уменьшается, а там придет теплое лето. Правда, у нас нет ничего для продажи, но найдется же, должен найтись путь, который приведет меня к какому-нибудь заработку. Подумай только, какое счастье, что никто из нас не заболел, даже старая Христина.

— Но кто поручится за нее, нашу верную служанку?— возразила Клара.— Я давно уже не видела ее; ты все улаживаешь с ней рано утром, когда я еще сплю; ты принимаешь от нее купленный хлеб и кувшин с водой. Я знаю, что она часто работает в чужих домах; она стара, питание у нее скудное, и если к ней подступит хворь, то она легко может слечь. Почему это она так давно не появляется у нас наверху?

— Подожди,— сказал Генрих не без некоторого смущения, которое не ускользнуло от Клары и не могло ее не удивить,— для этого, вероятно, скоро представится случай. Подожди еще немного.

— Нет, милый,— воскликнула она с привычной живостью,— ты что-то скрываешь от меня, что-то случилось. И ты не удерживай меня, я сама спущусь вниз посмотреть, у себя ли она в своем чуланчике, не больна ли она, или, быть может, она недовольна нами.

— Ты давно уже не ходила по этой фатальной лестнице,— сказал Генрих;— там темно, ты можешь упасть.

— Нет,— воскликнула она,— не удерживай меня, лестница мне знакома, я легко сумею найтись в темноте.

— Но раз мы сожгли перила,— сказал Генрих,— кото-

рые показались мне тогда лишними, то я боюсь, что ты, не держась за них, споткнешься и упадешь.

— Ступени,— ответила она,— мне достаточно хорошо известны, они удобны, и я еще часто буду по ним ходить.

— По этим ступеням,— сказал он не без некоторой торжественности,— ты никогда больше не будешь ступать!

— Послушай,— воскликнула она и стала прямо против него, чтобы заглянуть ему в глаза,— в доме что-то неладно; говори, что хочешь, но я побегу сейчас вниз, чтобы самой взглянуть на Христину.

С этими словами она повернулась, чтобы отворить дверь, но он быстро вскочил и, обняв ее, закричал:

— Дитя, ты хочешь ни с того, ни с сего сломать себе шею?

И так как дольше нельзя было скрывать, он сам отворил дверь; они вышли на площадку, и, идя вперед и все еще поддерживаемая мужем, жена увидела, что там уже больше нет лестницы, которая вела вниз. Она всплеснула от удивления руками и, наклонясь, посмотрела вниз; потом повернула обратно и, когда они снова оказались в зашертой комнате, она села, чтобы как следует взглянуть в супруга. Но ее испытующий взгляд встретил такую комическую гримасу, что она разразилась громким хохотом. Затем она подошла к печке, взяла в руки одно поленце, внимательно разглядела его со всех сторон и сказала:

— Да, теперь я, разумеется, понимаю, почему эти поленья совсем другого вида, чем прежние. Значит, мы сожгли и лестницу!

— Конечно,— ответил Генрих на этот раз спокойно, овладев собой;— а теперь, раз тебе все известно, ты найдешь это вполне разумным. И я не понимаю, почему до сих пор ничего не говорил тебе об этом. Как бы мы ни были свободны от предрассудков, что-нибудь да остается от них, вызывая ложный и, в сущности, ребяческий стыд. Ведь ты была для меня, во-первых, тем

существом в мире, которое мне всех ближе; во-вторых, единственным, потому что мои коротенькие встречи с Христиной не идут в счет; в-третьих, зима все еще не ослабела, а в другом месте дров достать было нельзя; в-четвертых, пощада тут казалась едва ли не смешной, потому что они были у нас буквально под ногами, превосходные, плотные, сухие, годные в дело; в-пятых, мы почти не пользовались лестницей, и, в-шестых, она уже вся сожжена, если не считать немногих реликвий. Ты не поверишь, с каким трудом поддаются пиле и топору эти покоробившиеся, старые, строптивные ступени. Я так горячо трудился над ними, что мне казалось не раз, будто в нашей комнате чересчур жарко.

— Но Христина?—спросила она.

— О, да она совершенно здорова,—ответил муж.— Каждое утро я спускаю ей вниз веревку, к которой она привязывает корзиночку; я поднимаю корзинку наверх, а вслед за ней кувшин с водой, и так-то наше хозяйство мирно идет своим порядком. Когда наши чудесные перила были на исходе, а теплая погода все не наставала, я крепко задумался, и мне пришло на ум, что наша лестница вполне могла бы расстаться с половиной своих ступеней; ведь это же излишняя роскошь, это от избытка,—так же как и те толстые перила,—что этих ступеней было такое множество только ради одного удобства. Если подниматься большими шагами, как это приходится делать в некоторых домах, то плотнику за глаза достаточно было половины. С помощью Христины, которая при ее философских склонностях сразу оценила правильность моей идеи, я выломал нижнюю ступень, затем при ее же участии третью, пятую и т. д. Ну, и хорош был наш грабштихель\* по окончании этой филигранной работы! Я пилил, колот, а ты, как ни в чем не бывало, топила ступеньками так же ловко и умело, как до того перилами. Но нашей кружевной работе грозила новая опасность со стороны неутомимой

\* Резец, употребляемый для гравирования.

стужи. Разве эта бывшая лестница не представляла собой своего рода каменноугольной шахты и не лучше ли было сразу извлечь на поверхность весь ее запас? Оттого-то я спустился в шахту и позвал старую сообразительную Христину. Без долгих разговоров она присоединилась к моему взгляду; она стала внизу, я же с огромным напряжением, так как она не могла мне помочь, выломал вторую ступень. Положив ее с полным доверием на четвертую, я подал над бездной доброй старушке руку на вечное расставанье; ведь то, что называлось прежде лестницей, никогда уже больше не должно было нас связывать, сближать. Так, не без тяжких усилий, я совершенно разрушил их, в конце концов, всякий раз перекладывая добытые поперечины или ступени на остальные, еще уцелевшие верхние ступеньки. А теперь, моя радость, ты с изумлением смотришь на уже свершившееся дело, и тебе ясно, что мы сейчас должны, еще больше чем прежде, довольствоваться друг другом. Ты только подумай, каким образом общество светских болтунов могло бы проникнуть к тебе сюда со своими новостями. Нет, мне достаточно тебя, а тебе меня; приближается весна, ты поставишь тюльпан и гиацинт на подоконник, и мы усядемся тут,

Где нам смеется сад Семирамиды  
 На уходящих в облака террасах,  
 В пестреющем великолепье лета,  
 Сияя всплесками игры фонтанов!  
 Все лето будет источать на нас  
 Росу блаженства райская любовь!  
 Там на террасе, что превыше всех,  
 Я буду в темной сени рдяных роз  
 Сидеть с тобою, а у наших ног —  
 В горячем солнце крыши Вавилона.\*

Я полагаю, наш друг Юхтриц сложил эти стихи, имея в виду наше положение. Видишь вот там залитые

\* Стихи из трагедии Фридриха фон Юхтрица (Uchtritz) „Александр и Дарий“ (1827), III, 1.

солнцем крыши, пускай только июльское солнце засветит снова, как мы смеем надеяться. И если тюльпан и гиацинт расцветут, то здесь у нас, действительно, будут во всей их живой наглядности сказочные висячие сады Семирамиды, и даже гораздо чудеснее их; потому что у кого нет крыльев, тому ни за что не добраться до наших, если только мы не протянем ему руку помощи или не приготовим, скажем, веревочной лестницы.

— Действительно, мы живем,— сказала она,— как в сказке, живем так чудесно, как только можно изобразить в „Тысяче и одной ночи“. Но что нас ждет в будущем? Ведь это будущее когда-нибудь да обернется настоящим.

— Вот видишь, мое сердечко,— сказал муж,— из нас обоих прозаичнее оказываешься снова ты. Перед Михайловым днем наш старый ворчливый домохозяин уехал в тот далекий город, надеясь найти у своего приятеля-врача помощь против подагры или облегчение страданиям. Мы были тогда так невероятно богаты, что могли ему заплатить не только за квартал, но отдали квартирную плату вперед до самой пасхи, и он, ухмыльнувшись, принял ее и благодарил. Следовательно, о нем мы можем не беспокоиться, по крайней мере, до пасхи. Самая суровая полоса зимы уже позади, дров нам понадобится не так много, а на худой конец у нас еще висят четыре нетронутых ступени, и, кроме того, наше будущее уверенно покоится в кое-каких старых дверях, досках пола, слуховых окнах и разной утвари. Поэтому утешься, моя любимая, и будем веселее наслаждаться тем счастьем, что мы здесь совершенно отрезаны от всего мира, ни от кого не зависим и ни в ком не нуждаемся. Это как раз то положение, к какому мудрец всегда стремился и какого мало и редко кто имеет счастье достигнуть.

Но вышло иначе, чем он предполагал. В тот же самый день, едва только они окончили скудный обед, к домику кто-то подъехал. Слышно было, как загремели колеса останавливающегося экипажа, и из него стали



выходить люди. Странно выступавшая крыша мешала супругам узнать, что это были за лица. Им послышалось, будто что-то выгружали, и в душу мужа закралось удручающее подозрение, не сам ли это брюзга-хозяин, который, раньше чем можно было рассчитывать, оправился от приступа подагры.

Было явственно слышно, как новоприбывший устраивался внизу, и, значит, не могло быть сомнения в том, кто это был такой. Сундуки были сняты и внесены в дом, несколько голосов говорили наперебой, слышались приветствия соседей. Становилось ясным, что Генриху еще нынче предстоит схватка. Он недоверчиво прислушивался к тому, что делалось внизу, и стоял на посту у слегка притворенной двери. Клара вопросительно смотрела на него; но он, улыбаясь, качал головой и не говорил ни слова. Внизу все затихло; старик убрался в свою комнату.

Генрих сел возле Клары и сказал несколько подавленного голосом:

— До чего досадно, что только немногие люди обладают фантазией великого Дон-Кихота. Когда у него замуровали библиотеку и объявили ему, что некий волшебник унес не только его книги, но и всю комнату, то он тотчас же, не проявляя и тени сомнения, представил себе, как это могло произойти. Он был не так прозаичен, чтобы доискиваться, куда девалась такая абстрактная вещь, как пространство. Что такое пространство? Нечто безусловное, ничто, форма созерцания. Что такое лестница? Нечто обусловленное, но далекое от самостоятельного существования, возможность, средство попасть снизу наверх, а как относительно эти понятия — верх и низ! И ведь старика ни за что не разуверишь в том, что там, где теперь зияющая дыра, прежде не стояла лестница; он, разумеется, чересчур эмпирик и рационалист, чтобы понять, что настоящий человек, одаренный глубокой интуицией, не нуждается в обычном понятии степенности, в общепринятой лестнице представлений, этой убогой, прозаич-

ческой аппроксимации. Как же мне, стоящему на более возвышенной точке зрения, втолковать это ему, стоящему несравненно ниже? Он хочет опереться на перила, это старое эмпирическое обобщение, и покойно переступать одну ступеньку за другой до вершины разума, но он ни за что не сможет проникнуться чистотой нашего непосредственного созерцания, так как мы уничтожили находящиеся ниже нас банальные сгустки опыта и явления и, следуя древнему учению парсов-огнепоклонников, принесли их в жертву чистому разуму на очистительном и согревающим огне.

— Да, да,— сказала Клара, посмеиваясь,— фантазируй и остро; это настоящий юмор трусости.

— Никогда,— продолжал он,— идеалы нашего мировоззрения не совпадают с тусклой действительностью. Обычно представление, что земное непременно хочет поработить духовный мир и властвовать над ним.

— Тише! — произнесла Клара.— Внизу опять завозились.

Генрих снова стал у двери и немного приотворил ее.

— Надо же мне посетить моих милых квартирантов,— послышалось отчетливо снизу.— Надеюсь, жена все так же хороша и эта парочка все так же здорова и весела, как прежде.

— Теперь-то он,— тихо сказал Генрих,— наткнется на проблему.

Пауза. Старик одушенью ходил внизу в полутьме.

— Что такое? — послышалось оттуда.— Как я мог до такой степени отвыкнуть от собственного дома? Здесь — нет, там — нет, что же это такое? Ульрих! Ульрих, помоги мне разобраться тут.

Старый слуга, который в его маленьком хозяйстве все совмещал в своей особе, вышел из своей каморки.

— Помоги же мне подняться по лестнице,— сказал хозяин,— я словно околдован и ослеплен, я никак не найду этих больших, широких ступеней. Что тут такое?

— Ну, идите же, господин Эммерих,— сказал ворчливый слуга,— у вас в голове затуманилось после дороги.

— Вот этот,— заметил Генрих вверху,— прибегает к гипотезе, явно несостоятельной.

— Чортова напасть! — закричал Ульрих.— Я разбил тут голову; я тоже словно одурочен; похоже на то, что этот дом нас не терпит.

— Он хочет,— сказал Генрих,— найти объяснение в сверхъестественном: так глубоко заложена в нас склонность к суеверию.

— Ищу направо, ищу налево,— говорил хозяин,— ищу вверху — и готов верить, что чорт унес всю лестницу целиком.

— Это почти повторение сцены из „Дон-Кихота“, — сказал Генрих; — но его ищущий дух этим не удовлетворится; в сущности, это тоже несостоятельная гипотеза, ведь так называемый чорт упоминается нередко только потому, что мы не можем понять, в чем дело, или если то, что нами понято, вызывает наш гнев.

Снизу доносилась только воркотня, негромкие проклятия, и сметливый Ульрих потихоньку сходил за свечой. Он высоко поднял ее и осветил кругом пустое пространство. Эммерих с изумлением посмотрел наверх, постоял некоторое время с разинутым ртом, застыв от ужаса и удивления, и закричал во всю силу своих легких:

— Гром и молния! Вот это гостинец. Господин Бранд! Эй, вы там, наверху, господин Бранд!

Теперь уж отпираться было немислимо; Генрих вышел, наклонился над пропастью и увидел в сумраке сеней, освещенные колеблющимся светом, две демонических фигуры.

— Ах, достопочтенный господин Эммерих,— приветливо воскликнул он,— добро пожаловать! Как видно, вы чувствуете себя превосходно, раз вы прибыли раньше, чем предполагали. Рад видеть вас таким здоровым.

— Слуга покорный! — ответил тот.— Но не об этом сейчас речь. Сударь! Куда девалась моя лестница?

— Ваша лестница, почтеннейший?— спросил Генрих.— Что мне до ваших вещей? Разве, уезжая, вы оставили мне их на хранение?

— Не притворяйтесь простачком,— закричал тот.— Куда девалась лестница? Моя большая, красивая, основательная лестница?

— А разве здесь была лестница?— спросил Генрих.— Видите ли, мой друг, я так редко бываю наружи, да, в сущности, и совсем не выхожу на улицу, что не обращаю внимания на все, что происходит вне моей комнаты. Я занимаюсь науками, работаю, а до всего остального мне нет дела.

— Мы поговорим еще с вами, господин Бранд,— воскликнул тот.— Злоба душит меня; но мы поговорим с вами по-другому! Вы тут единственный жилец; и вы ответите перед судом за ваш поступок.

— Не сердитесь же так,— сказал Генрих.— Если вас интересует история происшествия, то я готов служить вам хоть сейчас; в самом деле, я припоминаю теперь, что прежде здесь была лестница, и должен сознаться, что она мною использована.

— Использована?— закричал старик, топая ногой.— Моя лестница? Стало быть, вы растаскиваете мой дом по частям?

— Сохрани бог,— сказал Генрих,— под влиянием гнева вы преувеличиваете; ваша комната внизу осталась неповрежденной, наша здесь вверху в блестящем состоянии и тоже нетронута, и только эта жалкая лестница для лезущих вверх выскочек, эта богадельня для слабых ног, это вспомогательное средство, это дурацкое приспособление для скучных посетителей и подозрительных личностей, этот способ связи с надоедливymi втирушами, одним словом, эта лестница, она, действительно, благодаря моим усиленным стараниям и даже тяжелому напряжению, в самом деле, исчезла.

— Но эта лестница,— закричал Эммерих,— с ее драгоценными, нерушимыми, дубовыми перилами, эти двадцать две крепких, дубовых ступени были неотъемле-

мой частью моего дома. Я никогда не слышал на своем веку о жильдах, которые жгут лестницы, словно это стружки или раскучурочная бумага.

— Быть может, вы присядете,— сказал Генрих,— и выслушаете меня спокойно. По этим вашим двадцати двум ступеням часто подымался один бессовестный человек, который выудил у меня ценнейшую рукопись с тем, чтобы ее напечатать, а потом объявил себя банкротом, и, наконец, бесследно исчез. Другой книгопродавец, не зная устали, поднимался по этим вашим дубовым ступеням, постоянно опираясь на те крепкие перила, чтобы облегчить себе восхождение; он все ходил и ходил, пока, наконец, бесстыдно пользуясь моим затруднительным положением, не заграбастал драгоценный экземпляр Чосера в первом издании и не унес его за смехотворную цену, да, поистине, за грабительскую цену. О сударь, имея столь горький опыт, как полюбить такую лестницу, которая невероятно облегчает подобным субъектам проникновение в верхние этажи?

— Чорт бы побрал все эти проклятые доводы!— воскликнул Эммерих.

— Успокойтесь,— сказал Генрих чуть погромче.— Вы ведь хотели постигнуть вещи в их связи. Меня обманули и обошли; как ни велика наша Европа,— Азия и Америка не в счет,— но мне неоткуда было получить ссуду, словно весь кредит в стране был исчерпан и все банки опустели. Лютая, безжалостная зима требовала дров для отопления; а у меня не было денег, чтобы запастись ими обычным путем. Таким-то образом напал я на мысль об этом займе, который даже нельзя назвать принудительным. При этом я не предполагал, что вы, милостивый государь, вернетесь еще до наступления теплых летних дней.

— Какой вздор!— сказал тот.— Что же вы, несчастный, думали, будто моя лестница с наступлением теплых дней вырастет сама собой, словно спаржа?

— В том, как растут лестницы, я разбираюсь так же плохо, как в тропической флоре, чтобы быть в состоя-

нии утверждать это,— ответил Генрих.— Между тем, дрова были мне крайне необходимы, и раз я совсем не выходил из дому, как и моя жена, и никто ко мне не приходил, потому что у меня нечем было пожитья, то эта лестница, следовательно, принадлежала к прямым излишествам в жизни, к пустой роскоши, к ненужным изобретениям. И если стремление к ограничению своих потребностей, к довольству своим собственным обществом считать, как утверждают познавшие мир мудрецы, признаком душевного величия, то, как видите, благодаря этой совершенно ненужной мне пристройке, мы не замерзли. Разве вам не случилось читать о том, как Диоген бросил прочь свой деревянный кубок, увидев одного крестьянина, который пил, черпая воду ладонями?

— Как вы остроумны!— возразил Эммерих.— Я же видел раз парня, который пил, присосавшись рылом, прямехонько из трубы; стало быть, ваш мусье Диоген мог бы отрубить себе руку в придачу.— Эй, Ульрих, сбегай-ка в полицию; дело должно принять другой оборот.

— Не горошиться,— закричал Генрих,— вы должны понять, что ваш дом значительно выиграл без этой лестницы!

Эммерих, уже повернувшийся было к выходу, возвратился обратно.

— Выиграл?— яростно закричал он.— Вот так новости!

— А дело, между тем, совсем просто,— ответил ему Генрих,— и понять его не составит труда. Не правда ли, дом ваш не застрахован? С некоторого времени я стал видеть дурные сны, мне снились пожары, притом по соседству действительно горели дома; у меня было определенно какое-то предчувствие, я назвал бы это даже предвидением, что наш дом постигнет та же участь. И разве может быть что-нибудь нелепее (готов я спросить всякого, кто разбирается в постройках) деревянной лестницы? Полиция должна бы категорически запретить такие огнеопасные устройства. В тех городах, где этот дурной обычай существует, деревянная лест-

ница, случись пожар, всегда оказывается самым пагубным злом. По ней не только распространяется огонь во все этажи, но она часто делает невозможным спасение людей. А так как я наверное знал, что вскоре здесь или по соседству должен вспыхнуть пожар, то я собственными руками, с превеликим трудом, обливаясь потом, сломал эту ненужную, грозившую бедой лестницу, чтобы по возможности уменьшить зло и пагубу. И я даже рассчитывал на вашу признательность.

— Ах так?— закричал Эммерих.— Оставайся я дольше, этот чистоплотный господин по тем же хитроумным соображениям использовал бы по частям весь мой дом. Использовал! Словно дома можно использовать таким порядком! Но подожди, благодетель!— Полиция тут?— спросил он вернувшегося Ульриха.

— Мы воздвигнем,— закричал Генрих,— большую, каменную лестницу, и ваш палаццо, милостивый государь, выиграет от этого столько же, сколько и город и государство.

— Ну, с этим хвастовством мы сейчас покончим,— ответил Эммерих и тут же обратился к приставу, явившемуся с несколькими полицейскими.

— Господин инспектор,— сказал он, обращаясь к нему,— слышали ли вы о таком бесчинстве? Сломать в моем доме большую, прекрасную лестницу и сжечь ее в мое отсутствие, как простые дрова!

— Это войдет в хронику городских происшествий,— веско заявило начальство,— а этого субъекта, похитителя лестниц— в исправительный дом или в крепость! Это похуже кражи со взломом! Кроме того, он обязан будет возместить убытки. Спускайтесь-ка вниз, господин злоумышленник!

— Как бы не так!— сказал Генрих.— Англичанин с полным правом называет свой дом замком, а что до моего, то он совершенно неприступен и неодолим; я ведь поднял подъемный мост.

— Ну, этой беде легко помочь!— закричал полицейский начальник.— Ну-ка, братцы, несите сюда большую

пожарную лестницу; вы подниметесь наверх, и если преступник вздумает оказать сопротивление, то вяжите его и тащите вниз, чтобы наказать его по заслугам.

Между тем дом наполнился людьми, жившими по соседству; тут были и мужчины, и женщины, и дети, привлеченные шумом, и много любопытных стояло на улице, чтобы узнать, что происходит, и посмотреть, к чему все это приведет. Клара, смутившись, села возле окна, но не теряла самообладания, видя, что ее супруг все так же весел и не принимает дела близко к сердцу. Но она не представляла себе, чем все это кончится. Генрих подошел к ней на минуту, чтобы утешить ее и что-то взять из комнаты. Он сказал:

— Послушай, Клара, мы так же осаждены, как в былое время наш Гед в своем Якстгаузене; отвратительный герольд уже предложил мне сдаться на милость победителя, и я ему сейчас отвечу, но скромно, не так, как мой великий прототип\*.

Клара дружески улыбнулась ему и сказала только:

— Твоя судьба — моя судьба; но я думаю, что если бы мой отец увидел меня сейчас, он простил бы меня.

Генрих снова вышел, и когда он увидал, что лестницу, действительно, хотят притащить, то произнес торжественным тоном:

— Господа, подумайте, что вы делаете, я давно уже решил на все, на любую крайность, я добровольно не отдамся в ваши руки, но буду защищаться до последней капли крови. Вот у меня под рукой две двустволки с добрыми зарядами, а там найдутся еще, вот старая пушка, опаснейшее полевое орудие, полное картечи, кусков свинца, толченого стекла и других ингредиентов. Порох, пули, картечь, свинец, все что только понадобится, найдется в комнате в изобилии; а пока я буду стрелять, моя храбрая жена, которая в качестве охотницы отлично умеет обращаться с оружием, будет

\* См. Геге, „Гед фон-Берлихшген“, III, 17.



перезаряжать. Ну, нападайте же, раз вы хотите пролития крови.

— Да это настоящий сатана,— сказал полицейский начальник,— такого отчаянного злодея мне давно уж не доводилось видеть. Каков он собой? Ведь в этой темной дыре ни зги не видать.

Генрих положил на пол две палки и старый сапог, и это должно было сойти за пушку и двустволки. Полицейский сделал знак убраться лестницу.

— Лучше всего, господин Эммерих,— присовокупил он затем,— взять этого беспутного Абелино \* измором; он должен будет сдаться.

— Ну, и промахнетесь!— весело закричал Генрих.— У нас многомесячный запас сушеных фруктов, слив, груш, яблок и сухарей; зима уж на исходе, но если нам неостанет дров, то тут наверху есть чулан; в нем найдутся старые двери, ненужные доски от полов, и даже на чердаке можно будет кое-что выломать как лишнее.

— Послушайте только этого безбожника!— воскликнул Эммерих.— Сперва он разоряет мой дом снизу, а теперь он готов приняться за крышу!

— Это неслыханно!— сказал полицейский. Многие из теснившихся ротозеев восхищались решимостью Генриха, радуясь беде, случившейся со скупым хозяином.

— Не вызвать ли нам отряд солдат, тоже с огнестрельным оружием?

— Нет, господин инспектор. Ради всего святого, нет! Эдак, в конце концов, мой домик будет стерт с лица земли, и я останусь с пустыми руками, даже если мы и захватим бунтовщика.

— Правильно,— сказал Генрих.— А вы, быть может, кстати и позабыли, о чем уже многие годы пишут в газетах? Первый же пушечный выстрел, откуда бы он ни раздался, будет сигналом к возмущению во всей Европе. Что же, господин полицейский, вы хотите взять

\* Имя известного бандита.

на себя неслыханную ответственность за то, что в этой хижине, на этой самой узкой и темной улице маленького предместья, начнется чудовищная европейская революция? Что подумает о вас потомство? Какой отчет дадите вы богу и королю в своем легкомысленном поведении? Посмотрите, вот стоит заряженная пушка, которая вызовет величайший переворот во всем столетии.

— Он демагог и карбонарий,— сказал полицейский начальник,— это сразу видно по его речам. Он член тайных обществ и ведет себя так дерзко в надежде на постороннюю помощь. Возможно, что среди этих шумных зевак у него найдется много переодетых пособников, которые только ждут нашего нападения, чтобы броситься на нас с тылу с орудиями убийства.

Когда эти бездельники услышали, что полиция их побаивается, то с злорадством подняли громкий крик, смещение усилилось, и Генрих воскликнул, обращаясь к супруге:

— Будь веселей, мы выиграем время и, наверное, сможем капитулировать, а не то на выручку подоспеет какой-нибудь Зикинген\*.

— Король, король!— послышался с улицы громкий крик. Все бросились вперемешку назад; блестящий экипаж пытался проложить себе путь по узкой улице. Лакеи в ливреях, обшитых галунами, стояли позади, осанистый, ловкий кучер правил лошадьми, и из кареты вышел великолепно одетый господин с орденом и звездой.

— Не здесь ли живет некий господин Бранд?— спросила важная особа.— И что означает это сборище?

— Они хотят там, ваша светлость,— сказал мелкий лавочник,— начать новую революцию, а полиция пронюхала об этом; сейчас сюда прибудет гвардейский полк, мятежники не сдаются.

— Это вроде секты, ваше превосходительство,— крик-

\* См. „Гёц фон-Берлихинген“, IV, 2—3.

нул фруктовщик-лотошник.— Они хотят уничтожить все лестницы, считая их лишними и безбожными.

— Нет, нет,— вмешалась какая-то женщина,— бунтовщик, верно, из породы святого Сен-Симона; все дрова, говорит он, и вся частная собственность должны стать общим достоянием, и они приволокли уже пожарную лестницу, чтобы его поймать.

Незнакомцу стоило большого труда протиснуться к дверям, хотя все старались дать ему дорогу. Старый Эммерих выступил ему навстречу и на предложенный вопрос очень вежливо разъяснил положение дела и сказал, что еще не достигнуто соглашение, каким способом захватить этого ужасного преступника. Тогда неизвестный прошел в глубину темных сеней и громко крикнул:

— Что, тут действительно живет господин Бранд?

— Конечно,— ответил Генрих.— Кто еще там спрашивает обо мне?

— Лестницу сюда!— сказал неизвестный.— Мне надо подняться наверх.

— Ну, этому я сумею воспрепятствовать!— крикнул Генрих.— Посторонним у меня наверху делать нечего, и пусть меня никто не беспокоит.

— А если я верну Чосера?— крикнул незнакомец.— В издании Кекстона, с листом, исписанным господином Брандом?

— Боже!— воскликнул тот.— Дорогу, дорогу этому доброму ангелу, незнакомцу!— Клара!— крикнул он жене с радостью, в которой слышались слезы.— Наш Зикинген, в самом деле, подоспел!

Неизвестный поговорил с хозяином и совершенно его успокоил, полиция была отпущена и вознаграждена, труднее всего было заставить разойтись взволнованную толпу; но когда, наконец, и этого удалось добиться, старый Ульрих приволок лестницу, и знатный незнакомец поднялся наверх один в жилище друга.

Незнакомец с улыбкой окинул взглядом маленькую комнату, вежливо поклонился жене и бросился затем

в объятии необычайно взволнованного Генриха. Последний мог только произнести: „Мой Андреас!“ — И тут Клара поняла, что этот ангел-избавитель был другом юности, о котором они так часто вспоминали, Вандельмеером.

Они пришли в себя от радостного изумления. Судьба Генриха глубоко растрогала Андреаса; то он смеялся над его затруднительным положением и неожиданной выручкой, то восхищался красотой Клары, и оба друга, не зная устали, оживляли в памяти события их юности, с наслаждением предаваясь вызываемым ими трогательным чувствам.

— Ну, теперь давай поговорим трезво,— сказал Андреас.— Твой капитал, который ты мне доверил при моем отъезде, настолько возрос в Индии, что ты можешь считать себя теперь богатым человеком; ты можешь, следовательно, жить теперь независимо, там, где тебе вздумается. Радуюсь предстоящему с тобой свиданию, я высадился в Лондоне, у меня были там кое-какие денежные дела. Я снова зашел к моему букинисту, чтобы, зная твою любовь к старине, выбрать тебе хорошенький подарок. „Смотри-ка,— сказал я про-себя,— вот кто-то переплел Чосера в том же своеобразном вкусе, в каком я это сделал когда-то для Генриха!“ Беру книгу в руки, и со страхом вижу, что это твоя. Так я сразу узнал о тебе более чем достаточно; ведь только нужда могла заставить тебя продать ее, если только она не была у тебя украдена. И тут же спереди я нахожу, к нашему общему счастью, исписанный тобою лист, в котором ты зовешь себя бедным и несчастным, подписываешься именем Бранда и указываешь город, улицу и дом. Как иначе мог бы я найти тебя, под чужой фамилией, спрятавшегося в тени, если бы эта дорогая, чудесная книга не выдала тебя? Итак, я вручаю ее тебе вторично, и относись к ней с уважением, держи ее в чести, потому что эта книга — чудесная лестница, которая нас обоих свела снова.— Я сокращаю в Лондоне свое пребывание, тороплюсь сюда — и узнаю от посла, который

месяца два назад был сюда назначен, что ты похитил его дочь.

— Отец мой здесь?— воскликнула Клара, бледнея.

— Да, милостивая государыня,— продолжал Вандельмеер,— но не пугайтесь, он еще не знает, что вы находитесь в этом городе. Старик раскаивается теперь в своей суровости, он упрекает себя и безутешен, что его дочь бесследно исчезла. Он давно все ей простил, и он трогательно мне рассказывал, что ты пропал без вести, что, несмотря на самые усердные поиски, нигде не обнаружено твоего следа. Теперь становится понятным, мой друг, когда видишь, как ты уединенно жил, наподобие фиваидского пустытника или пресловутого Симеона Столпника, что к тебе не проникала ни одна газета, не залетало ни одно известие, благодаря которым ты мог бы узнать, что твой тесть живет рядышком и, как я могу тебе с радостью сообщить, давно примирился с тобой. Я пришел прямо от него, но не сказал ему ни слова о том, что у меня есть почти твердая надежда увидеть тебя сегодня. Он хочет, если вы с дочерью объяснитесь, чтобы ты поселился где-нибудь в его поместьях, так как ты, очевидно, не желаешь вернуться к твоей прежней карьере.

Все ликовали. Перспектива жить снова надлежащим образом и в приятном довольстве радовала супругов, как рождественский подарок детей. Они охотно расстались с вынужденной философией нищеты, утешение и горечь которой извели до последней капли.

Вандельмеер отвез их сначала в карете на свою квартиру, где тотчас позаботились о надлежащей одежде, чтобы они могли явиться в ней к жаждавшему примирения отцу. Нечего и говорить, что старая верная Христина не была позабыта. В своем роде она была так же счастлива, как и ее господа.

---

А на маленькой улице усердно работали каменщики, плотники и столяры. Старый Эммерих, улыбаясь, вел наблюдение над реставрацией и постройкой новой лест-

ницы, которая, не взирая на уговоры Генриха, была опять деревянная. Ущерб, нанесенный ему, был так щедро и великодушно возмещен, что старый скопидом частенько с радостью потирал руки и снова охотно пустил бы в свой дом какого-нибудь проказливого жильца с подобными же идеями.

Спустя три года скрюченный старик принимал у себя, застенчиво пошаркивая и отвешивая низкие поклоны, прибывших в дорогом экипаже видных господ, которых он лично проводил по новой лестнице в маленькую квартирку — в ней жил теперь бедный переплетчик. Умер отец Клары, и она прибыла со своим супругом из далекого поместья, чтобы еще раз взглянуть на умиравшего и принять его благословение. Они стояли теперь рука об руку возле маленького окошка, снова смотрели на порыжевшую, когда-то красную, крышу, и снова видели мрачную стену, на которой играли солнечные лучи. Эта картина их былой нужды и вместе с тем нескончаемого счастья глубоко их растрогала. Мастер как раз переплетал для публичной библиотеки ту книгу, во втором издании, которая когда-то так бессовестно была похищена у попавшего в беду автора.

— Эта книга пользуется любовью,— сказал он за работой,— и выдержит еще много изданий.

— Наш друг Вандельмеер ждет нас,— сказал Генрих и, одарив ремесленника, сел со своей супругой в экипаж. Оба задумались над смыслом человеческой жизни, жизни, льющейся через край, с ее запросами и тайнами.

## ЖИЗНЬ ПОЭТА

— А, мои любезные завсегдатаи! — воскликнул шарообразный хозяин зычным голосом. — Добро пожаловать, дорогие, уважаемые господа, место уже приготовлено для вас.

Двое мужчин вошли в просторную залу, прохлада которой в разгар летней жары показалась им приятной. Стол стоял у большого окна, выступавшего на несколько футов наружу в виде фонаря; утренние лучи светили в круглые, оправленные в олово окна и ложились узорами на пол, устланный свежим зеленым тростником. Старший из посетителей был мужчина среднего роста, с красивыми карими глазами, тонко изогнутым носом и полными приятными губами. Младший был выше и стройнее, в глазах его было больше огня, движения и походка были быстры и порывисты.

— Этот незнакомец, который сидит всегда там, позади, больше не появлялся? — спросил последний надменным голосом.

— Нет еще, с тех пор, как вы в последний раз немного круто обошлись с ним, — ответил хозяин. — Вы, верно, напугали его, так как он, повидимому, тихий мальчик.

— Мне это было бы неприятно, — сказал героического вида молодой человек, — как за него, так и за вас. Я иногда охотно говорю с такими посредственными людьми, так как мы учимся и у этих робких душ.

А я не должен быть пугалом для ваших гостей. Но кто же он, собственно, такой?

— На это я не могу вам ответить,— сказал хозяин, понижая голос и боязливо оглядываясь, как бы не вошел незаметно незнакомец, о котором шла речь,— так как он не дает себя расспрашивать. Я могу сообщить лишь, что уже лет шесть-семь, как встречаю его на улицах; и если я не ошибаюсь, то одно время он был писцом и помощником у адвоката, и возможно, что он и сейчас состоит в этом звании.

— Что, любопытствуешь, друг Христофор? \* — сказал старший мужчина, тем временем уже покойно усевшийся.— Я рад, что твою мужскую, героическую силу все же немного смягчает и умеряет хоть одна женская добродетель.

— О Роберт! \*\* Вечно жаждущий Роберт! — воскликнул младший, подсаживаясь к нему.— Для тебя вино слишком медленно льется в кубок. Твоя душа всецело поглощена бутылкой, и новости, сообщаемые ею, кажутся тебе единственно важными. Но больше ничего нового не случилось?— обратился он снова к хозяину, собравшемуся было уже оставить комнату.

— Богатый эсквайр из Йоркшира прибыл вчера вечером, с лошадьми и людьми,— ответил хозяин,— и занял мои лучшие комнаты, там наверху. Впрочем, это благоразумный человек, довольный всем. Он говорит, что был уже четыре года тому назад здесь, в Лондоне, когда у нас было дело с непобедимой испанской Армадой; будто он даже жил тут, но я не могу его припомнить. Он патриот, каких мало, так как говорит о нашей королеве Елизавете не иначе, как с поклонами и прикладывая руку к сердцу.

— Это, вероятно, истый англичанин,— сказал Роберт, когда хозяин вышел.— Но пей же, Христофор, ты выглядишь сегодня не таким веселым, как обыкновенно.

\* Христофор Марло (1562—1593), английский драматург.

\*\* Роберт Грин (ок. 1560—1592), английский драматург.



— Так оно и есть,— сказал младший, задумчиво поднимая полный кубок.— Случается ли с тобой, что ты не можешь найти конца стихотворения, начатого с вдохновением?

— Нет,— отвечал Роберт,— потому что я совсем не могу писать, если стихи не даются мне легко, конец для меня всегда легче всего: я, некоторым образом, начинаю с него, так как он почти первое, что я должен себе уяснить, а затем все само собой стремится к этой цели.

— Я не то хотел сказать,— возразил горячий собеседник,— ты обладаешь способностью не понимать меня. Сочинять стихи, в такой дремоте наяву и, в конце концов, заканчивать их, пожалуй, это и я также смогу, если захочу прибегнуть к такому сонливому усердию. Но быть новым в конце, закончить великими мыслями, чувствами и потрясениями, не проявившимися еще до этого в самой трагедии и все же составляющими ее сущность, создать такую картину, которая после всех волнений превращает всю душу и словно разбивает сердце! Картина этого возвышенного страха стоит передо мной так живо, что я удивляюсь, как это мне до сих пор не удалось передать ее с могучей выразительностью.

— Да, да,— сказал Роберт, словно растроганный,— этот проклятый театр так плохо оценивает и вознаграждает наши труды, он истощает наши лучшие силы, и особенно тебя с твоей дьявольской трагедией, этим Фаустом \*, которого под видом работы подсунул тебе сам злой дух. С тех пор как ты во власти этого мучительного напряжения, ты уже ни разу не был таким веселым и задорным, как весной. Я еще доживу до того, что ты станешь бояться созданных тобой чертей и дашь себя увлечь уродливым порождением собственной фантазии.

— О, если бы я был Робертом Грином! — воскликнул Христофор.— О ты, сокрушающийся грешник! В твоей неустойчивой душе вечный апрель. Она скована льдом

\* Драматическая обработка Марло немецкой народной книги о докторе Фаусте.



пораков и тает в раскаяниях и покаяниях, как вешний снег на солнце. Ты сознаешь себя лишь в колебаниях, и знаешь, что живешь только потому, что каждое утро принимаешь наилучшие намерения и забываешь про них в обед за первым стаканом вина в вялом вдохновении. Твоя добродетель — дневная бабочка, которая не видит сияния вечерней зари. Если бы я увидел тебя когда-нибудь сильным и последовательным, то я, не задумываясь, поверил бы в чудеса.

Роберт искренно смеялся, говоря:

— Ты еще не дозрел до раскаяния и покаяния, свою закоснелость в грехе ты считаешь силой, а между тем, она-то как раз и есть величайшая слабость. Если бы твое сердце смягчилось как-нибудь и научилось сокрушаться, ты был бы поражен той силой и тем богатством, которыми наполнилось бы все твое существо. Но слабый человек считает скалу более крепкой, чем цветок на дереве, а между тем ее разрывают корни этого дерева, когда оно медленно и незаметно вырастает в скалу. Но оставь твои насмешки, я умолкаю и своими словами не хочу лишать чорта его законной собственности.

— Если он обо мне еще заботится, — сказал Христовор, громко расхохотавшись, — то о тебе уже позабыл, а это как раз и огорчает тебя; поэтому ты ежедневно пристаешь к нему, кланча и умоляя со слезами, чтобы он не совсем отверг тебя, так как ты все же порядочный человек и, как все говорят, отличная голова и питаешь к нему расположение и любовь; пускай поэтому его не смущает та ничтожная доза раскаяния и набожности, которую тебе приходится принимать каждое утро к завтраку из-за слабого здоровья, ведь это делается без злого умысла; он сам отлично знает твое постоянство и верность старой привязанности. Не правда ли, ведь ты эпикуреец на три четверти и пуританин на одну осьмую? Таковы твои отношения к патрону, который разве что надуется, если как-нибудь вспомнит о тебе!

Когда они оглянулись, молодой человек, которого они считали писцом, уже опять незаметно уселся с бутылкой вина в глубине комнаты.

— А вы тоже верите чорту?— обратился говоривший в его сторону.

Незнакомед, предварительно вежливо поклонившись, ответил с тихой улыбкой:

— Если верить ему, господин Марло, то надо остерегаться, как бы не уверовать в него, а если отрицать, то как бы не оказалось, что он сам внушает нам эти слова.

— Вот видишь, милый Грин,— сказал Марло,— этот славный молодой человек ответил нам глубокомысленной речью.

— Достойной доктора,— сказал Грин,— хотя она и не отвечает на твой вопрос.

Разговор был прерван, так как наверху зала отворилась стеклянная дверь, выходящая на балкон. Появился хозяин, а с ним изысканно одетый мужчина; он с большим вниманием осмотрел общество внизу, вежливо приветствовал его и опять удалился с хозяином. Затем в верхней комнате послышался разговор. Вскоре внизу появился нарядно одетый паж, несший на серебряной тарелке бутылку старого рейнвейна, сахар и варенье. Молодой человек, смущенно оглядываясь, осмотрел сидящих, затем с мужиковатыми повадками направился к молодому незнакомцу у бокового столика и проговорил, запинаясь:

— Милостивый государь, эсквайр Вальборн из Эшентауна в Йоркшире свидетельствует вам свое почтение и при этом скромном подношении просит разрешения познакомиться с вами, уважаемый господин, посетив вас для беседы с вами.

— Со мной?— сказал человек в черном платье.— Вы ошибаетесь, молодой друг.

— Наверное, нет,— ответил паж,— мой господин подробно описал мне вас и сказал еще, что я никак

не могу ошибиться, так как у этого господина такие благородные, прямо королевские манеры.

Оба приятеля у окна, тотчас же понявшие недоразумение, не могли удержаться от громкого смеха; казалось, незнакомец не был ни смущен, ни обижен и его также все это забавляло. Только эсквайр, вновь привлеченный неожиданным смехом на балкон, не разделил всеобщего веселого настроения; он крикнул громким голосом сверху: „Дурак!“ и резко замахал рукою, так что паж, смутившись еще больше, стоял молча и нерешительно посреди зала, между тем как его господин продолжал:

— Туда! Ступай к господину в красном плаще, к высокому величественному мужчине.

Паж, весь красный, исполнил гневное приказание, но уже не мог произнести ни слова, а дрожа поставил серебряный поднос со всем, что было на нем, на стол и, молча поклонившись, удалился. Между тем, эсквайр, устыдившись своей резкости, снова оставил балкон; он вошел в зал и, приблизившись к группе у окна, сказал:

— Простите неловкость моего молодого, еще неопытного слуги, почтеннейшие господа, и не сочтите за дерзость, если посторонний человек, не имеющий за собой никаких заслуг, но привлеченный славой столь превосходных умов, желает познакомиться с людьми, приносящими своему отечеству столько чести.

Грин молча поклонился, а Марло, хорошо понимавший, что послание дворянина относилось, в сущности, к нему одному, взял слово и красноречиво выразил великую радость, которую должен испытывать поэт, когда ему удается приобрести друзей даже вдалеке, среди уважаемых и выдающихся людей; мнение одного понимающего человека перевешивает неопределенное суждение бесчисленных представителей невежественной массы.

Эсквайр, человек воспитанный, счел нужным также обратиться с маленьким извинением и к незнакомцу; но как только он начал свою речь, тот любезно предупредил его, говоря:

— Не беспокойтесь, сэр. Мне только жаль бедного молодого человека, которого вы сконфузили; не отвлекайтесь от вашего разговора, он для вас слишком важен, чтобы терять время с незнакомцем.

Эти слова, произнесенные вежливо, но беспечно, побудили эсквайра пригласить также и незнакомца к столу, который слуги вновь уставили вином и фруктами. Равнодушный Грин любезно дал писцу, как его называли, место рядом с собой; но Марло, слегка обиженный, отодвинулся от него в сторону дворянина. От последнего не ускользнула эта невежливость, и он добродушно сказал:

— Кто не может проявить себя как поэт, того облагораживает хоть то, что он понимает и любит произведения благородных умов; поэтому я с некоторой надеждой добиваюсь вашего общества и прошу этого молодого человека присоединиться к нам, так как его слова и поведение обнаруживают, что он умеет ценить поэтов своей страны.

Вино и веселые разговоры вскоре перезнакомили между собою всех бывших дотоле чужими друг другу. Надменный Марло забыл, наконец, что дворянин настолько же унизил его приглашением незнакомца, насколько польстил своей предупредительной вежливостью.

— Как я счастлив,—сказал эсквайр,—что сижу наконец возле человека, давно уже умилавшего мое сердце и занимающего среди ныне живущих или, во всяком случае, среди известных мне поэтов безусловно первое место.

— Бывают часы,—ответил Марло, покраснев,—когда и моей опьяненной душе грезится нечто подобное; но пока что я еще не нашел ни досуга, ни настроения, чтобы выполнить что-нибудь из того, что предполагалось мной в моей восторженной молодости. Все, что известно миру обо мне,—только забавы и опыты.

— Вы слишком скромны,—возразил эсквайр;—где у нас хоть что-нибудь похожее на ваш перевод Овидия

или Музея? \* Вы совершенствуете наш язык, так что он делается гибким и способен тонко выражать оттенки силы, величия и глубины. Ваши песни нежны и благозвучны, ваши трагедии потрясают, и во всем, что вы создаете, господствует стремительность, буря страсти, увлекающие нас против воли в чуждые области, а это для меня и служит верным признаком истинного поэта.

— Я только тогда могу сочинять,— продолжал Марло,— когда меня что-нибудь волнует и непреодолимо влечет к стихам и фантазиям. Иногда мне даже кажется, в сладостном очаровании, будто чужой, высший разум управляет моим пером. Когда меня оставляет это возвышенное исступление, я даже сам удивляюсь тому, что написал. И я не верю, чтобы в трагедии можно было иным путем создать что-нибудь, ибо как может поэт выразить сверхчеловеческое, если сам он не выведен из душевного равновесия? В таком трепетном состоянии пророческого помешательства он воспринимает своими бессмертными очами вещи, остающиеся навсегда скрытыми от его земного взора. Поверьте мне, из всех достоинств, которыми я восхищаюсь в моем друге Грине, я больше всего завидую его способности писать и сочинять стихи по своему произволу, во всякое время и во всяком настроении, однако лично мне это мало件нятно.

— Если в том,— ответил Грин робким голосом,— что ты сейчас сказал, есть хоть сколько-нибудь правды, то этот дар едва ли можно считать завидным, потому что как раз он и делает для меня навеки невозможным достижение истинного венца поэзии. Я, конечно, не менее других восхищаюсь полетом твоего гения, и может быть, и верно, что орел вдохновения расправляет крылья охотнее всего в благословенные часы, когда небо нашей души безоблачно и лазурно, чтобы в высших сферах упиваться лучами солнца; но нельзя отрицать,

\* Марло перевел любовные элегии Овидия и поэму греческого поэта Музея (V—VI вв. н. э.) „Геро и Леандр“.

что порядок, настойчивость и твердость, которыми ты, мой благородный друг, пренебрегаешь в своих работах, имеют большое значение для нас. Этот порядок, если бы ты усвоил его, сделал бы для тебя и самое вдохновение более доступным, и тогда тебе, свободнейшему и сильнейшему из людей, не приходилось бы быть почти ежедневно рабом твоих капризов и настроений.

— Это совершенно верно,— ответил Марло,— в устах другого; но для меня это не подходит, я должен был бы быть совсем другим человеком, чтобы следовать такому хорошему совету.

— А я, напротив,— продолжал Грин,— нахожусь почти всегда в несколько умиленном, поэтическом настроении; моя внешняя и внутренняя жизнь, действительность и фантазия не так разобщены, как у тебя и у многих других людей; поэтому я работаю совсем легко и без каких-либо других перерывов, кроме тех, которые делаю произвольно. Оттого мне и удастся лучше, чем тебе, применять в стихотворениях веселье и шутки; как бы богато ни одарила тебя природа, но, тем не менее, в шутке тебе отказано, и как только ты, наперекор Минерве, хочешь возбудить смех, это тебе не удастся.

— Нет,— вмешался дворянин,— может быть, и невозможно выражать так красиво героическое, великое и страшное и в то же время обладать такой игривостью, чтобы остроты, шутки и веселье били из пенящегося кубка вдохновения. Я не хочу задевать уважаемого таланта присутствующих, но мне кажется, что эту веселость надо искать на более низкой ступени, поэтому она и не требует напряжения всей души, всех сил человека. Великан, вырывающий с корнем дерева, не может быть в то же время изящным танзором.

Молодой человек в черном камзоле тихо улыбался.

— Вы, кажется, не совсем моего мнения,— сказал эсквайр, наливая ему снова.

— Простите,— ответил тот,— мне только пришло в голову, не представляет ли собой человек нечто большее, чем просто великан; мы, по крайней мере, радуемся,



когда в поэтическом произведении гиганта побеждает более благородная сила. Александр или Генрих Пятый английский после выигранного сражения могут пировать и пить, не теряя своего благородства; и может быть, существует также и поэзия, объединяющая решительно все.

— Когда слепой говорит о красках,— вмешался Марло и гневно взглянул на незнакомца,— то мы, действительно, узнаем новые вещи, однако далеко не относящиеся к делу.

Эсквайр, желавший избежать спора и поддержать хорошее настроение у своего любимца, заговорил о плавных стихах и пышных описаниях, которые создали Марло в то время величайшую славу, но за которые его порицали противники, добронравные читатели, так что церковный суд хотел даже запретить его перевод стихотворений Овидия.

— Спор о безнравственности поэзии,— продолжал дворянин,— никогда еще не велся так оживленно, как в наши дни, и если ее противники и правы в какой-то мере, то нельзя не согласиться, что благочестивый образ жизни, гражданская добродетель и беспорочность несовместимы с поэзией.

— Наши противники,— сказал Марло с большим оживлением,— это ведь те пуританские чистильщики и метельщики, которые хотели бы очистить страну не только от поэзии, но и от всех искусств, даже наук, и если бы их послушались, то и от различия сословий, от дворянства, короля и духовенства. Но, подобно тому как при великом расчленении человеческого общества невозможно изъять из целого кажущиеся несовершенства, бедность, угнетение, насилия и пороки, потому что тем самым не только уничтожилась бы добродетель, но и разрушилось бы все здание величественной мудрости,— так и в поэзии замечается подобное же явление. Мы все знаем и часто сетуем на то, что чувственный восторг так сильно действует на нас, и в то же время мы должны с сожалением признаться, что его невозможно уничтожить, так как вместе с ним погибло

бы всякое проявление жизни. Когда в мощной груди пробуждается сознание жизни и возникает стремление выразить его в образах, сладких звуках и аккордах, то оно заключает это сокровенное стремление своими блестящими узлами и возводит его к пределам постигаемого, к пышности, прелести и сладострастию, туда, где горит самое чистое и жгучее пламя жизни. В этом пламени дух поэзии дерзко возносится, проявляясь во всех красках и образах; и как любовь, тоска, печаль и духовное желание угасают и смягчаются в чувственном удовлетворении и земном насыщении, так небесное, чистое и дивное может найти цветущий венец и красочное выражение не иначе, как в возбуждении и чувственной роскоши. Как бы ни были различно настроены человеческие умы, тут все друг друга понимают, если они простодушны и естественны. Следовательно, кто меня за это порицает, бранит самое вдохновение, ту жизненную силу, которая просыпается в укромном мраке души, осматривается, ясным, все разгорающимся взором постигает чудо своего назначения и любовно уносит с собой это сладостное, волнующее весь мир влечение, чтобы выразить в образах и формах то, что иначе навеки осталось бы мертвым и невоплощенным. И не представляет ли страстное стремление к боли и страданиям то же явление? Во власти таинственной прихоти — смеси страха, отвращения и жалости, душа хватается за страшное и утоляет свой ужасный голод картинами крови и убийства; жестокость и кровожадность, дремлющие в груди человека, освобождаются от цепей, красная от крови, дикая природа торжествует в своем величии среди ужаса и содрогания. И это побуждение, возносящее как в действительности, так и в поэзии человека высоко над самим собой, глубочайшим образом сродни пламенному сладострастию и в действительности есть то же самое магическое желание создавать и разрушать, губить в апогее любви и упиваться жаждой крови до тончайших фибр души. Поэтому тиранны так необходимы в трагедии, поэтому любовь

должна присутствовать в каждом стихотворении, которое предназначено пробуждать нашу душу от сна; оттого и любовь, когда нарушают ее вдохновение, когда препятствуют ее наслаждению, при буйном характере доводит до убийства, и оттого все тираны были сладострастны и страшнее всего в своей жажде любви.

— Прекрасно!— воскликнул эсквайр.— Это жутко-призрачное в теснейшем сочетании с приятным проникает утонченным трепетом в самые отдаленные закоулки нашей души. Как великолепно вы только что охарактеризовали вашу великую трагедию „Торжество похоти“\*, в которой мы ненавидим отвратительного негра и удивляемся ему, приходим в ужас и все-таки не можем его как-то не любить. Эта, вся залитая кровью, трагедия, как и ваш „Мальтийский жид“, всегда особенно нравилась мне.

Хотя Грин охотно и с легким сердцем вторил этому восхищению, но все-таки ему, должно быть, стало досадно, что речь шла так мало о нем; он сказал поэтому с капризной улыбкой, которая очень шла к нему:

— Бьюсь об заклад, что наш молодой гость, если бы он только мог говорить, имел бы и на этот счет многое сказать, ибо мне показалось, что по его высокому лбу, словно легкие тучки, пронеслись некоторые мысли и сомнения, а в тонко очерченных бровях блуждали разного рода возражения, о которых уста вынуждены были умалчивать.

Эсквайр задумчиво посмотрел на незнакомца, а Марло воскликнул:

— Пусть он держит речь! Я не хочу, чтобы про меня говорили, что я, как тиранн, завладел разговором и что в моем присутствии кому-нибудь в нашем обществе, кто бы он ни был, не разрешается говорить.

— Что же,— молвил эсквайр,— скажите, молодой друг, не ошибся ли господин Грин, наблюдая за выражением

\* Эта драма („Lust's dominion or The lascivious queen“) принадлежит не Марло, а другому, неизвестному автору.

вашего лица, и понимаете ли вы, действительно, что-нибудь в этом деле.

— Предмет слишком важный,— ответил незнакомец,— для того чтобы я мог думать, что скажу о нем что-нибудь значительное, особенно против учителей. Господин Марло дал нам стихотворения, которыми мы все восхищаемся, а это главное. Тот чувственный восторг, о котором он утверждает, что он составляет, так сказать, уток нашей жизни, так что без него невозможна никакая ткань, а еще менее художественные рисунки на ней,— конечно, нельзя отрицать. Спрашивается только, составляет ли он сам по себе как естественное побуждение, по своему влиянию и силе, будь они даже огромны,—задачу для поэзии или даже ее венец. Так как всякое творчество есть все-таки лишь превращение, то мне кажется, целью поэта должно быть, да и было всегда, развить до небесной ясности, до тоски по незримому это побуждение, волнуемое и развивающее животное грубо и сильно, а цветок таинственно, и сочетать теснейшим образом телесное с духовным, вечное с земным, Купидона с Психеей, в духе старой сказки \*, в присутствии и с одобрения всех богов.

— Смотрите,— сказал Марло,— наш молодой друг достаточно начитан; только я думаю, что таким путем и страсть и пыл превратятся в ничто и рассеются. Кто таким образом пытается разгадать жизнь, находит всегда лишь смерть. Это будет прямой противоположностью поэзии и выродится в безжизненные аллегории, как пустые схемы, отрезвляющие всякое сердце холодом. Таковы были старинные моралитеты \*\*, из коих мы еще обладаем несколькими; об этом говорили высокопрославленные стихотворения этого петраркиста Суррея \*\*\*, друга Генриха Восьмого; этим страдает,— что бы ни гово-

\* Римского писателя Апулея (II век н. э.) в его романе „Золотой осел“.

\*\* Средневековые пьесы моралистического содержания.

\*\*\* Генри Говард граф Суррей (Surrey, 1516—1547), английский лирик, подражатель Петрарки.

рили его поклонники,— прелестная „Царица фей“ нашего Спенсера\*, из которого многие, называющие себя лучшими, хотят сделать величайшего, даже единственно истинного поэта Англии. Они приняли бы вас плохо, сэр, с вашим восхищением перед бедным Марло, хотя он и сам охотно прохаживается под зеленой сенью спенсеровских лесов, в сумраке, что так мило оживляется журчаньем ручейков и отдаленной песней соловьев, дышит ароматом и пронизан лунным светом, но все же нередко подавляет нас, при всем наслаждении, дремотной усталостью и тяжелыми снами.

— Эти первые три книги, которые только что вышли,— сказал эсквайр,— появились так чудесно, как иногда весна со всей своей листвой и цветами. Это чудо некоторым образом поражает, восхищает и ошеломляет; на первых порах нам и в голову не приходит, что лето и осень могут быть в своем роде красивее и прелестнее. Мне кажется неоспоримым, что новый тон, новые искания, неслыханные еще доселе слог и стихосложение звучат чарующе; и даже эти сумерки и сладкая усталость, о которых вы только что говорили, мне кажутся необходимыми для этого произведения с его густыми тенями и темными гармоническими красками.

— Целое,— сказал Марло,— когда оно будет закончено, должны составить двенадцать таких книг, а каждую книгу — двенадцать песен. Кто сможет это читать? Не окажется ли там множества пустых затычек, аллегорических, вялых описаний и речей, понадобившихся лишь для окончательного сооружения громоздкого строения, требующего тут флигеля, там колоннады ради симметрии? Уже теперь нельзя не заметить такого рода прозаической потребности, проистекающей не из поэзии. Но вы правы, эти песни, как новое вино, опьяняют всю нацию. Если я на этот счет несколько иного мнения, то таково же мое отношение и к прославленной „Арка-

\* Незаконченный эпос Эдмунда Спенсера (1552—1599) „Царица фей“ представляет собой аллгорию на королеву Елизавету.

дии“ нашего Филиппа Сиднея\*. Я нетерпелив и для меня подобные книги слишком длинны; и реже всего их будет читать тот, кто сам хочет что-нибудь создать. Теперь многие утверждают о „Царице фей“, что она составит основу истинной национальной поэзии будущего, а я часто льстил себя, что я и мои друзья положат эту основу на свой лад, ибо я не могу представить себе, что народ когда-либо вполне поймет и насладится этими, хотя и поэтичными, но все же странными песнями. Мне кажется, со времен нашего Чосера\*\* ничего не было написано, что принадлежало бы всему народу. А из произведений славного старика я, собственно, имею в виду только „Кентерберийские рассказы“, а из них опять-таки остроумные и комические; его бесподобное изображение характеров навсегда должно служить образцом для каждого англичанина. Это самая яркая веселость и самый светлый ум, которые я когда-либо встречал в литературе.

— Вы,— снова начал дворянин,— уже достаточно сделали, чтобы избежать всякого тумана неопределенности и отвлеченности, ваши друзья также поддерживают вас в этом, а ваши ученики и последователи, вероятно, пойдут тем же путем. Как отрадно, что в вашем „Эдуарде Втором“\*\*\* вы так благородно представили нашу богатую великими и трагическими событиями отечественную историю! Господин Грин обработал несколько сказочных преданий\*\*\*\* так легко и изящно, что хотелось бы побольше в этом роде. Ваш приятель Джордж Пиль\*\*\*\*\*

\* Филипп Сидней (1554—1586) наряду со Спенсером главный представитель придворной искусственной поэзии времен Елизаветы; его „Аркадия“ — старейшая английская пастораль.

\*\* Чосер (ок. 1340—1400) — отец английской поэзии; его образцовое произведение „Кентерберийские рассказы“ — сборник новелл в стихах.

\*\*\* Трагедия Марло (напечатана в 1598 г.).

\*\*\*\* В пьесах „Джордж Грин, векфильдский полевой сторож“ и „Чудесное сказание о монахе Беконе“.

\*\*\*\*\* Джордж Пиль (ок. 1550—1598), автор исторической драмы „Эдуард I“.

идет по тому же пути, и мне передавали, что некоторые неизвестные авторы обработали уже с величайшим успехом еще другие отечественные сюжеты для театра.

— О да! — воскликнул Грин. — Скоро дойдет то того, что ученик будет обходиться без хронологии и сможет весело изучать историю Англии в театре. О театр, милое, превосходное учреждение! Если бы мы, бедные авторы, по крайней мере от него избавились!

— Почему? — спросил эсквайр.

— Мы, — гневно продолжал этот обычно приветливый человек, — почти первые дали и вложили в уста комедиантам и их недалеким директорам кое-что разумное; но теперь, когда народ сбежался и приохотился к театру, они это уже забыли. Теперь они думают, что не нуждаются больше в нас, и для них столь же желательны и даже еще более сочинения кропателей и неизвестных пачкунов; жалкие опыты, иной раз написанные как будто совсем необдуманно, достигают неменьшего успеха, чем стихотворения, стоящие нам времени и бессонных ночей. Только мы сделали театральных предпринимателей тем, что они есть, но мы в то же время и испортили их. И какая цена, в конце концов, лучшей театральной пьесе? Моя и моего друга истинная слава может основываться только на наших других произведениях, ибо становится все очевиднее, что почти каждый может написать занятую пьесу, особенно если комедианты ее хорошо сыграют, а нельзя отрицать, что последние с каждым днем становятся лучше и в своем так называемом искусстве дают больше, чем можно было ожидать лет десять тому назад.

— Эти лишённые вдохновения актеры, — продолжал Марло, — скоро сами вздумают писать все, что нужно для их сцены. Для нас это, может быть, и безразлично, так как наша жизнь и слава зависят не от этого минутного и изменчивого успеха. Несколько вещей из нашей истории уже имели блестящий успех, потому что в ход были пущены старые воспоминания, расползение к известным людям и так называемая любовь к отече-

ству, и всеми этими приправами подкупили тупую и невежественную толпу. Но какое дело истинному поэту до его так называемого отечества? Клочок земли, на котором он случайно родился! Ему открыты, его власти покорны все царство фантазии, юг и север и мир духов сверх того. Тот, кто, желая вдохновиться счастьем и несчастьем, великодушием, злобой и ужасными происшествиями, еще может интересоваться тем ничтожным клочком земли, на котором он увидел свет, и в великие картины не может не влетать произвольно воспоминаний детства, уж наверное ничего не имеет общего с поэзией. Поэтому я наделил моего Тамерлана\* большей красотой и величием, чем те могли когда-либо придать своим Тальботу, Глостеру или слабому Генриху Шестому\*\*, или даже старым, забытым сказочным фигурам, которых болезненная расслабленность поэтов опять старается нам преподнести. Поэтому моя последняя трагедия,—сказка о немецком волшебнике Фаусте,—мне так дорога, что здесь ужас, страх и все потрясающее, чередуясь с карикатурными, комичными происшествиями, разыгрываются совершенно независимо, вращаются в своей собственной стихии и не нуждаются в обычаях нашего времени или города. В своем „Эдуарде“ я также обошелся без участия так называемого отечества или политического гнета, народа и тому подобного. Борьбы партий и невыразимого несчастья слабого короля достаточно, и последний возбуждает в каждом зрителе сочувствие и ужас именно потому, что он только человек.

Незнакомец поднялся.

— Вы опять сердитесь?—сурово спросил Марло.

— Этого никогда еще со мной не бывало,—сказал тот самым приветливым тоном,—я чувствую себя, напротив, весьма польщенным, что мог принять участие

\* Герой трагедии Марло „Тамерлан Великий“.

\*\* Король Генрих VI, так же как и полководец Джон Тальбот (1373—1453) и Гёмфри (Humphrey) герцог Глостер, дядя Генриха VI, выступают в шекспировской драматической хронике „Генрих VI“.



в разговоре с столь прекрасными людьми. Но мне пора идти, потому что я не так независим, как вы только что говорили о себе.

— Если вам только позволяет ваш адвокат или прочие занятия,— сказал Марло,— то скажите теперь же то, что имеете возразить.

— Ваше желание,— ответил тот,— для меня имеет силу приказания, а как драматический поэт вы, конечно, умеете лучше использовать мнения, совершенно не схожие с вашими, чем обыкновенные люди. Сперва вы безусловно хотели поставить высшей задачей поэзии чувственный восторг, это главное побуждение нашей природы, общее для всех людей и даже животных. В этом предубеждении вы думали найти высшую свободу; чувство патриотизма вы, напротив, отвергаете как связывающее и как поэт не хотите признавать ни отечества, ни времени. И все же вы не можете отречься от вскормившей вас стихии, от взрастившей вас среды. Если человек, не имевший детства, не может почувствовать своей возмужалости, то на что же может опираться мир, создаваемый поэтом, если он сам отвергнет необходимую для него точку опоры? Любовь к отечеству — это развитое образованием и воспитанием природное чувство, инстинкт, претворившийся в благороднейшее сознание. Она возможна только там, где существует истинное государство, правит благородный государь и может развиваться та свобода, которая человеку необходима, в этих подлинных государствах она овладевает благороднейшими умами и сообщает им высшее вдохновение, бессмертную любовь к стране, к преемственному государственному устройству, к древним обычаям, к веселым празднествам и причудливым преданиям. А если при этом она соединяется с искренним почитанием правителя, как мы, англичане, имеем возможность почитать нашу высочайшую королеву, то на почве этих разнообразных сил и чувств вырастает такое дивное древо жизни и великолепия, что я не могу представить себе никакого интереса, никакой изысканной поэзии,

никакой любви и страсти, которые могли бы соперничать с этим высшим вдохновением. И поэт здесь встречает поэзию в великолепнейшем наряде — если он только захочет узнать ее — идущей навстречу его душе. У кого не бьется сильнее сердце при упоминании о Кресси и Азинкюре? \* Что за образы — Эдуард Третий \*\*, Генрих Пятый, герои гражданских войн роз, честный Глостер, возвышенный Варвик, Страшный Ричард \*\*\* или гигантская фигура Ганта рядом с легкомысленным и несчастным Ричардом Бордосским! \*\*\*\* Черный принц, которого даже враг упоминал с уважением, Львиное Сердце или его еще более великий отец, счастливейший и несчастнейший из могущественных монархов! \*\*\*\*\* А какое чудо мы пережили всего несколько лет назад, когда в лице огромного флота чужеземное иго уже подпыло к нашему порогу? Какие чувства одушевляли и волновали тогда страну в долинах, лесах и горах! Какие желания и молитвы! Стар и млад радостно и с бьющимися сердцами стремились в ряды храбрых, чтобы пасть или победить. О, тогда, тогда мы действительно чувствовали, не нуждаясь в словах, какое высокое благо, какое сокровище выше всякой земной оценки — наше отечество! А когда затем наша высочайшая королева, вооруженная, на коне явилась перед ликующей толпой защитников отечества, в блеске своего величия, с любовью

\* В сражениях при Кресси (1346) и Азинкюре (1415) англичане победили французоз.

\*\* Король Эдуард III — победитель при Кресси.

\*\*\* Война Алой (Ланкастерский дом) и Белой розы (Йоркский дом) — 1455—1485 гг. — Граф Варвик (Warwick), один из главных героев в войнах роз со стороны Йоркского дома. — Король Ричард III (правил в 1483—1485 гг.) герой одноименной трагедии Шекспира.

\*\*\*\* Джон Гант (Gaunt), граф Ричмонд и герцог Ланкастер, третий сын Эдуарда III, дядя Ричарда II (правил в 1377—1399 гг., родился в Бордо).

\*\*\*\*\* Эдуард принц Уэльский, прозванный по своим доспехам Черным принцем, старший сын Эдуарда III. — Ричард I, Львиное Сердце (правил в 1189—1199 гг.), участник третьего крестового похода, сын короля Генриха II (1154—1189).

и милостью, и уста ее заговорили об общей беде, о страшном враге, которого только небо и единоплеменные воодушевленных сынов отечества могли бы победить,— кто, пережив эти высшие минуты своей жизни, сможет их когда-нибудь забыть? И все-таки мы, вероятно, погибли бы, как ни высоко подняло нас бессмертное чувство, если бы счастье и спасение не упали прямо с неба. Елизавета, Говард, Дрек, Ралей\* и имена всех тех, которые правили и сражались в те роковые дни, должны упоминаться с благодарностью до тех пор, пока английская речь будет раздаваться на этом счастливом острове. Извините мое волнение, но, мой уважаемый, разве это не целый мир для поэта? Дорогой Марло, мне приходится почти опасаться, что в этом стремлении обходиться только самим собою, без родины, без времени, человек, как вы только что перед этим выразились, превратится в ничто и исчезнет. Но будьте снисходительны к профану, который, как ни хотел этого избежать, все-таки навязал вам длинную речь и свои возражения.— Поблагодарив еще раз всех за их благосклонность, незнакомец оставил зал.

Эсквайр серьезно, даже с умилением, посмотрел ему вслед; Грин кивнул одобрительно, но Марло сказал, не смущаясь:

— Из этой речи можно только заключить, что этот добрый малый не получил научного образования и не был в университете. Ибо мы все обязаны занятиям наукой и знанию классических авторов тем, что с ранней молодости осваиваемся с более широким миром, чем нам может дать современность. Хорошо, если толпа думает так, как он, но развитой или свободный человек заимствует подлинное дыхание жизни у древних респу-

\* Говард (Howard of Effingham, 1536—1624), лорд-адмирал, командовавший английским флотом во время нашествия испанской Армады.— Сэр Френсис Дрек (1540—1596), вице-адмирал, служивший под начальством Говарда.— Сэр Вальтер Ралей (1562—1618) также участвовал в бою против Армады.

блик, и высокий Олимп все еще остается обиталищем наших богов.

— Ты во всем силен и могуч,— сказал Грин,— но, должен сознаться в своей слабости, я был тронут, и это бывает со мной часто в таких случаях. Я думал также об окончании своего „Роджера Бекона“, которого я заставляю закончить ведем похвальным словом нашей королеве; теперь, после речи даровитого писца, я мог бы написать эту вещь совершенно по-иному.

— Так как мы теперь одни,— сказал эсквайр,— то позвольте мне говорить с вами как с другом и простите меня заранее, если я, может быть, несколько преждевременно и чересчур смело пользуюсь этим званием. Я предпринял свое путешествие отчасти для того, чтобы познакомиться с вами, уважаемый господин Марло; это мне удалось, но я был бы еще счастливее, если бы мог быть вам чем-нибудь полезным. Я человек состоятельный, а так как слышал, что вы иногда бываете в затруднении из-за недостатка в презренном металле, то скажите мне, какой суммой я могу вам услужить, и если мой уважаемый друг не сердится за мою откровенность, то к его услугам двести фунтов.

Марло слушал с видимым смущением, все лицо его покрылось пылающей краской, горящие глаза были полужакрыты и опущены, несколько полные губы, казалось, выражали сопротивление. Грин сперва смотрел большими глазами на незнакомца, затем кашлянул, неуверенный в том, что скажет его друг, и стал пить медленными глотками. Марло ответил лишь после паузы.

— Вы благородный, обходительный человек, и хорош бы я был, если бы негодовал на такое великодушие. Но доверие за доверие: даю вам слово, что я не нуждаюсь в вашей помощи, но вы будете первым, у кого я стану искать ее, как только буду в ней нуждаться. Но если вы, действительно, хотите быть моим другом, как вы это предлагаете, то позвольте мне к этому отказу прибавить просьбу, которою, мне кажется, я сделаю вам больше чести, чем если бы сам стал вашим

должником. Видите ли, мой дорогой Грин находится уже давно в самой гнетущей нужде; как ни легкомыслен он, но чувствует себя все же скованным ею, и, что больше всего достойно сожаления, этим парализуется его прекрасный талант, который (хотя я перед этим и говорил немного хвастливо) по меньшей мере не уступает моему, если не превосходит его, так как, во всяком случае, за ним остается неоспоримое преимущество большей разносторонности. Этого способного человека вы, действительно, можете ошастливать вашим великодушием, так как он тогда восторжествует над издевательствами низменных умов, злорадно насмехающихся над его нуждой, но никогда не способных понять его возвышенных мыслей.

Эсквайр встал и с чувством обнял уважаемого поэта; затем он обернулся к Грину, в высшей степени пораженному таким оборотом разговора, и сказал с умилением:

— Так я всегда представлял себе дружбу между поэтами, и не я, дорогой Грин, нет, ваш друг Марло дарит вам эти двести фунтов. Если эта сумма вырвет вас из затруднения, то благодарите за это его, а не меня; но если в будущем я смогу еще что-нибудь прибавить, чтобы устроить вашу жизнь, то я буду гордиться, если вы впоследствии почувствуете себя обязанным и мне хоть сколько-нибудь.

Грин поднялся, пораженный, смущенный, почти уничтоженный радостью.

— Христофор,—воскликнул он и обнял стройного своего друга,—ты необычайный человек!..— Он хотел продолжать, но слезы и рыдания прервали его речь. Немного успокоившись, он обратился к дворянину.— Вы извлекаете меня из ада,—воскликнул он с воодушевлением,—великодушный человек! Только теперь, когда я освобожден, я могу обозреть всю глубину моих бедствий; только теперь я смею думать о возможности счастья, к которому я, казалось, уж навеки повернулся спиной.

Он был так потрясен, что должен был сесть. Марло старался успокоить его; даже приезжий был тронут таким проявлением радости.

— Видишь,— обратился Грин к Марло,— ты дожил-таки до того, что твои насмешки превратились в ничто? Да, в твоём присутствии я всегда хочу быть человеком такого же высокого духа, как ты; я стыжусь казаться кротким, добрым и благочестивым. Когда этот злой, милый, чудный, безбожный Христофор, отрицающий бога устами и все-таки так часто поступающий по его заветам, поступивший и сейчас со мною, как христианин, самаритянин и верующий,— когда этот благочестивый злодей ушел вчера от меня, после того как мы суетными устами покощунствовали с легким сердцем над святынями,— я лег спать один в четырех голых стенах; я прочел напоминание о старом долге на бледном лице моего бедного хозяина, который и не думал прибегать к бурным речам, меня охватило раскаяние, и я разрыдался. Еще во время нашего разговора и смеха меня томили уныние и тоска. О небо! Как часто случается, что мы лжем пуше всего тогда, когда правда хочет потоками слез вырваться из глаз! В тихую полночь я встал на молитву в глубоком сердечном сокрушении и смирении, дерзкий разум мой почувствовал себя младенцем пред господом; ах! у меня даже не было смелости молить о помощи и спасении; нет, я только молил, чтобы господь сохранил мне это настроение, чтобы добрый ангел мой наделил меня смелостью, и я мог бы устоять перед моим другом и больше не отрицать все-благого. И вот, ангел уже привел моего духа-хранителя в этот дом, и он выручает меня, и мой Христофор содействует этой помощи; я могу лепетать молитвы и благодарения и скоро смогу вновь увидеть лицо моей Эмми. Она приедет в город с моим сыном.

— Вот перед вами бедный, добрый грешник! — сказал Марло, улыбаясь и утирая слезы.

— Успокойтесь, милый Грин,— сказал эсквайр,— я слышу, что вы муж и отец.

— Как эти два слова режут мою душу! — воскликнул потрясенный поэт. — Я — отец! Да я хуже ворона или волка, которые все-таки заботятся о своих детенышах. Я знаю, что мой сын голодает, что он лепечет мое имя младенческими устами, но отец и супруг далек от него, не видит его сияющих глаз, его ручек, протянутых к хлебу, который плачущая мать ему приносит, а прокучивает последние гроши, даже слезы матери и кровь ребенка в трактире; преследуемый кредиторами, осмеянный толпой, презираемый добропорядочными гражданами, едва ли возбуждающий жалость в мягкосердечном, он, этот отец, забывает мать своего ребенка, которой он дал тысячи ложных клятв, молодость которой он погубил, сердце которой он разбил, на нежную любовь и безграничную преданность которой он ответил легкомыслием и изменой. Этот погибший подлец шатается в толпе глупцов, маскируя свое безутешное отчаяние песнями и стихами, смехом и шутками, и думает пением и игрой, трагедией и моралью поднять и направить на путь добродетели своих братьев, которые все лучше его; он должен был бы учиться у последнего нищего и узника в цепях, даже палач посмотрел бы на него с презрительной жалостью, если бы мог заглянуть в сокровенное его души.

— Довольно, — сказал эсквайр, — если вы говорите искренно, то умерьте ваши жалобы и презрение к самому себе, чтобы сохранить силы для лучшего образа жизни. Тем более кстати пришелся мой дар, или, как я уже сказал, дар вашего друга, если он поможет вам не только поправить внешнее положение, но и залечить ваше разбитое сердце и вернуть потерянный покой.

Марло завладел разговором, чтобы умерить волнение несчастного; приезжий поддержал его в этом намерении, и через некоторое время бурное потрясение поэта улеглось. Марло стал рассказывать о своей молодости, об университетских годах, о коротком, но любопытном времени, когда он выступал артистом, правда, без успеха,

и как вскоре после этого решил жить только для занятий поэзией.

— И я когда-то стоял на подмостках,— сказал Грин,— и при гораздо более любопытных обстоятельствах, чем друг Христофор. Кончив курс наук, я отправился путешествовать по белому свету с двумя молодыми богатыми дворянами, дружбу которых я снискал в университете. Молодые, здоровые, ни в чем не испытывая недостатка, имея деньги в избытке, мы, безумцы, не нуждались ни в боге, ни в провидении, ни в добродетели. Остроты и шутки, шалости и веселье, наслаждение и задор были нашими идолами, и я считал себя счастливейшим из людей, так как мог рыскать с полной беззаботностью по чудесным равнинам Италии и посещать берега и волшебные горы Андалузии и Гренады. Великодушие моих друзей выражалось в том, что они обходились со мной, как с равным, и делили со мною средства, предназначенные для путешествия, так что я привык в их обществе жить, как дворянин, мотать, хвастать, задирать, дорого покупать любовные связи и быть обманутым в игре. Я и не думал, что это баловство может сделать меня несчастным на всю жизнь, когда я проснусь, наконец, от сна; так и должно было случиться. Прошло несколько лет, и мы вернулись в Англию; один из моих друзей умер, другой удалился в уединение и, убежденный некоторыми пуританами, посвятил жизнь раскаянию и покаянию, не заботясь о товарище по грехам. Я вернулся в университет, чтобы продолжать свои занятия и достичь академических степеней. По протекции видных покровителей, я получил через некоторое время должность пастора в графстве Эссекс. Деревенское уединение, душевный покой среди красивой природы, скромная деятельность и продолжение научных занятий — все это представлялось мне весьма поэтичным, и в течение нескольких месяцев я старался чувствовать себя довольно счастливым. Но в моей душе всплывали картины Неаполя, Тарента, Кадикса и Малаги и притом в самых блестящих красках; все, чем я насла-



ждался, все знакомства, произведения искусства, веселые шутки и разговоры, соблазнительные красавицы Венеции, сладострастные танцы Испании — дурманили в воспоминании мне голову, и когда я затем пробуждался, то убогая действительность, в которой я находился, казалась мне еще мрачнее. Но хуже всего было то, что я перед самым переездом в церковный дом присутствовал в Лондоне на представлении нескольких пьес. В Италии театр не особенно привлек меня; в Испании, хотя исполнители, как и произведения, и были лучше, но я жил слишком рассеянной жизнью, чтобы особенно наслаждаться этим родом поэзии. В Лондоне же я увидел такие приемы игры, услышал такую естественную дикцию, что вся душа моя прониклась этими стихотворными произведениями. Мне стали ненавистны моя церковь, моя служба и уединение. Нет человека более несчастного, чем тот, кто ошибся в своем призвании. Я разыгрывал во сне трагедии и комедии и пользовался успехом. Вселившийся в меня лукавый дух лишил меня покоя; я оставил свою должность и отправился в Лондон. Так как я перед тем послал несколько пьес, которыми наслаждалась толпа, то меня встретили с распростертыми объятиями. Я стал выступать как в чужих, так и в своих комедиях; стечение публики было необыкновенное, так как многие шли, чтобы посмотреть на поэта, которого они уже полюбили, другие, чтобы злиться на то, что священник так преступно сменил свое звание на противоположное; иных же привлекали любопытство и необычайность. Меня хотели убедить, будто у меня такой талант, что я могу стать вторым Росцием\*; однако, или мне недоставало таланта, или же моя неусидчивость погнала меня дальше, но это положение стало мне несносным еще скорее, чем предыдущее. В это время я, скитаясь по стране, познакомился с моей Эмми. Тут только я узнал, что такое любовь, так часто мною воспеваемая. Но отец ее, владелец маленькой усадьбы, не хотел

\* Знаменитый римский актер I века до н. э.

и слушать о моем сватовстве, он с презрением отказал мне, упрекая меня в недостатке характера и твердости. Чудный образ девушки, моя страсть к ней и мало-помалу просыпавшаяся в ней любовь ко мне сделали для меня все возможным. Никакая жертва не была для меня слишком велика, никакое предприятие слишком трудно, никакое усилие чересчур утомительно, чтобы только назвать ее своей. Родители принуждены были, наконец, согласиться на наш союз; они забыли прежнее недоверие ко мне и полюбили меня. Желанный день настал. Я открыл школу, и мне доверили детей знатных и состоятельных людей окрестности. Местность была красива, моя супруга счастлива, я чувствовал себя, как в Элизиуме. Благодать господня проявлялась во всем, сад, хлебные поля процветали, а по истечении быстро промелькнувшего года я стал отцом мальчика. Тут...

— Отчего вы остановились?—спросил эсквайр.— Я гадаю о вашем новом несчастье.

— Нет, сэр, нет,—возразил Грин, между тем как глаза его снова увлажнились слезами.— Тут нам досталось наследство в Лондоне, а с ним и тяжба. Дело казалось нам значительным, хотя сумма сама по себе была невелика. Надо было кого-нибудь послать в Лондон, чтобы получить деньги и начать дело. Я отказывался ехать, как будто видел злого духа, стоявшего вдали, в ожидании меня. Наконец я дал убедить себя ласковым просьбам моей супруги, и с тех пор— вот уже два года—я сижу здесь; я заставил выслать себе мало-помалу, под тем или иным предлогом, часть ее приданого, растратил ее наследство, так же как и сумму, выигранную мною в тяжбе, задолжал всему свету, терзаюсь раскаянием и не писал жене ни слова уже десять месяцев, чтобы в объятиях негодной любовницы—забыть? нет!—но унижать ее и себя и готовить свою душу для ада.

После некоторых обсуждений было решено, что попавший в крайность Грин оплатит полученной суммой свои долги и вызовет супругу в Лондон, чтобы можно

было составить вместе с ней план будущей жизни поэта. Затем все расстались, с неременным условием встретиться снова как можно скорее. Грин пошел провожать своего благодетеля, желавшего отыскать в окрестностях Тауэра двоюродного брата, с которым у него были дела, а Марло пошел с нажем, чтобы нанять для любезного дворянина тихую квартиру в Саутуорке\*.

Марло стоило немалого труда провести молодого человека сквозь толчею. Для пажа все было ново, сам того не замечая, он остановился, чтобы все подробно рассмотреть. То его внимание привлекали нарядные всадники со своими слугами, то еще невиданные им кареты, затем солдаты или вывески с самыми разнообразными изображениями, висевшие на домах по обеим сторонам улицы.

— Как тебя зовут, сын мой?—спросил Марло.

— Ингерам.

— Ты еще никогда не был в городе?

— Даже в маленьком не был еще.

— Ты хотел бы остаться здесь в Лондоне?

— Здесь, наверно, живется, как в раю, но мой господин скоро уезжает опять назад, а тогда мне придется вернуться с ним домой. Скажите-ка, что это за длинная улица?

— Это знаменитый Лондонский мост.

— Мост? Но я не вижу воды.

— Он застроен с обеих сторон домами и торговыми рядами.

— А куда же делась вода?

— Где она всегда была: из всех этих домов видна река.

— Смотрите! Опять солдаты! Как свирепо и дерзко смотрят эти люди! Скажите же мне, высокий господин,

\* Южная часть Лондона, на правом берегу Темзы — Тауэр, городская цитадель, близ Лондонского моста, на левом берегу Темзы.

похожи на этих людей короли — тот, что во Франции, и тот, что в Шотландии?

— Почему?

— Потому что мой эсквайр говорил, что у вас королевский вид.

— Значит, ты находишь, что я похож на солдата. А каким же, по-твоему, должен быть король?

— Таким рассудительным, таким мягким и ласковым, точно каждый, даже самый богатый, может получить от него милость; он не смеется, но все же так приветлив, что всякий к нему чувствует доверие, и даже самый знатный радуется, когда он ему улыбается. Так я себе всегда представлял королей из Амадиса и Бевиса \*, хотя, может, это и были тиранны.

— И все то, что ты сейчас описал, ты увидел в том незначительном писце?

— Я дрожал перед ним, так как думал, что это должен быть самый важный по всей Англии человек после королевы. Мой господин говорил о поэтах, а я еще не знал, что это такое стихотворец. Но разве писец, по меньшей мере, не поэт?

При этом простодушном вопросе Марло вошел в галантерейную лавочку, чтобы купить пару душистых перчаток. Продащица, хорошо образованная женщина, была очень приветлива и казалась польщенной тем, что этот красивый, уважаемый человек шутил с ней так дружески. Паж с восторгом любовался видом на реку и Тауэр, открывавшимся через окна задней комнаты, дверь в которую была открыта. Марло уже вышел на улицу, а паж все еще любовался ландшафтом с открытым ртом.

— Эй, ты, человечек! — крикнул ему поэт. — Идем же, и запомни как следует дорогу, чтобы ты потом мог со своим господином найти дом.

\* „Амадис Галльский“, известный рыцарский роман. — Бевис из Гемптона, английский певец X века. Но, вероятно, тут опечатка, и следует читать „Сельвис“ („Selves de Selva“, подражание и продолжение „Амадиса“).

— Как не запомнить дома на мосту,— воскликнул паж,— и громадную реку и зеленые луга в задней комнате!

Они свернули с моста в улицу направо; навстречу им, смеясь и громко болтая, шла красивая женщина со свободными манерами и легкой поступью.

— Ого! Как это ты сюда попала, в это предместье?— удивленно спросил Марло.

— А ты?— воскликнула красавица.— Откуда у тебя, дурень, этот хорошенький флюгерный петушок?— Она погладила пажа по щеке и по подбородку, и при грациозном движении свободная одежда спустилась с круглого блестящего плеча, открывая почти целиком левую полную и ослепительно белую грудь. Она не торопилась закрыться, так что молодой крестьянин стоял еще более очарованный, чем на мосту или на улицах.

— Оставь этого ребенка,— сказал поэт немного резко.— Я еще не сделался таким важным господином, чтобы он мог мне принадлежать. Добрый Ингерам в качестве пажа сопровождает провинциального эсквайра, остановившегося пока в „Морской деве“.

— Скоро мы увидим тебя, дурень?— спросила шаловливая красавица.

— Завтра, Фанни,— сказал Марло,— я приду в Дептфорд\* и тогда я надеюсь узнать, какое приключение привело тебя сюда, в это подозрительное соседство.

— Ревнуешь?— сказала она, громко смеясь.— О бедный дурень!— Прежде чем Ингерам мог опомниться, она нежно поцеловала его в свежие губы, а увидев раздосадованное лицо поэта, без всякого стеснения обняла его на людной улице, причем многие из прохожих, смеясь или качая головой, наблюдали веселую сцену; затем она вприпрыжку побежала вдоль домов через мост. Ингерам постоял некоторое время, затем невольно повернулся, чтобы последовать за блестящей, соблазнительной особой.

\* Местность около Лондона (ныне предместье), на правом берегу Темзы.

— Куда ты, дурак!—сердито окликнул его нетерпеливый Марло, и оба пошли к дому, стоявшему у реки.

Тем временем Грин и эсквайр спешили по улице, ведущей к Тауэру. Послышался какой-то крик и шум, и когда они свернули за угол, то увидели буйную чернь, которая преследовала человека, медленно выступавшего с неподвижно устремленными в землю глазами. Черные волосы его висели в беспорядке вокруг головы, и когда он мимоходом поднял лицо, приезжий заметил, что оно было распухшее и красное, так что бесформенные щеки почти совсем скрывали маленькие, впалые глаза. Бормоча, он бросил на них пронизывающий взгляд и важно прошел дальше, между тем как молодежь с криком побежала за ним.

— Знаете ли вы этого отвратительного типа?—спросил эсквайр.

— Нет,—отвечал Грин,—вероятно, это один из фанатичных пуритан, которые часто пытаются обращаться к народу с душеспасительными речами, но вызывают лишь издевательства и смех.

Разговор был прерван, так как к эсквайру подбежал хорошо одетый человек и, воскликнув: „Кузен!“, обнял его.

— А, кузен Артингтон!—воскликнул дворянин;— вот неожиданность! Только что я хотел зайти к тебе на квартиру. До свидания, господин Грин, возьмите себе еще сегодня то, о чем мы говорили, и постараемся поскорее снова встретиться.

Грин оставил своего благодетеля, а Артингтон сказал:

— Ах, кузен! Как это ты оказался с этим нечестивым человеком, ведь ты, вероятно, только недавно в Лондоне.

— Это известный поэт Грин,—ответил дворянин.

— Я это знаю,—возразил кузен,—он один из тех, которые носят ливрею сатаны. Он ведь пишет для театров, где играют эти нечестивцы, осмеивающие господ, беснующиеся с намалеванными лицами и не стыдящиеся даже переряжаться бабами.

— Это здесь ты стал таким набожным?—спросил

дворянин.— Верно, это и есть причина, что я ни на одно из моих писем не получил ответа и что мое дело совсем заглохло.

— Ты прав,— отвечал Артингтон,— все мирские дела для моего прозревшего духа остались довольно далеко позади. Ты должен искать общества святых мужей, апостолов, перевернувших все мое сердце. Когда господь найдет тебя, после того как ты найдешь его и твой сокровенный дух подготовит твоё возрождение и новое таинственное крещение, эта житейская суета станет для тебя столь же безразличной, как и для меня. Но войдем в мой скромный, смиренный дом.

— О моя тяжба! О мои денежные дела! О моя усадьба!— вздыхал эсквайр, пока они поднимались по лестнице.— Я доверил все это дураку, которого другие дурни окончательно лишили его слабого ума.

Эмми, супруга Грина, прибыла со своим ребенком в Лондон. Когда поэт был извещен об этом, он отправился к ним, пристыженный и глубоко потрясенный; он так же искренно желал свидания с ней, как и боялся этого мгновения. В синем платье, бледная, но все еще прелестная, сидела высокая, благородной внешности, женщина и держала на коленях мальчика; он уже спрашивал об отце, когда тот показался в дверях. Глаза его сразу встретились с ее светлым взглядом, она протянула к нему руки, а он опустил, плача и рыдая, к ее ногам. Ребенок, не понимавший сцены, но видевший, что его родители заливаются слезами, тоже плакал. Мальчик заговорил первым, спросив:

— Мама, это — мой отец?

— Да, дитя мое,— сказала она, нежно подняв свои большие синие глаза, и подала отцу руку, чтобы он встал.

— Ну, тогда не плачь,— сказал мальчик,— ведь ты уже достаточно плакала дома.

— Дай мне еще полежать здесь у ног твоих,— воскликнул Грин,— чтобы я мог хоть немного овладеть собой,

притти в себя и поверить, что ты здесь и простила меня. О боже милостивый! Что ты еще жива, что мой ребенок еще дышит, что мои недостойные глаза вновь видят вас обоих,— чем я это заслужил перед бесконечным милосердием, которое не отвергает даже самого жалкого грешника?

— Не будем слишком глубоко сокрушаться,— сказала прекрасная женщина;— пусть будет конец горю и страданиям. Ах! Если бы вернулось то прекрасное время, когда мы были так счастливы в нашем уединении! Отец мой помирится с нами, мы найдем мирное, тихое место для житья, наше сердце снова успокоится, и ты, бедный, хороший мой, опять найдешь свое счастье, как когда-то, в повседневных радостях, в моей близости, в игре с твоим ребенком, в работе и деревенских прогулках. Поверь мне, я никогда, даже в самые горькие часы, не осуждала тебя. Разве я не знаю, что все, что порицают люди в тебе и что ты сам бранишь, так тесно связано с твоими прекраснейшими качествами и что я должна была тебя полюбить именно потому, что ты таков, каков ты есть? Так как же я могла бы строго осуждать тебя? Нет, мой возлюбленный Роберт, мое сердце было оскорблено, но оно не могло негодовать на тебя. Поверь мне, истинная любовь не может осуждать; даже при худшем заблуждении любимого человека она еще видит и находит божественную искру, которая никогда, никогда не может погаснуть в тебе. Это уж была моя судьба, блаженство и муки моей жизни, что я встретила тебя; как только я впервые взглянула в твои ясные ласковые глаза, мне в предчувствии представилось все то, что я должна была пережить. Почему же я пошла тебе навстречу? Почему твой взгляд для меня был так отраден? Ведь я угадывала разгульное, дикое в твоём характере, который все-таки так нежен и добр. Это необычайное, это благородное и необыкновенное, не признанное людьми, уже тогда меня привлекало прежде всего, оно крепко привязало меня к твоей бушующей душе, и я не могла, не хотела



и не должна была отступить назад, когда ты мне признался в любви.

Они сердечно обнялись.

— Но,— начал Роберт после некоторого молчания,— как может человек, против собственного желания и убеждения, изменить добру и обратиться ко злу? Это еще более непонятно, когда добродетель проявляется в прелестном, сияющем образе, а порок в тусклом, только заимствованном свете. Невольно поверишь, что злые духи владеют бедным человеком и подстерегают моменты его слабости. Я никогда не забывал тебя во время моего отсутствия, ни на одну секунду. Я проклинал себя за то, что был вдали; жизнь здесь для меня была не жизнь, и все-таки я не мог найти в себе той ничтожной силы, чтобы вернуться к тебе.

— Отец,— лепетал мальчик,— мама часто читала мне твои стихи: целую книгу, ты сочинил ее; когда я буду большой, я тоже хочу сделаться поэтом.

— Нет, дитя мое,— сказал Грин,— ты должен сделаться деятельным, работающим, обыкновенным человеком. Если я только смогу предотвратить, ты не пойдешь по этой опасной дороге.

Эсквайр вошел к ним и радовался, глядя на ослепленных людей. Стали обсуждать планы, как и где будет жить семья. Эсквайр хотел им помочь и попытаться устроить также примирение с отцом.

На следующий день эсквайр пошел бродить по огромному городу, отчасти чтобы осмотреть его и вновь обозреть здания и достопримечательности, с которыми он познакомился уже несколько лет тому назад, но, кроме того, с надеждой снова увидеть своего пажу или получить какое-нибудь известие о нем; мальчик сбежал со службы без всякой причины и даже не получив жалованья. Можно было бы подозревать, что с ним случилось несчастье, если бы его не видели в других частях города разные люди, подробно описавшие его. Когда эсквайр завернул в парк, там повстречался ему

двоюродный брат, который, узнав об этом случае, воскликнул:

— Да, милый кузен, такие вещи здесь, в городе, вовсе не новость, подобное случается каждый день, ибо мальчика воистину, без дальнейших околичностей, чорт забрал собственноручно.

— Артингтон,—воскликнул эсквайр,—опомнись! Милый мой, ведь ты на прямой дороге в сумасшедший дом! Возможно ли, чтобы мой двоюродный брат так быстро выжил из ума!

— Издевайся, издевайся,—сказал тот,—ты убедишься в этом на опыте. Впрочем, ты прибыл в город в замечательный и важный момент; ты будешь поражен событиями, которые разыграются в ближайшее время; пока еще нельзя говорить об этом. Но ты должен сам познакомиться с апостолами. Завтра, послезавтра, как только захочешь. А также с моим искреннейшим братом, учителем Коппингером.

— Теперь я сам убедился,—сказал эсквайр,—до какой степени ты запустил мои важные дела.

— Дела!—воскликнул Артингтон, остановившись и устремив неподвижный взгляд на небо.—Там наверху, друг, твои дела; с земными скоро будет покончено. Церкви предстоит величайшее преобразование, государству — очищение, а если это не удастся сделать мирным путем, то небо и земля должны погибнуть.

— Сумасшедший!—воскликнул эсквайр с досадой.—Значит, ты стал безумным и безбожным браунистом, а между тем, ты знаешь сам, что этот старик лжеучитель, ваш апостол Браун\*, уже два года тому назад отрекся от своей ложной и мятежной религии.

— От истины,—сказал Артингтон,—ни один человек не может отречься, и если великий муж изменил самому себе, чему я не могу поверить, тем тяжелее будет его ответственность в недалеком будущем; я не знаю, как он будет тогда держать ответ перед Коппингером.

\* Роберт Браун (1549—1630), основатель секты браунистов, или конгрегационистов.

— Что общего между школьным учителем, как ты его называешь, и Брауном?

— Он вестник гнева и строгости,— отвечал тот;— как таковой он послан очистить пшеницу от плевел.

— Быть может, ты сам апостол, безумец?— спросил эсквайр раздраженно.

— Так оно и есть,— совершенно спокойно ответил Артингтон,— но я вестник милосердия, я буду стараться, чтобы все сложилось по-хорошему; но боюсь, что по-славший нас будет неумолим.

— А кто же он?

— В другой раз,— сказал фанатик, таинственно замолчав.

Они расстались, и эсквайр, которому надоело разыскивать пажа, отправился снова в гостиницу, где он надеялся застать своих друзей.

Предполагалось собраться за веселым обедом, и хозяин, человек несколько сведущий по части новейшей литературы, суетился вовсю, стараясь, чтобы ученые мужи, как и богатый эсквайр, остались довольны его убранством и обедом. Кроме Грина и Марло, был приглашен еще веселый Джордж Пиль, давнишний приятель обоих поэтов, человек, сохранявший в счастье и в несчастье одно и то же настроение, никогда не жаловавшийся и никогда не радовавшийся чрезмерно. Его простая одежда, как и тихое, спокойное выражение лица, составляли резкий контраст со всем существом вспылчивого, сатирического Неша\*, маленького и беспокойного, с коричневым и морщинистым, преждевременно состарившимся лицом, с бегающими черными выпуклыми глазами, с большим ртом, искаженным принужденной улыбкой, и широко размахивающими, непомерно длинными руками. Хлопоча и улыбаясь, шарообразный хозяин бегал взад и вперед среди гостей и радовался, видя всех этих превосходных мужей, собравшихся в

\* Томас Неш (ок. 1558—1601), драматический писатель и сатирик.

его знаменитом доме, в „Сирене“, или „Морской деве“, за веселой, блестящей пирушкой.

Чтобы ничто не мешало дружескому сборищу, обед был подан в той верхней зале, из которой эсквайр недавно смотрел вниз. Последний сидел между Грином и Марло, против них поместились Неш и Пиль.

— Нам бы следовало,— начал эсквайр,— пригласить еще и писда в наше превосходное общество; мне кажется, что этот молодой человек любит поучаться.

— Простите,— сказал Марло,— в этом более многочисленном обществе он почувствовал бы себя лишь смущенным, ибо наш приятель Неш не такого сострадательного нрава, как добродушный Грин, который, хотя и обладает ядовитым пером, но не может ни одному живому существу сказать что-нибудь резкое. Неш, напротив, ищет ссоры и веселее всего, когда находит предмет, который может растерзать беспощадными остротами.

— Вот поэтому-то,— воскликнул Неш,— вам и следовало привести этого писда, или шведа, или как вы еще его там называете, для украшения стола. У пирующих римлян был обычай класть около себя золотых рыбок и наслаждаться во время пира игрой красок, причудливо менявшихся во время медленного умирания; но гораздо приятнее наблюдать за сменой красок на лице чересчур умного новичка или глупца, который, запуганный разного рода шутками и насмешками, тает, вянет и умирает. Такое украшение стола следовало бы всегда брать, по крайней мере, напрокат, чтобы оно к десерту вместе с сахаром способствовало пищеварению.

— Каждый приглашенный,— заметил эсквайр,— должен рассчитывать на благосклонность и вежливость, иначе вместо обеда будет поделен и съеден этот несчастный гость. Притом этот молодой человек показался мне не таким простаком, чтобы вы могли быть так безусловно уверены в победе; ибо эти тихие люди, любящие уходить в себя, не всегда недалекого ума; они часто имеют при себе острое оружие, которое еще

более опасно тем, что не выставляется напоказ; их оружие похоже на короткие трехгранные кинжалы итальянцев.

— Тогда,— продолжал Неш,— пришлось бы удар против удара; это был бы турнир, доставляющий опять-таки удовольствие наблюдать, кто будет первым выбит из седла. Но если не считать нашего молодого друга Лоджа\*, то, пожалуй, у нас налицо все, кто мог бы претендовать на подобного рода остроумие, и поэтому мне кажется, что у всякого иного его далеко не хватит для нашего общества.

— Многих подвела овечья шкура,— сказал Пиль,— а какое это было бы удовольствие видеть, как наш главный мирмидонянин\*\*, долгорукий Ахиллес Неш, со своим крючковатым остроумным носом, нарвется на быка, которого он примет своими маленькими близорукими глазами за мягкую шкуру.

— Кого так часто стригли,— возразил Неш,— тот может только из одного воспоминания заимствовать все свои образы и притчи, потому что у него кожа все еще болит от этой неоднократной операции. Не так ли, друг Грин?

Грин пришел в себя из своего забытья и ответил:

— Простите, друг, я не уловил, о чем вы только что говорили.

— Оставьте его,— взял слово Марло,— он так опьянен новым счастьем, что не думает теперь ни о чем другом. В течение многих лет ему было чуждо сознание человека, не имеющего долгов; теперь приехали к нему жена и ребенок, он хочет опять вернуться в деревню, его словно подменили, одним словом, он стал порядочным человеком.

Все удивленно посмотрели на счастливого мечтателя, стали смеяться и пить за продолжительность его благоденствия и добродетели.

\* Томас Лодж (ок. 1556—1625), драматург, позже медик.

\*\* Мирмидоняне — древняя ахейская народность в Фессалии, по преданию бывшая с Ахиллесом при осаде Трои.

— Да, да,— откликнулся Грин,— если бы вы хоть раз вкусили сладость искреннего исправления, продолжающегося не только в пылу первых дней, вы бы все захотели поселиться в этой прекрасной стране, жить и умереть здесь, и никакой Одиссей, со всем своим красноречием, не смог бы вас снова соблазнить опасными странствованиями, которые морочат вас призраком счастливой отчизны только для того, чтобы предать вас Сцилле и Харибде или чарам Цирцеи.

— Недурная аллегория,— заметил Неш,— но только истинная добродетель, друг Роберт,— не сладкий, соблазнительный плод лотоса, и осуществляющий ее должен служить ей без всякой надежды на награду; ибо жизнь добродетельного обыкновенно неприятна и лишена внешних или чувственных наслаждений. Кому приходилось частенько исправляться и предаваться раскаянию, тот, может быть, для того только возвращается к пороку, чтобы снова наслаждаться утехой раскаяния и умилением сокрушения. Поверьте мне, Грин, опасно играть этими чувствами, хуже, чем слушать пороку с чистосердечным упорством, ибо праведная жизнь—скучная жизнь, праведник не знает ни искреннего нравственного подъема, ни обильных слез покаяния, он занимается своим ремеслом, как всяким другим честным делом, изо дня в день, не глядя ни направо, ни налево.

— Соломоновы слова!— воскликнул Джордж Пиль.— Я, право, не знаю, был ли я когда-нибудь добродетельным; из-за своих долгов я сиживал в тюрьмах, я был свободным и некоторое время пользовался благосостоянием, я жил и в хорошем и в довольно дурном обществе, я давал милостыню и утешал немало несчастных, но, правда, и сам кое-кого лишил некоторой суммы; но никогда я не превозносил себя при удаче и не предавался унынию, когда мне приходилось плохо, а думал, что так оно и должно чередоваться, как ясная и пасмурная погода, как ночь и день, грозная буря и весеннее тепло. Эта практическая философия, это стои-

ческое спокойствие и пассивность, как теплая шуба, защищают меня от града и сурового ветра.

— Или как холодную улитку ее убогий дом!— воскликнул Марло.— Добродетель! Порок! Несчастье! Праведная жизнь! Все это — сухие, непонятные определения, пустые слова. Да знаете ли вы, в самом деле, что вы хотите выразить этими пустыми звуками? Когда человек всюду, насколько его духовный взор проникает в непостижимую глубину его души, встречает бесконечную весну, цветущую всеми красками, когда он видит тут бурное море и поющих сирен, там землетрясение и пламя и сверкающее сквозь хаос, изменчивое сияние любви; когда такой вдохновенный в душевном опьянении отважно говорит себе: „Хочу быть поэтом!“— то с этим восклицанием он непосредственно отрывается от природы, не признает больше ее негодных для него законов, не может ни наслаждаться ее радостями, ни огорчаться ее горем. С отважным задором он разбивает поддельный хрусталь, морочащий человека бесконечным обманчивым блеском, принося ему и счастье и печаль, и создает свое собственное царство, новый мир. Что с ним происходит в его уединении, что с ним там приключается, как он сводит счеты с собой и с духами, об этом никому не подобает спрашивать. Как в древнем мире воины или вдохновенные люди, часто добровольно посвящали себя смерти или подземному царству, так поэт поступает еще и теперь. Он погиб для того, что люди называют счастьем, он построил себе дом и сад в недрах безумия; добровольным решением он обрек себя подземным, таинственным силам; сокровенные чары служат ему, но зато, как в волшебных сказках, он, Фауст, этот заклинатель, по истечении срока, принадлежит им весь и вполне, и что они сделают с ним, об этом ничей язык еще не мог поведать. Но эта весна, которую он пробуждает среди зимы, волшебные образы, повинующиеся его зову, видения, вопреки всем разрушаемым смелой шуткой законам природы, вырастающие из хаоса, играющие лилейными руками на ангельских

арфах, поющие рубиново-алыми небесными устами песни под гремящие звуки струн, так что глухие скалы голосисто отзываются на них,—эта обновленная, просветленная природа, которую бедное человечество получает из рук несчастных обреченных, венки, которые снизу вверх и сверху вниз передают друг другу невидимые руки, чтобы поэт раздал эти волшебные короны своим слушателям,—это блаженство, добытое из Элизия и Тартара, и есть то, из-за чего люди ценят жизнь настолько, что продолжают жить, то, что объединяет и связывает государства и соединяет прошлое с будущим. И эти самые людишки, согревающие свое холодное, сумрачное существование завоеванными для них Прометеевыми лучами, смеют браниться, когда жрец, посвященный преисподнею силою, не подчиняется их повседневному постановлениям, когда тот, кто может бражничать с бессмертной ватагой Юпитера, кто, допущенный к столу Плутона, созерцает с удивлением осужденных и блаженных, оскорбит бедную нравственность, в которую эти жалкие невольники должны облекаться, чтобы только не превратиться в ничто. Но действительно, трижды горе тому Фаусту, который хочет ускользнуть от великих сил, мародерски похитить небо и ад и, передав пошлomu, будничному миру, после хищения снова стать обитателем обычного мира. Духи, бывшие для него услужливыми друзьями, гонятся теперь за ним, как уничтожающие враги, мир отвергает его, небо не признает его, бездна и хаос зияют перед ним всепоглощающей пастью. Горе ему, если в мирном, тихом супружестве он откроется женщине в клятвах, которые, еще не произнесенные, уже клятвопреступления. Несчастливая сторит, как Семела \* в объятиях Юпитера, а ему, вероломному, от этого не будет пользы. Но он может повелеть привести своим рабам многократно воспетую Елену, чтобы в таинственной любов-

\* В греческой мифологии одна из любовниц Зевса.



ной связи, в объятиях безумия наслаждаться до самозабвения.

Поэтому Грин никогда не мог стать человеком, дошедшим до своего призвания. Как изгнанная Юнона \*, он постоянно висит между землей и небом и ни в одном из этих царств никогда не будет господствовать, как в своей области.

— О писец, писец!— воскликнул Грин.

— На что он нужен?— сурово спросил Марло.

— А хотя бы и на то,— ответил Роберт,— чтобы произнести какую-нибудь поэтическую речь во славу обыкновенной повседневности. Я недостаточно силен в этом деле и переживаю мое дивное состояние слишком ярко, чтобы прославлять его. Но я знаю, что о раскаянии и покаянии можно было бы тоже немало нафантазировать.

— Еще бы, друг Роберт,— вмешался Неш;— ведь сами вы исписали целые книги на эту тему, а ваше последнее обращение, наверно, опять даст вам материала на толстый том.

— Я так счастлив,— ответил Грин,— что, может быть, никогда больше не буду писать стихов. Если мне удастся помириться с моей семьей, найти какой-нибудь заработок в деревенском уединении, около моей супруги, и стать воспитателем моего ребенка, то я навсегда расстанусь с городом и его радостями, с Аполлоном и со всей нынешней и будущей славой.

— Посмертная слава?— сказал Неш.— Не тревожьтесь из-за этого призрака, ибо едва ли вы такой счастливчик, чтобы его получить. Для того чтобы после моей смерти этак вскользь произносили мое имя, не представляя себе при этом никакого дьявола и смешивая меня и с Петром, и с Павлом, и с неженками \*\* всей Европы— ну, знаете ли, для такого сомнительного счастья, прельщающего стольких дураков, я палец о палец не ударю.

\* См. „Илиада“ Гомера, песнь V, ст. 18 сл.

\*\* Игра слов: Неш—неженка.

— Тут разумеется иное,— произнес Марло серьезно и торжественно.— Нет ничего прекраснее и возвышеннее мысли, что и отдаленные времена будут знать обо мне, что мои думы будут повторяться на других языках, воодушевляя все новые сердца, что в память мою и песни моей слеза тоски прольется, когда эти стены давно превратятся в прах, когда забвение, с тупым взором и грубой, неловкой рукой, неуклюже сотрет все памятники и надписи и тяжелая поступь его разрушит собор святого Павла, Вестминстерское аббатство и судебные палаты и лишит листьев сады,— что и тогда здесь или в далеких краях юноши и девушки восторженно скажут: „В те времена жил Марло, поэт, чьи стихи еще теперь превращают для нас зимний вечер в весеннее утро“.

— Посмертная слава!— вздохнул Грин про себя.— Быть может, она проявляется уже в непонятном облегчении, освежающем иногда нам виски в приливе самого жестокого горя.

— Кто же вообще знает,— сказал Пиль,— что станет с нами в будущем и существует ли вообще будущее? Каким небольшим прошлым обладаем мы в сравнении с вероятной продолжительностью существования земли! А какие потрясения, расстройств и беспорядочные затмения могут снова наступить— скрыто от всех нас; а если мы все, все равно, должны быть забыты, то не имеет значения, будет ли это несколькими столетиями раньше или позже; мне всегда кажется, что наши умственные труды иным, непостижимым для нас способом переходят в будущее и в вечность.

— Пожалуй, оно так и есть,— продолжал Неш,— ибо ничто духовное не может пропасть. Ведь еще вопрос, не поддерживается ли так называемая материя рассеянным во всех царствах природы духом, не представляет ли она сама тот же дух, лишь несколько медлящий, при всеобщем маскараде, снять маску и обнаружить себя.

— Именно,— сказал Марло,— потому что, хотя дух в

является чудом, но мы все-таки понимаем его, а никак не материю. Ведь она только нечто, в чем может проявляться творческий дух, и поскольку она в состоянии повиноваться ему — она сама является духом. Когда-нибудь наступит, однако, такая температура, которая и пробудит ее от долгого сна. И, может быть, наши душевные движения, фантазии и внезапные мысли служат сокровеннейшими двигателями и пружинами для животных, растений, элементов и так называемых мертвых тел. Вращалась ли бы земля вокруг солнца, не будь человека? Ломался ли бы лед морей от весеннего тепла? Приливало и отливало ли бы море? То, что мы мыслим и творим, ведь еще сокровеннее, чем эти явления, — биение пульса и дыхание жизни великой, необъятной природы. Никто не может знать, что производит в недрах Африки, где не ступала нога человека, то, что я сейчас говорю и думаю, и ни один врач не может мне сказать, не отзывается ли землетрясение в Америке или опустошительный разлив Ганга болью в моей груди или мозгу. И так, возможно, что нынешние дела, мысли и моменты вдохновения пускают корни в будущее, разрастаются и зеленеют и спустя столетия, как черенковые побеги, прорастают в новых прекрасных творениях и песнях, принадлежащих, в сущности, мне.

— Правильно! — воскликнул Неш. — Это решительно мое мнение; и таким образом мы можем желанием, мыслями и смелым вымыслом совершить гораздо больше, чем остальные руками или так называемым подлинным действием. Что же победоносно пронесит счастливец через все пропасти на бушующих, так часто грозящих проглотить его волнах? Да, что, собственно, представляет собой это странное понятие, называемое смертными счастьем? Не что иное, как совокупность желаний, любви тысяч людей, невидимую помощь, которая крепко сплетается из одних духовных звеньев, непреодолимо поддерживая и неся счастливец. Так было со всеми героями и завоевателями. Поклонники и попечители их издали незримо сражались рядом с ними.

Но вот мир отвернулся от них с презрением — и та же магическая сила отвергает их в пропасть. Это и поддерживает нашу королеву, так что миллионы душ с восторгом и восхищением сражаются за нее здесь и в Нидерландах, во Франции и Германии, в Италии и даже в Испании. Это и есть то самое, что разбило непобедимую Армаду и превратило угрозу Европы в посмешище для мира. И в те дни, друзья, я тоже был в передних, опаснейших рядах бойцов, хотя мое тело тогда сидело здесь в трактире; и потому я могу самодовольно смеяться над хвастунами, называвшими меня бездельником и считавшими, что они больше сделали, потому что, действительно, были там. Как будто не требуется больше искусства и в десять раз больше мужества для того, чтобы издали посылать достаточно силы и магически, одной только мочучей, непобедимой волей, поражать врага отечества?

Все смеялись, но Марло скоро опять стал серьезным и сказал:

— Хотя многое и можно повернуть в смешную сторону, но мы все-таки не знаем, насколько, при подлинном напряжении, наша воля может действовать на расстоянии. Я не берусь судить, являются ли только глупостями все эти волшебные рассказы, повторяющиеся и в наши дни: вылепленным из воску фигуркам нарекают имя и, сосредоточивая все мысли, заставляют их таять над огнем, чтобы убить того, кого они представляют. Трудно установить, какими способностями и силами мы располагаем; ведь мы не знаем даже, сколько у нас чувств. Насчет довольно грубых физических все люди согласны. Но наряду с возбуждением осязания, с одухотворенным зрением, сластолюбивым вкусом, глубокомысленным слухом и поэтическим обонянием — эта сила умиления, способность непосредственно представлять себе невидимое, отдаленное, давно забытое, способность предчувствия — этот странный трепет, поднимающий волосы и морозом проходящий по коже, эти тонкие, тихо веющие ощущения, соединяющие в себе

сладострашие и ужас, эти и другие ощущения,— что иное представляют они собой, как не подлинные чувства, только глубже лежащие и не всегда проявляющиеся, но зато действующие тем сильнее; они представляют собой ближайшие и непосредственные органы духа, между тем как обыкновенные чувства являются, так сказать, верхним платьем и плащами поверх одежды.

— Остановись, Христофор,— воскликнул Грин,— ты совершенно побежден в этой области, которой должен был бы избегать: ведь именно то, в чем я, как ты говоришь, достиг совершенства,— способность раскаиваться, искупать вину, сокрушаться и презирать себя— эти настроения также лишь чувства и истинно божественные чувства, в которых ярче всего проявляется духовная природа человека.

Неш сказал:

— Не будем спорить. Все мысли, чувствования, поэтическое творчество, философствование и все умственные занятия не что иное, как прилив и отлив; невидимая высшая сила вращает вокруг нашего земного шара тихими волнами духовное вещество, и те, которые стоят внизу и у кого открыты рот и сознание, воспринимают кружащийся дух и возвращают полученное в образах, мыслях, сравнениях, мистических книгах или в шутках. И как материя всегда возрождается от смерти, так и то, что мы называем духом. И то и другое— слова.

— Великий мыслитель!— воскликнул Пиль.— Точно так же на земле существует только определенное количество ударов, которые должны быть когда-нибудь распределены, и когда я вижу, что кого-нибудь порют, как это случилось с нашим Нешем, получившим порку от Габриэля Гарвея\*, то я говорю про-себя: „Слава богу! Этих-то, по крайней мере, я уже не получу“. Мыслители подобные же мученики; раз кто-нибудь должен мыслить, то они для общего блага взяли этот труд на себя.

\* Против доктора Габриэля Гарвея были направлены несколько остроумных и злых памфлетов Неша, а также и Грина.

а так как многие добровольно стремятся к мышлению, то я не беспокоюсь и думаю только о том, о чем неизбежно приходится думать.

После этого все встали и отправились в другую комнату, чтобы есть десерт из конфет и варенья. Стояв с минуту у окна, Марло воскликнул:

— Вот как раз идет мимо доктор, статный Габриэль Гарвей с господином Генслоу\*.

Неш засмеялся, а эсквайр обратился к Грину:

— Как это вы, которого я теперь узнал как человека мягкого, могли решиться так ожесточенно и едко преследовать достойного врача? Допустима ли личная сатира между благородными людьми, если она стремится быть столь озлобленной и уничтожающей? Я понимаю, что не подобает говорить в этом веселом обществе о христианстве; но не уничтожается ли таким образом и повергается в прах все, что нас как людей отличает от хищных зверей пустыни, ради ложной остроты, утешающей поддельным блеском лишь тех, кто радуется, когда ближний, а особенно человек, достойный уважения, приравнивается к презреннейшему? Мне кажется, что древним римлянам и грекам это было более пристительно; к тому же в их литературе не это именно должно побуждать нас к подражанию.

— И это заблуждение,— сказал Грин,— и это ложное стремление, как уродливая маска, слетело с моего лица. В несчастье кажется, что тебя бог весть как возвышает, когда ты одними нападками, ложью и извращением можешь унизить больше себя тех, кто лучше и счастливее. В подобных сатирах недостойный мнит создать себе из желчи крылья, которые должны его вознести высоко на небо его воображения.

— В сатирах?— сказал эсквайр,— назовите их лучше, если вы хотите быть вполне честным, их настоящим именем — пасквилями.

— Пошадите меня,— сказал Грин,— и не забывайте,

\* Филипп Генслоу, содержатель театров в Лондоне.

что вы мой благодетель, которому я не смею возражать. Слава богу, для подобных вещей мне не нужно больше брать пера в руки!

— Вы морально очень щедры,—вмешался вспылчивый Неш,—и притом за счет других. Вы, верно, позабыли, что я вам помогал, когда вы язвительно поносили этого Гарвея, и что, может быть, худшее, как и лучшее, принадлежит мне? И я отношусь к этому предмету гораздо легче, чем оба почтенные господина. Настоящая личная сатира, как бы язвительна она ни была, не ограничивается своим предметом; даже в мельчайших, самых случайных, повидимому, чертах она все же рисует картины всего прошлого и будущего. Пусть же никто не воображает, будто понимает и постигает человечество в себе, его извечные условия, его тайны и истинно духовное начало, если не может уловить самое индивидуальное и отличительное в человеческой личности и изобразить его, будь это даже в самой ядовитой форме. Если эти безобразные гримасы, как вы, сэр, может быть, их называете, не имели бы такого же права на место в храме бессмертия, то трагедии и возвышенные оды были бы в таком же печальном положении. Я и в трагедиях был помощником нашему другу Марло, и, таким образом, я действительно помогал этим милым детям сооружать их игрушки. Но я полагаю, что теперь уже пора бы этому хламу всем им надоест. Поэзия! Она хороша как юношеское упражнение. Но что она, собственно, такое? Как будто необходимо повторять себе все снова и снова, и в одиночестве и в обществе, множество избитых вещей? И если бы это оставалось только забавой; но этим убивается, в конце концов, чувство правды и действительности, человек ничего великого и основательного не может охватить и достигнуть, а между тем, эта ложь делается, наконец, ему самому противной. В молодости каждый человек должен любить и писать стихи; но кто это делает своим призванием, тот избирает занятие более неблагодарное, чем тот, кто старается бросать чечевичные зерна сквозь

пгольное ушко. Правда, всякая полезность всегда остается весьма сомнительной добродетелью; между тем, не подлежит сомнению, что долг всякого быть полезным самому себе; что этого, однако, невозможно достичь путем так называемой поэзии, настолько известно, что я не хочу утомлять свои легкие, чтобы без нужды повторять вещи, очевидные сами собой.

Хозяин вошел и доложил, что господин Генслоу просит разрешения посетить общество на одну минуту.

— Кто этот человек?—спросил эсквайр.

— Содержатель нескольких театров,— ответил Неш;— с других же он пользуется частью доходов, потому что давал ссуды при постройке и обзаведении костюмами. Разрешите ему, уважаемый господин, подняться, так как он вас позабавит за десертом. Хотя его дело, доходы и состояние тесно связаны с поэзией и повышаются и падают вместе с ней, он все-таки достаточно невежествен и говорит bestолковее ребенка об этих предметах, которыми много лет занимался. Он, верно, идет напомнить всем присутствующим о пьесах, которые он должен еще получить от нас.

Эсквайр дал свое согласие, и в комнату вошел человек пожилых лет, весьма серьезного вида. Он был в длинном сюртуке и в руке держал трость с золотым набалдашником. Как только он вошел, он наморщил лоб, чтобы придать себе почтенный вид, после чего торжественно приветствовал эсквайра, с остальными же господами обошелся более фамильярно; но, отвешивая поклон Нешу, он слегка отшатнулся, словно не ожидал встретить его в обществе.

— Я рад,— начал он,— что нахожу здесь собравшихся всех моих старых друзей, и приезжий господин дворянин не прогневадается, если я буду говорить о своих нуждах, ибо где мы слышим мычание затерявшегося теленка, туда и идем искать его, будь это даже в церкви. Ай, ай, ай, господин Грин! А наша трахи- или драхикомедия, которую мы хотим поставить? Все еще не обмозговали и не закончили эту вещь? Мои ко-



медианты уже стоят по местам, и первое действие застряло у них в глотке, и они так отчаянно давятся им, что жалко смотреть. Присылайте же остальные действия, чтобы они могли закрыть пасть и скальпировать \* и другие стихи. Ну, можно ли так поступать? Я узнал об этом только несколько дней тому назад. Труше, играющей обыкновенно в „Лебеде“ \*\*, вы продали за новехонькую пьесу своего „Неистового Роланда“ \*\*\*, которого я еще в прошлом году купил у вас для моей „Розы“. Теперь молодцы разъезжают с этим „фуриозо“ по стране и выдают его в маленьких городках за совершенно новую, еще никогда не слыханную новацию знаменитого господина Грина в Лондоне. Ай, ай, ай, уважаемый! Продавать дважды одну и ту же пьесу, принадлежащую уже мне, это не может быть одобрено даже половинойчатою морталитетностью \*\*\*\*.

— Сознаюсь...— начал Грин.

— Лучше не сознавайтесь,— перебил его говоривший,— и избегайте таких ффракасных событий. От вашего сознания этот неистовствующий Роланд не станет снова разумным. А вы, господин Марло...

— Ну,— воскликнул этот,— и я тоже продал пьесу у вас за спиной?

— Нет, знаменитейший,— ответил гражданин,— вы слишком великодушны для подобных мелких, бестактных стратологий \*\*\*\*\*. Я знаю, если бы вы нуждались в деньгах, вы бы скорее перерезали мне горло кинжалом и зарезали бы всех моих комедиантов, чем действовать так из-за угла. Однако, как обстоит дело с вашим Фаустом? Мой трагический буффон день и ночь молится, чтобы чорт, наконец, забрал его. Но вы безжалостно

\* Генслоу, употребляя иностранные слова, постоянно искажает их. Здесь он употребил слово „скальпировать“ вместо „скандировать“.

\*\* Театр, к которому Генслоу не имел отношения.

\*\*\* „The History of Orlando Furioso“, фантастическая пьеса, напечатанная впервые в 1594 г.

\*\*\*\* Вместо „моралью“.

\*\*\*\*\* Вместо „сдзатагем“, то-есть военных хитростей.

медлите. А находятся этакие люди из всякого сброда, которые уверяют, что чорт утащит вас самих, прежде чем вы окончите эту пьесу, ибо для этой цели, говорят они, вы слишком усердно предаетесь студиям, или как они это называют, так что конверсируете ежедневно с сатаной и Вельзевулом, чтобы как можно натуральнее изобразить их. Ну-с, что прикажете им сказать?

— Что?— воскликнул Марло.— Что вы мешанин с согнутой спиной и с красным носом и не должны позволять себе острить, потому что вас нельзя наказывать, в случае если кто обидится, разве что пришлось бы обрезать ваши длинные уши.

— Ловко сказано,— промолвил Генслоу,— и совсем погречески! Лучше нельзя выйти из положения. Но кроткий господин Пиль ответит мне, наверное, дружелюбнее, если я справлюсь насчет его нового произведения, которое я должен был получить еще в прошлом году. Ваших „Давида и Вирсавию“\* люди смотрят уже не так охотно; народ всегда хочет чего-нибудь нового.

— Скоро будет готово, милый господин Генслоу,— добродушно сказал Пиль,— развлечений всегда так много, и музы тоже не всегда услужливы.

— Но мои деньги,— сказал Генслоу,— мои задатки всегда услужливы и не только для вас самих, но еще и для иных хороших приятелей, которые, не называя себя, предпочитают ставить свои вещи унанимно\*\*, как они это называют, а если они имеют успех, то открывают свое имя, чтобы сразу же и зазнаваться.

Когда содержатель театров вслед затем с поклоном хотел удалиться, Неш подошел к нему, приветливо оскалив зубы, и сказал:

— Ну, почтенный господин, ко мне вы не обращаетесь ни с каким напоминанием или ласковым словом.

— Дорогой господин Неш,— сказал старик,— нам было бы лучше не знать друг друга, и если бы я подозревал,

\* „Love of King David and Bethsaba“ — самое замечательное произведение Пилля, напечатанное впервые в 1598 г.

\*\* Вместо „анонимно“.

что встречу здесь такой исключительный ум, то не поднялся бы по лестнице. Одним словом, кого я боюсь, с тем не могу иметь никакого дела. Вы человек, который только из милости делает одолжение нашему всемогущему творцу и снисходит до того, чтобы жить и быть человеком. Все, что вы делаете и говорите,— верх совершенства, но если послушать вас потом, то ваши собственные образцовые произведения не стоили того, чтобы вы брали перо в руки, а тем более несчастные уроды какого-нибудь нового Еврипида или Плавттеренция\*. Вам, собственно, надо бы быть Юб-Питером или другим каким языческим божеством, которыми всегда клянутся поэты, или Александром Мизедонским.

— Ах, добрейший господин Генслоу,— воскликнул сатирик, которого ничто так не радовало, как когда он казался людям страшным,— вы не должны так несправедливо судить обо мне; я думаю, мы с вами лучшие друзья; разве я не поставлял вам всегда самых лучших и дешевых поэтов, насколько они удавались при суровой погоде? Но вы желаете уж слишком идеальных вещей и не имеете снисхождения к человеческой слабости; такой знаток, как вы, требует всегда только совершенства.

— И справедливо,— ответил Генслоу.— Что мне теперь делать с „Великим преследованием христиан“, для которого я уже сшил красные штаны, и вот никак не могу получить последние сцены от вашего поэта? Расходы за расходами, проволоочки и неприятности. А с тиранническим императором я уж и совсем не знаю, как быть.

— Тираннов,— сказал Неш,— ведь обыкновенно не трудно обшить и обрядить; вам только следует взять актера, который лучше всех умеет кричать.

— Верно! — сказал директор.— Но тот строен и тонок, императора же все величают толстым Лецианом\*\*, так

\* Генслоу искажает имя Еврипида и соединяет в одно имена Плавта и Теренция.

\*\* То-есть Дюклетяном: непереводимая игра слов: dicke Lezian — толстый Лециан.

что нам придется его начинить, а при бурной игре это всегда фатально.

— Конечно,— сказал Неш;— а между тем, этого требует костюм и хроника, ведь весь мир называет его Диклевианом, или, на уэльском наречии, Диоклецианом. Такой здоровый, дюжий мужчина, право, стоит нескольких лишних локтей бархата, а зрители часто даже не вознаграждают вас за историческую точность.

— Толпа слишком невежественна,— сказал Генслоу;— недавно кто-то хотел меня уверить, будто всем известные грачи\* в Персии— настоящие люди и нечто вроде наших губернаторов. Но достаньте мне только „Преследование христиан“, чтобы мы могли поскорей начать кровавую баню. Ибо таков уж порядок вещей: если поэты и не располагают большим умом и только усердно проливают кровь— пьеса имеет успех, и поэтому театры, собственно, должны были бы находиться около медвежьей клетки, так как игры кончаются, по существу, одним и тем же.

Такого едкого замечания Неш не ожидал от простого человека, а так как остальные, особенно эсквайр, засмеялись, он вышел из себя, тем более, что считал добряка Генслоу совсем недалеким. Поэтому с лицом, искаженным злобой, он яростно крикнул:

— Вы простофиля и ничтожество и не заслуживаете моего остроумия или наказания!

— Видите, господин приезжий,— воскликнул Генслоу,— я для него слишком ничтожен, чтобы меня ругать. Надо думать, настали трудные времена, если господин Неш не находит едкой остроты. Да, да, если бы ум и остроумие можно было брать в долг, как деньги у барышника, я думаю, эти милые господа, хоть они и всеми уважаемы, не посмотрели бы и на двадцать процентиков. А теперь, когда ко мне частенько приходят из-за деньжонок, так как остроумия у меня нет, то для них я меденат, бог муз, Аполлон, начальник хора и истинный

\* Непереводимая игра слов: Saatrabe (грач) вместо Satrap (сатрап).

Парнас, потому что у них во рту сухо; конечно, мне всегда приходится платить им наличными, чтобы они могли быть мокрыми от вина; вот вам и Парнас\*; тогда говорится, что я должен поощрять искусства и таланты. Но когда они не нуждаются во мне, у них находятся для меня всякого рода прозвища, и тогда я мешанин, денежный мешок, несчастная собака, едущая на осле, а не на Пегасе. Но терпение, господа, вашему ремеслу приходит конец: кончился наш золотой век. Теперь мои артисты все чаще сами будут писать вещи и представлять их затем с подмостков. Я сам не знал, какое сокровище один из них, который до сих пор тоже отдавал унанимно свои комедии. Вы крепко почешетесь за ухом, когда он сорвет у вас с головы лавровые венки, которыми вы сейчас щеголяете, и покажет вам, что за диковинную штуку можно сделать из этого предмета — театра. Мы уже приобрели, и помимо господина Марло, страшного негра\*\*, а если я его попрошу, он мне, пожалуй, создаст такого же знаменитого жида и Тамерлана, потому что он, ей-богу, все может.

Марло вышел снова вперед и сказал:

— Поощадите нас с вашими кропателями! Мы охотно верим, что не только один, но и многие писаки могут вытеснить наши стихи с подмостков ваших городских театров. Поздравляю вас со всей этой пачкотней и варварством, в которое сдена, поднятая нами на высоту всего несколько лет тому назад, неизбежно опять впадет.

— Честь имею кланяться, — сказал Генслоу, — а что касается варваров, господин Марло, то вы нам их достаточно доставляли в каждой пьесе, не считая даже чудовищного Тамерлана.

Генслоу удалился, и поэты тоже стали расходиться, вежливо прощаясь с эсквайром, выразившим всем благодарность за то, что они подарили ему эти часы, в которые он так наслаждался их шутками и серьезными

\* Непереводимая игра слов: Bar — наличие, pass — мокрый.

\*\* Имеется в виду негр Аарон в юношеском произведении Шекспира „Тит Андроник“.

разговорами. В этот вечер он решил посетить со своим двоюродным братом прославленных апостолов; хотя он и не ожидал, что они будут так заняты, как поэты, но после того, что слышал, они казались ему довольно любопытными. Грин пошел к своей супруге, а Марло отправился к дворецкому лорда Гундона\*, пригласившему его к себе. Речь шла о постановке трагедии во дворце лорда, и поэт льстил себя втихомолку надеждой, что это, может быть, одна из его собственных, особенно понравившаяся лорду. Он уже мечтал о почестях и наградах и о личном знакомстве с пером, и в этом настроении, еще более надменный, чем обыкновенно, он распрощался с эсквайром, звание и состояние которого казались ему в эту минуту, по сравнению с лордом, гораздо незначительнее, чем несколько дней тому назад.

Когда эсквайр вышел на улицу, его взяло сомнение, следует ли ему идти со своим неразумным кузеном в это собрание, так как он опасался, что фанатики замыслиют что-нибудь такое, что могло бы и на него навлечь ответственность и запутать в их судьбу. Однако любопытство, в конце концов, победило его сомнения, так как он сообразил, что общество сумасбродов не могло предпринять что-либо опасное против правительства. Притом, до сих пор эти сектанты еще не позволяли себе преступных действий против государственных учреждений или чиновников. Итак, эсквайр зашел за своим кузенном в мрачную его квартиру и спросил его:

— Кого же я увижу сегодня?

— Наконец,— ответил тот,— мне разрешено привести тебя к нему самому.

— Кого это называешь ты „им самим“?— спросил эсквайр.

— Кого же еще,— сказал Артингтон,— как не единственного, кого можно назвать так, всемогущего творца неба и земли.

\* Лорд-камергер, к трушке которого принадлежал Шекспир.

— Разве я не вижу его ежедневно, ежечасно, когда обращаюсь душой к нему?

— Нет! нет!— воскликнул фанатик.— Ты увидишь его лично, телесными очами, мессию, царя мира; в своем теперешнем состоянии он называется Гакетом и живет за Брокен-Уорфом\*.

— Да ты обезумел!— воскликнул эсквайр, в высшей степени пораженный и негодующий.— Нет, я и не воображал, что сумасбродство может завлечь человека так далеко. Несчастные! Вы уже больше не в состоянии понять, как далеко от вас божественное милосердие, которое вы осмеливаетесь так поносить.

— Тебе надо перебеситься,— сказал фанатик совершенно спокойно.— Разве я вел себя лучше твоего? Новому свету приходится долго бороться с закоренелой тьмой; когда поглощаешь благочестивую книгу, она вызывает колики, как это было с любимым учеником господи\*\*.

Чем ужаснее борьба, чем свирепее сомнения, тем слаще будут затем вера и успокоение всех земных мыслей в сияющем присутствии миропомазанника. Когда я познакомился с этим непривлекательным толстым человеком, он вначале совсем мне не понравился. Его повадки за молитвой также были мне противны, потому что он постоянно призывает бога уничтожить и погубить его, посрамить теми или иными наказаниями, если то, что он говорит, неправда. Но потом я избавился от своих заблуждений. Святой почти непрерывно терпит муки ада, чтобы освободить нас от грехов. Этот грубый, даже отталкивающий образ он носит со смирением, дабы окончательно убить в себе высокомерие. Говорю тебе, брат, он совершит на твоих глазах величайшие чудеса, и Англия и весь мир только ему будут обязаны своим спасением. Но можешь ли ты молиться, кузен?

— К чему этот вопрос?— спросил эсквайр.

\* Broken Warf („кривая пристань“), местность в Лондоне.

\*\* См. Апокалипсис, гл. X, ст. 9 сл.

— Когда мы к нему придем,— спокойно продолжал Артингтон,— мы оба должны будем молиться, иначе злые духи вытолкнут нас из его комнаты, а тебя они могут растерзать. Ты не боишься предстать пред всемогущим? Пред тем, кто знает все твои мысли, кто испытывает каждое чувство твое, как только взглянет на тебя пронизывающее око его?

— Кузен,— сказал эсквайр,— как видишь, я иду с тобой и решил посмотреть твоего чудесного святого, я отлично знаю также, что с волками жить — по-волчьи выть. Поэтому будь спокоен на мой счет.

Они уже были у деля, прошли через двор к стоящему в глубине зданию и поднялись по лестнице. Артингтон тихо постучал, но из комнаты не последовало ответа; не спрашивая разрешения, он отворил дверь, и они вошли в комнату с окнами, выходящими на Темзу. Фигура стоявшего на коленях тощего старого человека с белыми волосами прежде всего бросилась эсквайру в глаза; старик лишь покосился на них моргающими глазами, и Артингтон тотчас же бросился рядом с ним на колени.

— Благочестивый Коппингер,— сказал он смиренно, подавая ему руку,— привет тебе, посланник и вестник гнева!

— Привет тебе, вестник милосердия,— ответил дрожащий, близкий к обмороку старик.

— Кого вводишь ты в храм мой?— крикнул низкий, хриплый голос, и эсквайр только теперь заметил человека, лежавшего в постели и также усердно молившегося. Дворянин тотчас же узнал в нем того, который недавно на улице своим неприятным видом обратил на себя его внимание, когда шумная чернь преследовала этого апостола. Артингтон на коленях подполз к кровати, с ревностным смирением поцеловал руку негодующего Гакета и сказал ему несколько слов на ухо.

— Пусть же он молится в нашем присутствии!— воскликнул Гакет из кровати.— Пусть это будет ему дозволено!



Эсквайру неудобно было отступить, и, уже подготовленный к необычайному, он опустился на колени и как патриот стал молиться о благосостоянии своей страны, о благополучии высочайшей королевы и ее превосходных советников и чиновников, а также о дальнейшем процветании церкви, епископов и священников.

— Что это за беспорядочная, нечестивая молитва?— воскликнул Гакет гневным голосом, когда эсквайр кончил.

— Как,— спросил тот,— разве верноподданный не должен молиться о своей высочайшей государыне, чтобы всемогущий охранял ее и впредь так же милостиво от насилия извне и от измены внутри страны?

— Я уважаю королеву,— воскликнул Гакет,— я ничуть не против нее и думаю окончательно укрепить ее власть, если только она меня послушает и удалит от себя дурных советчиков, главное, этого Бурлея\*, восстановит церковь в ее чистоте и отстранит епископов, выбросит идолослужение со стихарем и всем связанным с ним бесчинством из оскверненного храма и посадит моих вестников строгости и милосердия одесную и ошую, чтобы затем править с ними страню.

Он выскочил почти голый из кровати и также упал на колени.

— Мессия! Мессия!— воскликнул Артингтон, и по его лицу видно было, что он собирался целовать ноги фанатика; но тот отстранил его, говоря:

— К чему эти внешние почести тому, кого святой дух господень помазал монархом и судьей земли?— Затем он стал молиться с чрезвычайным напряжением, причем с проклятиями предавал осуждению всех идолослужителей, злых советников и приверженцев английской церкви. Остальные двое лежали, между тем, ничком, прижавшись лбом к полу, и поднимались только для того, чтобы время от времени на подобие хора

\* Политический деятель, статс-секретарь и государственный казначей, правая рука Елизаветы.

вторить проклятиям. Гакет призывал на себя ужаснейшие кары и муки ада, в случае, если бы он оказался в заблуждении. Он вызывал небо сразить его молниями, землю — поглотить его, злых духов — растерзать его.

— Нет, он жив! Он жив! Смотрите! Он остается не-вредим! — точно одержимые, кричали оба его поклонника. — Все новые доказательства, что он учит истине. О судья мира!

Эсквайр, потерявший, наконец, терпение, направился к дверям и сказал:

— Ни как христианин, ни как верноподданный я не могу дольше слушать эти поношения. Слабоумные, одураченные, несчастные люди! Ваши чувства до того окаменели, ваш разум до того заблудился, что вы больше не способны возмущаться безумными, преступными словами этого нечестивца!

Тут Коппингер, вестник гнева, вскочил и, дрожа от злости, схватил эсквайра.

— Зови своих ангелов, мессия, — кричал он хриплым голосом, — заставь небо разверзнуться, оденься в пламя и воссядь на судейском кресле, чтобы этот несчастный убедился в твоём могуществе!

— Оставь, оставь его, великий посланник! — воскликнул вестник милосердия. — Дух говорит мне, что я ещё обращу его, ибо он мой двоюродный брат и моей крови; глупость оставит его, и он будет причислен к избранным. Не так ли, Гакет, великий учитель, истинный мессия?

— На этот раз ему прощается, — воскликнул Гакет, снова укладываясь в постель. — Три дня ему ещё дано сроку; если он и тогда не одумается, то будет сражен вместе с прочими нечестивцами, хотя он и твой двоюродный брат. Ты же, ходатайствуя за него, поступаешь как вестник милосердия.

Артингтон с негодующим эсквайром оставили дом.

— Не правда ли, — начал первый на улице, — все, что мы делали, говорили и как мы молились, было тебе в высшей степени противно?

— Настолько, — ответил эсквайр, — что я приложу все

силы к тому, чтобы не оставить тебя, брат, в обществе этих бесноватых, которые доведут тебя до виселицы.

— Так оно и должно быть,—воскликнул пророк;— я рад, что ты так близок к обращению. Непосредственно перед тем, как я углубился в себя и благодать меня просветила, я говорил приблизительно так же. Чтобы сделаться Павлом, надо сперва ненавидеть и преследовать слово, как Савл. Завтра ты будешь молиться по-нашему.

— Я больше не возражаю тебе, ибо это было бы напрасно,—воскликнул эсквайр, потеряв всякое терпение.— Я думаю о том, как бы тебя отдать под опеку властей как сумасшедшего.

Артингтон громко и искренно рассмеялся.

— Через несколько дней,—сказал он,—правительство в Англии будет на совершенно ином положении, и это совершится, надеюсь, мирным путем, без кровопролития, без потрясения, таким простым и христианским образом, который ты сам должен будешь одобрить.

— А именно, мой рассудительный брат?

— Мною составлено письмо, которое должны прочесть королева и ее государственный совет. В нем мы, оба вестника нашего помазанника, обязуемся помолиться в ее и ее советников присутствии и призвать всякие кары, муки и бедствия на наши головы и души, если мы неправы. Тогда увидят, что мы останемся невредимы и здоровы. Вслед затем Бурлей, или кто еще против нас, должен будет помолиться теми же словами; если у него хватит смелости на это, то духи его погубят и посрамят, или же он из справедливого страха откажется, и мы выиграем наше святое дело.

— Достойная твоей мудрости выходка,—заметил эсквайр.

— И в то же время,—продолжал Артингтон,—мы, вестники, призовем жителей города к покаянию.

Эсквайр распростился с кузеном и стал соображать, каким образом обеспечить безопасность безумцу.

---

Писец уже сидел в зале, когда вошли Марло и Грин.

— Успокойся,— сказал последний,— тот, кто связывается с подобными девицами, должен быть готов к таким выходкам, потому что пытаться изменить их природу, значит предпринять невозможное.

— Если бы я только мог узнать, кто ее сейчас держит или куда она сбежала!— воскликнул Марло.— Я не могу допустить мысли, чтобы она пряталась от меня. Это слишком позорно! Сколько я тратил на эту тварь, как она меня обирала— а теперь! Три раза я уже побывал за городом. Она уехала, говорят мне, но никто не может указать, куда.

— Как я счастлив,— ответил Грин,— что все эти безумства уже позади меня! Что за существо моя Эмми! И какими отвратительными кажутся мне теперь те смутные дни, те часы, которые я прожил с подобной презренной тварью!

— И все же я ни за что не хотел бы быть в твоём положении,— снова начал Марло;— семейная жизнь, воспитание детей! Мой ум притупился бы, потерял бы всякую силу при таком однообразии, в этой скуке, где нежность делается обязанностью, любовь — долгом. Быть связанным с женщиной, которую мне пришлось бы уважать, которая могла бы требовать моей верности и вменяла бы мне в преступление, если бы я не считал ее больше достойной любви! Может быть, она даже потеряла бы всякую прелесть, или не заботилась бы о том, чтобы быть красивой и привлекательной, зная, что держит меня, как корабль, на якоре обета. Правда, мир поддерживается таким образом и, может быть, это учреждение и похвально, но мне оно кажется бессмысленным. А эту дикую Фанни я не могу оставить. Есть невероятная прелесть в этих сумасбродных существах, которых мы не можем уважать, в верности которых мы не уверены ни на минуту, которые никогда не говорят правды и восторги которых, очевидно, притворны. Но именно потому мы каждый час снова должны завоевывать их расположение; презрение, мучающее нас,

делает их вновь и вновь соблазнительными для нас, и холодное благоговение никогда не превращает сирен в добродетельных матрон.

Грин улыбнулся и сказал:

— Твоя своеобразная похвала и лестное самообвинение, брат поэт, будут понятны только тому, кто и сам пил из кубка Цирдеи. Но сердце и чувства человека, его прихоти и желания неистовы. Кто может быть разумным, в том уже умерла тайна этого желания, и со мной оно так и есть. Возможно, что вместе с моим отрезвлением улетучилось и все упоение моего творчества.

— Ты уже видел молодого графа?— спросил Марло.

— Какого?

— Ну, того, который недавно приехал в город, молодого, еще несовершеннолетнего Саутгемптона\*. Многие восхваляют его как образец красоты; я вижу в нем только изнеженность и женственность. Знаете вы его, писец?

— Я несколько раз видел его в общественных местах,— ответил тот.

— Ну,— продолжал спрашивать Марло,— находите ли вы в нем истинную мужскую красоту?

— Трудно сказать,— ответил неизвестный,— что нужно разуметь под этим. Например, молодой граф Эссекс\*\* — вот образец юной героической красоты, смелый, с выражением мечтательной отваги, даже удал; ваш покровитель, Ралей, степеннее и мягче. У многих пожилых мужчин на героическом лице благородное выражение льва; иной смотрит лукаво, как Улисс; итак, красота имеет свои степени, подвержена бесконечно разнообразным изменениям, обладает большей или меньшей значительностью, но, принимая тот или иной характер, она все-таки остается красотой.

\* Друг Шекспира, посвятившего ему „Венеру и Адониса“ и „Лукрецию“.

\*\* Фаворит королевы Елизаветы.

— Но из всего этого ничто не подходит к этому Саутгемптону.

— Простите,— продолжал говоривший,— он еще не вполне развился, ведь он стоит на том таинственном рубеже, с которого юноша, оглянувшись, так близко видит свое недавнее детство; это возраст, украшающий юношу одновременно прелестью и трогательной нежностью. Мне кажется, что в лице графа человек вообще и человеческое образование в частности прославлены в красоте. Красота нигде не может проявляться с таким бросающимся в глаза блеском, как там, где она соединяется с возвышенным характером и величественным выражением. Когда я увидел юношу, в блестящих глазах которого, на цветущих щеках и в улыбке чистых губ словно тысячи сладких ощущений дремлют и в грезах ожидают пробуждения, мне казалось, что старые сказки про Нарцисса и Адониса хотят в нем просиять правдой.

— Для меня тут не все понятно,— ответил Марло,— но это довольно поэтично, и если бы вы были поэтом, вам надо было бы ухаживать за этим молодым человеком, так как он, я слышал, воображает, что любит поэзию. Педантичный учитель языков, этот торжественный Флорио, обучающий итальянскому, порядочно льстит ему, а тихий, слащавый Даниэль \*, пожалуй, еще больше. И такой знатный, богатый человек, перед которым широко открыто все поприще почестей и счастья, принимает все это — как бы преувеличено оно ни было — за чистую, сущую правду, воображает, что он, в самом деле, некий бог, сошедший с Олимпа, и награждает улыбкой и благосклонными взглядами пресмыкающихся в пыли паразитов, которые только и хотят получить от него деньги и ценности и охотно предали бы пламени свой кумир, если бы того потребовала их выгода. Нет, поэт, истинный поэт, каким я себя чувствую,

\* Семюзль Даниэль, придворный поэт Елизаветы.— Живший в Лондоне преподаватель языков итальянец Флорио — также историческая личность.

должен быть слишком горд, чтобы, потворствуя, благоговеть перед внешностью человека, его знатностью, властью и богатством. Талантливый человек в силу данного ему богами достоинства стоит на одинаковой высоте с могущественным, и если один из них должен унижаться, то пусть это будет могущественный. Так, Ралей должен был добиваться моей любви, я никогда не искал его. И эта собачья привязанность к великим мира сего, которую мы, к сожалению, наблюдаем во все эпохи,—рабское и подлое чувство. Равновесие, утерянное человечеством вместе с золотым веком, должны, по меньшей мере, восстановить науки и искусства.

— Простите,—сказал неизвестный,—если я, в надежде на вашу снисходительность, и на этот счет поделюсь с вами моими чувствами, отличными от ваших. Что существуют достойные презрения лицемерная ложь и низкая лесть—об этом никто не спорит; когда мы, видя, как наука и искусство лижут ноги глупому богатству, начинаем сомневаться в этих детях богов и отворачиваемся от них с пренебрежением,—это благородное чувство, которым мы не должны никогда пренебрегать. Но если мы встречаем красоту, привлекательность и тонкое чувство в одной личности объединенными с властью и благородством, то вполне естественно, что такому существу оказывают надлежащее почитание: как знатному, так и простому, оно одинаково послужит к чести, первому—тем, что он благородным образом принимает то, что ему подобает, а второму—тем, что он сможет постичь исключительную натуру и доказать ей свое почитание и любовь, не унижая себя самого. И поэт в особенности. Он послан для того, чтобы разъяснить помраченным умам все явления природы и истории,—так не должен ли он своим более высоким существом возвысить рабский дух до истинного почитания и любви, и гордое, мятежное презрение, которое никогда не довольствуется самим собой, до нежной кротости? Ибо мне кажется, что просто голый человек, сам по себе, не может требовать от нас ни почитания, ни восхище-

ния. Чтобы мы им восхищались, должны присоединиться дела, красота, работа и богатство. И без сомнения, благородство и высокое происхождение также служат к возвеличению человечества, перед которым мы все охотно преклоняемся. Трудно себе представить более поэтическое отношение, чем то, когда поэт в своем младшем прекрасном друге, одаренном природой и судьбой всем тем, что возбуждает зависть людей, находит все качества, которые он уважает в себе самом и в других, и стремится со всей расточительностью своего искусства прославлять и обожествлять в этом любимце неба и своей души всякое проявление внешнего и внутреннего богатства. Как богатый и сильный счастлив только тогда, когда видит в чистом зеркале поэзии свои преимущества, казавшиеся ему самому без этого отражения бедными в его тусклом одиночестве,— так и одинокая душа поэта только тогда истинно сочетается с неземным, когда он с любовной преданностью может познать его отражение в земном.

— Хорошенькое суеверие, приятель! — сказал Марло. — Правда, к этой вере в призраков многие привержены с особенным пристрастием. Поэт, о котором вы мечтаете, должен оказаться весьма странным явлением. Поэт, который в дружбе со всеми теми, кто мне противен, который видит благородство в том, что, на мой взгляд, пошло и низко, который одобряет и оправдывает все предрассудки, свойственные толпе, — и все-таки стоит при этом выше всего человечества... Чудно, должно быть, происходит у вас в голове, если вы создаете таких чудовищ и объединяете подобные противоречия. Впрочем, вы заставляете меня уважать ваши способности, и я думаю, что мы еще сойдемся ближе. На будущей неделе мне, может быть, представится случай говорить с вашим хваленым Саутгемптоном, так как лорд Гунсдон милостиво пригласил меня на трагедию, предполагаемую к постановке в его дворце, где в качестве зрителя также будет присутствовать и молодой граф.



— На подобные вещи,— сказал Грин с несколько принужденной улыбкой,— нашего брата не приглашают. Христофор, ты родился под чрезвычайно счастливой звездой. Надеюсь, что ты это поймешь и встряхнешься настолько, что и позднейшие поколения еще будут вспоминать тебя. Суеверие же тебе нечего бранить, так как ты сам питаешь пристрастие ко всем его видам. Ты, хотя не хочешь и слушать о религии, но все-таки не можешь обойтись без чувства благоговейного преклонения перед тем, чего не постигает твой разум.

— Хорошо, что ты мне напомнил, Роберт,— сказал Марло, вставая;— ведь я сегодня вечером хотел посетить астролога и хироманта, которого Неш так хвалил мне недавно; пойдем со мной, друг, мы узнаем от него наше счастье или несчастье; но мы не должны называть себя, так как он мог слышать о нас, и тогда ему легко будет предсказывать. А чтобы испытание было более основательным, к нам, вероятно, присоединится и молодой писец, если мы его попросим об этом.

— Я к вашим услугам,— сказал тот,— так как сегодняшний вечер у меня свободен.

Они вышли из дому, когда уже стало смеркаться.

— Говорят,— сказал Марло дорогой,— что этот человек, называющий себя Мартиано, собственно, ирландец, проживший, однако, долго в Италии и Испании. Его посещают знатные и ученые лица, а также и невежды, и все возвращаются от него в одинаковом изумлении. Говорят, что он угадывает судьбу посредством каких-то тайных комбинаций, без помощи какой-либо магии, инструментов или астрологических вычислений.

В глухом переулке они прошли длинным проходом, затем двором и поднялись, наконец, по ряду лестниц в помещение гадалея, устроившегося как можно выше, непосредственно под крышей, чтобы по возможности наблюдать звезды. Слуга отворил дверь, и они вошли в комнату, где их встретил представительный пожилой мужчина с торжественными и благородными манерами. Марло от лица всех заявил об их желании, и волшеб-

ник достал из стенового шкафа множество листов, похожих на колоду карт. Он стасовал их, причем про- бормотал несколько слов; после этого Марло должен был снять их левой рукой. Затем старик разложил карты по вертикальной линии; на одних были планетные знаки, на других иероглифы или непонятные буквы чужого, может быть, восточного алфавита; кое-где попадались красные и желтые приятные рисунки, цветы и расте- ния, а также кресты, черные или серые. Когда ряд был закончен, он горизонтально разложил второй, так что образовался крест, а когда последний был готов, он лучеобразно присоединил к основной фигуре другие ряды, так что получилась пестрая своеобразная звезда, к наружным концам которой он приложил оставшиеся у него листы. Когда это было сделано, он, бормоча, стал ходить вокруг стола. Он таинственно считал, вы- числял и произносил формулы, и слова его были тихи и непонятны. Постепенно его движения все убыстря- лись, наконец, он стал бегать вокруг стола, то тут, то там, то наверху, то внизу вырывая по листу из пестрой волшебной розы, прибавляя их в другом месте, так что через несколько минут составила новая фигура, со- вершенно непохожая на прежнюю. Он перестал бормо- тать и рассматривал неправильную фигуру со всех сто- рон, как будто отыскивая исходную точку для наблюде- ния, с которой фигура представилась бы связной и выразительной. Он пристально посмотрел поэту в глаза и сказал:

— У вас потеря, которая очень чувствительна для вас.

— Потерял?— сказал тот.— А я и не подозревал.

— Дело не в деньгах,— ответил маг,— но серый крест, лежащий здесь, около вашей фигуры, указывает мне на это и не может меня обмануть.

— Верно!— воскликнул Марло.— Я вспомнил. А най- ду ли я, что потерял?

— Эта потеря,— продолжал предсказатель,— будет вы- игрышем для вас, если вы сумеете этим воспользоваться;

не ищите потерянного, оно может стать пагубным для вас.

Сделав еще несколько общих замечаний, он быстро собрал листы, перетасовал их, дал Грину снять, разложил их, как в первый раз, крестом и звездой и стал снова бормотать и бегать, торопливо раскидывая знаки в новую фигуру. Теперь видно было, что тихо произнесенная формула подсказывала ему правило, зависевшее, в свою очередь, от случайного расположения карт, потому что образовавшаяся теперь фигура, еще более неправильная и бессвязная, была совершенно отлична от предыдущей. Волшебник еще дольше расхаживал в нерешительности взад и вперед, и, казалось, ему было почти невозможно отыскать связь или исходную точку, с которой он мог бы начать свое предсказание. Наконец он остановился и сказал:

— Вы обрели большое счастье и истинного друга, но обоих произвольно оттолкнули от себя.

— Ничуть не бывало,— с живостью возразил Грин;— в этом вы ошибаетесь.

— Значит, пока еще нет,— продолжал тот, не смущаясь.— Так берегитесь, чтобы это не случилось вскоре же. Я не обратил внимания на тот знак, который мне пришлось положить сбоку. Вы перенесли уже много счастья и несчастья. Но последнее вы теперь преодолели, если только сами не вызовете его добровольно.

Затем знаки так же были разложены для третьего присутствующего. Но не успел маг и несколько минут пошептать свою формулу и переменить карты в звезде, как он воскликнул:

— Как? уже готово? И эта приятная, правильная фигура складывается так вдруг, сама собой! О молодой человек, кто бы вы ни были, вы находитесь сейчас на верном пути, и счастье протягивает вам руку.

Порывистый Марло нетерпеливо смешал карты и сказал:

— Оставьте эти общие фразы, применимые более или менее ко всему свету, вот вам золотой, и скажите нам

что-нибудь более определенное. А чтобы это вам было легче, знайте, что перед вами три писателя, назовите их поэтами, если хотите, и мы задались вопросом, о ком из здесь присутствующих будут говорить будущие поколения, чьи труды вознаграждаются венцом славы и на радость миру просуществуют и сохраняются дольше всех.

— Блажен терпеливый,— сказал гадатель.— Судя по вашему гневу и брани, вы, должно быть, считаете себя здесь самым важным и уже уверены в своем венце. Но в таком случае вам не следовало переступать через мой порог, ибо зачем тому, кто несет уверенность в себе, перешагивать его? А затем вы в моей квартире должны уважать то таинственное правило, которому я сам подчиняюсь; кто насильственно нарушает порядок этих карт, грубо нарушает волшебные линии, распускающиеся, как лучи, в моей зрящей душе, и затрудняет мое вещание. Если бы вы могли увидеть невидимое художественное произведение, открывающееся моим внутренним очам, вы так же остереглись бы разорвать его, как полотно, на котором краски наложены кистью Тициана.

— Действуйте, говорите,— воскликнул Марло,— я не буду больше вам мешать.

Гадатель взял карты, сложил их вместе, несколько раз дунул на них и зашептал с выражением такого благоговения, как будто новым освящением хотел искупить оскорбление. Теперь он тасовал гораздо дольше прежнего, давал всем по очереди снимать, каждый раз снова перемешивая карты, после чего, разделив на три части, разложил их перед каждым из вопрошающих отдельными фигурами. Когда он покончил с этим, снова начались его формулы и тихое вычисление; то-и-дело он отнимал карту в одном месте и присоединял ее в другом, так что вскоре фигура, предназначенная для Грина, исчезла. Та, что была перед Марло, лежала беспорядочно, а та, что перед незнакомцем,— четко и правильно; вскоре, при непрекращающемся вычислении,

последнему достались также все карты Марло, образовавшие правильными кругами причудливую, казавшуюся понятной, фигуру. Когда кончилось это действо и маг внимательно осмотрел свою работу, он почти со смирением снял берет с головы, пристально посмотрел на скромного незнакомца и сказал:

— Этот молодой человек, кто бы он ни был, предназначен судьбой носить венец славы, его будут называть, когда вы будете уже давно забыты, и то, что он уже теперь сочинил, переживет века, отдаленнейший внук с радостью будет его вспоминать, а отечество будет гордиться его, ныне еще неизвестным именем.

Как ни торжественно произнес он эти слова, они вызвали неудержимый хохот у обоих поэтов, и маленькая комната задрожала от громких звуков, между тем как неизвестный, густо покраснев и отвернувшись, рассматривал пол так сосредоточенно, что, казалось, не замечал ни смеющихся поэтов, ни пророка.

— Клянусь святым Георгием,—вскричал Марло и так сильно ударил кулаком по столу, что все пестрые легкие карты заплясали,—пророчество разрешилось отменной глупостью! Ну, писец, что вы на это скажете? Так высоко еще никогда не почитали вас и ваши бумаги. Весьма вероятно, что переписанные вами вчера документы будут изрядное время храниться. О глупец, старый слабоумный дурак! А мы еще большие дурни, забрались в эту лавчонку, чтобы приобрести простой обман и чепуху. Но вы опростоволосились, старый чернокнижник, и я не поленился открыть на вас глаза бестолковой, глупой толпе.

— Делайте, что хотите, ослепленный гордец!—воскликнул волшебник в сильном гневе, величественным движением снова надевая берет на голову.—Вы отпираете темницу уст моих, так что теперь я выпущу на волю слова, заточенные мною, подобно злодеям, в глубине груди, чтобы согнать краску с ваших ланит и потушить блеск ваших очей. Что за дело мне до вашей славы, до ваших недолговечных произведений, когда

ваша жизнь сама еще более недолговечна? Так вешали мне эти презренные фигуры и черты вашего лица. Где ты, великий, ищешь своей славы и своего счастья, там найдешь ты свое унижение; вон тот хохотун уже завтра и послезавтра напрасно пожелает вернуть сегодняшний час; да, этот месяц, даже ближайшая неделя не вся еще пройдет, как преждевременная смерть унесет вас обоих, и забвение и позор, дико скалясь, замашут мрачными знаменами над вашими трупами. Этого высокомерного быстро унесет насильственная смерть, как то предсказывает и мрачный взгляд его, и зловещая складка на лбу. Ну, смейтесь же, несчастные, потешайтесь своими остротами! Еще продлится эта ночь, после которой своим черным плащом вас окутает та вечная, из которой нет выхода, в которой никогда не занимается заря радости и веселья, остроумия и шуток.

Все притихли и стали серьезными; Грин и Марло побледнели; задумчивые, спустились они по высокой лестнице и прошли через двор в сумрачный переулочек. Незнакомец с простым, вежливым поклоном поспешил домой, погруженный в свои мысли. На улице Марло взглянул вверх и сказал:

— На будущей неделе я иду к лорду Гунсдону. Мой слабый друг, выбрось эту глупость из головы. Кому охота убить хотя бы минуту радостной жизни на подобные нелености!

— Но и тебя я никогда не видел таким потрясенным,— сказал Грин.— Не следовало бы заниматься подобной чертовщиной; когда ее потревожат, колеса этой безумной шестерни увлекают самого сильного и решительного. В том-то и дело, что основы нашей жизни покоятся на глупости; когда глупость потрясает основные камни, то наше существо колеблется, какими бы сильными мы ни считали себя до тех пор. До свидания, моя Эмми, верно, давно уже ждет меня.

Ничего не ответив, Марло в глубокой задумчивости побрел по пустынному переулочку, Грин же направился

снова к более оживленной части города. Вдруг в темноте мягкая рука ударила его по плечу, и кто-то спросил:

— Куда это ты, старина?

— Господь да хранит нас,— воскликнул Грин,— от фей и эльфов! Я скорее готов был увидеть какого угодно духа, чем снова тебя, безбожное дитя, несчастная Билли!

— Почему несчастная?— спросила она игриво, вешаясь ему на руку.

— По твоему положению и заблуждению,— сказал Грин, напрасно стараясь освободиться от грешницы.

— Ведь я не была виновата в том, что не видала тебя так долго,— начала она снова.

— Нет,— ответил он,— виновата была только моя бедность; потому что ты, когда увидела, что обобрала меня дочиста, то скромненько заперла дверь передо мной и велела говорить, что тебя нет дома.

— Вот и неправда!— воскликнула она с ласковым упреком в голосе.— Разве у меня нет родственников, нет сестер? Разве не могло случиться, что одна из них смертельно заболела и мне пришлось за ней ухаживать? Смотри, старина, я живу все еще здесь, в том же доме. Поднимись же опять ко мне, после долгого отсутствия.

— Я не могу,— воскликнул Грин,— не хочу, не смею!

— О, ты хочешь,— ласкалась она.— Только, чтобы попроситься, если уж ты решил так вероломно меня оставить. Одну единственную прощальную минутку, ее-то я, верно, заслужила! Ты должен только посмотреть на мою обстановку; я так красиво расставила все твои книги в изящных переплетах. Они уже давно — мое единственное утешение. Твой портрет все еще висит на старом месте и ежедневно украшается лаврами или свежими цветами. Ты знаешь, что завтра день твоего рождения?

— Как? Уже завтра?— спросил удивленный поэт.

— Вот видишь,— продолжала она сладчайшим голосом,— я знаю это лучше, чем ты,— так твоя жизнь срослась с моим несчастным сердцем. Ну, иди же только

на минутку. Я обещаю, что не потребую от тебя даже поцелуя.— Слезы не дали ей договорить.

— Я уступаю,— сказал Грин,— хотя прекрасно знаю, что не должен был бы этого делать. Потом ты должна утешиться и спокойно отпустить меня навсегда.

— Разве я хочу большего?— всхлипывала она.— Могу ли я желать чего-нибудь, кроме твоего счастья, раз я тебя люблю?

— Да и какое тебе дело до моего несчастья?

Они вошли в маленькую, уютную комнату, прихотливо убранную, со стенами, украшенными сладострастными картинами. Она опустилась на кушетку, взяла лютню и трогательным голосом запела одну из тех нежных песен Грина, которые он сам сочинил для нее в прошлом году.

— Теперь между нами все, все кончено,— сказала она;— теперь ты скромный, порядочный человек, во время приходящий домой.

Грин сидел против нее и брэнчал на лютне.

— Однако, что за существа вы, мужчины!— продолжала она болтать, нежно поглядывая на него.— Сперва вы нас обожаете за наше легкомыслие, за наше изменчивое настроение, браните повседневность и степенность, а затем все же с раскаянием возвращаетесь к своему очагу. Разве не слаще поцелуй, наполовину данный, наполовину похищенный? Думаю, если бы я была женщиной, мне больше нравилась бы та девушка, которую мне приходилось бы каждый раз, входя в ее комнату, заново пленять и очаровывать. Теперь тебе приказывают: „Люби меня!“— и ты должен слушаться.

— Мне нужно идти,— сказал Грин и поднялся,— теперь поцелуй меня на прощанье.

— Это против уговора,— воскликнула она и шаловливо отскочила. Он бросился к ней и долго гонялся за ней по комнате. Наконец он ее поймал, руки его крепко держали ее, она не могла увернуться, во время борьбы сдвинулось ее платье, и не только один поцелуй был его добычей.



В эту ночь он не вернулся к себе домой.

Эсквайр уже отправил все свои вещи на новую квартиру и собирался проститься с гостиницей и со словоохотливым хозяином. Высунувшись из большого окна, он смотрел на толкотню оживленной улицы. Он оглядывал разнообразные, быстро проходящие фигуры, и ему показалось, что он заметил между ними своего беглого пажа. Он был в другой одежде и величаво нес веер перед красивой женщиной, принадлежавшей, судя по манерам и яркому платью, к куртизанкам высокого полета, которые обитали большей частью в предместьях, в изящно меблированных домах. Эсквайра лишь немного смущало, что мальчик был не только в совершенно другом платье, но усвоил и наглые манеры, противоположные его прежнему робкому, мужиковатому поведению. Он уже собирался спуститься, чтобы преследовать их обоих, когда необычайная суматоха внизу на улице удержала его у окна. Шум и крики были так сильны, что изо всех боковых переулков стали сбегаться возбужденные любопытством народные толпы, чтобы узнать новость и принять участие в суматохе. Испуганный хозяин вбежал в комнату, чтобы узнать о причине крика и посмотреть, не лучше ли на всякий случай запереть двери и окна; судя по несмолкавшему шуму и крику, можно было опасаться восстания черни.

Вскоре главная группа приблизилась, и эсквайр, к своему ужасу, сразу узнал бледного, худого школьного учителя Коштингера и Артингтона, своего неразумного двоюродного брата. Оба кричали изо всех сил:

— Спасайтесь! Спасайтесь, англичане! Суд господень грядет; судья мира почивает еще здесь, в Брокен-Уорфе, и ждет исхода нынешнего дня; нас, своих апостолов, он послал вперед с веялами очищать гумно.

— Я,— кричал Артингтон,— вестник милосердия; слушайте ныне еще раз, и в последний раз, голос мой. Тот, Коштингер, вестник гнева, который истребит вас за вашу строптивость.

Продолжая кричать, они хотели продвинуться дальше, но напор народа был так стремителен, волнующаяся толпа, все теснее окружавшая их, так велика, что это оказалось для них невозможным. Перед гостиницей стояла пустая тележка, из которой хозяин только что выгрузил вино; пророки взобрались на нее, чтобы отсюда говорить речи народу. Артингтон возвестил, что пришел мессия, который вернет церкви первоначальную чистоту и изгонит идолопоклонство, позорящее ее теперь. Королева, если она обратится, может с миром и дальше управлять; но дурные советники ее, прежде всего Бурлей, главный казначей, во всяком случае, должны быть преданы смерти. Чернь отвечала одобрением и криками на их речи. Несколько всадников, затертых в толпе, пытались призывать к спокойствию и указывать мятежникам на их преступное поведение, но общий шум, ужасное улюлюканье, смятение и толкотня заглушили их и привели в замешательство; дальние спрашивали и выпытывали, ближние пытались отвечать, пророки, которых никто не слушал, просили, чтобы их пропустили, так как они еще должны были обойти весь город и призывать добрых граждан к покаянию, а шериф с констеблями старался, между тем, прорваться сквозь непроницаемую стену народа. Эсквайр поспешил вниз, быстро схватил своего кузена, исчезновение которого осталось незамеченным в общем смятении, и провел его через дом в темную заднюю каморку, где немедленно запер.

— Благодарю тебя, добрый кузен,— сказал разгорячившийся оратор,— что ты принимаешь такое горячее участие в этом добром деле; ведь я знал, что просветление захватит тебя внезапно, как стремительный, разливающийся поток. Теперь я через задний дом могу выйти на улицу и оттуда продолжать мое божественное дело в других частях города.

— Я не это имел в виду,— сказал эсквайр,— подожди здесь, пока пройдет эта страшная суматоха, и тогда спасайся, как хочешь, сумасшедший.

— Маловерный! — воскликнул Артингтон и презрительно улыбнулся. — Неужели ты думаешь, что я настолько безумен, что пустился бы в это великое предприятие, если бы грозила опасность хоть одному волосу на моей голове? О вы, близорукие бедняги с искалеченными чувствами! Итак, ты не хочешь верить, пока не увидишь и не почувствуешь чуда. Но тогда будет уже поздно как для тебя, так и для прочих закослелых в грехе.

— Твой школьный учитель, — сказал эсквайр, — в эту минуту, верно, уже схвачен, и он, как и ты, кузен, кончит в Тибурне\*.

— Пусть они нас хватают, — воскликнул фанатик, — пусть ведут нас на лобное место, пусть даже наденут губительную веревку на шею, и ты увидишь, что я все-таки буду громко и от души смеяться. По одному только мановению моего великого учителя, по одному слову его из небесного пространства ринутся тысячи ангельских легионов, покорных ему, и унесут его и нас высь под гармонический шелест их крыльев. О вы, несчастные, я вас жалею, ибо вы все теперь погибли.

— Почему же? — спросил эсквайр.

— Если бы они покаялись, — продолжал пророк, — то худые советники были бы удалены, и королева устроила бы свое правление по нашему указанию. Теперь же на всех жителей этого несчастного города нападет буйство, они не будут узнавать самих себя, каждый увидит в другом врага, и так все должны извести и растерзать самих себя, как свирепые тигры и львы. Тут будет вой и плач, проклятия и вопли, отчаяние и злорадный смех. Вавилонское столпотворение повторится, но оно будет кровавым и ужасным. И тогда Гакет появится в облаках и с торжеством будет смотреть на разрушение внизу, а мы рядом с ним будем судить обреченных, и тогда будет основан новый Иерусалим.

— Вероятно, — сказал эсквайр, — Гакет как глава этого

\* Прежде место публичной казни в Лондоне.

подлого заговора скоро окажется в тюрьме и падет первой жертвой.

— Он? Гает? Всесильный?..— кричал разгорячившийся пророк.— О кузен, кузен, до чего же ты глуп и лишен всякого внутреннего откровения, а между тем, ты мог бы черпать поучение, силы к исправлению и счастье из ближайшего источника, так как я твой кровный друг. Он в заключенье? Он в беде? Скорее виноградные лозы произрастут из этих мертвых стен, скорее солнце и луна упадут с неба и станут прогуливаться в парке, как заморские звери, скорее исчезнет пропасть между небом и адом, и скорее ты сделаешься разумным человеком и присоединишься к нам!

— Оставь, не будем спорить об этом,— сказал эсквайр.— Пройдем-ка этим переулочком; отсюда ты можешь проскользнуть в свой дом; затем постарайся поскорее улизнуть из города. Скрывайся некоторое время в окрестностях, пока это несчастное происшествие не забудется, может быть тебе таким путем удастся сохранить жизнь, и когда-нибудь, в более спокойные времена, к тебе вернется разум.

Они пробирались по улицам, в этом месте мало оживленным, но издали глухо доносились крики толпы. Близ квартиры Артингтона эсквайр попрощался с ним, еще раз увещевая его воспользоваться благоприятными обстоятельствами и как можно скорее выехать из города. Как только он ушел, кузен опять круто повернул в другой переулок, чтобы приблизиться к месту суматохи. Выйдя на большую улицу, он наткнулся на стражников.

— Не правда ли,— заговорил он с ними,— вы ищите пророка милосердия?

— Вот именно,— ответил начальник.— Может быть, вы нам укажете, где искать этого дурака и злодея?

— Это я сам,— сказал Артингтон, приветливо улыбаясь.

— Вы сами?— удивленно воскликнул тот.— Ну, тем

лучше, если вы нас избавляете от труда. Вы сейчас же отправитесь с нами в тюрьму.

— В самом деле?— спросил пророк, смеясь.— Ну, что же, если вам так угодно, я тоже ничего не имею против.

— Тем лучше, если мы так дружественно понимаем друг друга. Ваш миленький школьный учитель тоже уже пойман, и Гакет также не уйдет от нас.

— Бедные, бедные вы люди!— воскликнул пророк.— Нет меры вашим несчастьям!

— Ваше дело плохо,— заметил начальник.— Не трудитесь сожалеть о нас,— всем вам обеспечена виселица.

— Где растет то дерево,— спросил Артингтон,— на котором мы могли бы найти смерть?

— Давно уже выросло,— смеясь, ответил начальник,— там за городом, в Тибурне, и разрослось красивое, коленастое дерево, которое не даст вам упасть, когда возьмет вас в свои объятия. Вам, конечно, приятно будет с ним познакомиться, и вы представите отличное зрелище, когда будете красоваться на нем.

— Жалкие насмешники!— сказал пророк, окидывая их взглядом.— Как-то вы себя почувствуете, когда увидите меня в моей славе?

Уводя его, они громко смеялись и говорили:

— Такой сильной тоски по виселице мы еще ни в ком не встречали.

---

С того вечера несчастная Эмми не видела своего мужа. Ночь она провела без сна, в страхе и слезах, а утром разослала гонцов ко всем знакомым, а также в гостиницу, чтобы разведать о нем; но все возвратилось без известий и утешения. Она подумала бы, что он погиб, если бы бедный хозяин Грина, у которого он прежде жил, не передал ей, с самыми добрыми намерениями, что некоторые знакомые видели его за городом, катающимся с красивой, но пользующейся плохой славой женщиной. Некоторые передавали, что слышали о нем в Гринвиче, другие — в Ричмонде. Так как прошло

уже несколько дней, то было ясно, что Грин не имел намерения вернуться к своей семье.

Эсквайр нашел бедную супругу и малолетнего сына в горе и слезах.

— Ах, милый чужой дядя,—встретил его мальчик, плача,—мы опять потеряли отца; утешь маму, она хочет умереть и тоже уйти от меня.

Друг осведомился подробнее об обстоятельствах и, когда узнал все, то пришел в смятение. Он не знал, горевать ли ему вместе с женой или гневаться на этого легкомысленного и ослепленного человека. Наконец у него явилась мысль, что Грин, может быть, одолеет и эту бурю; надо было только позаботиться о том, чтобы отправить его, как только он вернется, в деревенское уединение.

— И вы думаете,—ответила она,—что этим можно чего-нибудь достичь и что меня могли бы успокоить такие спешные меры? Ведь слишком ясно, что он живет под несчастным влиянием, под роковыми чарами, которых не сможет никогда сломить. Я не понимаю, что такое в его душе и сердце толкает его за пределы должного; он вечно разбивает свое счастье и покой; я ведь знаю наперед, что он горько раскается в этом бегстве, даже теперь, в эту минуту, он несчастен, и все-таки он идет своим путем. Он не скоро назад повернет, я заключаю это по тому, что все, оставшееся от вашего великодушного дара, он забрал с собой.

— Разве отец так любит путешествовать?—наивно спросил мальчик.—Почему же он меня никогда не берет с собой?

— Твой отец...—гневно воскликнул эсквайр, но, почувствовав жалость, оборвал речь и сказал:—Ах, бедное дитя, он не отец тебе.

— Нет,—горячо воскликнул мальчик,—он есть и останется нашим отцом. У нас не было никогда другого в доме. А дети должны оплакивать отца, так полагается. Все они говорят, что отец ведет себя дурно, и мама поэтому хочет, чтобы я вел себя как можно лучше.

Мама, засмейся же опять хоть разок. Ты знаешь ведь, что, когда ты смеешься, мне нравится даже сердитый дедушка, тогда я обхожусь со своими куклами на дворе, как с настоящими братишками, и я так весел, как король Франции. Но мама плачет слишком много, смех бывает так редко, как солнце вчера, оно за весь день светило лишь одну минуточку. А между тем, она очень хорошо умеет смеяться,—болтал мальчик, прижавшись к эсквайру,—если только захочет, эта нехорошая мама, она совсем не похожа на дедушку, он всегда хмурится.

— Извините его,—сказала Эмми.—Когда я слышу его милый вздор, у меня иной раз сердце разрывается.

— Дорогая, милая госпожа,—сказал эсквайр, растроганный,—лучше нам не говорить больше о Грине. Ваше великодушие и ваша любовь извиняют его. Я не могу согласиться с вами, бранить его в вашем присутствии я не смею и не хочу, а потому не будем упоминать о том, кто так бессовестно заставляет литься драгоценные слезы из ваших глаз. Вас нужно защитить, это главное. Я позабочусь, чтобы вы могли приличным образом вернуться к вашим родителям; если, помимо этого, вы захотели бы принять мою помощь, мою дружбу...

— Вы и так слишком много сделали для нас,—прервала его Эмми.

— Возьми, дитя!—воскликнул эсквайр.— Не мешайте же мне, благородная женщина!— Он дал мальчику кошелек с золотом.— Вам, верно, придется здесь еще за многое заплатить, и мало ли что понадобится до отъезда.

Не дожидаясь благодарности, он удалился; но на улице его неожиданно встретили стражники, уже разыскивавшие его, и повели в тюрьму и к допросу, так как выяснилось, что он приходится родственником Артингтону, часто виделся с ним и даже посетил Гакета на его квартире.

---

Эмми со своим мальчиком уехали, эсквайр же несколько раз был допрошен по поводу его отношений к Артингтону и Гакету. Дело последнего скоро было

закончено, его казнили как изменника, и та же чернь, которая приветствовала посланных им апостолов, теперь с шумной радостью смотрела на его позорную смерть. Эсквайра, в невинности которого судьи убедились, вскоре оправдали, и ему было дозволено посетить своего кузена в тюрьме, где он нашел его в странном, совершенно непохожем на прежнее, состоянии.

Артингтон принадлежал к тем легко возбудимым характерам, которым свойственно перескакивать от одной крайности к другой. Насколько он до этого был кичлив и самоуверен, настолько теперь стал сокрушенным и смиренным. Во время допросов он не оказал судьям ни малейшего уважения, зато упал ниц перед Гакетом, чтобы молиться на него, и этот безумец снова одурманил его ложными обещаниями. Когда эсквайр теперь вошел к нему, то нашел несчастного лежащим на полу в слезах.

— Ах, кузен, дорогой кузен,— воскликнул он,— ты для меня, как солнце, восходишь в моей мрачной тюрьме! Итак, нашлось еще существо, заботящееся обо мне, несчастном, потерянном? Вот это христианин, это любовь!

— Ну, что, бедный, слабый ты человек,— сказал эсквайр,— где теперь твои безумные надежды? Позавчера казнен преступный Гакет, а вчера, с горя и вследствие полного воздержания от пищи, Коппингер умер в тюрьме, куда он и пришел уже порядком изголодавшийся. Где же теперь твой пророческий дар? Куда девался твой спаситель мира?

— Не смейся, кузен,— воскликнул безутешный Артингтон,— не упрекай меня; я все это сам себе сказал, после того как должен был присутствовать при казни безбожного Гакета. Мне и в голову не приходило, что человек может так нагло обманывать и что можно дать себя обмануть таким грубым, очевидным способом. Но я думаю, что-нибудь более тонкое как раз и не провело бы нас так ловко; и вот теперь я погиб и оказался в заблуждении, которое никогда не смогу исправить. Не правда ли, кузен, дома мне было так хорошо? Лучшего



нельзя было и пожелать; и нужно же было тебе послать меня в Лондон, чтобы здесь сатана завладел моей бедной душой и затянул у меня на шею губительную петлю!

— А знаешь ли ты,— продолжал эсквайр,— что все верующие твоей секты теперь проклинаят тебя и Гакета, что никто вас не хочет признавать за святых или хороших людей? До сих пор безумие пуритан еще не раздражалось открытым бунтом; их ропот против дерквы и правительства происходил втихомолку и не имел дальнейших последствий. Но нынче дан ужасающий пример, и не подлежит сомнению, что теперь будут приняты более строгие меры против этих сектантов. Поэтому все пуритане отрекаются от вас и вашего безумия; но если их станут больше прежнего притеснять и тревожить, они, может быть, и будут вынуждены поднять восстание; и так с этого часа, чего доброго, разрастется пагубная борьба между подданными и правителями, которая в роковые моменты ослабления власти может иметь самые тяжелые последствия. И все эти беды вызовете прежде всего ты и твои друзья своим сумасбродством.

— Милый кузен,— ответил Артингтон,— все это и гораздо худшее мне безразлично и совсем неважно с тех пор, как для меня стало ясно, что дело идет о моей шее. Я не принадлежу больше ни к какой секте, милый, драгоценный кузен! Какое дело мне до всех этих пуритан и браунистов, пресвитериан и виклефитов, и как бы они там еще ни назывались? Эти несчастные люди высиживают чужие яйца и не соображают, что змея или индюк, гусь или василиск укусят их прямо в ляжки, если выводок удастся. Нет, мой уважаемый кровный друг, с тех пор как я убедился в том, как глуп я был, и увидел, как они поступили с Гакетом и что меня ждет то же самое,— у меня от страха смерти пропали все мысли, чувства и вера во все сверхъестественное, так что мне даже безразлично, сидит ли вообще душа у меня в теле. Я забочусь только о нем и о моей шее. О кузен, хорошо тому пустославить, кто еще никогда

не был повешен. И хотя это со мной тоже еще не случилось, но в лице Гакета я все сам пережил. Нет, дитя мое, я больше не пуританин, я всего лишь человек, который хотел бы как можно дольше жевать свой кусок хлеба.

— Оба твои прошения,— сказал эсквайр,— в которых ты умоляешь судей о прощении, сознаешься в своих заблуждениях, искренно рассказываешь, каким образом ты был увлечен, и выказываешь явное раскаяние, уже произвели, как мне известно, наилучшее впечатление.

— Неужели правда?— в восторге воскликнул Артингтон, вскочив и обнимая кузена.— О, будь благословенно то перо, которым я писал, и трижды благословен тот гусь, с которого взято это спасительное перо! Ах, гуси, гуси, милый кузен, они и в наши дни еще спасают если не Капитолий, то хоть бедных грешников.

— Мне посчастливилось,— продолжал эсквайр,— лично говорить с главным казначеем, лордом Бурлеем.

— Не правда ли,— сказал обрадованный Артингтон,— это превосходный человек? Человек, которого королева по справедливости дарит полным доверием. О, этот снисходительный превосходный министр, наверно, поймет, что счастье и спокойствие Англии не требуют моей бедной головы.

— Мои доводы тронули его,— сказал эсквайр,— я говорил ему,— уж ты прости меня, кузен, но с политиком приходится иногда и самому быть политиком,— будто ты и всегда проявлял слабоумие, поэтому-то изменнику и удалось одурманить тебя безумными обольщениями. Я доказывал, что ты достоин сожаления и что всю твою затею можно назвать скорее глупостью, чем преступлением.

— Именно так, именно так, золотой мой кузен!— воскликнул Артингтон.— Я дурак, совершеннейший простофиля, это самые подходящие слова. О, у тебя чудесный ораторский талант! Ведь ты знаешь меня и снаружи и изнутри. Я всегда был таким простаком и дурнем, что второго такого не найти; растолкуй это хорошенько

господам из совета и высокоуважаемому лорду Бурлею. О, кузен, помнишь, как еще в школе я все никак не мог усвоить чтения? Еще хуже дело шло потом с латинскими авторами. В математике я ровно ничего не мог понять; в то время все называли меня толстым симплексом\*. Припомни-ка все наши выходки, чтобы добрые господа освободили меня от этого смертельного страха.

— Они еще отсрочили твое наказание,— закончил эсквайр,— чтобы убедиться, действительно ли ты серьезно относишься к своему раскаянию и покаянию.

— Не серьезно?!— воскликнул заключенный.— Если бог мне поможет выбраться из этого застенка, поверь, кузен, я так примерно буду любить правительство, королеву и ее советников, что прямо ужас! Я думаю, что скорее улетучится у меня христианская вера и я стану сущим язычником, чем я снова пушусь в диспуты, размышления и умствования о делах религии. Какое мне дело до нашей церкви, со всеми ее епископами и церемониями? И если они вздумают натянуть стихарь на весь собор святого Павла, с креста колокольни и до самого низу, то я буду очень рад, особенно если мне придется продавать им для этого холст. Я стану самым лучшим подданным в Англии, так как чувствую в себе к этому определенную склонность. В Лондон я больше никогда в жизни не поеду, потому что для простого человека, долго прожившего в деревне, слишком много соблазнов в таком большом городе. Да, они тут сделали из меня такого апостола милосердия, что прямо жалости достойно. Иди, златоустый брат, и сейчас же доложи моим судьям все это так, как я тебе рассказал, убеди пламенным красноречием этих людей, чтобы они выкинули из головы проклятую виселицу и казнь.

Эсквайр оставил несчастного, который теперь, после своего обращения, говорил почти так же глупо, как

\* Simplex (лат.) — простак, глупец.

и в своем прежнем, греховном состоянии. Он посетил всех знакомых, имевших некоторое влияние, и постарался приобрести новых, чтобы избавить несчастного от страха и освободить из тюрьмы. Повидимому, судьи полагали, что для устрашения черни достаточно наказания одного сумасброда, так что эсквайр надеялся вскоре возвестить родственнику, судьба которого еще не была решена, о его помиловании.

Грин опять появился в Лондоне. Бледный, подурневший, в худой одежде, с потухшими глазами, он снова стал попадаться на улицах, и все знакомые его удивлялись, как мог он так сильно измениться в столь короткое время.

В таком виде он, к изумлению хозяина гостиницы, вошел к нему, сел опять у того же окна и спросил себе, как прежде, бутылку вина. На все вопросы любопытного хозяина он отвечал лишь молчаливым утверждением или отрицанием и, казалось, пил больше для того, чтобы усилить свое мрачное настроение, чем для удовольствия. Полчаса спустя к нему присоединился Марло, также со всеми признаками тихого отчаяния, спросил себе вина и стал пить торопливыми глотками. Он только мельком поздоровался со старым приятелем, словно не удивился, увидав его снова в городе, после стольких дней отсутствия.

Грин первый начал разговор:

— Вот я опять здесь, разбитый горем, обобранный и, — хорошо это чувствую, — умирающий. Итак, наш гадатель, осмеянный нами, был совершенно прав. Эта Билли, — ты ведь ее знаешь, — опять завлекла меня в свои сети, а я-то чувствовал себя таким уверенным в себе; она, должно быть, проведала о моих деньгах. Несколько дней мы вели, что называется, веселую жизнь; у меня был ад в душе. Теперь мне снова хорошо: я проедаю здесь последние шиллинги, моя жена опять уехала, мой благодетель меня презирает; теперь я опять могу как поэт разбудить свое вдохновение, творить,

созидать и искать в фантазиях и мечтах то, что найти в жизни у меня не хватает умения.

Марло уставился на него неподвижным взглядом, потом поднялся и стал ходить взад и вперед по зале.

— Стало быть, ты, Роберт,— начал он,— опять на старом месте. Ведь ты подавал такие надежды на порядочного человека, почему же это вышло совсем иначе? Ты — поэт? Да ты похож на бедного грешника, которому с грехом пополам удалось выбраться из тюрьмы.

— В Глостершире\* я потерял свое хорошее платье, когда моя благородная возлюбленная сбежала с ним и с моими деньгами. За мои гроши старьевщик едва согласился нарядить меня так, как ты видишь. При всем том это было забавное путешествие. Ты хочешь знать, как я снова вернулся к обычаям поэтов? Как я после своего исправления опять вздумал обратиться к прежней дикости? Милый Христофор, когда я был с друзьями в Неаполе, у нас был такой дикий жеребец, что никто не мог на нем ездить; самый сильный и искусный малый из нашей компании сел на него, животное понесло, и он сломал себе шею. Во всем городе я был самым плохим ездоком, я никогда не интересовался лошадьми и всячески избегал садиться даже на самого смиренного коня; к шуткам и насмешкам моих товарищей я был равнодушен,— но тут меня подстрекнул головоломный пример, хоть меня и отговаривали все, я вскочил на коня и давай хлестать и прищипывать изо всех сил и без того неукротимое животное. Ну, мы и понеслись молнией вниз по крутому откосу; я долго лежал замертво, а у бешеного животного из четырех ног две оказались сломанными. Скажи, Марло, разве это мы сами совершаем этакие мудреные шалости? А что если не мы? Увы! Вино мне противно, оно горчит.

\* Графство в западной Англии.

Марло, прохаживаясь, напевал отрывки из старых баллад.

— Жизнь,— снова начал Грин,— именно такой некротимый конь, па этот раз она меня так сбросила, что у меня все ребра затрещали. Сколько раз уже спотыкалась эта скотина подо мной, сколько раз она меня носила, закусив удила, но я все-таки никогда не желал садиться на осла добродетели или брать посох в руки, чтобы вести простой, смиренный образ жизни. О друг мой Христофор, дух мой так замучен и утомлен, все, о чем бы я ни думал, кажется мне таким протухшим, выдохшимся и вялым, что мне хотелось бы одурачить первого попавшегося бедного грешника и вместо него просунуть шею в петлю. У тебя было когда-нибудь такое желание?

— Тебе знакома зависть?— воскликнул Марло.

— Нет,— ответил Грин.

Снова наступила пауза, после чего Марло глубоко-мысленно продолжал:

— Может быть, это и восхищение, которое моя натура не может перенести. Я не могу это определить. Не может же это быть злорадия, низкая злорадия.

Грин тоже поднялся, и оба расстроенных друга стали угрюмо расхаживать по зале взад и вперед. Марло вдруг позвал слугу и велел развести огонь в камине.

— Ты мерзнешь?— спросил Роберт.

— Душа и фантазия замерзли у меня,— ответил хмурый Марло. Когда огонь разгорелся, он приблизился к нему и стал бросать из карманов лист за листом в камин. Грин сперва не обратил внимания на это; наконец он подошел ближе и воскликнул в крайнем изумлении, стараясь удержать его руку:

— Как? Да это ведь твои стихи! Это же твоя новая трагедия! Или чорт тобою овладел?

— Оставь,— воскликнул Марло, высвобождая руку и швырнув с отвращением последний лист в огонь;— он владел мною, когда я считал себя поэтом, считал себя чем-то особенным; но теперь он меня оставил; закли-

нателью удалось освободить меня, бедного одержимого, от этого злого духа.

Пораженный Грин не узнавал своего друга. Он посмотрел на него внимательнее и только теперь заметил, как он был расстроен, бледен и полон отчаяния.

— Друг,—воскликнул он, с ужасом отступая на шаг назад,— да ты серьезно болен, смерть глядит из твоих глаз, а может, и безумие.

— Мне все равно,—ответил Марло,— пусть будет, что будет, я готов все снести. Но сядем опять, и я тебе подробно расскажу всю историю, ты должен знать, почему я в таком странном душевном состоянии.

Они придвинули стулья к пылающему камину, и когда пламя, мерцавшее бледным светом среди дня, бросило отблеск на их искаженные лица, на неподвижные, усталые глаза, казалось, что два трупа или двое умирающих еще более побледнели.

— Вчера вечером,—начал Марло,— я был в числе приглашенных в большом знатном обществе во дворце лорда Гундона.

— Итак, твое желание, наконец, исполнилось,—сказал Грин,—ты давно уже с нетерпением ожидал этого часа. Все ли сошло к твоему удовольствию?

— Настолько,—ответил Марло,— что я всю ночь не мог сомкнуть глаз. Но дай мне рассказать, ты все узнаешь. Как тебе известно, я воображал, что лорд поставит одну из моих пьес, может быть последнюю, и что я приглашен нарочно для того, чтобы меня прославляли в кругу избранных зрителей. Эта глупость так сильно запечатлелась у меня в голове, что я нашел совершенно естественной любезность, с которой многие меня встретили, и моему тщеславию казалось даже, будто великие заслуги мои еще слишком низко оцениваются. Когда пьеса началась, я убедился, что обо мне и речи не было, а та старая, давно знакомая всем нам поэма\* — история

\* Непосредственным источником Шекспиру послужила эпическая поэма „Ромео и Джульетта“, написанная по-итальянски

любви и трогательной смерти Ромео и Джульетты — была переделана в трагедию. Но, друг, что это за трагедия! Какая правдивость и естественность уже с первых явлений, какая поразительная способность неизменно воспринимать вещи и характеры именно так, а не иначе, и окрашивать все это самым блестящим остроумием! И все — самая страсть, поэзия серьезных сцен, любовь и все чувства, загадочные, чудесные, как сияние полной луны над полями, дугами и лесом, — доведено до крайней границы возможного; а затем опять все так искусно приводится обратно, на ровный путь правды, естественности и обычности, чтобы снова поражать чудесами. Говорю тебе, друг, все, все, что мы сочиняли, все, что хотели мы возвестить о любви и страсти, — только пачкотня перед этими полнозвучными устами, вдохновенными сладчайшим поцелуем божественной музыки!

— Ты преувеличиваешь, — сказал Грин, смотривший большими глазами на рассказчика.

— Я желал бы, — ответил тот с глубоким вздохом, — чтобы ты был прав. Нет, я, дурак, все-таки не хотел бы этого, потому что тогда это чудное новое произведение не поднялось бы, как богиня любви, из пены колышающихся волн необъятной поэзии и страсти. Да, друг, второстепенное действующее лицо, Меркуцио, его шутки и ум, один только рассказ о королеве фей Меб стоит больше всего, что мы когда-либо написали и можем написать. Да что там мы! Этот случайный, второстепенный алмаз в венце поэзии блеском и ценностью превосходит все, что до сих пор дал английский театр.

— Я говорил, что у тебя лихорадка, — ответил Грин.

— Где только, — продолжал Марло, не слушая его, — этот счастливец смог найти светлые оттенки в нашем мрачном языке? Самые чуждые, необыкновенные и многозначительные слова, точно послушные дети, бегут к

Банделло и переделанная по-английски Артуром Бруком в 1562 г.



нему навстречу, а он ласкает их и увлекает в нежном хороводе. Даже небесные духи должны завидовать человеку, способному создавать нечто подобное или с восторгом наслаждаться этим.

— Друг мой,— взволнованно сказал Грин,— то, что ты говоришь, сама поэзия.

— Роль старого монаха...— продолжал поэт.— Как прочувствованно каждое слово, как нежно и значительно дан его образ, и как мягко и любовно! А как она была сыграна! Изящный мужчина, среднего роста, с чудными глазами, не обладавший, однако, звучным голосом, передавал ее с такой нежной задушевностью, с таким искренним чувством, так правдиво подражая старости, страху одинокого патера, и притом с таким достоинством, благопристойностью и благородством, что я мог только удивляться, созерцать и переживать и почти лишился дара слова. Когда, после большой сцены, я спросил соседа, кто этот чудный артист, то узнал, к своему двойному удивлению, что это сам поэт, создавший это изумительнейшее произведение.

— А кто он такой?

— Поверишь ли, поймешь ли, Грин? Один из обыкновенных комедиантов Генслоу, служащий у него уже несколько лет за ничтожное жалованье и давший, как мне говорили, уже многое для сцены, не называя себя; имя, никогда не слыханное, одним словом, некий Шекспир.

— Шекспир? — повторил Грин.

— Да, Шекспир,— продолжал Марло;— и он без сомнения будет тем, кто положит начало и основу новой великой эры поэзии. Его имя в будущем станет привычным для языка лепечущего отрока.

— Не увлекайся, однако,— начал Грин,— в конце концов, это, пожалуй, тот актер, которым bestолковый Генслоу недавно грозил нам. Как это могло случиться, что такой гений попал к этому болвану и что он так долго мог оставаться неизвестным? Но рассказывай дальше.

— Как связаны у него между собой,— продолжал поэт с воодушевлением,— горе и радость; как низость и благородство контрастируют и в то же время образуют единство, обуславливая и объясняя друг друга; как жизненный задор, легкомыслие, высокая, божественная страсть и мудрствующий рассудок и опрометчивость — все, все, точно рукой провидения, приводится, в конце концов, в могильный склеп, где во мраке ужаса еще волшебнее мерцает огненный рубин воспламененного сердца; как, наконец, сливаются воедино смерть и примирение, высшая скорбь и забвение всей земной скорби! Пусть другой, обладающий большим даром красноречия, попытается переложить это в ясные слова, чтобы наглядно выразить многоцветное богатство мыслей, которое переполнило мою одепеневшую душу тысячами чувств. Могу сказать только одно: я видел трагедию, я видел любовь воплощенными; к чему стремился я, тревожимый во сне грезами, то претворилось в ясную действительность.

— А когда все кончилось?

— Я был уничтожен,— сказал Марло,— даже более того, и только этот Шекспир мог бы найти подходящие слова для моего состояния; моя скорбь о том, что жизнь потрачена зря, что сам я — только тень и дым, подчеркивалась переживаемым мною блаженством и наслаждением, познанием чужого духа. Мне казалось, что и на меня падает отраженный луч этого великолепия, через признание его оно делается и моим достоянием. В этой поэме, наряду с величием, господствует такая нежная кротость, такая тихая скромность и проглядывает такая сладостная невинность, несмотря на всю распушенность, что автор ее должен быть лучшим и добрейшим из людей и в то же время скромным; да он и не может быть иным, ибо что такому благодатно одаренному духу еще остается желать на земле?

— А когда твоя лихорадка пройдет,— молвил Грин,— и мы взглянем на все трезвыми глазами, то обнаружим явление, каких в наши дни было уже немало, которых

удивлялись, на которые таращили глаза, которые безгранично восхваляли и в которых потом все-таки открывали погрешности и несовершенства, если только не забывали их совершенно.

— То же самое,— возбужденно сказал Марло,— эти самые слова нашептывала и мне подлая зависть, когда я заметил общий восторг и глубокое умиление всех зрителей. Этим я хотел утешить себя и жалким образом восстановить собственную честь. Я убежал из общества, и дворецкий, исполнявший обязанность суфлера, дал мне рукопись. Наверху, в уединенной комнате, я сидел и читал всю ночь, снова и снова перечитывал и все больше восхищался, так как многое, казавшееся мне случайным или лишним, теперь, при тщательной проверке, выигрывало в значительности и необходимой полноте. Этот добрый дворецкий во время ночного досуга дал мне прочитать еще другое, не совсем оконченное автором стихотворение „Венера и Адонис“. Друг, и здесь, в этом нежном рассказе, в мягкой речи и сладостном описании— в этой упоительной области, где я до сих пор не находил подобного себе,— я совершенно, совершенно разбит! О, я это чувствую, как свою жизнь: этому человеку, который больше чем смертный, я должен стать искреннейшим другом или злейшим врагом. Или я еще сумею найти дорогу рядом с ним, или я буду побежден этим Аполлоном, и пусть он тогда произнесет последнюю хвалу или поношение над моим растертым трупом.

Тут в комнату к ним вошел Мирес\*, человек лет тридцати. Он также был на вчерашнем собрании у лорда, и речь, конечно, зашла о последней трагедии. Мирес тоже хвалил ее, хотя не в таких смелых выражениях, как пылкий, возбужденный Марло, и прибавил, что уже несколько недель тому назад познакомился с этим Шекспиром. Он хвалил его скромность и трудолюбие,

\* Френсис Мирес, публицист и критик.

а также мягкий, услужливый нрав. Вдруг, прервав свою речь, он воскликнул:

— Вот он как раз подходит к нашему дому, а с ним молодой граф Саутгемптон.

Марло бросился к окну, Грин поспешил за ним, и у обоих, точно они увидели призрак, одновременно вырвалось восклицание:

— Наш писец!

Марло сторяча ударил себя ладонью по лбу, затем закрыл глаза руками и, пошатнувшись, упал в кресло. Грин, тоже взволнованный, но все же с большим спокойствием, наблюдал обоих прохожих. Шекспир был одет в шелк, пестро и по-праздничному; молодой приветливый граф прощался с ним, так как слуги привели его коня. Поэт, отступив, почтительно поклонился.

— Не так!— воскликнул Саутгемптон, протягивая ему руку, которую поэт пожал, после чего граф обнял его.

— Но не сюда же он, в конце концов, идет?— воскликнул Марло вне себя.

— Нет,— ответил Грин,— он свернул за угол; какой-то знатный человек, его знакомый, повидимому, позвал его к себе.

— Слава богу!— сказал Марло с тяжелым вздохом.— Сейчас я не мог бы вынести его вида, его разговора.

— Почему же нет?— спросил Мирес.— Он приветлив и скромен; вы не должны его презирать, дорогой Марло.

— Презирать?— сжав губы, произнес поэт.— Мне — презирать его?— Он бросился вон из зала. Мирес же стоял неподвижный, как статуя, и удивленно смотрел ему вслед, потому что видел, как крупные слезы упали из жгучих глаз побледневшего Марло.

Грин, задумчивый, с разбитым сердцем, направился в свою маленькую квартирку, к старому хозяину, который уже раньше участливо выручал его, несмотря на собственную бедность, и которому Грин, по легкомыслию, еще не заплатил того, что давно задолжал бедняге.

Грин бросился на свое убогое ложе, но не мог заснуть. Он только теперь почувствовал, чего лишился; сердце его еще так недавно проснулось со свежей силой для нового счастья и тем мучительнее сокрушалось теперь. При неожиданном свидании после долгой разлуки он убедился, как искренно был привязан к своей супруге и сколько горечи и вместе с тем сладости было в его любви к ребенку. Все это теперь он оттолкнул от себя еще грубее, чем в первый раз; презренная любовница обошлась с ним бесстыднее, чем когда-либо, и так глубоко он еще никогда не презирал себя, не поддерживаемый никаким хорошим и успокаивающим чувством. Ему внушал отвращение его душевный хаос, и сколько ни искал он во всех уголках своего существования, он не мог найти вновь того легкомыслия, которое доводило его в прежние дни,— даже в самой горькой беде,— до озорства. А тут рассказ Марло поразил его больше, чем он хотел себе признаться; сияющие видения, приятно порхавшие прежде над его мрачной жизнью, потеряли свой заимствованный блеск, и предчувствие, что его творчество и произведения — только мимолетное мерцание ночного метеора, неодухотворенное и бессодержательное, что придут лучшие поэты и изглядят самую память о нем,— грозило оправдаться.

К утру он встал, чтобы писать.

— Итак, я все-таки в последний раз возьму это ненужное перо в руки,— проговорил он про себя.— Писать стихи?— Я не в состоянии. Насколько раньше образы и мысли услужливо бежали мне навстречу, так что я часто не поспевал записывать то, что ко мне напрашивалось, настолько теперь стал для меня тусклым, вялым и бесцветным как внутренний, так и внешний мир. О, нет, умереть не страшно тому, кто действительно жил; но быть мертвым душой, когда этот труп еще движется,— это ужасно! Прочь же, воспоминания о молодости, о любви и счастье, надежде и весне! Мне больше нет дела до вас. Любовь? Ах, как может любить другое существо тот, кто не умеет любить самого себя?

Разве вся моя жизнь, все мои стремления не были направлены к тому, чтобы воспитать в своей душе ненависть к самому себе? О, благо тому, кто еще может погрузиться в бездну страшных ощущений и предчувствий, кто еще находит ужас в измученной душе, кто даже в безвыходном лабиринте сердца еще борется с чудовищем отчаяния. Но как в вышине воздух и голубое небо, деревья и горы поблекли и растаяли, так и эта ночная глубина и все, что я еще называл своей душой, исчезло, и ни снаружи, ни внутри не осталось ничего, кроме голой, бесплодной, пустой плоскости. Моя жизнь ничтожнее фарса, пошлее пробуждения после опьянения, а моя смерть, как гибель мухи на стене, бесследное и бесшумное исчезновение; ни одно существо не хватится меня, даже самая чувствительная душа не будет тосковать обо мне: я стал мертвым гораздо раньше чем умер.

Он написал несколько нравственных размышлений, чтобы отвлечься и притти в себя; у него было ощущение, будто рука его только по привычке чертит по бумаге, будто его разгоряченные чувства погружаются в ручей и плещутся там, чтобы остыть. Через несколько часов старый бледный хозяин поднялся к нему и подал ему скромный завтрак.

— Вы не звали меня, господин Грин, поэтому я сам пришел, так как уже поздно,— сказал он и хотел опять удалиться.

— Грин? — проговорил пишущий, отрывая взгляд от листа,— Грин? — Его здесь нет,— ах, дорогой старик, он давно, давно исчез в пространстве; то, что здесь сидит,— только пустое, неодушевленное привидение, призрак, притворяющийся живым. Тот Грин совсем другой, он был лучше, чем этот фантом. Ты слишком поздно пришел, если хочешь его видеть.

— Боже милостивый! — в ужасе воскликнул старик.— На кого вы похожи! Как вы бледны! И как горят ваши глаза! Вы больны, у вас сильная лихорадка. Не позвать ли доктора? Боже милостивый! Но чем заплатить

доктору? Вы, бедняга, уже много должны мне, и у меня тоже нет ни копейки.

— Успокойся, старик,— сказал Грин,— умереть я умру и даже очень скоро, но болеть не буду. Самая моя жизнь была болезнью. А о твоих десяти фунтах не тревожься, здесь я уже написал для тебя письмо к ней, она, наверно, заплатит тебе.

— Это было бы все равно; что найти клад,— воскликнул старик,— потому что вы ведь сами знаете, сколько задолжал я так мало-по-малу; теперь люди уже больше не хотят мне верить; ах, если бы мне пришлось погибать в тюрьме, это было бы слишком жестоко. Я все это сделал из любви к вам, когда другие хозяева больше не хотели вас принимать, ни кухмистеры, ни деловальники не давали вам больше в долг; вы все-таки такой хороший, милый человек и такой ученый, вы так добры и с беднотой и простыми людьми, так вежливы и жалостливы; во мне всегда переворачивалось сердце, когда я видел вашу нужду. Да, да, вот уж поистине, здешняя горькая, бестолковая жизнь только испытание, только переходное состояние, как говорят священники. Ах, милейший господин Грин, не позвать ли мне к вам моего духовника? Смотрите, вы шатаетесь, вы делаетесь все слабее.

— Нет!— воскликнул Грин, снова в изнеможении опускаясь на постель.— Но если ты хочешь сделать для меня еще одно, последнее, то достань мне кубок того крепкого испанского вина, которое я всегда так любил, чтобы оно опять немного оживило мой дух.

Услужливый старик ушел, а Грин погрузился в странные грезы. Ему казалось, что он снова в Малаге, что он, как в молодости, впервые смотрит удивленными глазами на эту восхитительную местность. Стены комнаты подались назад, чтобы уступить место виноградникам, голубому воздуху и простору сверкающего моря. Он слышал звонкие песни виноградарей и причудливые звуки сладострастного фанданго. Он наблюдал за своей душой, как она восхищалась, погружалась в море

всех этих наслаждений и, купаясь в чистой радости, играла и забавлялась. Когда старик вернулся, он нашел больного задремавшим, с прелестной улыбкой на побледневших губах. Он поставил душистое вино на стол и сел у кровати, чтобы от души помолиться о страждущем. Тот проснулся повеселевший, протянул своему верному хозяину руку и подкрепился вином.

— Это,— сказал он затем,— было последнее, что эта жизнь могла мне дать; в этом аромате, в этом пряном вкусе меня в последний раз приветствовали и утешали таинственные духи природы; как только у меня окоченеет небо и жизнь моя замрет, эти духи природы для меня перестанут существовать; но я чувствую, что тогда в моих потаенных недрах расцветут чувства, которые извлекут для меня из волн и света, из воспоминаний и тоски, как из спелой сверкающей лозы, подлинное вино жизни. О, как сладостно уносится моя душа в нежном потоке фантазии, чудесно убаюканная, к своей отчизне! Слышишь соловья в цветущих миндальных деревьях у поросшего зеленью утеса? Оттуда, из Хереса, доносятся звуки, и звучные хоры отвечают друг другу из лавровых рощ. Хвала богу, создавшему и сотворившему все!

Старик плакал и радовался, что кончина его несчастного друга так тиха и ясна. Тут в комнату вошел эсквайр, который все-таки не мог оставить свои заботы о погибшем. Он был потрясен, видя кроткое, приветливое выражение умирающего.

— Бедный, милый, добрый человек,— воскликнул он, а слезы полились у него из глаз,— дайте мне вашу руку! Она холодна... Что, что могу я для вас сделать?

— Все приходит слишком поздно,— сказал Грин, улыбаясь.— Вы благородны и добры; пусть это последнее рукопожатие будет моим завещанием; уплатите этому бедному старику мой долг, уплатите ему еще сверх того проценты за его любовь, которую я не заслужил и не был в состоянии вознаградить; помогите, если



это возможно, моей Эмми и моему ребенку...— С этими словами он скончался.

Плача и рыдая, эсквайр обнял старого седого хозяина. Он дал ему больше, чем тот мог ожидать. Тихо похоронили тело несчастного на кладбище. Лишь в день похорон его бывшие друзья узнали о смерти поэта.

Эсквайру удалось добиться освобождения двоюродного брата. Судьи убедились в том, что Артингтон заслуживал скорее названия дурака, чем преступника. Он вел себя как ребенок, когда снова смог приветствовать вольный воздух. Он восторженно радовался вновь подаренной жизни и не уставал припоминать все, что ему было возвращено вместе с нею.

— Теперь я буду благоразумным,— восклицал он;— в будущем, кузен, тебе не придется бранить меня дураком; теперь я знаю, на какой тонкой ниточке висят сотканые для нас часы; впредь я буду заботиться только о том, чтобы разумно наслаждаться каждой минутой, покада не буду отозван к лучшей жизни.

Кузен снял для него квартиру в Дентфорде, чтобы избавить его от надоедливого любопытства лондонцев. Сам эсквайр написал о глубоко потрясшей его кончине Грина жене последнего, находившейся у родителей; он проявил горячее участие, писал, что забыл всякую злобу на покойного, прекрасные качества и крупный талант которого он хвалил тем ревностнее, что это не только отвечало его искреннему побуждению, но и шадило и успокаивало горе вдовы. В конце он прибавил, что, по истечении года траура, осведомится, найдет ли она приемлемым его предложение быть кормильцем, защитником и отцом для ее красивого мальчика; до тех же пор, чтобы не причинить ей лишних страданий, он намерен избегать свидания с ней, которое, впрочем, было бы для него в высшей степени отрадным. В городе были у него еще кое-какие дела; а затем он предполагал отправиться на своих лошадях в Дентфорд за двоюродным братом, чтобы вместе с ним вернуться в Йоркшир.

Между тем, Марло беспокойно скитался, словно одержимый злым духом. Он прибыл в Дентфорд, чтобы добром или силой добиться свидания со своей неверной красавицей и попрекнуть ее многочисленными обидами, которые она нанесла ему. Он прохаживался взад и вперед под деревьями местечка, не спуская глаз с двери, остававшейся упорно запертой для него.

— Итак, Грин,—говорил он сам с собой, кутаясь в плащ,—тебя уже нет на свете! Добрый, ласковый, легкомысленный и все-таки благородный друг! Как станут поносить память твою эти пуритане и те накрахмаленные скромники, которые никогда не видели ясного лица истины, которым никогда не являлась свободная красота, посягающая на недозволенное, которые должны довольствоваться жалким лицемерием и сознательной ложью, чтобы украсить свое ничтожное существование и свое испорченное воображение поддельными, искусственными цветами!

Вдруг ему показалось, что у окна, за задернутыми занавесками, движется фигура.

— Что я за ничтожество!—с досадой сказал он себе, топнув ногой.— Я здесь, как лакей, поджидающий своего господина, хожу взад и вперед, подкарауливая тварь, о которой знаю, что она любодейка и что она такой и была, когда я познакомился с ней; она права, когда смеется надо мной, видя мою злобу. Хорошенькая роль для великого ума, для первого поэта своего времени, как ты с давних нор называл самого себя! Ну, конечно, ведь ты только лакей, последователь и жалкий слуга того; кого ты только теперь узнал. О, если бы мог человек, с которым ты так заносчиво обошелся в своей слепоте, видеть тебя теперь, если бы он мог заглянуть в твое сердце, он бы увидел, какими жалкими пустяками оно сейчас раздрается. Но разве он не человек? Он пожалел бы меня,—нет, он понял бы меня, а это больше. Но я хочу ее бросить, забыть, презирать. Всякая страсть неистова, и страсть только потому и страсть, что она безумие,—пусть так, но во мне есть



все-таки нечто, что может бороться и биться даже с самой дикой страстью. Ведь мог же Магомет Второй в жертву своей славе и своему войску отрубить собственной рукой в присутствии друзей голову своей возлюбленной, которую обожал,— а она не была продажной любовницей, она была благородна и любила его кровью своего сердца; не позорно ли, не малодушно ли и более чем смешно, что я здесь, как странствующий рыцарь, шатаюсь из-за такой твари? Если я буду продолжать так же похвально вести себя, я, пожалуй, еще заплачу по ней. Прочь отсюда, и будь проклято всякое чувство, влекущее к ней, всякий взгляд, оборачивающийся назад!

С этим решением он быстро повернулся к большой улице, но тут увидел знакомую старуху, служанку Фанни, которая осторожно, то-и-дело оглядываясь, приблизилась к дому и отперла дверь. Едва она отворила, как быстрый Марло уже нагнал ее и, прежде чем она успела изнутри задвинуть засов, с силой втокнул ее в сени, угрожая жестом приказал ей молчать и сильным толчком вышиб вторую дверь, замок которой был не особенно крепок. Как только он ворвался в комнату, с кровати раздался громкий крик, и легкомысленная красавица появилась перед ним в объятиях Ингерыма, пажы эсквайра.

В слепой ярости Марло бросился на испуганную пару. Молодой человек скользнул за кровать, но Фанни не так легко дала себя запугать, она смело встала перед озлобленным поэтом и спросила довольно спокойным голосом:

— Чего тебе надо, дурень?

— Пристыдить тебя,— воскликнул Марло,— наказать тебя, подлая!

— Пристыдить меня,— сказала она с хладнокровной наглостью,— тебе, пожалуй, не так легко удастся, а наказать? За что? Что я принадлежала тебе, пока это было удобно для нас обоих, это ведь вполне естественно; но как часто ты меня бросал и искал наслаждения у других, и я даже не смела спросить отчета у тебя.

А я разве не имею права менять возлюбленных? Что я — твоя раба? Купил ты меня? Клялась ли я тебе, что ли, что мне никогда не понравится другой мужчина, как все это делают в брачных союзах?

— Мужчина! — задыхался Марло, кипя гневом. — И ты называешь так этого малыша, этого презренного мальчишку!

— О чем говорить, — воскликнула она, — если он мне нравится! И почему ты знаешь, может быть, этот милый, красивый мальчик сделал для меня больше, чем ты когда-либо хотел или мог? Он бросил из-за меня лучшего в мире господина, который ему покровительствовал, который мог его достаточно обеспечить на старость, вместо того чтобы повышаться по службе, он так ухудшил свое положение, что стал в трактире, там у дороги, простым прислужником — и все это из чистой любви и преданности к моей особе. Можешь ли ты рассказать о себе что-либо подобное? И, наконец, так высоко завлекает его невинное сердце, что из подлинной нежности он хочет жениться на мне и сделать меня своей законной женой, не правда ли, Ингерам? Если у тебя, злой дурень, есть еще хоть капля нежного чувства ко мне, можешь ли ты хотеть помешать моему счастью? Можешь ли ты досадовать на то, что в числе денег, на которые мы хотим устроиться, находится также и несколько энгелов\*, полученных от тебя? Или красивая золотая цепь, подаренная мне тобой в минуту слабости?

— Злодейка, бесстыжая! — громко кричал Марло.

Тут выступил вперед Ингерам и сказал:

— Оставьте мою жену в покое. Нет, говорю я вам, я не дам так ругать мою жену, не смейте грозить ей, говорю я вам!

— Червь! — воскликнул поэт. — Мальчишка! — Он выхватил кинжал.

— Оставьте кинжал, сударь, — воскликнул Ингерам, совсем осмелевший, — мы не позволим здесь, в нашем

\* Старинная золотая монета достоинством в 10 шиллингов.

доме, обнажать оружие, как бы оно ни сверкало. Если я дрожал перед вами, когда должен был передать вам вино, то теперь все переменялось. Мы в свободной стране. Никто из нас вам не раб. Ах, вы грубый господин!

Подобных слов вспыльчивый, несдержанный Марло не слышал еще ни от одного смертного; ярость овладела им, и лицо его страшно исказилось; с поднятым кинжалом он кинулся на парня, но тот, не испугавшись, схватил его за руку и из всех сил сжал ее, так что кинжал повис в воздухе; тогда другой рукой он резким движением повернул острие вниз и ловко проскользнул под поднятой рукой противника, так что Марло, яростно напиривший на него, вдруг упал, и при падении кинжал глубоко вонзился ему в глаз, вплоть до мозга. Он громко закричал, теряя сознание, а по кровати и по полу потекла темная река крови. Девушка также подняла плач, а старуха-прислужница присоединила к нему пронзительный крик; нахлынувшая толпа распахнула двери, и народ, видя лежащего убитого, тотчас привел стражников. Ингерма заковали в цепи, несмотря на то, что он оправдывался и искал защиты у всех присутствующих. Среди них оказались и Артингтон с эсквайром, тоже привлеченные криком.

— Так вот как ты нашел, — сказал последний, — свое призвание в Лондоне! Убийца и злодей, обреченный на виселицу в таких молодых годах; что скажут твои родители в Йоркшире?

— Я невиновен! — воскликнул Ингерма. — Если бы только мертвый мог говорить! Поглядите, ведь он зажал в кулаке свой собственный кинжал; никаким законом не запрещается защищаться, а потом он споткнулся и всадил себе в глаз лезвие.

То же самое утверждала плачущая девушка, но решающим было показание самого умирающего, который пришел еще раз в себя, чтобы рассказать происшествие всем окружающим и доказать невинность мальчика в его гибели.

— Боже,— воскликнул он в конце своего рассказа,— кого видят мои тусклые, умирающие глаза? Или это уже образы моего духа? Ты, именно ты здесь, поэт, бессмертный... и...

Действительно, то был Шекспир, растроганное, кроткое лицо которого склонялось над умирающим. Он пошел прогуляться с Саутгемптоном, и оба друга подошли к печальной сцене.

— О, как завистлив рок! — сказал Шекспир. — Он так рано похищает у нас этот великий, сильный дух. Где найдется еще другой такой истинный поэт? Сколько надежд, сколько благородных произведений уходит с ним в его преждевременную могилу!

Он взял руку умирающего, тот взглянул на него угасающими глазами и сказал, запинаясь:

— Эти слова — от тебя... Я жил не напрасно.

Из прекрасных ясных глаз Саутгемптона катились частые слезы; все стояли молча, в торжественном умилении, вокруг красивого трупа. Эсквайр широко раскрытыми глазами смотрел на опечаленного поэта, которого он тотчас же узнал, но среди рыданий не находил слов, чтобы выразить свое потрясение и скорбь о том, что почитаемый и горячо любимый им поэт так рано и так ужасно закончил свое земное существование.

## **КОММЕНТАРИИ**





## ФРИДРИХ ШЛЕГЕЛЬ

(1772—1829)

Фридрих Шлегель сыграл огромную роль в развитии литературной теории романтизма. Как художник он выступал редко и не всегда удачно. „*Люцинда*“ — единственный роман, им написанный. К тому же, больше чем наполовину — это прикладной материал к той же доктрине Шлегеля-теоретика, предметное доказательство того, что воплощение романтической теории в литературной практике возможно.

Молодой Фр. Шлегель — самый сильный представитель романтической „левой“ в Германии. Он бесстрашно поддерживает идеи буржуазной французской революции XVIII века, пишет сочувственные статьи о немецком революционере Георге Форстере и об исторической теории жирондиста Кондорсе, возвестившего принцип прогресса в историческом развитии человечества. В философии Фр. Шлегель занимает в ту пору позиции Фихте, самого радикального немецкого теоретика свободы и самоопределения. Но уже в ранних работах и построениях Фр. Шлегеля виден путь, который будет им пройден: позже Фр. Шлегель станет ревностным католиком, прямым пособником реакционной политики Меттерниха и Венского конгресса. Католицизм и служение Меттерниху вытекали, с точки зрения позднего Шлегеля, из необходимости исторического „реализма“, положительной связи с исторической действительностью.

Если обратиться к юношеским теориям Фр. Шлегеля, к тем, которые более всего выдвинули его в немецкой литературе, то в них, даже при величайшем старании, „реализма“ и так называемых „положительных идей“ обнаружить нельзя. Его философия и эстетика в ту пору предельно абстрактны, постулаты их как будто лишены какой бы то ни было социальной осязаемости. Неясно, от каких фактов немецкой действительности отправляется этот фантастический литератор, изобретатель скандальных парадоксов и создатель эстетических гипотез.

претендующих на всемирное значение. Неясно, на кого и на что он надеется, когда возвещает „будущее“ и описывает, каким это будущее должно быть.

Но есть и другая сторона дела.

Идеи диалектики бродят в юношеских писаниях Шлегеля. Целостное знание, соединяющее противоположности, целостная культура, „универсальность“, искусство как высший синтез всех элементов и методов культуры — таковы основные устремления Шлегеля-философа и литературного критика, основные критерии, через которые он проводит мировую и современную ему немецкую литературу. Он создает учение о „романтической иронии“, истинный смысл которого тоже открывается только в свете его мечтаний об „универсальном“ искусстве и „универсальном“ знании.

Односторонность, абстрактность есть, по Шлегелю, худшее зло, ограниченность. Гениальный художник не считает для себя исключительно обязательной никакую из возможных точек зрения; быть верным той или другой точке зрения, тому или другому подходу — значит низложить самого себя, отказаться от своих верховных стремлений. Великий мастер осуществляет в своей работе определенный подход к вещам и в то же время отрицает его. Он уверяет себя и нас, что этот подход для него не единственный, что им не исчерпывается его мысль. В распоряжении мастера находятся еще и еще иные масштабы. Он свободен, он не преклоняется ни перед вещью, ни перед направлением собственной мысли. Его работа не имеет окончания; ни один момент ее не выражает полной меры сил, не означает, что решение задачи искусства и познания раз навсегда достигнуто.

Для художественного гения относительно любая сторона раскрываемого предмета, любой принцип, с помощью которого данное раскрытие состоялось; он трактует их „иронически“ и двигается дальше. Над ним носится идея „универсальности“, ради которой труд мысли не знает остановки.

Фр. Шлегель переносит в искусство борьбу против формальной логики и самодовольного знания, которое утверждает как непреходимый предел частную истину, частный подход, частный тезис и поэтому не может охватить всего предмета или процесса в целом, теряет его из виду и остается с одними частными и ограниченными приобретениями.

Однако Фр. Шлегель называет свой метод „ироническим“ не только по отношению к формальной логике и формальной истине. Результат отрицания, движения к универсальности и сама эта универсальность у него тоже не освобождены от иронии. Весь идеал целостного знания представляется ему мнимым, только субъективно предполагаемым. И то же самое относится к практической борьбе за этот идеал. Ирония не в силах на деле „снять“ частную истину, упразднить частный

подход, объединять противоречия. Ее дерзости, ее „диалектика“ — только произвольная игра, „остроумие“.

Фр. Шлегель как теоретик „иронии“ крепко держится за философию Фихте. И его курс на диалектику и крушение, которое он терпит, воспроизводит коренные трудности философской системы Фихте, в которой диалектика ограничена основными предпосылками. Фр. Шлегель, как Фихте, философствует во имя „свободы“. Но чья это свобода? Реального субъекта в реальных условиях? Нет.

Философию Фихте обосновывает этический пафос.

Мелкобуржуазная уравнительная мораль диктует идею субъекта вообще, — субъекта как средний вывод из реального человеческого, субъекта, который равен всякому другому, претендует на столько же, сколько и ближний. У Фихте за личностью по-кантовски отрицается право на собственные „интересы“ и склонности. Как уравнитель он боится оставить личность на самое себя, предоставить ее непредвзятому общению с внешним миром. Внешний мир есть у Фихте величина производная, созданная системой равных друг другу, абстрактных Я. Между Я и внешним миром, между знанием и предметом знания никогда не может быть достигнуто единство, так как система Фихте заранее, в самых своих предпосылках, отрицает его.

Мораль не от мира сего не позволяет и знанию быть до конца знанием от мира сего; мысль и предмет мысли фатально отделяются друг от друга; мысль должна поэтому оставаться частною и абстрактною мыслью.

Фридрих Шлегель замкнулся в призрачных построениях; он сочинил фантом универсальности, зная и подчеркивая, что это не более, как фантом, „игра“.

Философским препятствием для него служит ориентация на систему Фихте: по смыслу этой системы, никакое знание, никакое понятие никогда не может стать „универсальным“, покрыв свой предмет.

Но самое важное: в то же самое время молодой Фр. Шлегель ни в какой степени не разделяет морализма Фихте. Уже в ранних своих сочинениях он витийствует о „наслаждении“ как о великой сути бытия; аскетическая уравнительная мораль, эта святая святых немецких мелкобуржуазных радикалов, современников революции, у Фр. Шлегеля отголосков не находит. И в этом как раз весь будущий Фр. Шлегель. В ранний период своей деятельности он верит в „свободу“ и права индивидуальности, он понимает и то и другое иначе, нежели радикалы. Уравнительные идеи ему чужды. Все его теоретические и эстетические фантазмы по внутренней своей тенденции сочинены во славу внешнего мира, во славу реальности; идея „универсальности“ означает как раз желание соприкоснуться мыслью с реальным бытием. Он идет навстречу действи-

тельности, взяв на помощь философию, менее всего способную содействовать таким предприятиям.

„Люцинда“, которая писалась с конца 1798 г. до мая 1799 г., — свидетельство решительного поворота в мышлении Фр. Шлегеля. Он движется навстречу чувственной реальности; и чрезвычайно существенно, что новое отношение к миру он находит в обновленной этике — в сенсуалистической морали и оправдании чувственности. „Люцинда“ во многом еще верна старым позициям Фр. Шлегеля; но он откровенно и с полным сознанием заявляет, что аскетическим догмам Канта и Фихте он более не союзник. Это был признак того, что и все прочие построения, возведенные Фр. Шлегелем на основе этих догм, будут им со временем пересмотрены.

В „Люцинде“ современники восприняли прежде всего ее трактовку этической проблемы: роман прослыл произведением имморальным, даже порнографическим.

Интересен отзыв Шиллера, заслуженного и признанного вождя партии моралистов, имевшего к тому же собственные счеты с Фр. Шлегелем и со всей романтической школой. Шиллер писал Гете: „Это произведение [„Люцинда“] характеризует автора лучше всего остального, что он когда-либо произвел, — только оно выставляет его в более карикатурном виде. И здесь присутствует вечно бесформенное и фрагментарное, самое странное сочетание туманного с характеристическим, какое только вы предположить можете... Это вершина современной бесформенности и ненатуральности; кажется, что читаешь смесь из „Вольдемара“ [роман Якоби], „Штернбальда“ [роман Л. Тика] и дерзкого французского романа“ [письмо от 19 июля 1799 г.].

Роман в целом задуман и выполнен в плане романтической иронии. Новые элементы содержания — чувственная этика и своеобразный космизм — появляются еще внутри „иронического“ стиля, по существу враждебного им.

Как и требует романтическая ирония, роман возглавляется авторским Я, свободным от всяких обязательств, налагаемых предметом повествования, и ведущим со своим предметом необузданную игру. Под законы авторского произвола и беззакония подведены также все литературные традиции, все правила поэтики. Все представления о жанрах и стилях безжалостно перепутаны: XVIII век был хорошо знаком с жанром эпистолярным, и Шлегель включает в роман письма; диалог как обособленный элемент повествования тоже не обойден; лирические партии чередуются с простой отчетливой хроникой (жизнеописание героя) и философским рассуждением. Автор сразу же заявляет, что „порядок“ в его книге уничтожается, что его полностью заменит „чарующая путаница“. В письмах к брату Фр. Шлегель пояснял, что в „Люцинде“ он следует романам Сервантеса и философским диалогам Платона. Оче-

видно, его тешила резкая несхожесть этих двух учителей, разделенных более чем тысячелетием и принадлежащих к разным областям культуры. По заверению Фр. Шлегеля, к Сервантесу и Платону восходят язык „Люцинды“, „роскошные эпитеты“ этого романа. Никакой филологический анализ не мог бы, однако, подтвердить, что с языком „Люцинды“ дело обстоит именно так.

Ирония сказывается также в самом материале романа — практическом и документальном. Современники сразу узнавали, с какого подлинника списана „Люцинда“, просвещенный Берлин еще сплетничал о любовных похождениях автора; незадолго перед тем Фр. Шлегель „похитил“ у банкира Фейта жену его Доротею, дочь известного философа-просветителя Моисея Мендельсона. Роман читался под живым впечатлением берлинской сплетни. Юлий — это Фридрих Шлегель, Люцинда — Доротея Фейт. Сам Шлегель постарался довести до сведения современников, кто выводится в этом романе; Доротея справедливо жаловалась на автора, который ради литературы не пожалел домашних подробностей.

„Портретность“ в романе — сознательный принцип; „Люцинда“ утвердилась в литературе романтиков как образец „портретного“ романа и в этом смысле была важна для „Годви“ Клеменса Брентано, например, где тоже воспроизведены реальные лица и факты, или позднее для некоторых вещей Гегриха Гейне. „Портретность“ в системе романтической иронии означает пренебрежение к эмпирической реальности. Вещь берется вне обобщения, вне понятия, в своей единичности, со всеми случайными признаками ей присущими. Романтическая ирония стремится к универсальности; однако она не признает универсальной действительности, воюет с нею, старается представить ее ничтожность. Концы с концами таким образом не сходятся: и действительность есть мираж, и художественное постижение ее тоже мираж; универсальные тенденции ни к какой истине не привели. „Портретность“, фактичность, документальность есть средство низвести действительность до уровня рассыпанного неодушевленного материала, которому противостоят как чужая аристократическая сила мысль художника с ее пафосом обобщения. Романтическая ирония разделяет мысль и ее предмет; поэтому если на одной стороне богатство обобщения, то на другой — вся нищета единичности.

„Ирония“ заставляет мысль все более отдаляться от какой-либо предметности, от какого-либо содержания. В этом и заключаются вопиющие противоречия романтической иронии. Она задумана как диалектика, но диалектика беспредметная.

Фр. Шлегель объявляет в „Люцинде“, что он не просто наслаждается, но еще наслаждается самим наслаждением. Это один из признаков иронии: во всяком акте она выделяет субъ-

ективный момент, затем в этом субъективном моменте снова выделяет субъективность, еще более тонкую, еще более абстрактную и освобожденную от содержания. Таким путем должна получиться система зеркал — многократных повторных отражений, ведущих к крайнему истончению субъекта, к чистому Я фихтеанской системы философии.

Внутри всех этих тщательно продуманных форм субъективного идеализма в романе Шлегеля намечается решительный прорыв в сторону внешнего мира. Философия половой любви, воплощенная в истории Юлия и Люцинды, попирает „категорический императив“ — кантовскую нравственность лишения и отказов. Для филистерской Германии самым тягостным приобретением в романе Шлегеля была его физиологичность, та чувственная прямота, с какой трактуются отношения между Люциндой и ее возлюбленным.

В красном отсвете солнца „блестят белые бедра Люцинды“; у Дидро заимствует Фридрих Шлегель главный термин своего повествования — „чувство плоти“. „Подлинную плоть“ (das wahre Fleisch) пишет Юлий — художник, прошедший через высокий опыт чувственной любви. На картинах Юлия купаются девушки, юноши, с тайным восторгом созерцающие свое отражение в воде, счастливая мать с ребенком. Фридрих Шлегель провозглашает достопочтенность природы и здоровья. Свободная склонность вытекает у него из чувственности, и драгоценное основание свободной семьи заключено у него в физиологии, идущей счастливыми путями. Это был храбрый натиск на моральные понятия немецкого мелкобуржуазного общества. Роман изображает свободную связь влюбленных, и эта связь, вопреки самым священным предрассудкам, трактуется как безгрешная, не имеющая пужды в каком-либо легальном оформлении. У Юлия и Люцинды должен появиться ребенок; слагается „свободное семейство“, которое знать ничего не знает ни о церкви, ни о государстве. Вызов содержится уже в самом социальном подборе героев; Фридрих Шлегель избирает типаж, наиболее порочный в глазах мещанства; его герои — художник и художница — обозначают прежде всего великое отклонение от бытовых норм. „Люцинда“ в своем роде один из первых романов о „богеме“ в немецкой литературе. „Дикое замужество“ Люцинды показано как более прочное и естественное, нежели замужество легальное, — богемная семья — как более счастливая и нравственно сильная, нежели семья „добропорядочная“. Бракный контракт и церковная санкция показаны как вещи излишние и ненужные, их вполне заменяет вольный уклад Юлия и Люцинды, обоснованный эмоциональным самоопределением с двух сторон — мужской и женской.

Общепризнанные нормы страдают бессмысленным формализмом. „Фактичность“ повести вносила особую остроту п

полемику. Отношения, которые берлинское мещанство заранее считало незаконными и требующими возмездия, описаны как счастливые, благословенные, в величайшей степени „естественные“. „Незаконное“ для моралистов объявлено наиболее законным с точки зрения природы.

К циклу свободных и передовых идей романа принадлежит также интерпретация общественной роли женщины. Свобода отношений предполагается обоюдная; женщине предоставлены всяческие вольности гражданства. Еще до „*Люцинды*“ Фр. Шлегель был достаточно известен как теоретик женских прав. Шиллер в письме к Гете замечает, что Шлегель напрасно потратил свое молодое время на изучение Эллады: никаких следов греческой наивности и простоты в его романе не наблюдается. Относительно стиля „*Люцинды*“ это верно, но относительно морали Шиллер ошибся. Уже в своих первых этюдах об античной Греции Фридрих Шлегель восхищается женским типом, который дан в греческой литературе. Греческая женщина для него — пример свободы, развития и духовного богатства. Отсюда через философские фрагменты идет дорога к „*Люцинде*“. Самого Шиллера Фр. Шлегель осмелел за патриархальные понятия о назначении женщины. „Женское рабство“, „преувеличенный брак“, т. е. чрезмерная преданность женщины интересам семьи, — таковы полемические темы фрагментов Шлегеля. Он требует для женщины самостоятельности и возможности участвовать в общественной жизни.

В „*Люцинде*“ героиня романа имеет общественное призвание; она художница по профессии; она существует и независимо: ни любовь, ни семья не являются для нее всепоглощающей силой. У Люцинды ум развитой и культурный, она любовница и собеседница, как бы по древнему образцу подруги греческого философа, соединяющая искусство любви с искусством тонких разговоров.

Тип Люцинды имел для немецкой литературы исключительное значение. После женского типажа Шиллера и Гете — Луизы, Лотты, Клерхен, ограниченных существ, прославленных красотой самозабвения и преданности, в немецкую литературу вошел свободный женский характер, оригинальный и развитый в прогрессивно-буржуазном смысле.

Однако в „*Люцинде*“ уже заметно и другое направление, в котором развивался этот ворвавшийся в иронический роман „реализм“. В Германии конца 90-х годов XVIII века, отсталой стране с чрезвычайно слабыми оппозиционными партиями, в стране, которая пережила по-своему „углубленно-реакционно“, общеевропейские последствия разгрома якобинской диктатуры в революционной Франции, реалистические тенденции должны были обозначать добрую долю консерватизма, приверженности к „тому, что есть“. Особенность немецких идеологий той эпохи, связанная с развитием и состоянием страны, с формами клас-



совой борьбы в ней, заключалась в том, что революционные воззрения приобретали здесь характер абстрактно-фантастический, а „реализм“ был достоянием консерваторов — тех, кто оставался на почве существующих отношений. Германия тогда еще не могла создать партию, которая одновременно и вела бы вперед и не утрачивала бы исторического реализма. Когда реакционеры из „исторической школы“ делили все идеологии на-двое — с одной стороны, утопии и фикции, с другой, историзм и почва, то по отношению к немецким делам они судили довольно справедливо.

Фр. Шлегель в „Люцинда“ не в стиле целого, который все еще остается субъективно-идеалистическим, „фихтеанским“, но в отдельных частных высказываниях отрицает самородность и безотносительность субъекта. Любовь объявляется состоянием космическим, человеческое Я в любви ищет ответного Ты для бесконечного воссоединения с ним (фрагмент „Метаморфозы“), возлюбленные друг для друга „универсум“. Люцинда для Юлия философская „посредница“ (eine Mittlerin) между его раздробленным Я (zerstücktes Ich) и „неделимым вечным человечеством“ („Два письма“).

Через сенсуалистическую нравственность, через воссоединение человека с природой Фр. Шлегель приближается одновременно и к прогрессивнейшим буржуазным убеждениям (разрушение патриархальности, многообразнейшие виды свобод и эмансипаций) и к самым темным реакционным взглядам. Это последнее получается, когда он для своих абстрактных воззрений ищет исторической опоры, когда задумывается о том, куда, в какую историческую почву может пустить корни его освободенный, „чувственный“, воспитанный „чувством плоти“ человек. В „Идиллии“ восхваляется праздность, пассивное существование. В той же „Идиллии“ обесценивается миф о Прометее. Античный Прометей попал в молодую буржуазную поэзию как символ технической цивилизации, как гениальный шеф труда, индивидуализма и свободной мысли. „Идиллия“ Фр. Шлегеля отвергает все эти ценности; она против труда, против мысли, против богоборчества; она за „божественного человека“, подобного „растению“; совершенной жизнью Фр. Шлегель именует „чистое прозябание“ (reines Vegetieren).

Такова „Люцинда“. Автор проповедует прогрессивную буржуазно-европейскую нравственность, но когда он задумывается о том, как реально осуществить в Германии эту реальную по своему духу мораль, то идет на сделку с наличными немецкими условиями — растительным стилем мещанского общества. Разрушение категорического императива и аскетической морали ведет к откату от социальных утопий, к художественной реабилитации существующего общественного уклада. Когда Фр. Шлегель в „Двух письмах“ обещает гимны „очагу“, ме-

щанской собственности и „достоинству домоводства (Würde der Häuslichkeit), это приобретает действительно угрожающий смысл.

„Люцинда“ — роман, чрезвычайно характерный для кризиса раннего романтизма. Здесь первоначальная абстрактная романтика, царство „иронии“ колеблется. Заходит речь об универсальности, о синтезе, о космическом охвате всерьез, взаправду, без иронических и притивых уверток. „Реализм“ обусловлен здесь сознательным переходом за границу спиритуалистической нравственности, свойственной мелкобуржуазным радикалам и уравнителям, ревнивым сторожам „добродетели“ и отчужденности от внешнего мира. Сначала это кажется движением вперед, но вскоре обнаруживается, что на деле имеет место полюбовное соглашение со старым порядком, со всем исторически установленным и существующим. Здесь уже содержится предвосхищение образа мыслей позднего Шлегеля, для которого и романтическая ирония и все эмансипаторские идеи — глубокая ошибка, а „универсальность“ и реальные синтезы возможны только под покровительством римской церкви и Священной римской империи.

Друзья романтики встретили „Люцинду“ равнодушно. Август Шлегель, родной брат автора, знаменитый литературный критик, вопреки родственным чувствам, порицал эту „глупую рапсодию“. Шеллинг возмущался романом. Тик говорил, что „Люцинда“ — произведение безвкусное. К этому времени романтики были уже далеки и от Фихте и от иронии, от идейных мотивов, которые в „Люцинде“ еще формально господствовали. Только Шлейермахер разглядел скрытые замыслы романа, понял, что Фр. Шлегель ошущью идет к тем же идеям и целям, которые ставит себе вся группа Новалиса. Шлейермахер выпустил целую книжку похвальных комментариев к роману Шлегеля („Vertraute Briefe über Lucinde“, 1799). Критика Шлейермахера стала постоянным провожатым „Люцинды“ сквозь всю историю немецкой литературы, и ее нельзя отделить от романа.

Шлейермахер совершенно пренебрег индивидуалистической и иронической формой „Люцинды“ и все внимание направил на задатки космического пафоса, свойственные этому произведению.

„Ничто божественное нельзя без святотатства разложить на элементы духа и тела, произвола и природы“, — писал Шлейермахер.

Дурны спиритуалисты, для которых любовь есть только слабость; но чувственники типа Виланда или Кребильона тоже дурны. Для древних любовь — „изобилье жизненных сил“, „чувственное цветенье“, и в этом своем качестве любовь божественна. Современная культура признает в любви только „интеллектуальную мистическую часть ее“. Вся „тайна“ — в

философии тождества; нужно мирить и древних и новых в синтезе; тогда „тайна“ будет „распечатана“, и обе одно-сторонности сойдутся. Для Шлейермахера в „Люцинде“ уже дан образ целостного человечества, не страдающего противоре-чием духа и тела; он оценивает ее как роман любви, в смысле „вселенских“ пантеистических философствований — своих соб-ственных, Новалиса, Тика тех лет и Шеллинга.

В комментаторской переписке, которую затеял Шлейер-махер, ставятся и вопросы чисто литературные — вопросы по-этики романа. Один из важнейших адресатов этих писем кри-тикует смысловую композицию „Люцинды“, требует, чтобы Юлию и Люцинде был дан общественный фон. Изоляция индивидуальных душевных состояний недопустима; нужно знать и видеть Люцинду и Юлию во всем объеме их общественной практики, а Шлегель представил их только как любовников. „Любовь не представлена полностью, мне очень недостает в этом романе внешнего мира“. На это следуют возражения: отсутствие внешнего мира есть как раз авторская заслуга; именно так и нужно: заботиться не о внешнем мире, а о внутреннем.

Отрицается литературный метод, „группирующий вокруг себя тысячу незначащих мелочей, так как он слишком пренебрегает внутренним миром, чтобы довольствоваться им“.

Достоинства „Люцинды“ — „простейшая композиция“, с „вы-двинутыми фигурами“, имеющими „крупный масштаб“. Великое благо в том, что за этими фигурами пропадает „обстановка“ и все „новеллистическое“ (Novellenartige): „обильные драпи-ровки“, „большие человеческие массы, сложные отношения и происшествия“.

Эти тезисы поэтики Шлейермахера показывают, насколько он, как и другие романтики, при всяческих апологиях телесного бытия и чувственности, был далек от материалистического миропонимания. Этот синтез физического и духовного должен был, по их мысли, произойти на основе духовного. Космизм и конкретность романтики подгоняли под категории религи-озного мировоззрения.

Сам автор „Люцинды“, покорный общему течению роман-тизма, так и не развил буржуазно-прогрессивных идей, наме-ченных в романе. Он отрекся и от лозунгов свободы, и от лозунгов индивидуализма, превратившись в католического „объ-ективиста“. Но роману была суждена будущность независимо от автора.

Роман был счастливее многих других произведений ран-него романтизма, его помнили дольше и дольше к нему обра-щались.

„Молодая Германия“, литературное содружество мелкобур-жуазных радикалов 30-х годов, чтит „Люцинду“, находя в ней отзыв своим настроениям; младогерманцы следовали Сен-

Симону, мечтали об „эмансипации плоти“, о женском равноправии; „Люцинда“ казалась им предвосхищением.

Карл Гудков, вождь младогерманцев, переиздал в 1835 г. „Доверенные письма“ Шлейермахера, присоединив к ним предисловие, полное бурного сочувствия к „Люцинде“. „С отраднейшим чувством я бросаю эту ракету в удушающий воздух протестантской теологии и жеманства“,— писал Карл Гудков.

## НОВАЛИС

(1772—1801)

Фридрих фон Гарденберг, известный в литературе под псевдонимом „Новалис“, был центральным лицом среди иенских романтиков, писателем, наиболее дальновидно и обобщенно осуществившим идейную программу иенского круга. Фрагменты Новалиса „Вера и любовь“, появившиеся в июльской тетради „Ежегодников Прусской монархии“ за 1798 г., его трактат „Христианство и Европа“, непонятый никем из иенских друзей и напечатанный впервые только много лет спустя после смерти автора,— все эти писания преждевременно знакомили посвященных и непосвященных с политическим содержанием новообъявленной философской и художественной доктрины. Ни Шеллинг, ни Шлегели, ни Тик, ни Шлейермахер еще не догадывались, что означают их стремления, кому и чему служит романтизм, куда он поведет и чем окончится. Новалис же пространно разъяснил, что все романтическое движение способствует „христианству“ в его борьбе с „Европой“, что новое ученье есть похвала старому феодальному миру, защита его ослабевших прав и всеобъемлющая критика порядка вещей, созданного буржуазной революцией.

Политическая сознательность была родовым достоинством Новалиса. Как дворянский идеолог, как представитель того класса, который в Германии более других привык управлять и мыслить политически, Новалис в вопросах исторического и социального самоопределения опережал и превосходил своих литературных единомышленников, этих мелкобуржуазных мечтателей, веривших в самодовлеющее значение философских и художественных манифестаций. Среди закоренелых „виртуозов“ (таков был романтический термин) логики, эстетики и других изящных дисциплин Новалис был литератором менее всего литературным, менее всего преданным писательскому делу. Он говорил Юсту, своему будущему биографу:

„Писательство — вещь второстепенная. Справедливее, если вы будете судить обо мне по самому главному — по практической жизни“. Романтики в идее были решительными врагами буржуазной специализации. В то же время как раз они и являлись наиболее ранними в Германии представителями идеологической профессии как таковой, приобретшей все черты замкнутого и отъединенного дела: таковы братья Шлегели, всецело поглощенные интересами трех университетских кафедр — философии, лингвистики и литературы, или же Людвиг Тик, для которого мироздание существовало либо как литература, либо как театр, а остальное отдалялось и ступень вывалось. Людвиг Тик в предисловии к сочинениям Новалиса (1815 г.) специально оговаривал: „В поэзии он [Новалис] был человеком чужим, он читал только немногих поэтов, ни критикой, ни существующими теориями поэтического искусства не занимался“.

Роль вождя, объединителя Новалис в известной степени потому и сыграл, что свободнее относился к интересам литературы, нежели другие писатели из романтической Иены. Значительность его литературных произведений заключается в их особом энциклопедизме: они относятся не только к искусству, но и к другим жанрам и видам культуры; в них есть и философия, и естествознание, и экономическая проповедь, и актуальная политика, — конечно, все это в лирических и отдаленных формах, свойственных романтическому стилю.

Романтическая идеология двигалась навстречу потребностям реакционных общественных групп, немецкого дворянства прежде всего. Новалис раньше других взял на себя труд разобрататься во всех выходах и возможностях романтического учения. Еще до начала нового века, в последних годах восемнадцатого, Новалис превратил романтизм в законченное высказывание по всем вопросам мировоззрения. Это же послужило началом распада иенской школы: когда романтизм сложился в систему, иные из романтиков, дорожившие только отдельными мотивами движения и чуждые его общим итогам, предпочли обосноваться в стороне и отдельно (Авг. Шлегель, Л. Тик).

Из этого еще не следует, что Новалис с самого начала стоял на позициях средневековья и католичества. В его биографии тоже была своя либеральная эра, когда он, подобно юному Тику и юному Фр. Шлегелю, почтительно относился к французской революции XVIII века и желал для Германии перемен. В разговорах с тем же Юстом Новалис защищал Робеспьера и систему террора. В честь императора Иосифа II Новалис писал стихи, вменяя ему в заслугу борьбу с суеверием и с римской церковью. Для него кумир Шиллер, позднее — Фихте. Ученье Фихте Новалис прилежно штудирует. В 1796 г. он в Иене близко сходитя с Фридрихом Шлеге-

дем. „Фихте и Гете“ — таков их лозунг в эту пору. Правда, соединение этих имен — „барочное соединение“, в стиле юного Шлегеля. Рано или поздно тот или другой должен будет отпасть. Отпал Фихте. Уже в то время Фридрих Шлегель делает для себя заметку, что все-таки они двое, он и Новалис, составляют больше, нежели Фихте.

Разрыв с учением Фихте означал для Новалиса, как и для других романтиков, отказ от буржуазного свободомыслия, от пегативных, „разрушительных“ идей. Теперь, по его собственному выражению, он исповедует философию „возвращения домой“ — к ларам и пенатам феодальной Германии, нуждающимся после стольких европейских испытаний в охране и поощрении. „Духу человеческому свойственно спокойствие“ („Фрагменты“).

„Ученики в Саусе“, написанные в Фрейбурге, где Новалис учился с конца 1797 г., знаменуют первую редакцию романтического мировоззрения, развившегося независимо и от Шиллера, и от Канта, и от Фихте — от всей предреволюционной традиции буржуазной мысли.

В этой повести есть некоторые следы автобиографии Новалиса. В Фрейбурге Новалис состоял студентом Горной академии, изучал химию, физику, математику, геологию. Вернер, знаменитый геолог, был его ближайшим наставником. В 1799 г. Новалис уже применяет науку, усвоенную в Фрейбурге, к делу, практикуя в Вайсенфельсе при управлении солеварнями. Таким образом автор этой повести — „горный инженер“, подготовленный к своей особой тематике реальным касательством к науке о природе, к ее прикладной стороне, производственной практике. Тем не менее, „производственной повести“ Новалис не сочинил. „Ученики в Саусе“ — повесть прежде всего антипроизводственная, антииндустриальная.

Реальный мир, даже в его автобиографических данных, в этой повести померк и стал полуузнаваемым. Профессор Вернер превратился в *Учителя* с туманной заглавной буквы, и первая глава повести ориентирована на реальный опыт в самой отдаленной форме. Горная академия через интерпретацию Новалиса превращается в древнюю мистическую школу естествоведов-созердателей, гадающих о смысле, возрасте и судьбе природы.

Повесть строится как широкая, свободная дискуссия. Каждой стороне дано высказаться; авторский образ мыслей проясняется последовательно, через споры или предвосхищение.

Ученик и Учитель, оба представляют в натурфилософской дискуссии воззрение и метод крайних партий. Об Учителе сообщено, что он был наблюдателем, коллекционером фактов: следил за звездами и на песке чертами передавал их движение, собирал камни, цветы и располагал их сериями, изучал связи, встречи и взаимное подобие вещей. Эти методы — актив-

ные, внешние — ученик отклоняет. Он замыслил проникнуть в природу, в законы ее, более внутренним способом, следовательно, он рассчитывает на большую глубину и правдивость познания, избранного им.

В прозаических терминах содержание спора сводится к антагонизму между эмпирической наукой и художественной интуицией. Учитель знаменует трезвого исследователя, буржуазного естествоведа механистического толка, ученик — мечтателя, перофанта новейшей романтики, реставрирующего древние способы освоения природы, мистические и мифологические. Спор идет о знании частном, специализированном и знании целостном, владеющем всей совокупной жизнью своего предмета.

„Жизнь“, „душа“ природы для эмпириков, кропотливых наблюдателей, остаются незамеченными и непонятыми.

Во второй главе описан бунт вещей. Вещи заперты в естествоведческом музее и просятся, чтобы их выпустили в единую природу, где каждая из них знает свое истинное место. Наука насильственно разделила их, между тем как все они относятся к общему семейству и нуждаются друг в друге.

„Внутренняя музыка“ вещей неизвестна человеческой науке; она способна извлекать из природы только „диссонансы“.

Убеждения Учителя поддерживают и другие участники философского словопрения, происходящего в повести. Согласие здесь то частичное, то полное и совершенное. Спор познавательных методологий превращается в дискуссию о методах культуры, о природе и промышленности, о направлениях человеческой истории и сегодняшнем ее состоянии.

Некоторые критики упрекали Новалиса за то, что в его повести философскому диалогу отдано столько места и времени; это не задача для вещи художественной и изобразительной. Между тем, Новалис понимал цели искусства по-своему. Действительно, в его повести персонажи — существа говорящие, ни с каких других сторон человеческой практики не описанные и не отмеченные. Для Новалиса это принцип поэтики, идеалистически последовательной. Описать человека — значит сообщить, каков его особый способ отношения к миру, каков уклон его ощущений и мышления. Философский профиль персонажа должен быть вычерчен, будь это ремесленник, рудокоп, миннезингер или мыслитель. Предполагается, что в каждом живет своя философия, великая или малая, и она-то и есть самое существенное в человеческой особи. Роман Новалиса „Генрих фон Офтердинген“ вовсе не ставит себе специальных целей философского рассуждения; это роман по-своему археологический, реставрирующий камень за камнем всю социальную стройку позднего немецкого средневековья, единственной „подлинной“ эпохи, по Новалису. Однако и в нем философская характеристика нефилософских персонажей исчерпывает всю работу автора, изобразителя человеческих



лиц. Поименная опись населения этого романа должна была бы превратиться в перечень „гносеологических душ“ и точек зрения.

Так же и в „Учениках в Саусе“ неописанные, незамеченные со стороны внешних проявлений персонажи существуют лишь как мыслители и ораторы. Здесь нет никаких социально-бытовых фигур, но есть последователи лорда Бекона или Фихте.

„Беконпанец“ заявляет в повести, что природа — дикое существо, — человек призван обуздать ее, подсмотреть ее слабости и воспользоваться ими, с ядом в руках подобраться к ней. В его речах вопросы теории познания объединяются с вопросами социальной практики и материальной цивилизации. Он пересказывает учение буржуазных естествоиспытателей, практикующих „пристрастный“ опрос природы, экспериментально-технический подход к ней.

Защитник „беконовских“ методов призывает человечество основать новый „Джиннистан“. Этот символ повторяется у Новалиса в „Офтердингене“ и взят из Виланда (название книги Виланда „Dschinnistan, oder auserlesene Feen-und Geistermärchen“, 1786—1789). „Джиннистан“ означает у Новалиса райскую мечту буржуазных просветителей, теоретиков нескончаемого материального прогресса, подобных жирондисту Кондорсе или вождям передовой английской промышленности. „Джиннистан“ в данном случае у Новалиса — символ иронической, прекрасное имя для худых вещей и действий: техническая власть над природой возможна, если к природе относиться хищно, если пренебречь ее первоначальным естеством. Сказочное торжество человека над природой имеет своей оборотной стороной унижение природы, превращение ее в „часовой механизм“, лишенный жизни и вдохновения, без труда позволяющий предвидеть свой правильный ход.

Очень характерно, что у Новалиса к „беконовским“ рассуждениям присоединяется другой участник диалога, чьи заявления согласуются с философией Фихте. Декларация абсолютных свобод человеческого Я, в духе фихтеанских принципов, дается в этой повести как следствие технического, узурпаторского подхода к природе. Сюда же следует отнести заявления „вещей“ (бунт вещей в музейных залах); вещи обвиняют человека: он захотел самообожествиться и тем самым отпал от живого союза естественных существ.

„Человекобог“ и есть носитель фихтеанской философии и вместе с тем носитель буржуазного прогресса и буржуазного индивидуализма. В другом месте повести замечено, что человек, отколовшийся от природы, сотворивший себе „островное“ положение в ней, больше не в силах освоить жизнь природы и осмысленно в ней участвовать.

Так, проблема познания ставится у Новалиса „универсально“,

многосторонне: это одновременно и проблема познания, и проблема культуры, и проблема социального миропорядка. Критика Новалиса подразумевает и буржуазные методы освоения природы и тот общественный строй, на основе которого это освоение происходит. Романтическая „делостность“ миропонимания Новалиса заключается в том, что он усматривает многозначность своей проблемы, соприсутствие в ней многообразных смыслов и направлений. В этом отношении он предвосхищает философский метод Шеллинга.

Тема философии природы открывается и как тема философии культуры и как тема человеческой истории.

Сохранились заметки Новалиса, в которых он планировал окончание „Учеников в Саисе“.

„Превращение храма в Саисе. Явление Изиды. Смерть Учителя. Сновидения в храме. Мастерская Архея. Прибытие греческих богов. Посвящение в таинства. Статуя Мемнона. Путешествие к пирамидам. Дитя и его Иоанн. Мессия природы. Новый завет и новая природа как Новый Иерусалим. Космогонии древних. Индийские божества“.

Из этих планов можно заключить, что свою натурфилософскую систему Новалис ставил как историческую. В самой повести указывается, что истинные взгляды на природу были у древних. К концу второй главы начинается диалог странника. Они пришли в Саис, так как ищут некий „пранарод“, владевший таинствами космоса. Если связать это с сохранившимся наброском эпилога, то совершенно ясно, что решение натурфилософских задач, нахождение правильных путей познания для Новалиса связывалось с вопросом о наиболее правильном типе всей человеческой культуры в целом и с вопросом об особом строении человеческого общества. Для Новалиса, как и для всех иенских романтиков, существовала особая философская тема — „золотой век“. В этой теме скрывался глубокий смысл. Подразумевалось, что все мечтанья — литературные или философские — могут осуществляться только внутри особого строя человеческих отношений и через эти отношения. При всей утопичности замысла, „золотой век“ означал у романтиков требование некоторой новой реальной исторической позиции человечества как чего-то основного, предшествующего всем прочим требованиям. Для Новалиса состоянье человеческого знания о природе и состоянии социальной истории человечества суть вопросы, связанные друг с другом. Рассыпанное индивидуалистическое общество, действующее разрозненно, „делячески“, никак не может выработать правильных познаний о мире и вступить с миром в правильные отношения.

Однако же „Ученики в Саисе“ не оставляют сомнений, что исторические мечтанья Новалиса глубочайшим образом реакционны. „Золотой век“ находится не в будущем, но в древности, и далее чем в древности, — в „прадревности“.

Фрагменты „Вера и любовь“, по времени попутные „Ученикам в Саусе“, объясняют точно и недвусмысленно социальную позицию Новалиса. 1798 г., к которому относятся фрагменты, замечателен как поворотная дата в истории иенских романтиков. Не одного Новалиса взволновало вступление на престол Фридриха-Вильгельма III; Август Шлегель поспешил опубликовать лойальнейшие октавы в честь нового прусского монарха. К новому царствованию романтики сводят счеты с идейным наследством французской революции XVIII века, хотя им и неясно, что же предстоит и от чего собственно они отказались. Напоминаю, что Новалис лучше других давал себе отчет в истинном положении дел. В своих фрагментах он отвергает „новую французскую манеру“ (französische Manier), основные жизненные методы буржуазного общества, освободившегося от феодальных форм. Материальные интересы, предоставленные самим себе, полная свобода для торговли и эксплуатации, распад общественных связей — в этом Новалис усматривает прямое следствие буржуазной революции. Есть общественный строй, где личность подчиняется, где она подводится под систему, строй, полный лада и согласия; и есть строй, где личному произволу, раздроблению общества не поставлено никаких запретов. Таков французский и общеевропейский индивидуализм со всей его противоположностью согласованной „системе“ (antisystematisch).

„... грубое своекорыстие представляется как явление неизмеримое и враждебное всякой системе. Оно не допускает ограничений, чего требует природа всякого государственного строя. Между тем, формальное признание низменного эгоизма как принципа причинило чудовищные бедствия, и зародыш революции наших дней находится именно здесь“ (фрагменты „Вера и любовь“).

Шифры философских рассуждений и концепций в повести „Ученики в Саусе“, реальные импульсы этих рассуждений становятся окончательно ясны. Беконианство, фикштеанство, „Джиннистан“ — все это обозначения для современного мира, усвоившего „французскую манеру“, материально вооруженного в борьбе за богатство, за власть, действующего разрозненными силами, отделившего человека от человека и все совокупное человечество от единой всеприродной жизни.

Новалис с этим современным миром находится в открытой вражде. Он не признает ни одного из его приобретений. Ни современная техника, ни современная наука, ни современная общественность не могут требовать, чтобы их сохранили и вели дальше по уже проложенному пути. Новалис высказывается, как подлинный представитель старофеодальной Германии, которая не умеет, а поэтому не хочет воспользоваться чем-либо из новейших благ мировой цивилизации. В своих политических фрагментах он прямо указывает, где норма и пре-

дел для осмысленных граждан: в старонрусском государстве, с отеческой властью монарха, с домашним типом отношений между подданными и правителем, со всею неразвитостью и скудостью народного хозяйства. Отсталая и нищенская экономика позднее, в романе „Офтердинген“, разобрана им как особый предмет тонкой поэзии.

„Ученики в Саусе“ относятся к тому разряду произведений, в которых романтизм старается высказать все свои утвердительные суждения. Здесь готовится картина мира, какой она должна быть и какой она, по мнению романтиков, была и будет. Это снижает для нас ценность повести, так как мы видим силу романтизма только в отдельных его мотивах, и притом в мотивах критических. Для Новаписа в этой повести весь смысл не в критике буржуазной цивилизации, буржуазного индивидуализма, буржуазного понимания природы. Для него здесь самое главное — раскрытие собственной положительной системы.

Повесть не закончена; однако, даже по тем данным, которые представлены в ней, общий замысел поддается разгадке. Здесь важна одна особенность поэтики Новаписа: композиция повести такова, что завершение фабулы предсказано автором. Вставная сказка о Гиацинте *предсказывает*, к чему автор сведет все философские споры, описанные в повести.

Точно так же в „Офтердингене“ сказка Клингзора, вставленная в середину повествования, как бы предупреждает, во что выльется роман. В обоих случаях в центре художественной вещи дается „малый образ“ ее, иносказание того, что в самой вещи будет рассказано особыми, присущими ей средствами, более пространно и богато. Композиция вещей Новаписа задумана как подобие его мировоззрения. Здесь исключается прогрессивное движение фабулы, изменяющее ее качество во времени; здесь невозможны события, перерывы. Движение романа или повести заключается в том, что различные стихии общей фабулы постепенно отождествляются друг с другом, вбираются в общий центр. „Офтердинген“ построен как возвращение со всех сторон к сказке Клингзора, как оправдание ее. Это как бы „образ“ романтической диалектики Новаписа, Шлейермахера, Шеллинга — диалектики, отрицающей реальное развитие во времени и усматривающей всеобщую связь вещей в бесконечных самоповторениях из некоторого единого центра.

Точно так же и в „Учениках в Саусе“ вставная сказка должна представлять некоторую повелительную идею для всего повествовательного целого; повесть как бы кружит вокруг истории о Гиацинте, перемешивая свой цвет, чтобы добиться однородного впечатления, заранее ей заданного. Поэтому история о Гиацинте в известной степени есть сокращенная редакция всего, что предполагалось автором в этой недописанной повести.

Ученик ищет внутренних путей познания. Сказка о Гиацинте поучает, что знание и любовь равны, что сущность бытия и предмет любви совпадают. От дальнего нужно обратиться к ближайшему, к самому себе, к своей любви и к своим чувствованиям.

В фрагментах о „Вере и любви“, Новалис пишет: „Что мы любим, то мы находим везде, всюду наблюдаем с ним сходное, и чем сильнее любовь, тем шире и многообразнее этот мир сходного. Моя возлюбленная — это мир в сокращении, и вселенная — это распространение моей возлюбленной. Другу наук все они преподносят цветы и напоминания о его возлюбленной“.

„Любовь“ есть у Новалиса философская метафора, многосторонняя, синкретическая, не поддающаяся логическому прояснению. Он охотно пользуется эротическим словарем, который не следует понимать буквально: эротический символ — давняя традиция литературы мистиков.

Акт познания есть акт любви, то есть вчувствования, приурочения своих душевных состояний к познаваемому предмету. История девы в Саисе, погруженной в сон, девы, чье покрывало подымет знающий, эта история выражает идею вчувствования в ее специальных оттенках. На тему об учениках у Новалиса есть двустишие: кто поднял покрывало богини в Саисе, тот увидел чудо чудес — самого себя, говорится в этом двустишии.

Борьба с индивидуализмом, с оторванностью человеческого Я от реального мира, привела Новалиса к философии тождества.

Отрицая буржуазную цивилизацию, всю опосредованность человеческих отношений к природе, созданных промышленностью, техникой, наукой, Новалис укрепляется на противоположных позициях: человек прямою связью входит в природу, вся его позднейшая история, подорвавшая эту прямую связь, есть ложь и заблуждение. Странники в повести Новалиса, вышедшие на поиски „пранарода“, отзываются о более поздних временах, о сегодняшнем человечестве как о жалких остатках былой исторической жизни, одичавшей и выродившейся. Философия Новалиса отказывается учесть цивилизацию, столетия человеческой активности; для этой философии истина содержится в человеке, который развивается нерасчлененно, элементарно, с природой заодно. Философия тождества, полного угодобления человека природе, изымает из оборота всякую специфичность общественной истории человечества. Впоследствии апологеты буржуазии воспроизвели это учение феодального романтизма, для которого история общества есть лишь деталь философии природы; капитализм к тому времени достаточно устоялся, его можно было выдавать за „природу“.

Но в конце XVIII века, когда капитализм только входил в силу, романтики, ориентируясь на „природу“, тем самым

хотели сказать, что новшества капитализма они не принимают и отказываются от исторического прогресса, чьим крайним выражением капитализм в ту пору был.

Философия тождества, уравнивая субъект и объект познания, делает безразличным, с кого или с чего познание будет начато. Критерий истины в этих условиях утрачивается. Предмет познания и тот, кто познает, настолько от века согласованы друг с другом, что расхождение между ними невозможно. Во всяком душевном состоянии заключается „истина“. Система тождества заверяет, что всякое субъективное чувство будет *принято* объектом, и вся практика познания заключается у Новалиса во вчувствовании, в субъективном осмыслении мира, в „оживлении“ его (Belebung философских фрагментов).

„Ученик в Саусе“ поэтому уверен в своем особом познавательном пути; он направляется „к самому себе“, „в самого себя“, и здесь им в новом смысле будет найдено все, чем владела внешняя наука Учителя.

Таковы центральные лирические и философские тезисы повести: любовь как сущность и равенство между лично настроенностью и сущностью вещей.

Интеллектуальные моменты познания у Новалиса отрицаются. Интеллект именно и создает рознь между человеком и природой. В акте интуиции „любви“, чувственному ощущению отводится едва ли не основная роль. В своей повести Новалис призывает к „смещению“ с натуральных телами через физическое чувство (durch das Medium der Empfindung), определяет природу как чудесное сообщество, куда наше тело вводит нас. К пониманию природы он считает расположенными ремесленников, крестьян, рудокопов, корабельщиков, потому что природа для них — предмет чувственного обыкновения, непосредственных сношений. Свое учение Новалис именует в повести „истинным натурализмом“; в своих философских фрагментах он говорит о реалистическом смысле подлинной философии, об „истинном эмпиризме“ ее.

Интеллектуальная обработка чувственных данных устраняется. „Обобщает“ их, собирает воедино некая эмоция, настроенность человеческого сознания. В „Учениках в Саусе“ заявляется, что мысль есть только сон ощущения, умершее чувствование, бывшая жизнь. Философские фрагменты Новалиса содержат программную заметку: „Настроения, неопределенные чувствования...“

Аналитическая мысль вновь разъединяет запас опыта, собранный ощущениями. Поэтому у Новалиса для нее нет места. Он идет только самой смутной, самой приблизительной ориентации в бытии, непосредственного возвращения на его „целостность“.

В „Учениках в Саусе“ Новалис описывает материю знаменательно: материя — это влага, как учил древний философ Фалес,

чью взгляды упомянуты в начале второй главы; поэты, эти посвященные в природу, по Новалису, должны „ухаживать“ за мировою влагой; люди призваны чтить реки и источники своих селений. Следовательно, образ материи дается неразличенным. Ни о каком аналитическом освоении объекта вопрос не ставится. Прикосновение (Berührung) собственно исчерпывает познавательный акт. Познание равносильно культуре.

„Вчувствование“, „оживление“ заключается в том, что субъективная эмоция проникает в физические данные предмета, как бы пропускает их сквозь себя, овещивается ими. На помощь своей теории „оживления“ Новалис привлекает пантеизм Спинозы, учение о „сладострастном знании“, по его словам (философские фрагменты). В тех же фрагментах сказано: „Высокая философия изучает брак духа с природой“.

Отсюда вся эротическая символика в этой повести, отнюдь не эротической. Сказка о Гиацинте, миф о стыдливой египетской богине — все это система символов, охватывающих повесть, придающих ей общую форму — эротического сказания на теоретико-познавательные темы.

„Наши органы чувств суть возвышенные животные“. „Органы познания суть органы-производители, это половые части природы“ (из философских фрагментов). Эротическая метафора имеет в виду особую тесноту, интимность тождества между познаваемым и познающим: эмоция внедряется в чувственные данные, тождество имеет осязаемый характер, и чувственный момент в этом познании достаточно оттенен.

В фрагментах Новалиса сказано: „Лучшее, что есть в науках, это их философский ингредиент, как в органических телах — жизнь. Изымите из наук их философскую часть, что же останется? Земля, воздух, вода“.

„Природа — окаменевший, очарованный город“. Истинное познание есть познание „динамическое“ (термин Новалиса), вселяющее жизнь в предметный мир и снимающее его разрозненность на отдельные элементы.

Но мы теперь знаем, что такое это „оживление“ у Новалиса, какими путями собирается он вернуть жизнь и смысл упавшему космосу буржуазной практики и буржуазной науки. Его собственная философская и художественная система гораздо беднее и безнадежнее того, чем располагала и что обещала современная ему буржуазная культура. „Система“ Новалиса возникла из критики складывающихся буржуазных отношений — критики основательной и дальновидной, так как противник был уязвим и в самый момент своего возвышения, и тогда уже можно было предвидеть, в чем начало его будущего упадка и гибели. Но сам Новалис ничего положительного не мог противопоставить буржуазной цивилизации.

„Системный“ мир, мир „объективной“ власти, мир „любви“, противопоставленный у Новалиса дезорганизованному буржуаз-

ному обществу, есть мир примитивный, архаический. Слияние человеческой души с „жизнью“, „душой“ природы не может заменить науки. Обещанный Новалисом „синтез“ превратился в ложный синтез, бессодержательный, довольствующийся только самым неуточненным ощущением связи всех вещей и человека с ними. Кроме этих общих соображений, натурфилософии Новалиса больше нечего рассказать о мире.

Восставая против частного, „неосмысленного“ эмпирического знания, учение Новалиса кончает уничтожением всех индивидуальных, всех особенных содержаний бытия: человеческая история как нечто особое отрицается, интеллект — тоже, и все вещи в мире сливаются в некоторое неразличимое целое. Новалис намеревался „снять“ индивидуализм буржуазного миропонимания. Но до чего субъективна вся его собственная система! „Душой“ мира названа индивидуальная эмоция; для традиционных чувств и настроений Новалис добивается права быть ключом к объяснению объективного мира, основой для смысловой организации мира. В порядке именно таких требований он и учит о „любви“, о распространении своей „возлюбленной“ на все предметы мира. Это значит, что унаследованные, „излюбленные“ чувства и идеологические отношения должны быть внутренним центром, освещающим действительность и подбирающим вокруг себя весь ее многообразный материал. Этот отказ от исследования, от реального познания, от подчинения объекту, это консервирование уже готовых чувств и идеологических навыков Новалис называл „истинной философией“, способной прекратить все философские распри и кризисы. Мечту о подчинении исторической действительности постулатам феодально-дворянской идеологии Новалис выдает за конкретное решение всех противоречий и трудностей современного ему общества и его культуры.

В „Учениках в Саусе“, этой подлинной сводке и всей ранне-романтической мысли и мысли самого Новалиса, затронут еще один важный идейный мотив: поэзия. Познание-любовь, позволяющее охватить мир единым взглядом, не отделяющее „не-я“ от Я, такое познание есть дело поэтов и поэзии.

В „Офтердингене“ Клингзор говорит: „Очень нехорошо, что поэзия имеет особое имя и что поэты составляют некоторый особый дех. В ней нет ничего особого. Она есть проявление, присущее духу человеческому. Разве в каждую минуту каждый человек не является поэтом?“

Здесь высказано суждение, общее всему романтизму. Поэзия отрицается как особый жанр культурной деятельности; свойственный ей способ познания, универсальный и конкретный, должен стать всеобщим, — у человечества есть предпосылки к его усвоению. Когда Новалис говорит о своем мироотношении как о поэтическом, он хочет подчеркнуть не специальную особенность; у него в мыслях обратное: поэзию как



наиболее нормальный, целостный и богатый, по его мнению, подход к действительности он хочет объявить общеобязательной. Научная интерпретация мира страдает исключительностью, специализацией, не соответствует требованиям „нормального“ человеческого сознания. В повести сказано, что только больная, больничная природа поддается научному обследованию; полная жизни и здоровья, она доступна только поэзии.

В 1799—1800 гг. Новалис работал над своим „Генрихом фон Офтердингеном“, романом, который, по его словам, должен был служить „апофеозой поэзии“. Тема поэзии была для Новалиса всеобъемлющей; в своем романе он в расширенном виде воспроизвел проблемы человека и природы, человека и истории, социальных и культурных отношений — проблемы, уже получившие ранее того место в „Учениках в Саусе“. „Офтердинген“ был следующей за „Учениками“ утопией нового бытия и нового сознания, возведенной романтизмом. В „Офтердингене“ немецкое будущее представлено как немецкое прошлое; уже не родина „пранарода“, но осязаемое средневековье служит местом действия утопии. В этом романе классовая позиция Новалиса и его политические замыслы выражены в более завершенном и точном виде.

## ВИЛЬГЕЛЬМ-ГЕНРИХ ВАКЕНРОДЕР

(1773—1798)

„Иосиф Берглингер“ — новелла, взятая из единственной книги Вакенродера „Сердечные излияния монаха, любителя изящного“. Еще при жизни автора в 1797 г. ее издал Тик в Берлине. Посмертные издания 1799 и 1814 гг. Тиком были значительно расширены. Сам Тик написал некоторые части книги и впоследствии затруднялся в иных случаях размежевать свое собственное авторство и авторство Вакенродера: они были друзьями, их соединяла и общность идей, литературных и эстетических.

Книга Вакенродера — явление своеобразное. Трактат по вопросам теории искусства, конкретная художественная критика — таково ее содержание. Но по формальному жанру она переходит в разряд художественной литературы как род „искусства об искусстве“, поэтического слова о поэтическом слове, о живописи и о музыке. Вакенродер этим ознаменовал свое понимание задач эстетики: он отрицал науку об искусстве, аналитическую интерпретацию искусства и полагал, что только косвенным описанием, лирикой, фигурной поэтической речью, можно усвоить существо художественного факта, иначе неуловимого. Классицизм, просветительная литература создали в Европе рациональную художественную критику, наукообразное осмысление „правил“ и „законов“, которым искусство следует. Лессинг в Германии был одним из лучших мастеров рационального искусствознания. Вакенродер придерживается другой эстетической традиции — Гердера и Гаманна. Уже в 1792 г. Гаманна-иррационалиста, интуитивиста он называет в письме к Тику — „наш Гаманн“ (5 мая 1792 г.).

Эстетика Вакенродера во многом соответствует положениям, которые развил Новалис, но философский язык ее более наивен; она близка к непосредственным вкусовым оценкам. Новалис по внушению сходных социальных и художественных

мотивов сумел добиться философской отчетливости и смыслового богатства, которые остались чужды Вакенродеру, скромному посетителю одной единственной схематической эмоции.

Отказ от эстетики как науки есть у Вакенродера оборотная сторона его понимания предмета эстетики — природы и доступных качеств самого искусства. В искусстве он видит выраженным непосредственное знание; искусство для Вакенродера овладевает бытием в его целостном и индивидуальном виде, сближает бытие и сознание в неразложимом акте. Чего не может наука, то в состоянии выполнить художник: ему подвластна живая конкретная вещь, и он же наделяет вещь ее общим смыслом, не утрачивая ни общемировой перспективы, ни особых, „личных“ примет познаваемой вещи. Вакенродер полагал, подобно Новалису, что рассудочные методы можно просто отменить, что не дающаяся им задача синтетического знания будет решена, когда мысль откажется от мышления и вступит в дело освоения мира как некоторая общая эмоция, как неопределенное душевное состояние познающего субъекта, выскрывающего во внешнем мире аналогии своей душе и лирической чувствительности. По Вакенродеру, прочувствовать вещь и значит понять ее; мир в его эмоциональном осмыслении есть предмет человеческих искусств, и этот предмет не может быть „описан“, его следует так или иначе воспроизвести, дать перевод его с языка на язык — например, с живописного на словесный, — только так он приблизится к нашему восприятию.

Борьба с просветительством, с рационализмом, с индивидуалистической буржуазной культурой ведется в книге Вакенродера с позиций немецкого мелкобуржуазного, по существу феодального романтизма.

Мещанский мирок тогдашней Германии, этого захолустья богатой политическим и культурным опытом, буржуазно развивающейся Европы, отражен в книге Вакенродера довольно точными чертами. Цеховые мастера и подмастерья, служилый люд, набожные юноши, правящие дела художественные с простотой и рвением феодального ремесленника, в совете и в согласии с божьей церковью, представлены у Вакенродера как реальная питающая среда его эстетических размышлений. Это они ориентируются в мире темным „вчувствованием“ и берегут душевный капитал и праотцовскую неспорченность философскою и научною культурой.

Иосиф Берглингер — герой из этого разряда, преданный музыке, видящий в ней род высокого служения, не отделяющий ее от религии, — наравне с религией музыка для него есть средство общения с высшими силами, она проникает в существо вселенной, содействует космическому призванию человека.

Музыке посвящена книга Вакенродера только частично; в остальном книга занята живописью и живописцами. Равное

внимание всем искусствам было в правилах эстетики Вакенродера, которая стремилась обнять все искусства вместе, соединить их в некое единое художество. При этом в область искусства переносился общекультурный критерий ранней романтики,— против разделения культурных деятельностей, за единое и единообразное познание боролся романтизм, и этим единым познанием должно было явиться искусство. Тем меньше оснований было у романтиков допускать распад, специализацию внутри самого искусства, которое притязало у них на всепоглощающую роль в системе идеологической культуры.

Живопись и музыка всегда рассматриваются в книге Вакенродера в их тяготении друг к другу; каждое из этих искусств стихийно ищет для себя дополнения в другом. Идя навстречу родственным искусствам, имея их в виду, музыка на большей глубине и богаче охватывает свой собственный предмет; Вакенродер утверждает, что от взаимного соприкосновения специальные сферы чувств, подвластные тому или другому частному искусству, становятся утонченней и проникновенней. Он пишет в своей книге о церковной музыке,— о том, как она вызывает к жизни новые черты в церковных изображениях, как по ее внушению даже незначительная живопись одушевляется и более внятно обращается к нам. Или о том, как звуки рогов и гобоев преобразуют человеческие лица и как под музыку скрытый смысл этих лиц становится проникаемым для наблюдателя. И обратно: музыка сама восполняет свой собственный смысловой охват, достигая связей с поэзией и с зрительными образами. В жизнеописании Иосифа Берглингера говорится о звуках музыки, которые казались словами; в других музыкальных фрагментах Вакенродер пишет о звуковых массах, подобных краскам, о симфонии, сквозь которую провидятся и угрюмая степь, и ядовитые облака, и ведьмы Шекспирова „Макбета“.

Вакенродер верно уловил характерные черты немецкой музыки, ее смысловую перегруженность, тот философский ее стиль, который столь поражал сторонних слушателей,— мадам де-Сталь, например (в книге „О Германии“ — страницы о музыке), приученную к иной музыкальной культуре — итальянской и французской.

„И, однако, в звуках плавают образы столь индивидуально наглядные, что это искусство, я должен сказать, в одно и то же время покоряет и зрение наше и слух“. „В живой природе звуки и шумы непрерывно сопровождают краску и формы“.

Музыка в ее частном значении составляет для Вакенродера основную стихию познания; музыка выражает смысл, вносимый человеком во внешние предметы, выражает „понятие“, философскую форму мировоззрения. В синтетическом познании, которое романтики прокламировали, смысловой момент, момент понимания, являлся алогическим: душевное вчувствование за-

меняю всякий разумный анализ познаваемых предметов. И вот музыка для Вакенродера знаменует человеческую душевность; освещающую внешний мир, проникающую его данные, обогащающую его и обогащаемую им. Он отсылает к внутреннему, к душевному источнику музыки: „Разве никогда не слышали вы в себе внутреннего немого нения?.. Или вы не верите сказкам?“ „Звуки учат нас чувствовать чувство“. „Музыка есть, конечно, последнее таинство веры, мистика, цельная религия откровения“.

В музыке для Вакенродера выражен философский вклад человеческой субъективности, определяющее начало мироотношения. Отсюда музыкальный культ, отправляемый героем новеллы Иосифом Берглингером. Душевность, неделимая душевная стихия, направляемая в мир, для Вакенродера есть сила непосредственного овладения миром, открытое содержание, свергнувшее всякое посредство формы. Музыка с той же непосредственностью, с той же чуждой рационального формализма чувственной достоверностью охватывает человеческое переживание, находится на непрерывной очной ставке с шим. Слово, по размышлению Вакенродера, способно только называть и описывать; оно передает душевные состояния в „чуждом материале“ (in fremden Stoff). Музыка не есть перевод, не есть транскрипция; для мистического натурализма Вакенродера в музыке удержаны как бы самые частицы. выражаемой души: музыка есть сама выражаемая вещь, тождественна ей (... sie ist Sache selbst).

Поэтому весь музыкальный пафос Иосифа Берглингера в том, чтобы отринуть всякий формализм в мастерстве. Он против культуры, против „грамматики искусства“, он хочет стать простым швейцарским пастухом и уйти в горы. Унаследованные законы музыки, музыкальная „математика“, пагубны для мистического натурализма.

Иосифом Берглингером, его именем, отмечены многие главы из книги Вакенродера. Так как у Вакенродера сама художественная теория есть художественное выступление, то все свои фрагменты, посвященные вопросам музыки, он отнес к Иосифу Берглингеру. Вакенродер таким образом высказывает не отвлеченные понятия, но живые взгляды реального персонажа с реальной биографией. Все музыкальные фрагменты даются как письма Берглингера к „монаху, любителю изящного“, основному герою книги, как размышления, как заметки и статьи Берглингера. Биографическая новелла служит вступлением к музыкальной эстетике, открывает ее живого носителя. В новелле развит существенный социальный мотив: в судьбе Иосифа, которого не понимают и не ценят, мы имеем частное изображение общенемецкого явления той эпохи. Немецкое бюргерство, чуждое в своей массе политической и культурной жизни, филистерское, было обогнано на слишком большие

расстояния своими идеологами; связь понимания между великими философами и художниками немецкого бюргерства, с одной стороны, и их классом, с другой, была нарушена.

Вакенродер впервые дает формулу, ставшую у романтиков образцовой, формулу этой нарушенной связи: когда Иосиф Берглингер, движимый музыкальным энтузиазмом, бежит из родительского дома, его встречает старая родственница и спрашивает, куда это он, не на базар ли за зеленью. „Да, да“, — отвечает Иосиф.

Гофман и отчасти Генрих Гейне обострили и развернули эту формулу до предела целых художественных построений; они резче, нежели деликатный и слабо выделившийся из немецкого мещанства Вакенродер, интерпретировали противоречия между филистером и „энтузиастом“.

Музыкальная новелла Вакенродера положила начало плодотворному жанру романтической литературы — „новелле о художниках“, представленному и в Германии, и во Франции, и в России.

В Германии с „Иосифом Берглингером“ связывается знаменитая „Крейслериана“ Э.-Т.-А. Гофмана и другие его музыкальные новеллы.

## ТИК

(1773—1853)

Людвиг Тик родился в 1773 г., в Берлине, в семье зажиточного ремесленника. В Берлине прошла вся юность Тика. Берлин в то время был центром буржуазного просветительства, и молодого Тика оно приметно коснулось. Он очень рано становится активным участником литературной и художественной жизни прусской столицы. Первые вещи написаны им еще на школьной скамье. В литературу Тик сразу же входит как профессионал. Литератор Рамбах делает Тика помощником в своих предприятиях; Тик поставляет материал для книги „О делах и проделках знаменитых и даровитых мошенников“ (1790—1791 гг.); здесь лубочные, ярмарочные повести о ворах и разбойниках переработаны в направлении просветительских идей о „влиянии среды“, „обстоятельств и условий“ на духовное сложение человека, и криминальные герои книги изображаются жертвами отрицательного воспитания. В жанре „романа ужасов“ выполнена „Железная маска, шотландская история“, написанная в 1792 г. тем же Рамбахом совместно с Тиком.

Тик неразборчиво и жадно читает, учится. Проблематика буржуазной культуры усвоена им в эти годы острее и критичней, нежели на это способны были немецкие просветители, у которых противоречия буржуазной мысли и практики Запада обезвреживались, проходили через домашнюю, вполне мещанскую и патриархальную редакцию, сводились к тихим, удобным синтезам.

Показательны связи и знакомства молодого Тика с музыкантом Рейхардтом, например, которого за политические писания обвиняют в якобинстве и в 1792 г. высылают из Берлина. Другу своему Вакенродеру Людвиг Тик пишет в том же 1792 г., когда Германия участвует в походе на революционную Францию, что он, Тик, наоборот, был бы счастлив под знаменем генерала Дюмурье, предводителя французской армии, сражаться

против рабов; себя он причисляет к демократии и „энтузиастам“. Противоположны „энтузиастам“ „эгоисты“ — по тем же письмам к Вакенродеру. Эти термины знаменательны.

Проблематика буржуазного индивидуализма („эгоизма“) поглощает все художественные писания раннего Тика. Индивидуализм он воспринимает как трагическое мироотношение, психологически индивидуализм для него неизбежен, и поиски сил, обращенных против этой злой опасности, напрасны.

Уже в повести „Абдаллах“ (1792 г.) Тик трактует болезнь индивидуализма во всех ее следствиях: эта болезнь означает с точки зрения Тика, грубо материалистическую этику, детерминирует человека, лишает его „свободы“, разъединяет со средой, традицией, религией и моральными обычаями. По фабуле повести, герой, мотивированный как представитель индивидуализма, становится преступником, практиком вседозволенности — до отцеубийства включительно. Новая философия в представлении Тика рвет связи человека с объективными установлениями, снимает с объективного мира всякие работы о судьбах частного лица. Человек осиротел, мир в отношении к нему — безответственный фатум, рок, которому нельзя доверяться. На фаталистические темы в 1793 г. написана и драма „Карл Бернек“.

В большом романе „История Вильяма Ловелля“ (1795—1796 гг.) Тик широко исследует теорию и психологию индивидуализма. Герой живет „эгоистически“, он „перелистывает дерзкой рукой вселенную и ее наслаждения“, как раскрытую книгу. Эпикурейство и материалистическая этика представлены в романе как упадок сознания, как разрушение души — ее амортизация, „чувства лежат вокруг него [Ловелля] мертвые и убитые“. „Ловелль“ — воспитательный роман, ведущий героя, вопреки обычаям этого жанра, в отрицательном направлении: Ловелль познает городскую культуру, его история есть история городского декаданса, разложения в низменных городских условиях первичных чувств и навыков человеческой души.

Тик оценивает передовую буржуазную идеологию с точки зрения немецкого мелкого буржуа. Он, собственно, воспроизводит Шиллера, который уже задолго до того в „Разбойниках“ подвел под ампула злодея и угрозы общества Франца Моора, материалиста и эпикурейца, Людвиг Тик спрашивает не о том, что приобретает раскрепощенная личность, но о том, что она теряет. Его интересует не столько отношение раскрепощенной индивидуальности к миру, сколько мира к ней. Идеологи французской и английской буржуазии ставили вопрос иначе: они были уверены, что эмансипированная личность сумеет устроить свои дела, не оглядываясь на оставленный уклад, и подчитывали приобретения и выигрыш, полученный от разлуки с этим старым укладом.

Если Людвиг Тик в конце века отворачивается от француз-



ской революции, то уже в раннем его творчестве все подготовлено для такого заключения. Во Франции победили „эгоисты“, в центре внимания стоят реальные нужды буржуазного общества. Тик — „энтузиаст“, когда-то собиравшийся в волонтеры к Дюмуре, — оказывается в глубокой оппозиции.

Развитие Тика типично для немецкой мелкой буржуазии. Она теряла свою революционность, по мере того как французская революция своей практикой выясняла реальный буржуазно-капиталистический смысл этой революционности. Покамест во Франции происходили события, она у себя на родине, лишенной событий, теоретизировала на тему о том, где добро и где зло (см. Маркс и Энгельс, „Немецкая идеология“, глава о немецком либерализме).

Индивидуалистическая позиция Тика, — вернее, опыт такой позиции, так как он стоял на этой позиции не твердо, — завершилась его знаменитыми комедиями „Кот в сапогах“ (1797 г.), „Принц Цербино“ (1798 г.), „Мир наизнанку“ (1797 г.). Вместе с ними пришла в литературу „романтическая ирония“. Людвиг Тик был ее практиком, тогда как Фридрих Шлегель — теоретиком; при этом теория Шлегеля во многом отличалась от практических действий Тика.

Романтическая ирония восходила к философским положениям Фихте — к крайнему субъективизму. В системе Фихте делались формальные попытки сохранить за индивидуалистической позицией обезличенность; носитель фихтеанского мировоззрения философствовал не от элементарного, „натурального“, своего человеческого „я“, — с малой буквы, но от некоего общественного, „прописного“ Я, — и это должно было обеспечить за суждениями объективный, „предметный“ смысл.

У Тика субъект философии и художественного мышления приравнен к биографическому, антропологическому „малому я“. Романтическая ирония есть акт, осуществляемый *мною*, Людвигом Тиком, в *моих* отношениях к мировой действительности. Объективная данность лишена всякой авторитетности и самодовления, она есть предмет, предоставленный благоусмотрению субъекта, безусловному его произволу.

В комедиях Тика осуществляется последовательный дезиллюзионизм: все претензии фабулы и героев на независимое от автора бытие падают. Автор играет фабулой, как хочет, обрывает ее, делает неосмысленные отступления, заставляет вступать в тесную связь чуждые друг другу фабульные моменты. В героях разрушено единство характера, так как соблюдать это единство значило бы держать авторскую волю в подчинении и указывать ей. Герой сочиняется непоследовательным, поведение его состоит из психологических неувязок, черта отрицает черту. Мысль, идейность тоже не должны чем-либо обязывать автора; ему предоставлены права полнейшего нигилизма; в одной и той же комедии он пишет сатиру и на

старый порядок и на революционное правительство. Наконец, он подвергает осмеянию и собственную свою философию: в комедиях Тика содержатся выпады против фиктееанского субъективизма.

В „Мире наизнанку“ Тик доводит зрителя до головокружения; каждый момент фабулы снова и снова разоблачается как недостаточно условный и субъективный.

Уже в „Ловелле“ солипсизм, отрицание всякой реальности, помимо индивидуального сознания, есть завершающий вывод: „мир — игра теней, лишенных содержания“. Комедии написаны с точки зрения беспорядности этого вывода как уже завоеванной позиции.

Комедии Тика обнаруживают важную сторону усвоения в Германии буржуазного индивидуализма. В Англии и во Франции это есть конкретное учение, подразумевающее социальную и экономическую свободу, практическую автономию личности. В отсталой прекапиталистической Германии индивидуализм воспринят бессодержательно, абстрактно, сводится к особой точке зрения в гносеологии и в теоретической морали. Под ним ничего не „подразумевается“, так как здесь слабо представлен реальный общественный контекст возникновения принципа, он взят как таковой, нагой и преувеличенный.

Людвиг Тик борется с индивидуализмом как с опасной фантазмагорией. Он еще раз ищет спасения у пошловатых немецких просветителей, у которых все противоречия ступеваны, все чисто и гладко, так как человечество „совершенствуется“, соглашает „мораль“ и „пользу“, личное с общественным, старое, патриархальное с новым, буржуазным. В 1796 г. — в год окончания „Ловелла“ — Тик пишет для Николаи, книгопродавца и вождя берлинских просветителей, серию новелл, выдержанных в „благоразумном“ просветительском стиле и сатирически трактующих ту самую духовную и душевную неурядицу, которую пережил их автор. Суеверие, чувствительность, преувеличенность переживания — всему этому в просветительских новеллах Тика прочитаны подробные нотации с точки зрения меры, пользы и порядка.

Однако Тику было суждено проделать эволюцию более крайнего характера.

Мелкобуржуазный художник, испуганный новыми разрушительными идеями и логикой классовой борьбы в Германии, он был отброшен на позиции, занятые последовательной феодальной реакцией. В том же 1796 г. Тик сочиняет злую сатиру на просветителей — „Жители Шильды“, где бюргерским идеалам добродетели и пользы не дано пощады. Тут же разработан мотив, имевший такое огромное значение в борьбе романтиков с буржуазной культурой. „Жители Шильды“ осмеяны как антихудожественная формация, как враги истинного искусства. В Шильде оды и поэмы назначены для чтения закоренелым

преступникам, дабы они „без виселицы исправились“, театр в Шильде — „приложение к лазарету“. В мешанской уезде немецких бюргеров Тик начинает видеть выражение, хотя и особо уродливое, общих утилитаристских тенденций развернутой буржуазной культуры. В диалогах из романа „Франц Штернвальд“ (1797—1798 гг.) свои опасения за искусство Тик высказывает уже во „всемирном масштабе“: дух европейского купечества и предпринимательства непримирим с потребностями искусств и подлинно художественной жизни.

Долголетняя дружба с Вакенродером дала направление антибуржуазным помыслам и поискам Тика. Вакенродер в границах буржуазного сознания никогда не находился, — он был „спасенный“. Вместо буржуазного рационализма он предлагал целостную интуицию и наивность, отрешенное самоучествование буржуазной личности у него снималось в общинном укладе, в интимизме и теплоте феодально-деховой „зависимой“ жизни. Вершиной культуры являлся старый честный город Нюрнберг; ремесло, семейственность, набожный традиционализм, скромное и примитивное „национальное искусство“ — вот „теплые тезисы“, которые мог предложить беспокойному Тику Вильгельм-Генрих Вакенродер.

Тик пишет тогда народные сказки — „Прекрасную Магелону“ (1796 г.), „Мелузну“ (1800 г.), имитируя народные книги с их простотой и целостностью художественного сознания. Лирическая сказочная проза Тика встречена сочувственной рецензией Авг. Шлегеля. Шлегель указывает отличие этого искусства от просветительских образчиков: тон детской доверчивости, с каким пересказаны традиционные рассказы; отсутствие просветительского „прагматизма“, рациональной критики; сказочный конь Баярт изображен без излюбленных просветительских экскурсий в область „лошадиной психологии“ и прочих аналитических соображений.

В книге Вакенродера „Сердечные излияния“, изданной в 1797 г., Тик принял участие, хотя и второстепенное. Замечательно, что опыт мелкобуржуазного бунтарства и дерзостного анархизма никогда не позволяет Тику полностью освоить новые для него позиции наивной веры и феодальной патриархальности. В их общей книжке написанное Тиком все же отличимо от того, что принадлежит руке Вакенродера. „Сердечные излияния“, исходящие от Тика, отмечены виртуозностью, литературской манерой, отсутствием лирической подлинности.

То же самое в „народных сказках“. В „Магелоне“ Тик подделывается под „автора-ребенка“, и почти в то же время народную сказку о „Коте в сапогах“ подвергает капризной, прощической обработке для театрального спектакля.

В 1798 г. Тик знакомится с Шлегелями, Августом и Фридрихом. У них общий язык и общие стремления. Культ Шекспира, Сервантеса и Гете, ненависть к просветителям соединяют

их. В 1799 г. в Иене, где находятся одновременно и братья Шлегели и Новалис, Тик вступает с Новалисом в тесную и восторженную дружбу. В этом знаменательном году основана штаб-квартира „иенского романтизма“. Во главе движения стоит Новалис с законченной феодально-дворянской программой, под философские, эстетические и политические тезисы которой рано или поздно, в той или иной степени, были подведены разно-речивые стремления объединившихся писателей.

Тик через Вакенродера уже был подготовлен к восприятию главенствующих идей Новалиса — познавательного интуитивизма, познавательного и социального „объективизма“.

В сфере романтизма находятся не только писания Людвига Тика, относящиеся к эпохе иенской „унии дерквей“. И ранние опыты, и „Ловелль“, и „иронические комедии“, при всей их разнородности, относятся к тому литературному движению, чьим предводителем и знаменем стал „Офтердинген“ Новалиса.

Борьба с буржуазным сознанием, буржуазной культурой, индивидуализмом и формальным „разумом“ составляет „драматическое содержание“ немецкой романтики. У Новалиса представлены мнимо-победоносные *итоги* борьбы, представлен мир в его „положительном виде“, освобожденный от буржуазных подходов к нему.

Тик представлял левый мелкобуржуазный фланг иенского романтизма, для которого буржуазная идеология не была силой посторонней, а субъективно испытанной и пережитой. У Тика рельефнее, обширнее выражена негативная сторона романтики, нежели у Новалиса и Вакенродера.

Большие вещи Людвига Тика, где он исповедует или полу-исповедует романтический „позитивизм“ Новалиса,— это роман „Странствования Франца Штернбальда“ (1797—1798 гг.), драма „Святая Генофефа“ (1799 г.), „Император Октавиан“ (1801—1803 гг.).

В „Штернбальде“, первом „романтическом романе после Сервантеса“, по заявлению Фр. Шлегеля, Тик празднует свое возвращение к объективной действительности. Роман буквально залит описаниями, ландшафтами; странствования Штернбальда проходят через Германию, Нидерланды, Италию, сквозь мир веселый и блистающий. Тик восстанавливает старинную добуржуазную структуру повествования, основанную на предвзвешенно-индивидуалистическом миропонимании. Мотивировка фабулы, фабульных поворотов заложена не в герое, в свойствах его, предрасположениях, способностях, но отнесена к невидимому руководству его деяниями, к промыслу, который переял на себя человеческие заботы, покровительствует человеку и по собственному почину исполняет его желания.

Штернбальд — герой без задач и целей; он ничего не просит, но ему дается, он не ищет, но находит. Его судьба лишена сознательного плана, но когда роман заканчивается, то все слу-

чайные эпизоды странствований, все непредусмотренные авантюры оказываются предначертанными; их нежный и счастливый смысл в том, чтобы привести Штернвальда к его единственной возлюбленной, чей след и осязаемые приметы были им давно утрачены.

Итак, личность опять сдана на попечение „объекта“, введена в „среду“; противоречия объекта и среды сняты; между ними предустановленное согласие.

В „Геноффе“ широкая и живописная поэтика воссоздает, как выражался Тик, „климат“ феодальной религиозности, счастье человека, не отделенного от наследственных чувств и склонностей коллективной жизни, народной и космической. Также „Император Октавиан“ строится на идеях первенства „всеобщего“, упраздняющего раздробленность на эмпирические времена, пространства и частные человеческие существования.

К этой группе относится и новелла „Белокурый Экберт“, впервые напечатанная Тиком в 1797 г. в „Народных сказках Петера Леберехт“. Несчастья Берты и Экберта происходят от их приверженности к богатствам, сокровищам. Отсюда следуют мрачные дела и мрачное возмездие. Тик пользуется патриархально-общинным осмыслением денежных, индивидуалистических отношений и соответственно этому стилизует свою новеллу под фольклор.

Из сказки же взят и мотив превращения: старуха — Вальтер — Гуго — в разных лицах все тот же страж и наблюдатель при Берте и при Экберте.

Однако самый жанр новеллы в поэтической работе Тика существенно изменяется.

Новелла по своему происхождению связана с Ренессансом, с первыми великолепными выступлениями буржуазной литературы. Она ориентируется на внешнее событие, на активную роль в нем человека, на точную логику его целей, задач, находчивости. Тик работает над этим жанром в такое время, когда его философские предпосылки более всего от этого далеки. Судьба, невидимая человеку связь событий, в новелле, как и в романе, заменяет у Тика рациональную последовательность событий. Но еще важнее, что в новелле Тика, фольклоризованной, сказочной по сюжету, фабула вообще отступает. Всю поэтику Тика-новеллиста поглощает не действительный мир, пусть даже сказочно-бессвязный, но мир лирический. В новелле об Экберте важнее всего общая настроенность; все ее движение идет по стрелке вставных стихов о лесном удивлении; три варианта этих стихов, намеренно простых и внушающих, означают три основных разгиба повествования: первоначальную невинность, падение и покаяние. В новелле не так важны герои, как мир, в котором они живут и каким он им представляется, не тела и действия, но освещение. Тик устанавливает то „магическое освещение“ (magische Beleuch-

tung), о котором Авг. Шлегель толковал как о существенном признаке романтики.

Тихое утро, далекие пространства, шум деревьев, неведомо откуда слышный топор дровосека; появляются люди с незнакомым говором, и девочка обмирает от страха.

Шумит ручей, и в отдаленье слышен старушечий кашель.

В сказочном пейзаже лает собака. Ночью за окном шумят березы, вдалеке поет соловей.

Эти эпизоды в самом тексте названы „странными смешеньями“ (wunderbares Gemisch).

Роман о странствованиях Штернвальда весь пронизан такими же описаниями и лиризмом того же смысла.

„С приближением вечера юному Штернвальду встречались многие предметы, пригодные для живописи; в мыслях своих он приводил их в порядок и с любовью медлил около этих образов... Потемневшие деревья, тени, простиравшиеся по полям, дым, поднимающийся над крышами маленькой деревни, звезды, выступившие на небе одна за другой,— все это глубоко трогало его, внушало ему грустное сострадание к самому себе“.

„Перед дверьми в траве еще блистала вечерняя заря, играли дети, сквозь стекла еще сверкала она, как падающий золотой дождь, прелестно раскраснелись лица у мальчиков и девочек, кошка замурылкала и доверчиво прижалась к нему, и Франц почувствовал себя столь счастливым, столь вольным и блаженным в этом тесном жилье, что ему казалось: никогда более в жизни не будет он печальным. Когда наступили сумерки, с очага в кухне мирно запели сверчки, у ручья с березы запел соловей, и еще ни разу не почувствовал Франц так, как это было теперь, сколь близки ему и тихая домашняя жизнь и ограниченный покой“.

Образ строится в расширенном, космическом масштабе, и в него „вписываются“ конкретные вещные детали. Крестьянский дым и звезды, сверчки и соловьи, старушечий кашель и собачий лай — на фоне почти „всемирной“ музыки. Принцип этих „странных смешений“ в том, что с интимных, „теплых“, субъективных деталей снимается категория частного явления, и они увиденны вдвойне: и в своей вещественной субъективной ограниченности и в своей отнесенности к вселенскому целому.

Новелла Тика — образчик той „всемирной лирики“, к которой Тик тяготел в период своей причастности к натурфилософским и социальным идеям антииндивидуалистической романтики. Ему не суждено было, как это сделал Новалис в своем романе или Вакенродер в некоторых главах своей книги, осуществить эти идеи в плоскости объективного строя чувств и конкретной реставрации старинных укладов, исторически обособывающих, невыделенность, подчиненность личности. Тик

ограничился тем, что прокламировал иешскую космическую философию под углом зрения своей авторской настроенности и абстрактных фабульных арабесок.

В 1802 г. Тиком была написана Новелла „Рунеберг“, во многом примыкающая к замыслам и стилю „Экберта“. В ней пересказана история отщепенца, человека, выделившегося из семьи, из общины, полного личных стремлений, не ужившегося ни с отцом, ни с матерью, ни с женой, ни с церковью, ни с наследственной профессией. Предмет, его смутивший,— это деньги, металл „с желтыми глазами“, ради которого он готов на любые поиски, на разрушение всех своих социальных обязанностей и навыков.

Эту новеллу часто толковали как опыт чистой натурфилософии, в котором нашло выражение учение о темноте, о „ночных“ качествах природы,— учение, свойственное раннему Тику. Такое толкование неверно. „Рунеберг“ — в своем роде новелла социологическая; особенность ее в том, что Тик, следуя общему уклону романтического миропонимания, отождествляет социальную тематику с космической и коллизию буржуазного индивидуализма, денежной власти, представляет как драматическое содержание самой природной жизни. Жизнь отцовская, при старом замке или в тихой, устроенной деревне, мерный деревенский оборот дум и дел — вот истинный порядок, „космос“, дарующий старому садовнику понимание языка растений и цветов. Иначе эта область старого агрикультурного уклада, феодального замка и крестьянской пашни символизирована в новелле Тика как область дня и света, как жизнь „на равнине“. Противоположный мир, к которому относится оторвавшийся Христиан, символизуется как мир ночной, горный, хаотический, безумный, избилующий злою силой и соблазнами. Для одних,— людей доброго старинного уклада,— мир есть живая жизнь, приветливая и охраняемая; для Христиана, с его исканием, образ мира искажен, перед ним природа, раненная и стенающая, предательская и опасная.

Заключительное появление девы Рунеберга, как грязной и седой старухи с костылем, последнее появление Христиана в растерзанной одежде, со спутанными волосами, с каменным мусором в мешке, мусором, который на его собственный взгляд есть драгоценность и сокровища,— все это служит философскою концовкой новеллы, доказательством, что все стремления героя суть тлен и прах, ведут к духовному разорению и ничтожеству, в то время как феодально-крестьянский мир, из которого он ушел, сохраняет все достоинства единственной и исключительной истины.

Интуитивистская философия и поэтика романтизма склоняют Тика к тому, чтобы заменить в новелле состязание „понятий“ состязанием смутных эмотивных сил, к тому, чтобы знаками оперно-скарочной партитуры была пересказана фабула денег

и городского индивидуализма. Как и в „Эльберте“, повелла проводится как чередование и борьба лирических стихий; в „Рунеберге“ это стихии пасторально-семейственные и темные, трагические, взятые каждый раз в порядке единой настроянности, объемлющей вещи и происшествия. Таковы, например, горы, ночь, незнакомец, свет и романс из старого Рунеберга, дева с ее сверкающим подношением Христиану, стоящему под окном; или же равнина с маленькой рекой, с деревенской церковью, с белокурой тихой девушкой, предавшейся усердной молитве,— все, что увидел и узнал Христиан после магической ночи в горах. В обоих случаях даются своеобразные „лирические отделы“, факты действительности подвоятся под некоторые однородные лирические категории.

Характерно также искание опоры у сказки. Несмотря на то, что традиция подлинной народной сказки им не соблюдается, Тик все же делает опыт усвоить себе философскую и художественную точку зрения крестьянства, „народа“.

К области сказочных новелл принадлежит и „Бокал“, написанный в 1811 г. и напечатанный в 1812 г. в сборнике Тика „Фантазус“. В том же 1811 году была написана и новелла „Чары любви“ предназначавшаяся для первого тома того же „Фантазуса“ и показательная для того жанра „страшных рассказов“ („почных рассказов“), мастером которых позднее среди романтиков был Э.-Т.-А. Гофман.

В десятих годах сказочная манера Тика уже устарела. Гейдельбергский романтизм, с его „точным фольклором“, требованием точной реставрации „народного искусства“, уже не мирится с той „сказочностью вообще“, мастером которой был Тик. Его сказочная новелла, лишенная национальной определенности, окрашенности „местом и временем“, исторически локализованной идеологии, по сравнению с однородными опытами Арнима и Брентано, подчеркивает разность двух этапов романтизма.

С распадом иенского объединения романтиков кончается самая славная пора творчества Тика. В иенском кругу Тик был основным художественным работником, исполнителем теоретических постулатов школы. Он освоил для романтики и роман, и новеллу, и лирику, и комедию, и трагедию, был пропагандистом и переводчиком Шекспира и Сервантеса, тех старых мастеров, которых школа считала особенно близкими к себе. Тик был одним из самых неутомимых и разносторонних „практиков“ романтизма; для современников Тик и романтизм в целом сливались, так как силы Шлегелей, Вакенродера, Новалиса, Шлейермахера, Шеллинга были потрачены на дело теории, а теория не могла быть читательски популярной.

В XIX веке Тик прожил очень долго и писал немало, но все его позднейшие писания по своему значению несравненно скромнее его юношеского творчества.



В 1803 г. он выпустил собрание лирики немецких миннезингеров, чем способствовал развитию интереса к средневековой поэзии.

В 1817 г. он выпустил собрание немецких драматических произведений XV—XVII столетий.

Так, во второстепенных случаях, он и позже был инициатором литературных и литературоведческих течений; продолжая дело Вакенродера, он прокладывает дорогу изучению национальной немецкой литературы, романтической медиэвистике.

В 1821 г. Тик пропагандирует Клейста, публикуя его неизданные сочинения. В 1826 г. он издает Клейста полным собранием.

С 1819 г. по 1842 г. Тик живет в Дрездене. Этот город превращается в одну из резиденций немецкой литературы, так как имя Тика привлекает многочисленных посетителей, литераторов, художников, театральных деятелей. Славятся вечера чтения, которые Тик время от времени устраивает: современники отзываются о нем как о лучшем в Германии чтеце драматической литературы, блестящем сопернике наиболее признанных актеров.

С 1825 г. Тик много времени уделяет делам дрезденского театра, входя в вопросы как репертуара, так и постановки и актерского исполнения. Театр и драматургия были вообще излюбленным предметом Тика, хотя в последнее десятилетие своей писательской карьеры сам он как драматург больше не выступал. Новелла, повесть в этот период для Тика — жанр наиболее привычный.

Генрих Гейне в своей „Романтической школе“ довольно двусмысленно хвалил позднего Тика: из феодального романтика он превратился в „разумного человека“, изобразителя „современнейшей буржуазной жизни“, поклонника честности, трезвости и пользы.

„Разумность“ Тика выражалась в бюргерском благоразумии, в сдержанности, в поддакивании вкусам и взглядам консервативного немецкого филистерства. В конце XVIII века Тик прошел основательную школу дворянской контрреволюции.

Как писатель XIX века Тик — идеолог городской мелкой буржуазии в той ее части, которая безусловно поддерживала существующий порядок и отношения. Она делала это менее четко, нежели то было свойственно воинствующим дворянским реакционерам, без прямого союза с ними, без политического заострения, ограничиваясь регламентацией вопросов домашних, частнобиографических, психологических, моральных и т. п.

Новелла „Жизнь поэта“, напечатанная впервые в 1824 г., весьма показательна для второго тиковского периода.

Романтика десятих — двадцатых годов пришла к конкретности, к историческому и практическому прояснению общефилософских формул, возведенных в прошлом веке Новалисом и

Шлегелями. Эстетика и „наука жизни“ (Lebenskunst) ранних романтиков в этой новелле Тика также „прояснены“.

Тема Шекспира — стариннейшая тема и для немецких романтиков и для Тика в особенности, тема, изученная с деятельным пристрастием.

Август Шлегель полнее других выразил взгляд романтиков на Шекспира: Шекспир есть универсальный гений, достигший в творчестве искомым синтезов, мастер конкретного художественного познания, конкретной диалектики, в которой собраны воедино все односторонние определения сознания и бытия: общественное и личное, „родовое“ и „индивидуальное“, вульгарное и идеальное, всемирное и исторически-национальное, конструктивный расчет и вдохновение. Творчество Шекспира для романтиков — целостный „образ“, снимающий противоречия, ограничения, удел литературы классицизма и века просвещения.

В новелле Тика Шекспир тоже представлен как великий „посредник“, как великая сила, посредствующая между „крайностями“. Дело Шекспира представлено не в философских понятиях и символах, но в самом конкретном, будничном применении.

„Крайности“, которые Шекспир должен „посредствовать“, в новелле выступают как живые лица. И вот „крайность“ в философском смысле, — диалектическое противоречие, — в реальном показе Тика выражается в „крайности“ в убогом, приплюснутом понимании этого термина немецкими филистерами, Шекспир преподает уроки „синтеза“ и „примирения“. Марло и Грину, людям богемы, гулякам и растратчикам, бездомным и бессемейным гениям, Шекспир попросту оказывается благоразумным консультантом по делам домоводства; от него ждут, чтобы он дал совет и постоял за порядок в семейных обстоятельствах беспутного Роберта Грина; он успокаивает Марло, когда тот держит свои речи бунтующего плебея против привилегий аристократии; он возражает Марло мелко и пошловато, сам подает пример умелого использования господского одобрения, резонерствует против индивидуализма и чувственности, предлагая им почетный мир с нацией и с небесными силами. Мятая лондонская богема, крайние из среды литераторов, крайние из политической среды (пуритане) и Шекспир, который противостоит им всем, уверенно все и всех „соглашает“, нигде и никогда не отклоняясь от срединной позиции, — вот основная композиционная идея повести. способ расположения в ней смысловых сил.

Крайние погибают либо комически, как отрекающийся пуриτανин, либо трагически, как другой пуриτανин, не отрекающийся, либо печально, как Роберт Грин, либо яростно и позорно, как Христофор Марло; и все это есть пролог к Шекспиру, расчистка дороги ему. Марло понял, что с ним покончено,

когда познакомился с творениями Шекспира, с их „гармонией“, на которую он, автор, „Тамерлана“ и „Фауста“, не способен. Сущность Шекспирова гения у Тика раскрыта со стороны житейской, со стороны бюргерской повседневности; по Тику, власть Шекспира именно в том, что он „срединный“, измеряющий житейские отношения золотой мерой; бюргерская добропорядочность, благонадежность, сдержанность и прочие качества классического филлистерства представлены в новелле как истинная субстанция Шекспирова дарования. Из новеллы Тика Шекспир как бы делает авторитетное предостережение немецким бунтарям и индивидуалистам кануна Июльской революции.

Новелла написана с большим мастерством, иначе направленным, нежели в ранних повестях Тика. Здесь мироотношение автора не лирическое, но логическое, „благоразумное“. Композиция безукоризненна рассчитанностью движения и перестановок смысловых масс. Основная перестановка: „незнакомец“ становится к концу новеллы знаменитым Шекспиром. Тик дает неузнанного Шекспира как наиболее незаметную фигуру с точки зрения настоящего момента и с точки зрения действующих лиц; Марло и Грин в начале повести заслоняют его; в то же время этот эпизодический „писец“, „неизвестный“, более всего беспокоит внимание читателя, он появляется редко, но за ним нужно следить, так как он не разгадан. Шекспир почти до конца новеллы представлен как гений, еще не имеющий имени, он выводится скромно и вместе с тем значительно, как явление, которому принадлежит будущее. Композиция, пропорции фигур, распределение теней у Тика балансируют между будущим и настоящим. Пропорции с самого начала даются так, чтобы подготовить их великое изменение в эпизоде.

Новелла Тика — любопытный пример „идеализирующего стиля“. Елизаветинцы, их эпоха, изображаются с точки зрения „историко-литературного долженствования“. Свои собственные понятия о литературных ценностях, о литературной иерархии эпохи Тик изображает как самой эпохе принадлежащие. Прорицатель возвещает Шекспиру предстоящую ему славу, Марло и Грин понимают, что они „предшественники Шекспира“; и с полным сознанием своего историко-литературного значения оба, и Роберт Грин и Христофор Марло, в конце новеллы отступают, чтобы пропустить „в историю“ — Вильяма Шекспира. На деле было, конечно, не так: ни смысла творчества Шекспира, ни его центральной роли современники не понимали.

Христофор Марло, исторически подлинный, не мог произносить этих самокритических речей и столь сознательно склоняться перед автором „Ромео и Джульетты“. Этого не было в действительности, но так было „должно“ с точки зрения

истории литературы и художественной критики, возникшей двести лет спустя.

Отдаленно перекликается со старой тиковской „иронией“ новелла „Жизнь льется через край“ (Des Lebens Überfluss), написанная в 1837 году. Фридрих Геббель так оценивал смысл этой новеллы: она „восхитительным образом показывает, что чистый человек всегда может перед лицом судьбы утвердить свою самостоятельность, если только в нем есть сила и мужество превратить в предмет игры возложенное на него бремя, отнести к нему, как к всего лишь случайно надвинувшемуся миру объективного“ (Дневник Геббеля, 16 февр. 1839). Впрочем, и в этой новелле Тик ведет профессиональную для него в тридцатых годах защиту „прозы“ против „мечтательства“.

Тик кончил свой писательский путь официальным признанием. Новый король прусский Фридрих-Вильгельм IV, покровитель романтики, предложил Тику почетную пенсию в три тысячи талеров ежегодно, пожаловал его орденом и выписал в Потсдам.

Скончался Тик в 1853 г., пережив самого себя и свою литературную эпоху.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>От издательства . . . . .</i>	VII
<i>Н. Берковский. Немецкий романтизм . . .</i>	XXIII
Ф р и д р и х Ш л е г е л ь.	
Люцинда. Перевод <i>А. Сидорова . . . . .</i>	3
Н о в а л и с.	
Ученики в Саисе. Перевод <i>А. Габричевского .</i>	109
В а к е н р о д е р.	
Достопримечательная музыкальная жизнь композитора Иосифа Берглингера. Пере- вод <i>А. Алядиной . . . . .</i>	147
Т и к.	
Белокурый Экберт. Перевод <i>А. Шишкова</i> в переработке <i>Н. Славятинского . . . . .</i>	169
Рунеберг. Перевод <i>А. Шишкова . . . . .</i>	183
Бокал. Перевод <i>Н. Славятинского . . . . .</i>	211
Любовные чары. Перевод группы перевод- чиков под руководством <i>А. Габричевского .</i>	229
Жизнь льется через край. Перевод <i>Н. Сла-</i> <i>вятинского . . . . .</i>	259
Жизнь поэта. Перевод <i>Иржзвальского . . . . .</i>	313
Комментарии <i>Н. Берковского . . . . .</i>	421
Шлегель . . . . .	423
Новалис . . . . .	434
Вакенродер . . . . .	447
Тик . . . . .	452

Ред. П. С. Виноградская  
Художественная редакция  
М. П. Сокольников  
Лит.-техническ. наблюдение  
А. А. Реформатский  
Техред Л. А. Фрязинова  
Наблюдение на производстве  
М. И. Ковлов

\* \* \*

Сдано в набор 29.XII.34.  
Подписано в печать 27.V.35.  
Тираж 5300. Уполн. Глав-  
лита 2419. Заказ тип. 8580.  
«Ас» 132. Инд. А-1. Бум.  
82×110<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печ. л. 32<sup>1</sup>/<sub>4</sub>+10  
вкл. Авт. л. 26,5.

\* \* \*

Отпечатано на ф-ке книги  
«Красн. пролетарий», Москва,  
Краснопролетарская, 16.

Цена Р. 9.00

Переплет Р. 2.00

